

Ж О В Ы Е  
М И Р

Ж О В Ы Е  
М И Р

1959

3

1959

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXV

№ 3

Март, 1959 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>ПО ПУТИ ВЕЛИКИХ ПРЕДНАЧЕРТАНИЙ</b>	
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — К новым творческим высотам	3
АЛЕКСАНДР БЕК — Марш семилетки	7
В. СЕРГЕЕВ — Суровый край. На центральной усадьбе. Долгожданная встреча. Чукотская весна. Счастье, стихи	17
П. ВЕРШИГОРА — Рейд на Сан и Вислу. Окончание	24
А. ТВАРДОВСКИЙ — Московское утро, стихи	111
КОРРАДО АЛЬВАРО — Два рассказа. Перевели с итальянского Л. Вершинин и Г. Брейтбурд	117
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ — Четыре сонета. Перевёл с украинского Борис Ирнин	123
М. ГРИГОРЬЕВ — У старинной иконы, стихи	125
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
ЛЕОНИД ИВАНОВ — Когда сеять?	126
А. МАЛЫШ, кандидат экономических наук — За парадным фасадом	135
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
Л. БЕЗЫМЕНСКИЙ — Неисправимые	144
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	168
Л. Черная. Искусство... под сенью атомной бомбы.— Р. Фиш. Какой в этом смысл?	
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
А. ТУРКОВ — Новые работы о Маяковском	177
ИННА СОЛОВЬЕВА — Люди для людей	187
И. ШКУНАЕВА — Новейшая «алитература»	198
<i>К 150-летию со дня рождения Н. В. Гоголя</i>	
С. МАШИНСКИЙ — «Дело о вольнодумстве» и творчество Гоголя	206
<b>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</b>	
И. Каховская. Горький 9 января 1905 года. Предисловие Ек. Пешковой. — И. Нович. Еще о «деле» М. Горького в 1905 году. — А. Рубинштейн. Горький и Шолом-Алейхем.	218

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>Е. Добин.</b> Кодекс героя. — <b>М. Иофьев.</b> Писатель в пути. — <b>Т. Трифонова.</b> Талант и мастерство. — <b>В. Швейцер.</b> Ребячьи будни. — <b>Б. Гольдберг.</b> Васюковы и Рыжкин. — <b>Анна Илупина.</b> Дыхание революции. — <b>А. Старцев.</b> Радишев и его гарвардский комментатор. — <b>Скина Вафá.</b> Поэт испанской земли.	229
<i>Политика и наука</i>	
<b>М. Дмитриева.</b> Славные большевички. — <b>Н. Мар.</b> Биография одного завода. — Кандидат исторических наук <b>Ю. Шарапов.</b> О времени и о себе. — Доктор исторических наук профессор <b>В. Мавродин.</b> У истоков отечественной науки. — Член-корреспондент ВАСХНИЛ <b>Н. Щербиновский.</b> Книга о муравьях. — <b>Е. Шведов.</b> Западный Берлин — оплот реакции. — <b>А. Мельников.</b> США без прикрас. <b>Ю. Арбатов.</b> Буржуазная «элита» и ее апологеты.	256
<b>Трибуна читателя</b>	
<b>С. Левина, В. Наседкина.</b> Популярный — значит народный.	275
КОРОТКО О КНИГАХ	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285

---

---

---

## По пути великих предназначений

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

### К НОВЫМ ТВОРЧЕСКИМ ВЫСОТАМ

**В**неочередной Двадцать первый съезд Коммунистической партии Советского Союза вошел в историю нашей эпохи как съезд строителей коммунизма, возвестивший всему миру, что наша Родина вступила в период развернутого строительства коммунистического общества.

С горячим чувством радости и гордости за свою страну и свою партию слушали мы доклад Никиты Сергеевича Хрущева.

Цифры и факты, приведенные в этом богатом мыслями и широкими историческими обобщениями докладе, показали, какую невиданную созидательную энергию пробудил в массах равноправных советских народов утвержденный ими социалистический строй, какие ослепительные перспективы обозначились в очертаниях семилетнего плана.

Итоги созидательной деятельности нашего народа за последние годы, когда партия возвратила всей своей деятельности ленинский стиль работы,— наглядное свидетельство гигантского взлета творческой инициативы и трудовой энергии рабочих, колхозников, советской интеллигенции.

В последовательно осуществляемой в нашей стране действенной, творческой, подлинно народной демократии — главный источник наших огромных успехов после XX съезда партии. Во всем, что достигнуто советским обществом в борьбе за социализм, ярко проявился социалистический гуманизм, лежащий в основе деятельности партии, составляющий предпосылку всех наших деловых планов.

Повседневно ощущая неразрывное единство личных интересов с интересами коллектива и государства, советский человек способен работать так, как не может работать на капиталиста наемный работник, способен на такие трудовые подвиги, которых не знала человеческая история.

Нам, представителям советской художественной интеллигенции, особенно близка и дорога гуманистическая творческая природа деятельности партии, направленная и на улучшение материальных условий жизни человека и на его духовное обогащение.

Это понимание красоты и благородства совершаемых партией великих дел всегда было и останется источником беззаветной преданности всех лучших представителей советской интеллигенции делу партии и народа.

За последние годы, в особенности же после Двадцатого съезда партии, идеологи холодной войны и их ревизионистские подголоски из Югославии и некоторые крикливые демагоги в Венгрии и Польше открыли ураганный огонь по основам нашей литературы и искусства, их партийности, народности, творческому методу социалистического реализма. За шумихой об отсутствии у нас свободы творчества, о партийно-государственном диктате нетрудно было обнаружить попытки с негодными средствами атаковать самые основы социализма.

Выбирая литературу и искусство мишенью своих атак, наши враги рассчитывали лишить социалистическое общество важнейшего средства воздействия на сознание и сердца миллионов людей. Они тешили себя надеждой на то, что в нашей среде еще не окончательно изжиты индивидуалистические пережитки. Но реакционеры и ренегаты-ревизионисты просчитались. Лишь неустойчивые одиночки, плохо разобравшиеся в характере партийной критики культа личности, поддались влиянию ревизионистской шумихи. Идеино здоровый, сплоченный вокруг партии коллектив деятелей литературы и искусства отбил наскоки носителей буржуазной идеологии.

Да и могло ли быть иначе? Разве могли советские литераторы поверить вражеским нашептываниям о подавлении свободы личности и свободы творчества в стране, где Конституция дает трудящемуся человеку не только свободу печати и слова, но и материальную основу для реализации этой свободы?

Никто не дает нам, советским писателям, нарядов и путевок на темы и проблемы наших книг. Никто не мешает нам обсуждать на собраниях и в печати наши книги и рукописи. Наши писательские организации во всех братских республиках имеют множество газет, сотни литературных журналов и альманахов, крупнейшие книгоиздательства, управляемые и направляемые самими писателями.

Где, в какой капиталистической стране есть такие гигантские возможности для реализации подлинной свободы творчества, свободы, направленной на благо народа, а не во вред ему?

Наше чувство полноценности творческого труда питает постоянная твердая уверенность в насущной нужности нашей работы советскому обществу, чувство ответственности перед народом за то, что мы пишем, оптимистическое чувство будущего, светлого завтрашнего дня нашей Родины, как раз все то, чего лишен художник в капиталистическом мире.

Вот почему на недавно прошедшем учредительном съезде писателей Российской Федерации и на всех проведенных до сего дня очередных писательских съездах других братских республик была ярко продемонстрирована сплоченность писателей вокруг ленинской партии и ее Центрального Комитета, их преданность делу коммунизма, правильное и глубокое понимание задач, стоящих перед литературой.

В борьбе против классово чуждых влияний наш коллектив выдержал экзамен на идейную зрелость. И в самые трудные минуты этой борьбы нам на помощь, как всегда, пришла партия. Своим авторитетом, своим ясным словом, своим заботливым материнским вмешательством в наши споры она решительно помогала нам защищать принципы социалистического искусства, чистоту идейных позиций.

Большую роль сыграли беседы с Никитой Сергеевичем Хрущевым, в результате которых появился важнейший для развития всего советского искусства партийный документ «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа».

В этих содержательных и сердечных беседах Н. С. Хрущев дал нам, литераторам-коммунистам, предметный урок партийного стиля работы с творческой интеллигенцией. Стил ь этот сочетает в себе большевистскую принципиальность и непримиримость в идейных вопросах с очень большой чуткостью, гибкостью, неистощимой терпеливостью, когда речь идет о возвращении на правильные позиции людей, временно заблуждающихся, колеблющихся, но способных преодолеть свои заблуждения и колебания.

Как ни клеветали на нашу литературу ее зарубежные противники, книги советских писателей продолжали широко переводиться на иностранные языки и нести правду о жизни советского народа народам

всех стран мира. И что особенно радостно — в мире становится все больше людей, читающих наши книги без перевода.

Как ни старались наши зарубежные недоброжелатели поссорить нас с нашими зарубежными друзьями, наши международные связи крепились с каждым годом. За послевоенное время многие сотни писателей едва ли не всех стран мира были нашими гостями. Они видели в нашей стране все, что хотели видеть. Вернувшись на родину, многие из них написали правдивые и дружественные статьи и книги о нашей стране.

Только за самое последнее время укрепление наших контактов с иностранными литературами ознаменовалось таким огромным по своему значению событием, как Ташкентская конференция писателей стран Азии и Африки.

Большое значение в развитии международных контактов сыграли проведенные в Риме и Москве встречи итальянских и советских поэтов.

Мы горды тем, что с первых же шагов развития международной борьбы за мир советские писатели идут в первых рядах этого благородного, глубоко гуманистического движения.

Обозревая нынешнее положение дел в литературе, мы с радостью можем сказать, что наша многонациональная литература в последнее время, в особенности же в истекшем, 1958 году, показала зримые признаки значительного творческого оживления.

Современная тема все решительнее становится основной темой советской литературы во всех ее жанрах. Эту радостную и обнадеживающую тенденцию можно проследить во всех братских литературах, где за последнее время создано немало нашедших широкое читательское признание талантливых произведений.

И все-таки нет никаких оснований успокаиваться на достигнутом, ибо все, что дала литература, далеко не полностью отвечает бурно растущим потребностям советского общества.

Литература наша по своей тематике и проблематике все еще отстает от многообразия тем и проблем, ежедневно, ежедневно рождающихся в трудовом коллективе людей, строящих коммунизм.

Знакомясь с новыми книгами, пьесами, кинокартинами, советский человек еще часто не находит в них умных, талантливых ответов на множество вопросов его ума и сердца. Нередко ему предлагают суррогат вместо подлинного произведения искусства. Нашего читателя раздражает примитивность, серость, плоское убожество мыслей и чувств в произведениях, написанных на ярком материале нашей созидательной современности. Все это не может пройти мимо внимания предстоящего Третьего съезда писателей. Во имя интересов читателя нам надо остро и нелицеприятно поговорить об идейности и художественном качестве литературы.

В стране поголовной грамотности, где многими миллионами исчисляются люди, имеющие высшее и среднее образование, где имеется четыреста тысяч библиотек, где ежедневная аудитория театра, кино, телевидения, радио составляет многие десятки миллионов людей, потребность общества в произведениях всех видов и жанров художественной литературы огромна и неисчерпаема.

Сердце замирает, когда мысленно представишь себе, какие огромные горизонты открывает перед литературой и искусством Советского Союза предстоящее семилетие!

Мы обязаны помнить, что с введением в стране 30—35-часовой пятидневной рабочей недели, при большом росте материального благосостояния трудящихся и общего уровня культуры у десятков миллионов трудящихся людей неизмеримо возрастут культурные потребности, расширятся и углубятся духовные запросы.

Нам надо ясно представить себе, к чему обяжет нас развитие кино-сети страны до 118—120 тысяч установок, увеличение радиосети на 30 миллионов точек, новые 12,5 миллиона телевизоров, поистине грандиозное возрастание тиражей выходящих книг, журналов, газет.

Чем ярче и разностороннее будет развиваться личность советского человека — строителя коммунизма, тем разностороннее и тоньше будут его эстетические вкусы и шире запросы.

Распознавая появление в жизни народа ростков нового и талантливо изображая это новое в произведениях литературы и искусства, советская художественная интеллигенция тем самым будет помогать партии в формировании характера, строя мыслей и чувств человека будущего коммунистического общества.

Для достижения той же цели подготовки человека к вступлению в коммунизм нужна будет и сатира, бичующая во имя будущего все пережитки прошлого в нашей сегодняшней жизни — несоциалистическое отношение к труду, бюрократизм, лихоимство, пьянство, хулиганство, аморальное поведение в быту и в обществе, все, что тянет человека назад.

Как видно из доклада Н. С. Хрущева, в борьбу с пережитками и язвами прошлого наряду с социальной хирургией, осуществляемой органами государственной власти, все шире будут вступать силы и средства общественного воздействия, силы социальной профилактики. Вот в этом благородном деле литературе и искусству, что называется, и книги в руки!

Будучи беззаветно верными помощниками партии в коммунистическом воспитании трудящихся, мы сделаем все для того, чтобы помочь ей привести в коммунистическое общество человека — строителя коммунизма, свободного от всех язв и предрассудков капиталистического прошлого, очищенного от ржавчины индивидуализма, национальной узости и шовинизма, коллективиста и интернационалиста.

Наша славная ленинская партия может быть уверена, что вся многочисленная многонациональная советская интеллигенция, тесно связанная с народом, богатая талантами и опытом создания социалистического искусства, займет в семилетке свое боевое место в авангарде строителей коммунизма.



---

АЛЕКСАНДР БЕК

★

## МАРШ СЕМИЛЕТКИ

1

**У** доменщиков существует выражение: марш печи. Едва я написал эту фразу, как мысленному взору предстала усмешка одного зарубежного гостя, с которым я недавно провел несколько часов. Одаренный литератор, человек острого ума, он отрицал капитализм и вместе с тем упрямо фехтовал и против нас, Страны Советов. Впрочем, за его упрямством скрывались, возможно, колебания, неуверенность. Порой он иронически щурил глаза, но, насколько я мог судить, их не застилала невидимая пленка враждебности, ожесточения, та, что ничем не прошибешь. Отбросив этикет, мы в открытую поспорили.

Вот и теперь, сидя над листом бумаги, я как бы слышу его голос:

— Вы все о печах... Они-то у вас хороши. Меня интересует ваше общество.

Что ж, мой противник — гость, перенесемся на перрон Днепропетровского вокзала, взглянем, как уезжает в Москву на Двадцать первый съезд партии делегация области.

Январский день по-весеннему тепел. Всюду талая вода. Сквозь просветы в облаках нет-нет и пробьется солнце, отражаясь тысячами блесков в мокрой платформе, в стеклах вокзала и вагонов.

Делегаты уже сходятся к поезду. Распахнув пальто, сняв кепку, стоит горновой-доменщик Иван Сидорович Терещенко. Он молод, ему еще не исполнилось тридцати, в бригаде у печи его запросто называют Ваней. Мы уже встречались на площадке домны, но в первую минуту я его не узнаю. В цехе голова Терещенко была прикрыта то пошипанной искрами рабочей кепкой, то войлочной широкополой шляпой доменщика, а сейчас я впервые вижу его большой, с глубокими залысинами лоб. Невольно отмечаешь и загар — тот особенный, всегда, и летом и зимою, свежий, искрасна-смуглый загар, что отличает людей, плавящих металл, привыкших к его жарким излучениям. Отмечаешь и приветливую, немного смущенную улыбку.

Возле Терещенко вижу Полину Игнатьевну Ткаченко, с которой тоже знаком по Петровке (в городе все так называют завод имени Петровского). Пожимаю ее руку, на миг удивляюсь, как мягка, даже нежна эта рука штукатура. В прошлом году вместе с сотнями товарищей Полина — она тоже еще молода, к ней тоже еще обращаются по имени — строила домну «Комсомольская-Днепропетровская», ту самую, что... Впрочем, пока не буду говорить о печах.

А вот и третий мой знакомец — Прокофий Данилович Рагоза, инженер-металлург по образованию, первый секретарь Днепродзержинского городского комитета партии. Ему сорок семь лет. Когда-то сельским парнишкой



он пришел на Дзержинку, стал там подручным горнового, окончил вечерний институт, воевал в годы великой войны, вернулся после победы на завод. В волосах уже проступила седина, но в глазах, в грубовато вылепленных чертах светится молодость, энергия и еще что-то, чему в ту минуту я еще не нахожу определения.

В легком пальто, в фетровой шляпе к вагону идет председатель совнархоза Николай Александрович Тихонов. У него тонкий смуглый профиль, втянутые щеки, блестящие глаза. Встречаюсь с ним взглядом, кланяюсь ему и вдруг схватываю слово, которого мне недоставало: вдохновенность. Трудно объяснить это свое непосредственное ощущение, но в блеске солнца, в блеске глаз, в свете улыбок я распознаю, угадываю: они, вот эти делегаты съезда партии,— и горновой Терещенко, и штукатур Ткаченко, и доярка Гузь, что стоит поодаль в синем жакете, украшенном золотой звездочкой Героя, и седоватый секретарь горкома Рагоза, и сухощавый руководитель промышленности Тихонов,— все они вдохновенные люди, люди творчества.

Познакомьтесь же с ними, взгляните же в них, мой коллега по перу, мой зарубежный гость! Неужели ваше чутье художника, непосредственное ощущение ничего не скажет вам? Хотя... Похоже, что он все-таки не расстается со своей усмешкой. Опять я будто слышу:

— Мы же их видим в такой необычной обстановке. Это парад... Показная сторона...

Что ему ответить?

— Ладно, коллега... Пойдемте туда, где парадности не сыщешь. Побывайте со мной и на заводе.

## 2

Накануне отъезда делегатов я отправился на завод имени Петровского, чтобы повидаться с горновым Терещенко,— он работал в вечернюю смену.

Петровка, именовавшаяся до революции Брянкой, основана три четверти века назад. Ныне завод стиснут городскими кварталами, трамвайные линии жмутся к ограде, заводу давно некуда расти. Эта стиснутость сразу поражает, едва минуешь проходную, вступишь на землю Петровки. Нет и помина о широких проспектах, пересекающих из конца в конец наши новые заводы, такие, как, например, расположенные неподалеку, всего в ста — ста пятидесяти километрах, «Запорожсталь», или «Криворожсталь».

Здания, сооружения лепятся друг к другу, каждый свободный клочок изрезан железнодорожными путями, порой некуда отступить, когда мимо проезжает состав раскаленных темно-малиновых изложниц, так и стоишь вплотную у какой-нибудь стены, ощущая лицом жгуче-жаркий воздух. И все же то тут, то там ковши экскаваторов, снабженные стальными зубами, врезаются в землю, подгребают, перебрасывают на грузовики разбитую взрывами, отслужившую свое каменную кладку.

Завод непрерывно перестраивается. Вот и теперь в самой середине линии доменного цеха разбирают каменный пень снесенной домны — пень, что был сложен много десятков лет назад. Работы затруднены тем, что в земле возле пня обнаружен редкой величины монолит чугуна, огромный рыжий корж, «козел», как говорят доменщики. Он покоился, наверное, с тех времен, когда на Брянке работал Курако, еще юноша, бесстрашный подручный горнового, дерзкий мастерам-французам и даже самому «шефу печей» — невежественному тучному Пьерону.

Да, завод очень стар. Однако переходящее Красное знамя Всеукраинского Совета профсоюзов и Совета Министров Украины, вручаемое победителям соревнования металлургов, завоевано в 1958 году петровцами, хранится здесь, на этом тесном, неудобном заводе.

## 3

Рабочая площадка домны № 2. Бригада готовит песочную канаву для очередного выпуска. Нахожу старшего горнового Ивана Сидоровича Терещенко. Завтра поезд унесет его на съезд партии в Москву (он снимет кепку на перроне Днепропетровского вокзала, подставит лоб теплому ветру), а нынче отрабатывает смену. В руках легко ходит лопата. Брюки исчерна-серого сукна — спецодежда доменщика — прожжены в нескольких местах, края дыр лохматятся.

Лопата наконец отложена. Мы идем в пирометрическую побеседовать. В разговоре принимает участие и мастер печи Петр Иванович Егоров. Ему за пятьдесят, но брови черны, склад губ энергичен, на смуглой, тугой, чисто выбритой коже нет стариковских морщин. Недавно коммунист Егоров вместе с другими ста восьмьюдесятью металлургами нашей страны был отмечен самой высокой наградой — званием Героя Социалистического Труда. Время от времени то Егоров, то Терещенко уходят к печи, затем, возвращаясь, вновь попадают под обстрел моих вопросов.

Думаю, и гость мой уловил бы примечательную черточку обоих: с рабочей гордостью они говорят о заводе, о своей печи, гордятся своим именем петровцев. Неподалеку гудит домна, но это не мешает мне слушать и записывать:

...Эта домна историческая. В прошлом году впервые она стала работать на природном газе.

...Историческая еще и потому, что здесь — опять-таки впервые на земном шаре — был применен новый способ форсировки хода, так называемый способ повышенного давления на колошнике.

...Первая попытка петровцев работать на повышенном давлении относится еще к 1940 году. Но только теперь — это произносит Егоров — мы показали, что такое наш способ.

— Нет, — поправляет он себя, — лишь начали показывать, выявили лишь малую долю того, что таится в этом способе.

— Что же в нем таится?

— Мы помолчим, это скажут печи.

— А все-таки?

— Вы же не поверите. Нам почти никто не верит, когда мы говорим, чего добьемся. Называют нас лунатиками.

Спрашиваю о трудностях. Мне отвечают:

— Как же без трудностей? Мы повысили давление, а летки не держали. Потребовалось создать такую запорную массу, чтобы выдерживала давление. Потребовалось — и создали. Но помучились над этим.

Смотрю на прожженные брюки Терещенко.

— А это как случилось?

Он кратко объясняет:

— Обгорел перед Новым годом. Пробуривал летку, вырвало, не успел отскочить. Вырвало с пламенем и чугуном, задело лицо — вот левую сторону — и ноги охватило огнем. Тут же потушили. Пошел в медпункт, приложили марганцовки, перебинтовали. Вернулся, отработал смену.

Сказано это просто, между прочим. Вот так же на фронте, в бою, раненые уходили на перевязку и возвращались в строй.

Терещенко негромко продолжает:

— Вы говорите: трудности. А без трудного не бывает и легкому.

## 4

Бригада Терещенко — в ней четырнадцать человек, считая и мастера Егорова, — вступила в соревнование за право именоваться бригадой коммунистического труда. Вступила недавно — с декабря 1958 года. Впрочем, все это движение бригад коммунистического труда пока, как известно, насчитывает лишь месяцы жизни, находится еще в младенчестве.

Перечислю обязательства доменщиков печи № 2:

быть примером в труде, ежемесячно выдавать сверх плана столько-то тонн чугуна, не допускать аварий, вносить рационализаторские предложения;

учиться, неуклонно учиться, где угодно: на курсах, или в школе взрослых, или в кружке политического образования;

взять шефство над каким-либо классом средней школы, чтобы приблизить ребят к производству;

быть примером в быту, воздействовать на тех, кто нарушает порядок, нормы и правила культуры. пресекать на месте каждое такое нарушение; участвовать в общественной работе.

Спрашиваю:

— Как же вы это выполняете?

— Над школой шефство еще не взято,— говорит Терещенко.— С этим не управились.

— А остальное?

— План перевыполняем... И стараемся показать пример культуры: все выписывают газеты, все записаны в библиотеку. И все учатся. Время такое, что само заставляет учиться.

Он показывает на длинную панель, где расположены приборы, регистрирующие ход печи,— подвижные самопишущие стрелки оставляют за собой на миллиметровой бумаге чернильные, порой причудливые, линии. Показывает и повторяет:

— Само время заставляет... Скажем, на бюро райкома партии (мой собеседник горновой — член бюро райкома) принимаем в кандидаты. Первый вопрос: где учишься? Не учишься — осудят.

— Кто?

— Постановлений не выносим. Общественное мнение.

...К этому разговору возвращается мысль. Общественное мнение. Привычка работать добросовестно, с душой. Привычка учиться. Привычка во всех случаях жизни вести себя порядочно, культурно. Не эти ли привычки, распространившиеся на все общество, станут креплениями, основой того строя, который зовется коммунизмом? Вспоминается Ленин, его «Государство и революция», классический труд о коммунизме: «...избавленные от капиталистического рабства, от бесчисленных ужасов, дикостей, нелепостей, гнусностей капиталистической эксплуатации, люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторяющихся во всех прописях, правил общежития, к соблюдению их без насилия, без принуждения, без подчинения...».

Хочется отметить еще одну черточку бригад коммунистического труда — вероятно, она, эта черточка, характерна не только для петровцев. Исток этих бригад — инициатива, призыв комсомола. Однако состав бригады домны № 2 — это, главным образом, подобно Терещенко, люди под тридцать лет, а двое — машинист вагона-весов Шаховой и знакомый нам мастер Егоров, тоже присоединившиеся к обязательствам,— уже пожилые. Не захватывает ли оно, это движение, по праву вписавшее слово «коммунистический» в свое название, уже и толщу рабочего класса, его основные слои?

Тянет поговорить и с другими рабочими бригады Терещенко, но... часовая стрелка зовет меня в другое место. Сегодня в шесть часов вечера директор завода Илья Иванович Коробов выступит в молодежном общежитии с докладом о семилетнем плане. Спешу туда.

## 5

Общежитие прокатчиков. Небольшой зал на сто двадцать — сто пятьдесят мест. Все ряды заняты. Аудитория — почти сплошь юноши, «хлопцы», как здесь говорят. Лишь кое-где видны лица повзрослей.

На трибуне директор завода Илья Иванович Коробов, недавно тоже отличенный званием Героя, младший сын покойного рыжеусого обер-мастера Макеевки, главы известной семьи доменщиков Коробовых. Младший сын унаследовал отцовскую горячность, азарт доменщика, унаследовал и внешность — тяжеловатую челюсть, нервный горбатый нос, некоторую сутуловатость. Он докладывает собравшимся о семилетнем плане страны и о семилетке завода. «Хлопцы» притихли, внимают. Не уловишь ни перешептываний, ни смешка. Директор говорит кратко и веско:

— Мы выполним семилетний план досрочно. Условие этого — творческая инициатива, бригады коммунистического труда, дисциплина, основанная на сознательности, на идейности.

Он переходит к вопросам повышения жизненного уровня, оглашает цифры обеспечения петровцев жилой площадью. Жилищная нужда еще велика. В истекшем году введено столько-то квадратных метров. Далее будем строить столько-то и столько-то. И лишь через четыре-пять лет петровцы перестанут ощущать недостаток жилья.

— Улучшение жизни связано с нашим трудом, с накоплениями, которые мы создаем. Другого пути у нас нет.

Сообщение закончено. Из-за стола, расположенного на невысоком помосте, встает в поношенном, военного покроя кителе председатель собрания — седоусый петровец-пенсионер:

— Теперь товарищ Коробов будет отвечать на вопросы. Ему можно задавать вопросы как докладчику, как делегату партийного съезда Украины, как депутату областного Совета и как директору завода. Можно спрашивать письменно и устно. Поднимайте руки, я буду давать слово.

Из зала летят вопросы. Спрашивают о жилье, о заработной плате, о бытовых удобствах в общежитии. Порой вспыхивают быстротечные прения.

Коробов оглашает записку:

— «У нас у одного неплательщика квартирной платы отобрали постельное белье. Допустимо ли это?»

Подняв глаза, он отвечает:

— Недопустимо, товарищи. Никуда не годится.

Неожиданно в глубине зала вскакивает женщина — по-видимому, заведующая общежитием.

— Товарищ Коробов, белье же казенное, наше...

— Знаю.

— Так как же? Он гуляет, пропивает свои денежки, за койку не уплачивает, а мы ему будем каждую неделю стелить чистенькие простыни! Нет, товарищ Коробов, матрац я ему оставила, а простыни взяла. Добрыми словами с таким ничего не сделаешь.

Чувствуется, что внимание зала еще обострилось. Как раз в эту минуту у меня прошелестел листок блокнота. Сосед бросил: «Тише».

— Не могу с вами согласиться, — отвечает Коробов. — Подходим к коммунизму и вдруг применяем меру: валяйся без простынь! Культурные условия жизни, чистая одежда, чистая постель — это неотъемлемое право каждого сочлена нашего общества. Нельзя отнимать этого права.

— Но ведь он, чертяка, два месяца не платит. Как его проймешь?

— Надо пронягь. Есть совет общежития. Обсудите это на совете, обдумайте способы воздействия. Если понадобится помощь комсомола, парторганизации или депутата, мы не откажемся, поможем. Будем-ка, товарищи, идти в коммунизм, не поощряя нарушителей нашего распорядка, но и не забирая у них чистых простынь.

Замечаю улыбки. Ответ директора понравился.

В задних рядах поднимается худощавый, явно стесняющийся парень.

— Товарищ Коробов, почему меня до сих пор держат на подсобке? Почему не переводят на работу, которая меня интересует?

— Какая же работа вас интересует?

— По электрике.

— А вы по этому вопросу обращались?

— Да.

— К кому?

— К вам, товарищ Коробов. Вы сказали, что учтете, а прошло уже три месяца...

Директор переживает неприятную минуту. Что же, пусть переживет. Это наша демократия. В выступлениях Коробова перед рабочими подвергается общественному гласному контролю, как бы просвечиванию, его работа, любой шаг директора, каждая его оплошка. Он отвечает:

— Возможно, пока не было свободных мест. Я это проверю. Вернусь к этому вопросу.

И делает пометку в тетради.

Время от времени на столик снова ложатся записки. Коробов развертывает одну за другой, прочитывает вслух, дает разъяснения. Вдруг лицо его темнеет. Видно, он задет, сдерживается, чтобы не вспылить.

— Тут сказано,— говорит он, поднимая записку: — «Разве вы интересуетесь, как живет рабочий в общежитии?»

По залу прокатывается гул. Аудитория явно не одобряет безыменного автора записки. Ответ Коробова краток:

— Если бы не интересовался, меня давно бы следовало прогнать с должности директора.

Председатель успокаивает собрание:

— Товарищи, мы с вами знаем... В 1958 году Илья Иванович несколько раз у нас тут побывал. Новый год только что начался, а товарищ Коробов опять здесь, перед нами.

Вечер встречи с депутатом и директором завода продолжается. Коробов отвечает на вопросы обстоятельно, с достоинством представителя Советского государства, представителя партии. Можно без ошибки сказать, что собравшиеся молодые рабочие, в большинстве недавние выпускники ремесленных училищ, тоже чувствуют свое достоинство — достоинство сочленов демократического общества, перед которыми держит ответ этот крепко сбитый, сутуловатый доменщик, уже двадцать лет подряд (если не считать годов эвакуации на Восток) возглавляющий Петровку.

## 6

Еду в машине с Коробовым. Проезжаем мимо завода. Фигуры доменных печей очерчены гирляндами электролампочек.

— У нашей красавицы успели побывать? — спрашивает Илья Иванович.

Понимаю: он разумеет домну, пущенную четыре месяца назад. Сейчас в вечерней мгле не различишь крупных, укрепленных на броне букв «Комсомольская».

Я видел Илью Ивановича незадолго перед задувкой этой печи. Как назло, он схватил грипп, врачи уложили директора в постель. Он говорил: «Стану на колени перед доктором, пустите меня в мою стихию». Но его не пускали. Эта домна была в полном смысле его детищем. Многие годы он вынашивал, защищал в печати и в горячих устных выступлениях свое понимание таинства доменной плавки, свои способы форсировки хода. Порой ему удавалось их опробовать, но все эти пробы еще были половинчатыми, в министерстве (вечный ему покой!) побаивались дерзновенных идей младшего Коробова, не утверждали его чертежей, его предложений, считали, что ему вовсе не нужны могучие воздушные средства и другое оборудование, которое он запрашивал. И только после перестройки управления промышленностью он наконец получил возможность («Запре-

тителей уняли!» — восклицал он) воздвигнуть, оснастить такую печь, какой она рисовалась в фантазии.

С интересом спрашиваю:

— Илья Иванович, как она работает?

— Безупречно! — воодушевленно отвечает Коробов.

...Мы сидим у него дома за большим обеденным столом. Разговор опять идет о семилетке. И вот — представьте себе это, мой гость-скептик, — я слушаю, вижу человека, являющегося одновременно и администратором, директором крупного завода, и страстным, скажу сильнее — неистовым изобретателем, одним из тех, кому по призванию, по натуре назначено быть первооткрывателем новых путей в технике. Люди такой страсти и в жизни и в художественной литературе нередко бывали мучениками. Но разве он, сын доменщика и внук доменщика, мученик? Что же тогда называть счастьем?

Вот он восклицает:

— Необыкновенные дела, увлекательное время!

В мыслях мелькает: не стертые ли это слова, привычно попадающие на язык? Нет, у Коробова они поворачиваются свежими гранями, пульсируют, заново живут.

...Разговор опять затрагивает работу домны «Комсомольская».

— Безукоризненно! — с прежней выразительностью повторяет Коробов. — Безупречно себя показала. Может лететь...

— Лететь?

— Да. Раньше мы говорили: печь идет курьерским. Как же говорить теперь? Летит... Однако эту ее способность мы пока не вполне используем.

— Почему же?

Коробов объясняет: с рудой трудно, приходится загружать в печь руду очень низкого качества, поэтому чрезмерно велик относительный вес шлака, печь выдает больше тонны шлака на тонну чугуна.

— А ведь шлак легок, — продолжает он. — Если считать в объеме, то на четыре ковша чугуна мы получаем семнадцать ковшей шлака. Невозможно убрать это море шлака. Бригады захлебываются шлаком, вынуждены придерживать печь. И все же ее марш уже самый высокий в мире.

Коробов далее говорит, что низкосортная руда — это дело временное.

— Мы еще будем жить, — с силой произносит он, — еще увидим, что даст нам этот марш. Уже ощущаем его на язык, знаем его запах, его вкус... Вкус марша семилетки!

Вглядываюсь в неумного директора. В нем не заметно устали, фраза точна, энергична, будто не остались за плечами рабочий день, рабочий вечер. Илья Иванович охотно толкует о разных путях увеличения выплавки, но неизменно возвращается к тому, что называет делом своей жизни, — к способу повышенного давления в рабочем пространстве домны.

— Теперь этот способ общепризнан, — говорит он. — Но мы пока взяли от него лишь крохи, а можно взять целые буханки. Этим способом можно увеличить выплавку на всех печах на пятьдесят, даже на сто процентов. Пройдет несколько лет — мы оседлаем этого коня и на нем помчимся.

— Фантазер! — раздается за столом.

С нами сидит жена Ильи Ивановича, его верная спутница. Она смеется, любяще глядя на мужа.

— Вот, извольте-ка это выслушивать! — Коробов в шутку испускает тяжкий вздох. И улыбается. — Она тоже готова назвать нас лунатиками.

Сегодня вторично я слышу это слово. Его произнес в цехе другой герой Петровки — доменный мастер Егоров. Опять думаю о счастье — большом счастье человека, пролагателя новых дорог, уверенно говорящего «мы», «нас».

— Лунатиками,— повторяет Коробов.— Что ж, мы не прочь находиться в ряду тех, чьи мысли притягивает Луна, кто запустил туда первую советскую ракету. Разве нам, металлургам, запрещено на них равняться?

## 7

...Далеко отодвинулся перрон Днепропетровского вокзала, мерно стучат колеса, слегка покачивается на ходу вагон, везущий в Москву делегатов съезда партии.

Беседую с Терещенко. Хочется еще и еще разузнавать о Петровке. В купе сидит и другой делегат съезда — Прокофий Данилович Рагоза,— кажется, я уже упомянул, что когда-то, несколько лет назад, познакомился с ним на заводе имени Дзержинского. Там, на Дзержинке, он провел почти всю жизнь, превратился из сельского паренька в инженера. Его лицо от природы грубовато, но резец учебы, инженерного труда, нескончаемой общественной работы сделал его тоньше. Седоватые волосы коротко подстрижены на висках и на затылке. В какую-то минуту он без расспросов пояснил: «Подстригся покороче, чтобы не выглядеть в Москве по-стариковски». У него общительная, открытая натура — вот и сейчас он не может спрятать некоторой сумрачности. Догадываюсь: он обижен, он ревнует, почему я спрашиваю лишь о Петровке. Наконец его чувства, старожилы и патриоты Дзержинки, прорываются и вслух:

— Приезжайте к нам. У нас материал поинтереснее.

— Приеду. Но теперь, Прокофий Данилович, меня увлекла Петровка.

— Вы сначала съездите к дзержинцам, а потом выбирайте, кем увлечетесь. У петровцев столько новинок не найдется.

— Да? Но ведь они впервые дали природный газ в доменные печи. У петровцев, кроме того, своя конструкция домны.

— И у нас своя! И свои авторы... А вакуумную разливку стали на Петровке вы найдете? А офлюсованный агломерат?

Пытаюсь все же удержать свои позиции:

— На Петровке особенный директор. Директор-изобретатель.

— Изобретатель и инициатор,— добавляет Терещенко.

Рагоза парирует:

— И у нас изобретатель. Георгий Григорьевич Орешкин, слышали? Недавно он изобрел с двумя товарищами машину для обжига известняка и подачи его в шихтовой бункер. Процесс идет автоматически, без участия человека. Эти наши машины уже установлены на трех заводах.

— У Коробова,— говорю я, — есть жилка фантазера. Он весь устремлен в будущее.

Рагоза смеется.

— Тогда Орешкин трижды фантазер.

Я не сдаюсь.

— Хочу написать и о бригаде Терещенко. О бригадах коммунистического труда...

Рагоза еще веселет.

— Ну тогда в добрый путь к дзержинцам. У нас есть бригада доменщиков, которая уже получила это звание, получила первой на южных заводах. Бригада Петро Лыгуна. Приезжайте, полюбуйтесь на него: человек исполинского роста, богатырь. Он тебя, дорогой Терещенко, ты не обижайся, положит в карман и будет ходить с тобой в кармане... Как только на станции Москва-Сортировочная зародилось это движение, уже на следующий день Петро пришел ко мне: «Хочу, Прокофий Данилович, соревноваться». Я его чуть не обнял: «Дорогой, это прекрасно. Давай подработаем обязательства: вопросы идейности, коммунистической морали, учебы...»

Терещенко скромно улыбается, помалкивает. А секретарь горкома разошелся, сел на своего конька, красочно, со вкусом рассказывает

о людях Дзержинки. Я уже не возражаю: ведь и впрямь дзержинцы тоже вершат великолепные дела.

Спрашиваю себя: а запорожцы? А макеевцы? А магнитогорцы? Можно перечислять и перечислять передовые заводы: каждому есть что предъяснить, есть чем гордиться, всюду бьют родники творчества, вдохновенные люди убыстряют марш печей, марш коммунизма.

## 8

В моих планах литератора имелась еще одна зарубка: хотелось потолковать с человеком, чьи блестящие глаза вызвали в уме слово «вдохновенность», — с Николаем Александровичем Тихоновым, председателем совнархоза Днепропетровщины.

Съезд, как известно, открылся во вторник. Нужно ли говорить, с каким вниманием я, давно входящий в республику советских доменщиков, читал полосы «Правды», заполненные стенограммами съезда? Излияние чувств вряд ли здесь уместно. Читатель хочет мысли. Я тоже стремился осмыслить, понять значение и своеобразие съезда — почему он такой необычный, такой отличительный в ряду всех съездов партии?

Иду коридором гостиницы «Москва», стучусь к Тихонову. Еще рано, всего девять часов утра. Николай Александрович просит извинить его вид — он одет в темно-синюю пижаму, отнюдь не скрадывающую, замечу между прочим, его спортсменской стройности. Он сразу предупреждает:

— Жду телефонного звонка. Заказал разговор с Днепропетровском.

Уловив, вероятно, немой вопрос в моих глазах, он поясняет:

— Ведь сегодня первое... Первое февраля.

— И что же?

— Окончился январь. Первый месяц семилетки.

— И ваш план уже повышен?

— Разумеется... Это же мы делаем из года в год. А теперь сами заводы разработали свою семилетку. Всюду у нас январский план на три-четыре процента выше декабрьского. Вам, быть может, покажется, что ступенька невелика, но мы, заводские люди, знаем...

В этот миг затрезвонил телефон. Не договорив, но не забыв вновь извиниться, Тихонов быстро взял трубку; в его правой — незанятой — руке тотчас оказался карандаш.

Поглядывая на смуглый острый профиль, прислушиваюсь к отрывочным фразам.

— По всему металлургическому циклу?

Голос Тихонова сдержан, деловито спокоен, и, пожалуй, лишь игра глаз выдает переживания — несомненно, радостные.

— Так... Давайте чугуны... Сталь... Прокат... Трубы... Так... Руда... Агломерат... Марганец... Теперь по заводам. Петровцы... Кривой Рог... Не выполнил по чугуну? Какая печь? Так... Теперь по рудоуправлениям...

Карандаш быстро заносил цифры на бумагу. Закончив разговор, председатель совнархоза повернулся ко мне.

— Ступеньку взяли... Днепропетровщина план января выполнила. Вот только завод «Криворожсталь» подвел по чугуну. Правда, нехватку другие заводы перекрыли. Уж слишком там невозмутим директор. Он рассуждает так: «Вы мне даете материалы, я их загружаю в домы, потом убираю все, что печи выплавили, значит: что вы мне даете, то от меня и получаете». Я ему предложил: сядем на велосипеды, прокатимся до Харькова, я вдвое быстрее тебя приеду. Тоже будешь говорить: «Я тут ни при чем, такая дорога, такой велосипед»?.. А кто выжимает скорость?

После разговора с Днепропетровском Тихонов словоохотлив. У меня к нему множество вопросов — и о съезде, и о работе совнархоза, и о самом



Тихонове. Ведь он и шахматист и, как выясняется, велосипедист... И только что сказал: «мы, заводские люди...» Мне известно, что он специалист-трубопрокатчик, в прошлом главный инженер и затем директор Никопольского трубного завода, инженер-новатор, поднявший вместе с группой товарищей вдвое сверх проектной мощности производительность одного уникального стана, получивший за это в свое время Сталинскую премию, знающий, почему фунт новаторского лиха... Но нельзя же отнимать лишние минуты у него, делегата съезда, в единственный свободный день. Умеряю себя, решаю обойтись главными вопросами, спрашиваю, чем объяснить, что перестройка управления промышленностью, введение экономических районов, советов народного хозяйства сразу принесли столь значительные результаты.

— Это же удивительно, Николай Александрович! Даже не потребовалось, насколько я понимаю, никакой затраты времени на реорганизацию, на раскачку. Многие к этому относятся почти как к чуду. Должен сознаться, и я недалек от них.

Тихонов, не затрудняясь, объясняет:

— Возьмем, например, строительство. Вспомните знаменитые оперативки. Собираются представители одного министерства, другого министерства, третьего... Иван кивает на Петра... У каждого начальство в центре... Многоначалие... Сколько приходилось терять сил, чтобы приладить, пригнать одну к другой эти шестеренки! А они снова размыкались... Теперь мы этих подрядчиков и субподрядчиков не знаем. На месте один хозяин.

— Совнархоз?

— Дело в том, что совнархоз был бы немощен без областного комитета партии. Раньше обком тоже отвечал за строительство, за работу промышленности. Но нередко приходилось ограничиваться благими пожеланиями, ведь практическое руководство исходило от министерств. А теперь областной комитет партии несет всю полноту ответственности за хозяйство области, за экономический район. А вы представляете себе, что это значит? У нас, на Днепропетровщине, стотысячная партийная организация. Вся она сверху донизу и снизу доверху придвинулась к хозяйству. Днепропетровщина — это лишь пример. Перестройка управления промышленностью означала, что вся наша партия, эта восьмимиллионная организованная сила, еще ближе подошла к делу развития техники, занялась этим еще энергичнее, еще глубже. Вот вам разгадка того, что вы называли чудом.

Уже не дожидаясь дальнейших моих расспросов, Тихонов сам переходит к съезду, делится мыслями о съезде. До перестройки такой съезд был бы немислим. Как деловито, с какой доскональностью обсуждается семилетний план! И с каким увлечением, с какой страстью! Это неизменная страсть партии борющегося, побеждающего коммунизма.

Партия! Думаю о ней, слушая воодушевленные слова делегата съезда. Самая могучая сила истории! Весь ее опыт, традиции, близость к народу, великолепное организационное умение, способность подымать массы на борьбу — все это ныне служит плану семилетки, великому плану развернутого строительства коммунистического общества в нашей стране.

Кто усомнится, что этот план будет исполнен? Ах, да... Извините, мой зарубежный гость, я совсем о вас забыл. Прислушайтесь же к маршу творимого нами Семилетью, ощутите его запах, его вкус, откройте ваше сердце очень простым словам, произнесенным с трибуны съезда партии: «Мы живем в замечательное время».



---

---

В. СЕРГЕЕВ

★

## СУРОВЫЙ КРАЙ

Да, здесь действительно трудней  
Тем, что к родным дорога дальняя,  
Зима длинней и холодней,  
Скудней услуги коммунальные.

Тем, что сюда с материка  
Путей железных не проложено,  
И тем, о чем в стихах пока  
Распространяться не положено.

Сибирским ширям брат меньшей,  
Сквозными пургами придавленный,  
Я полюбил тебя душой  
С твоими высями и далями,

С твоими дикими озерами,  
С твоими ледяными кручами,  
С твоими лунными просторами,  
С твоими звездами падучими.

Не громким будущим своим,  
Не днями, сказками обросшими,  
Ты близким, нужным и родным  
Стал для меня людьми хорошими.

Ты, если можешь, нас прости,  
Край, убаюканный метелями,  
Что слишком мало принести  
Тепла в твои места сумели мы.

Твоя судьба нам дорога,  
Навеки вырван из неволи ты,  
Твои застывшие снега  
Горячей кровью были политы.

Расти, упорства набирай,  
Большой любовью не обойденный,  
Суровый край, далекий край,  
Частица нашей славной Родины!

## НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЕ

*И. С.*

Вот и снова что есть силы,  
Разодрав вокруг снега,  
На весь мир заголосила  
Безутешная пурга.

Ей теперь, как говорится,  
Все на свете трын-трава,  
И такое будет длиться,  
Может, день, а может, два.

Или три, а то четыре.  
Холод, сырость, темнота.  
Ветер ходит по квартире,  
Пар клубится изо рта.

Ты права, сказать по чести:  
Как-то все не по-людски.  
Кто другой на нашем месте  
Удавился бы с тоски.

Мы ж спешить пока не будем  
К столь плачевному концу —  
Нам, вполне серьезным людям,  
Это дело не к лицу.

Мы в огонь угля подкинем,  
Чай поставим кипятить  
И умом своим раскинем,  
Что нам делать, как нам быть.

Слишком долго нам не стоит  
Горевать во цвете лет,  
Положение простое:  
Ты художник, я поэт.

(Здесь до муз нет людям дела  
И отсутствует печать,  
Так что мы друг друга смело  
Можем этак величать.)

Что ж, давай, пока не поздно,  
Это царство вечных зим  
В нашем органе колхозном,  
В стенгазете, отразим:

Как в приливы и отливы  
Шебаршит прибрежный лед,  
Как собаки сиротливо  
Воют ночи напролет,

Как вздымаются...  
А впрочем,  
Стоп, коллега дорогой,  
Пусть о волнах и о прочем  
Пишет кто-нибудь другой.

Зверовода, рыболова,  
Каюра и пастуха —  
Их помянем добрым словом  
В наших песнях и стихах.

Для иных не пожалеем  
Ювеналова кнута,  
Нарисуем, как умеем,  
И повесим — красота!..

Разрисуем и повесим —  
Пусть любитесь народ,  
Пусть по всем колхозным весям  
Слава громкая идет.

А теперь пойдем к Онкоце,  
Дело важное — ликбез.  
За окном рычит, трясется  
В страшной злобе снежный бес.

Может, нас, чем черт не шутит,  
Этот дикий хоровод  
Не завертит, не закрутит  
И с дороги не собьет...

Путь привычен и недолог.  
Вот яранга, тусклый свет.  
Залезаем оба в полог.  
— Добрый вечер!  
— А-а, привет!

С побелевшей головою,  
Закаленный зверобой,  
Он, наверно, чуть не вдвое  
Будет старше нас с тобой.

Он держать легко и просто  
Научился с давних пор  
И каюрский прочный остол,  
И винтовку, и топор.

А теперь иное дело —  
Ученик прилежный наш  
В грубых пальцах неумело  
Держит тонкий карандаш.

Буква «М». Давай-ка эти  
По складам прочтем слова,  
Всем известные на свете:  
Мавзолей, метро, Москва.

Взгляд Онкоце важный, хмурый,  
И у нас серьезный вид.  
А в чоттагене, за шкурой,  
Чайник весело кипит.

Начинаем чаепитье  
И захлеб, наперебой,  
Все последние события  
Обсуждаем меж собой...

Нам-то что — в тепле, сухие,  
А вот в тундре какво:  
Встал пастух, и вся стихия  
Наступает на него.

Над Чукоткой диким смерчем  
Рвется к морю взбитый снег,  
Но идет ему навстречу  
Непокорный человек.

Пусть темнота его не ослепит,  
Пусть ветер не собьет его с дороги,  
И пусть назад отступит перед ним  
Подползшая к оленям волчья стая,  
И пусть непотухающим огнем  
Бесстрашие и воля дышат в нем,  
И пусть в яранге ждут его всегда  
Заботливые, преданные руки,  
Спокойный отдых, дружеское слово,  
И пусть под крышею его живут  
Тепло, достаток, ласка и уют,  
И пусть он не согнетса под тоскою,  
Под тяжестью лишений и утрат,  
Пусть вера и участие людское  
Его от всех несчастий оградят.

Снова путь наш сквозь пуржищу,  
По-пластунски, снег в лицо.  
Пред собой руками ищем,  
Где же? Вот оно, крыльцо.

Снежный горб с порога сколот.  
Тонкий иней на плите.  
Ух, какой собачий холод!..  
Но ведь мы уже не те.

Мы сейчас с тобой прогоним  
И мороз и этот мрак.  
Ну-ка, дай твои ладони  
И присядь ко мне. Вот так.

Друг мой славный, друг хороший,  
Ты ждала такого дня?  
Ты же просто знать не можешь,  
Что ты значишь для меня.

А пурга? Да леший с нею!  
Перестанет!  
Ясным днем  
Мы оденемся теплее,  
Мы собачек запряжем,

Как возьмем, да как припустим —  
Засверкает снег искрой,—  
Там, за тем широким устьем,  
За отвесною горой,

Встретит нас с тобою снова  
Замечательный народ...  
Север, Север, край суровый,  
Край разлук и непогод,  
Ты зовешь к себе, как к бою,  
Тех, в ком пыл не охладел,  
Сколько связано с тобою  
Долгих дум и трудных дел!

Что со мною ни случится,  
Ты надежней, чем броня,  
Неразрывною частицей  
Будешь в сердце у меня.

Тягу к теплomu местечку  
Кто, скажи, из нас берег?..  
Ну-ка, друг, заглянем в печку,  
Пошуруем уголек.

Заплясал огонь упруго,  
К стенам бликами пошел,  
И сидим друг против друга  
Мы с тобою... Хорошо!..

## ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Мы в дорогу вышли спозаранку  
С думою об отдыхе и сне,  
Ветер, пробиваясь под кухлянку,  
Шарит жесткой лапой по спине.

Путь наш в темноте кромешной жуток.  
Сухопутный заполярный шквал,  
Нас опередив на двое суток,  
Оголил гранитный перевал.

С хрипом пробирается упряжка  
Вдоль по гребню, острому, как нож,  
Загредишь отсюда вверх тормашкой —  
И костей своих не соберешь.

Спуск — и ветер бьет, лицо мороза,  
С каждую секунду сильней.  
И с наждачным скрежетом полозья  
Высекают искры из камней.

И опять кидает на откосах  
В липкий жар и судорожную дрожь...  
Тут-то и столкнулись носом к носу  
Мы с Романтикой:  
— Не узнаешь?..

Таковы-то, брат, мои дороги.  
Видишь — я живу не в облаках,  
У меня натруженные ноги,  
Твердые мозоли на руках.

Звезды светят, медленно мигая,  
Ткет сиянье беглые круги —  
Это их обязанность прямая,  
Ну, а ты — собакам помоги.

Пусть вблизи я выгляжу иначе,  
Ты об этом очень не грусти  
И живи, души своей не пряча,  
Верь в себя, в друзей своих, в удачу —  
Вот тогда нам будет по пути.

## ЧУКОТСКАЯ ВЕСНА

Ревет пурга в начале мая,  
И, как под стражей февраля,  
Ее удары принимая,  
Лежит притихшая земля.

Под снежной грудой, без пульса,  
Жила весна в плетях корней  
И дожидалась, чтоб вернулся  
Приток тепла и света к ней.

Доверившись небесной шире,  
Она готовилась расцвести,  
Забыв о том, какие в мире  
Запасы тьмы и стужи есть.

И вместе с зыбкой колыбелью —  
С шершавым снегом под ногой,  
С ледком под робкою капелью —  
Она отброшена пургой.

Но и на миг подумать страшно,  
Чтоб, в стольких муках рождена,  
В последней схватке рукопашной  
Была весна побеждена.

Она уже по косогорам  
Берет с боями рубежи,  
И под ее крутым напором  
Зима в расселины бежит.

И оторвать не можешь взора:  
Над толщей вечной мерзлоты  
Звенят ручьи, блестят озера  
И распрямляются кусты.

И чайки стонут ошалело,  
И дали сказочно ясны.  
Ну разве мыслимое дело  
Жить человеку без весны!

\* \* \*

Я люблю перед дорогой  
По обычаю присесть  
И задуматься немного,  
Если только время есть.

Но все чаще почему-то  
Суета и беготня  
Все свободные минуты  
Отнимает у меня.

И всегда привык спешить я,  
Тратя времени запас,  
До отъезда, до отплытья,  
До отлета всякий раз.

Путешественник бездомный,  
Обживая шар земной,  
Знаю: есть еще огромный  
Мир неведомый, иной,

Мир, рожденный той мечтою,  
Что пришла в семнадцать лет  
И с тех пор несет со мною  
Ношу радостей и бед.

Счет теряя дням дорожным,  
Я забочусь об одном —  
Самым близким и надежным  
Стать в желанном мире том.

## СЧАСТЬЕ

Когда не спало́сь, не мечталось,  
Когда становилось невмочь,  
Когда наседала усталость  
И некому было помочь,

Когда на дороге неторной  
В крутой попадал переплет,—  
Без лишних сомнений, упорно  
Ты верил, что счастье придет.

И это тебя утешало:  
«Опять не везет — ну и пусть,  
Сегодня хорошего мало,  
А завтра уж я развернусь!»

Ты сделаешь что-то такое,  
Что станет заметным для всех,  
И сдружатся прочно с тобою  
Известность, признание, успех...

И верил ты все почему-то,  
В мечтаниях время губя,  
Что завтра придет та минута  
И сделает все для тебя.

Года безудержные мчались,  
Бывало порой тяжело,  
И радости тоже случались,  
Но счастье не шло и не шло.

А лет впереди не прибудет.  
И ясно ты понял тогда,  
Что не было, нет и не будет  
Минуты такой никогда.

Есть нужные мелочи буден,  
Законная доля в труде,  
Плохие и славные люди  
И трудный, сегодняшний, день.

Творить, не теряя азарта,  
И славить земное житье —  
Ей-богу, не стоит на завтра  
Откладывать счастье свое!





---

П. ВЕРШИГОРА

★

## РЕЙД НА САН И ВИСЛУ\*

17

— С уточную стоянку в Кукуриках мы хорошо использовали, Василь, — сказал я утром следующего дня, заходя в штаб. — Похоже, что всякая организационная чепуха кончается... А какая мороза в первые дни была — это же смехота... Волю! А?

Начштаба кивнул головой утвердительно. Настроение было хорошее. Оттепель сменилась обильным снегопадом. Настоящие крещенские морозы еще не наступили, но санный путь был уже обеспечен.

Объезжая село, где мы решили остаться еще на один день, я заехал в санчасть. Бесспорно, нам не обойтись без серьезных стычек и боев с противником. Значит, будут и раненые. После возвращения из Карпат Москва прислала нам нового начальника санчасти, доктора Скрипниченко. Молодой, энергичный, с руками пианиста и фигурой бегуна на дальние дистанции, он уже не раз бывал у меня с докладом. Невольно сравнивал я его с нашими первыми врачами: Диной Казимировной Маевской — начальником нашей санчасти с первых же дней организации отряда, с ее преемником Иваном Марковичем Савченко. Савченко погиб смертью героя при выходе из Карпат. Скрипниченко вроде моложе, оперативнее, энергичнее. Но как он справится в боях? Правда, теперь у нас уже была целая санитарная служба. Опытные санитары, хирургические сестры, врачи в батальонах. Да и сам Скрипниченко, ученик генерала Березкина, главного хирурга военного госпиталя в Москве, производит хорошее впечатление. Он еще на стоянке в Собычине поставил санчасть на чисто военную ногу, перенося в партизанские условия все лучшее, что давал опыт полевой хирургии на фронтах первых двух лет войны.

Не обошлось у нас в медицине и без западноевропейского опыта. В Черном лесу под Станиславом мы спасли беглецов из станиславского гетто. Они, как загнанные звери, скрывались в лесной чаще. Среди них был доктор Циммер. Он получил высшее медицинское образование в Праге, долгие годы жил и практиковал в довоенной Польше, потом, при освобождении Станислава в 1939 году, стал советским гражданином, а затем попал в партизаны. Правда, он не был хирургом по специальности. Но в условиях частной врачебной практики, процветавшей в Польше, конечно, ему приходилось быть врачом-универсалом. Доктор Зима, как переименовали его из Циммера наши партизаны, был очень полезен в санчасти. Мы захватывали немало немецких медикаментов, в которых не всегда могли разобраться наши врачи. С момента появления доктора Зимы запасы этих медикаментов быстро пошли в ход. Был Циммер полезен и нашей разведке, штабу. Владея немецким, польским, чешским языками и немножко «кумекая» по-венгерски, он по совместительству был

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

переводчиком и комментатором документов противника. В свободное время почитывал и мне и разведчикам различные газетенки. А с момента нашего приближения к Польше вводил меня в курс сложнейшей довоенной политики тамошнего странного для нашего понимания государственного устройства.

— Перед войной, товарищ командир, да будет вам известно, в Польше было тридцать шесть политических партий,— тоном лектора или частного адвоката, жестикулируя выпренне, говорил Циммер и, загибая пальцы, перечислял их. Он немного бравировал своими политическими познаниями. Когда у меня бывало свободное время, я с интересом выслушивал его «лекции». Хотелось, поелику возможно, поднять завесу странного, чуждого и запутанного буржуазного мира, с которым, может быть, придется встретиться вскоре. Я не ясно отдавал себе отчет, зачем все это может мне понадобиться, но предчувствие и любопытство заставляли думать: «А чем черт не шутит! Все же некоторая ориентировка не помешает...»

В санчасти в качестве ассистента доктора Скрипниченко я увидел фельдшера-подрывника Николая Сокола. Все так же застенчиво улыбаясь, он ответил на мое рукопожатие.

— Не подключить ли и докторов в нашу проверку? — сказал я, вернувшись в штаб уже около полудня. Там я застал Мыколу Солдатенко с его новым помощником по комсомолу Мишей Андросовым.— Иголки и нитки, пуговицы, шило, мыло и НЗ соли — дело, конечно, полезное. А для сегодняшнего маневра и первоочередное. Но заодно насчет шивовости, чесотки и всяких таких дел надо подумать... Тем более, что пока раненых в санчасти почти нет.

— Но главный вопрос — куда идти — так на совещании мы и не решились,— сказал Миша Андросов. Он впервые присутствовал на штабном совещании и рвался к деятельности.

Мыкола быстро глянул на Мишу. Затем перевел вопросительный взгляд на меня. «Сказать ему?» — выразительно спрашивал этот взгляд.

Я пожал плечами.

— Ты еще про цель всего рейда запытай...— усмехнулся Мыкола.

— Да, кстати. Я давно интересовался этим...— глядя на нас, сказал этот хороший высокий парень с порывистым характером.

Мыкола взял Мишу под руку и, отведя его на два шага в сторону, спросил громким шепотом:

— Слухай сюды. Ты, часом, не знаешь, за що Каин убил Авеля? Не знаешь? Закона божьего не изучав. Так я скажу. Авель все вынюхував у батька Адама оперативные планы. Поняв?

Мы все втроем рассмеялись.

— А всерьез,— продолжал Солдатенко,— за всю войну мы ни разу не задавали таких вопросов. Дед Ковпак или Руднев на таку цикависть так нам отвечали: «Идем, куда трэба».

И я впервые подумал: «А не пора ли открыть конверт? Нет, кажется, еще рано. Да и Строкача надо запросить по радио. После вчерашних семнадцати молний следует, пожалуй, обождать...»

Через час я снова был на коне.

Доктора охотно и даже с энтузиазмом подхватили нашу идею о сан-проверке. И, как узнал я позже, эта забота о гигиене отряда намного повысила мой командирский авторитет в глазах врачей, медперсонала и даже старшин. «Помнят хлопцы комиссара Руднева. Он был бойцам отец родной. Особенно тем, кто пролил свою кровь за Родину».

Заехал я из штаба еще и на батарею. Там шел какой-то спор о веретенном масле и хомутах для артиллерийских лошадей.

Поглядывая с коня через плетни, я видел во дворах выстроенные отделения и взводы. Это командиры рот, старшины и медсестры устраи-

вали небывалый еще смотр. Заглядывали за воротники и в лихие партизанские чубы.

— Проверка на шивость идет полным ходом,— доложил Скрипниченко.

— Чтобы мне и шило, и мыло, и прочий солдатский немудрящий скарб был в полном ранжире,— строго разглагольствовал бывший бронебойщик Тимка Арбузов, произведенный недавно в старшины санчасти.

Смущенные и не всегда опрятные партизаны виновато вытягивали руки по швам.

А басок Арбузова окающей уральской речью гремел по дворам и взводам.

В другой роте старшина с запорожскими усами въедливо допытывался:

— Иголка и нитка есть? А ну, покажи! А пуговица если оборвется? Нэма. Какой же ты автоматчик? Как же ты фашистов будешь на ходу стрелять, если, скажем, у тебя штаны в самом разгаре боя свалятся?

Хохот, смех, шутки.

«Словом, ежели наша выдумка с погонами и не выйдет, то все же будет хоть от этой проверки кое-какой толк»,— подумал я.

После двух часов дня по сигналу началось построение колонны. Еще раньше к изолированной школе подъехало трое саней, и в них был погружен таинственный груз, наглухо укрытый плащ-палатками. В половине третьего была дана команда: «Шагом марш!»

В голове колонны шел батальон Кульбаки. Сидя на оседланном артиллерийском битюге и пропуская мимо себя все свое войско, рослый Кульбака дождался, пока с ним сравняются роты Давида Бакрадзе, улыбнулся и вдруг громко, на всю колонну, пропел: «Кукареку!»

— Ты кому эту песню поешь, генацвале?— смеясь, спросил Давид.

— Так этому же, Гончаренке... А могу и самому Степану Бандере. И Эриху Коху тоже...

— За компанию? Ты, дорогой кацо, уже один раз пел эту песню! Кажется, так?!

— Когда? — спрашивает Кульбака в недоумении.

— А на Яблоновом перевале. Помнишь, на венгерской и румынской границах? Один петух на три державы поет.

— Да горела бы она без огня и без дыму, та граница,— отплеывается Кульбака, которому, видимо, больше всех досталось на карпатских высотах.

— Не любишь? — смеется Давид. Он знает эту слабость Кульбаки и частенько подтрунивает над ним, пугая бравого степняка призраком Карпатских гор.

А колонна уже рысью движется вперед. На юг, на юг! Ход конем! Впереди еще светло, но с востока и севера горизонт охватывает темно-синее грачиное крыло ночи. Колонна партизан на рысях уходит к светло-розовому югу. Сумерки быстро догонят ее.

Я гляжу на гарцующего Мишу Андросова. «Мы повернули круто, на сорок пять градусов... Уловил ты это, любопытный комсомольский ватажок? Или думаешь, что идем все вперед, на запад, как и многие неопытные бойцы? Надо будет политработникам сказать, чтоб не только в газеты и сводки поглядывали, но и в военные карты тоже...»

Десятка два командиров выскочили верхами на окраину села и ждут нас. Подъезжаем. Стоят на обочине дороги, с любопытством поглядывают то на меня, то на Войцеховича. Собралась кавалькада человек в тридцать. Пять комбатов, пять комиссаров с ординарцами, Миша Андросов, командир кавэскадрона Саша Ленкин, его штабист Тутученко, разведчики Бережной, Журкин и Кляйн. И главный именинник предстоящего дела помпохоз Федчук.

— Галопом вперед!

Летят ошметки снега из-под копыт. Хлещет ветер в лицо, холодит снежная пыль, оседающая за воротники шинелей и стеганок. Через три километра «сбавляем скорость». Еще десять минут, и мы на широкой рыси выскакиваем на развилку дорог к хате лесника. Возле нее уже стоят сани, доверху нагруженные погонями.

— Открывай! — командует Федчук.

Не останавливая колонну, командиры батальонов раздают ротным и взводным погоны по количеству бойцов и офицеров.

— Всем на протяжении часа переобмундироваться. Приказ командования. Всем надеть погоны!

— Соответственно занимаемой должности, — объясняет Кульбака.

— Вот так маскарад, — басит кто-то из ездových.

— Припозднились маленько... Надо было на Новый год.

В колонне вспыхнул смех. Но его быстро потушили командные окрики. Братва сразу поняла, что тут дело нешуточное.

Когда прошла почти вся колонна, была дана команда на часовой привал. Выставлены заслоны, вдоль дороги вспыхнули десятки костров. Хлопцы прилаживают знаки различия старательно и тихо. Прохожу по уже утоптанной лесной обочине. Слышу за спиной свистящий шепот:

— Где сапоги достал?

И в ответ на это громкий смех и откровенная насмешка:

— Старшина выдал перед рейдом. Не знаешь?

— Брось погибать. Знаю я старшину. Полицай попался в смысле сапог «наваристый».

— Да нет, правда, подводы с Большой земли пришли. А наш Тарасыч цоп — и готово. А ваш старшой неужели проморгал?

— То-то вы своим не нахвалитесь. А наш проморгал.

— Теперь жди, как попадется «наваристый» в смысле обуви полицай...

В отвесах костров партизаны быстро прилаживают на плечи кожаных, немецких шинелей, коротких пиджаков самодельные знаки различия.

— Вот и пригодилось шило и мыло, — смеется кто-то, откусывая нитку у пришитой пуговицы. — Правильно наш старшина требовал вчера. Угадал. Чем бы я теперь себя украсил? А так иголка и нитка да пуговица в придачу на месте.

В темноте и по неопытности случались и курьезы. Кто-то без привычки, наспех прихватывая погоны, пришел их шиворот-навыворот. У другого оказался один погон артиллерийский, с черным кантом, другой обычный — с красным. Не обошлось и без «карьеристов». Но это уже выяснилось на следующий день. Когда при солнце, которое осветило белую, слепящую простыню снега, уже в степи, люди стали лучше прилаживать новые знаки различия, вырезая звездочки из консервных банок, нашлись младшие лейтенанты, нацепившие себе на погоны звезду размером не меньше маршальской. А какой-то старшина, не разобравшись в знаках, нашол на свои погоны две широкие красные полосы, произведя сам себя не то в майоры, не то в полковники. Все это было на следующий день.

Но до этого дня еще надо было дожить. И не всем это было суждено.

Наш стремительный марш-маневр на юг, подкрепленный на ходу маскировкой с погонями, начался в ночь на 21 января 1944 года.

К двадцати часам мы подходили с севера к железной дороге Ковель — Холм. Сверясь по карте, начштаба доложил:

— По времени наша разведка должна быть уже на перегоне Любомль — Руда.

— А голова колонны?

— Вошла в Подгородно...

Я приказал кавэскадрону остановиться в этом селе и подготовиться к броску.

Мы вскочили на коней, примчались к окраине Подгородна. В доме, возле которого сбились в кучу оседланные кони, быстро расспросили разведчиков, только что вернувшихся с переезда.

— Кавэскадрону с ходу захватить переезд! Выполняйте!

Ленкин козырнул своим неповторимым, чуть-чуть небрежным кавалерийским жестом. По потолку хаты метнулась тень нагайки, и Ленкин повернулся через левое плечо. Все вышли на улицу. Кавэскадрон взял с места в карьер и скрылся за поворотом.

Тишина. Начинается мягкий снегопад. Белые хлопья, медленно кружась в воздухе, падают на мокрую незамерзшую землю. Дороги уже не видно. Уши заложила глухая снежная тишь.

Колонна приготовилась к прыжку. Вслед за эскадронам несколько пеших рот, словно тени, бесшумно исчезают в белой вате снегопада. Зрение, слух обострены. Вроде все спокойно, но ловлю себя на том, что каждую минуту поглядываю на циферблат светящихся часов.

— Заслоны? — спрашиваю у начштаба, чтобы не молчать.

— Две роты от второго батальона.

— Минеры?

— Уже приданы ротам с вечера.

Снова смотрю на часы. «Нехорошо. Нервничаю... Прошло всего сорок секунд...»

И, словно моральная помощь, с саней, на которых, укрывшись плащ-палатками, лежат бойцы второго эшелона, долетает голос:

— Эге, хлопцы, главное перед боем — прищемить себе нервы.

«Эх, ребята! Попробуй вот, прищми их, когда время идет медленно, а мысль бежит все быстрее и быстрее... Ну хватит. Действительно — прищми себе нервы!»

— Кульбака! Давай выводи свои заслоны!

Минут через двадцать от Усача прискакал связной с докладом.

— Переезд захвачен! Охрану переезда накрыли, как цыплят. Сдались без выстрела.

— Колонна, шагом марш!..

Команда глухо передается назад и гаснет в ватной дали. Ни эха, ни скрипа полозьев. Тишина.

В двадцать три часа двадцать минут голова колонны начала «форсировать» железную дорогу. Еще Рудневым, нашим любимым комиссаром и опытным военным, было узаконено это слово. Кто-то из знатоков уставного языка заметил однажды:

— Форсируют реки, товарищ комиссар. А мы форсируем железки и шоссейки?! Неграмотно как-то...

Руднев вскинул на грамотея черные глаза.

— Реки не форсируют, а через них переправляются. Если с боем — тогда форсируют. А мы еще ни одной железной и шоссейной дороги без боя не переходили... И некогда нам сейчас новые слова выдумывать. Народ привык так говорить, и пускай.

И вот уже прошло минут пятнадцать, как мы начали «форсировать» железную дорогу Ковель—Холм—Люблин.

Было у нас такое неписаное правило: при переходе железной или шоссейной дороги кто-либо из старших командиров должен обязательно дежурить на переезде, пропуская мимо себя колонну. На ходу надо и подбодрить бойцов и принять тут же, в самом центре возможного боя,

быстрое решение в часто меняющейся, порой сложной обстановке: бой может вспыхнуть и справа, и слева, и впереди, а иногда и позади. В данном случае, сегодня, справа был запад, слева — восток, а двигались мы строго на юг.

До сих пор в этом рейде мы «форсировали» лишь две железные дороги. Но обе были второстепенными рокадами<sup>1</sup> и не представляли большой опасности. Сейчас перед нами была железная дорога, идущая прямо к фронту. Да к тому же недалеко сходились, сливаясь в одну, две важные магистрали: из Коростеня и из Ровно. Скрестившись в Ковеле, они уходили на север — к Бресту и на запад — к Люблину. Понятно поэтому, что вместе с заслонами на переезд выскочили и начальник штаба и я.

Из донесений разведки и опроса населения близлежащих сел мы знали, что движение по этой «железке» активное, перевозятся главным образом военные грузы. К тому же на этом последнем перегоне перед Польшей, прикрытом бандеровскими гарнизонами, диверсии советских партизан до сих пор были очень редки.

— Заминировали, залегли и окопались,— коротко доложил связной Кульбаки.

Это значило, что оба заслона, выброшенные вдоль пути на километр—полтора от переезда, уже успели заминировать полотно.

Я вспомнил ругань Абрамова и улыбнулся. «Сегодня как? Вибрационными или нажимными? Да хоть чертом — только бы надежно сработали мины-голубушки...»

В двадцать три часа пятьдесят пять минут со стороны Польши слышался шум поезда. Эшелон шел довольно быстро. Оставались последние секунды до взрыва. Я впился взглядом в циферблат часов, физически ощущая, как справа лежат, не шевелясь, роты Кульбаки. И сразу, как только вспыхнуло багровое пламя и воздух сотрясся от десятка килограммов тола, поднявших паровоз на дыбы, шквальный ружейно-пулеметный огонь обрушился на врага. Его покрывали глухие бухания броневое. В тумане утихавшего снегопада были видны смутные очертания свалившегося на бок паровоза.

— Добивают. Как кабана. Правильно, Кульбака! Выпусти ему кишки! — закричал в восторге Войцехович, на миг превратившийся из методичного, спокойного начштаба в лихого забяку.

Было слышно, как из пробитого котла со свистом и шипением вырвался пар. Шум и стрельба усилились.

— Высоко бьешь,— засмеялся Вася, когда над головой раздался знакомый посвист пуль.

С ним творится что-то удивительное. «Не к добру, что ли, наш начштаба так развеселился!..»

Минут через десять после начала боя на переезд примчался второй связной от заслона.

— Где командир? — запыхавшись, с ходу кричал связной.

— Ну, что там? Докладывай.

— Подбили!.. Паровоз и два вагона на боку. Остальные сошли с рельс.

— Вижу. С чем эшелон?

— Командир роты приказал доложить... эшелон с рогатым скотом.

— Охрана есть?

— Да, вроде. Отстреливаются!

— Паровоз видел?

— Своими глазами — под откосом. Вот он, как туша. Близо и подойти нельзя, двух наших ошпарило трошки.

<sup>1</sup> Дорога, идущая не к фронту, а вдоль него.

— Вагоны видел?

— Да, вроде бачив,— немного замявшись, отвечает связной.

— Тоже своими глазами?

— Так точно, товарищ командир!

Длинная очередь прижимает нас к земле. Отползаем к будке. На переезде барахтается раненая лошадь.

Через две минуты переезд очищен и движение возобновляется.

— Вагонов много?

— Так кто ж их считал! Может, десять, а может, и пятнадцать.

С окнами...

— С какими окнами?

— Да вроде с зеркальным стеклом. Двойные рамы.

— Что за чертовщина? Какие же зеркальные стекла в товарных вагонах?

Связной топчется, жметесь.

— Так вагоны-то классные, товарищ командир.

— А ты говоришь, эшелон с рогатым скотом. Что ж они, быков в плацкартных возят, что ли?!

— Так приказано доложить начальником заслона, товарищ командир. И товарищ Кульбака говорит: «Докладывай: ревут, як быки». А вагоны я сам, своими глазами видел.

— Вагоны классные. Значит, с пассажирами. Надо срочно выяснять — просто с пассажирами или с войсками,— вмешался Вася.

— Какие уж тут могут быть мирные пассажиры! Пассажир тебя очередью полоснул, что ли? Ясно — с войсками. Да еще с отборными. Беги, связной, вперед, передай приказ командиру роты: охрану перебить, а если он утверждает, что там скот,— так захватить! На отбивные пустим.

Связной исчезает во мраке ночи.

Понимая, что самое важное в данный момент — дать возможность колонне проскочить через переезд, на который все чаще и чаще залетают шальные пули, я отдал команду:

— Форсировать движение!

Сразу замелькали, размахивая нагайками, маяки. Ездовые нахлестывали коней, на рысях проскакивая открытое место. Чутко прислушиваясь к хлопкам выстрелов с заставы, кони сами рвались вперед. Секундами вспыхивал и шквальный огонь — противник очухался и начинал собираться в кучки. Кульбака, не шибко инициативный, но исполнительный, через десять минут поднял роту в атаку.

Бойцы с ходу ворвались в первые вагоны. Там, видимо от толчка при крушении, было много раненых и контуженных. Они почти не оказали сопротивления. Захлопали редкие выстрелы из пистолетов. Это офицеры, не пожелавшие сдаться в плен, заканчивали расчеты с жизнью. Небольшая пауза, и вдруг шквал огня с середины эшелона. На переезде невозможно устоять. Задержав под уздцы упряжку очередных саней, ждем. Шквал стих.

— Похоже, что били легкие пулеметы,— говорит начштаба.— Теперь меняют диски.

И сразу «ура». Опять шквал огня. Несколько гранат. Наших? Фашистских? Похоже, наших. И снова тишина.

Атака нашей роты явно захлебнулась.

— Как бы не смяли ее — уж очень дружно гитлеровцы контратаковали,— забеспокоился начштаба.— Огонек у них что-то силен. Не стал бы Кульбака отходить.

Но рота, слышно, залегла вдоль полотна железной дороги.

Еще через несколько минут, сопровождаемые конвоем, на переезде появились первые пленные.

— Роберта Кляйна на переезд!

Он уже давно тут. Ему помогает Вальтер из группы Журкина — немецкий коммунист-коминтерновец.

— Аус дем фатерлянд...— бормотал здоровенный верзила.

— Танкист? — спросил по-немецки Роберт.— Дивизия?

— Четвертая армия...— быстро ответил долговязый обер-лейтенант, шелкая каблуками.

Через несколько минут Кляйн, допросив трех-четыре пленных, выяснил, что эшелон из двенадцати вагонов, груженный до отказа, вез фашистских офицеров-отпускников.

— За отличия на Восточном фронте они получили внеочередные отпуска, отбыли их и возвращались «аус дем фатерлянд»,— закончил Кляйн.

— Да, лакомый кусок сала! — Притаптывая снег сапогом, Шумейко почесал затылок.— Эх, жаль, мой батальон еще не подтянулся.

— Гони в батальон, да уши не развешивай — противник серьезный. Это не какие-нибудь вояки с Горыни да Стохода. Действуй!

— Есть, приказ голов не вешать, а глядеть вперед! — Шумейко сорвался в галоп навстречу своему батальону.

— Васыль! Поторопить колонну! Послать связных на обе заставы! Каждые пять минут пусть докладывают обстановку. Сейчас же, с ходу, высылай подкрепление Кульбаке!

По заведенному правилу, когда требовалась помощь, в бой бросалось то подразделение, которое в этот момент подходило к переезду.

Сейчас это военное счастье подвалило пятому батальону — бывшему Олевскому партизанскому отряду. Им-то и командовал капитан Шумейко. Разведчик он замечательный, в особенности в западноукраинских районах. Он отлично владеет галицким диалектом, а при выходе из Карпат наловчился даже изображать собой бандеровца. Капитан уже «прибавил ходу» своему войску и стоял на переезде веселый и лихой, предвкушая боевую удачу и славу. Но не слишком храброе его войско под пулями, залетавшими с места боя, с такой быстротой стало переползать и перебегать, что заставить батальон прямо с марша занять боевые порядки капитан так и не смог. Олевцы, повинуясь какому-то стадному страху, валили через переезд очертя голову. Перебежав же опасную зону, то залегали, то уползали в степь. Когда же среди них оказалось человека три раненых и те завывали от страха и боли, батальон Шумейко охватила уже настоящая паника.

— Забирай их, чумовых, к чертовой бабушке! Очищай переезд! — услышал я возле будки мальчишеский тенорок Пети Брайко.— Мой батальон подходит! Разрешите в атаку, товарищ генерал! — в горячке перепутав звания и вспомнив не то Руднева, не то Ковпака, закричал он.

— Давай, Петро Евсеевич, давай!

— Есть, товарищ командир. Будэ зроблено!

Шумейко все же удалось собрать и повести за собой к роте заслона пятнадцать—двадцать человек.

Бравый Брайко, в голове у которого, видимо, молниеносно созрел план атаки, разделил свой батальон на две части и повел их по обеим сторонам полотна.

Бойцы бежали, не пригибаясь, и громкими криками подбадривали залегшую, отчаянно отстреливающуюся роту батальона Кульбаки.

— Параллельной атакой. По два ручника на фланги, автоматчики и гранатометчики в середину...—командовал Брайко.

— Не забудь связаться с командиром роты заслона! — крикнул вдогонку ему начштаба.— С Кульбакой держи связь! Не перебейте друг друга, черти!



Повозки, тачанки, верховые, пешие бойцы стремительно пролетали перед моими глазами. Теперь уже без шуточек и перебранок. Лица серьезные, глаза сосредоточенные. Оружие у всех на боевом взводе. Это обоз батальона, ходивший с Матюшенко в Карпаты из Брянских лесов. А батальон во главе с Брайко уже схватился с фашистским офицерем.

С каждой минутой, с каждым выстрелом становилась все более ясной обстановка на заслоне. Противник — серьезный, квалифицированный, видимо знающий не только фронтовую тактику, но и партизанскую. «Теперь ни на секунду не потерять управления этим сложным боем. Справится ли Брайко?..»

Удар батальона Брайко был силен. Рота заслона Кульбаки ободрилась и атаковала с севера. Короткий, но ожесточенный бой с применением гранат закончился разгромом врага. Основная масса живой силы была уничтожена. Паровоз взорван, вагоны сожжены. Оставшиеся в живых гитлеровцы расползлись по лесу.

У нас не было времени и возможности заниматься ни трофеями, ни подсчетом побитых гитлеровцев. Обозы уже прошли переезд.

— Не втягиваться в преследование противника! — распорядился я, покидая переезд.

Впереди, в степной лощинке, нас ожидал с командирской упряжкой Коженков.

Еще не кончилась перестрелка, а со стороны Ковеля к другой заставе приблизился еще один эшелон.

И тут в бой вступил наш восточный заслон. Взрыв мины, залп бронестрелкового и пулеметов зазвучали оглушительно. Извергающий облако пара, но не добитый еще паровоз второго эшелона попятился назад. Заниматься им уже некогда: через переезд прошел и арьергард.

Вражеское подкрепление стало наугад класть мины, ночное звездное небо, словно летний дождь метеоритов, прочертили трассы многочисленных пулеметов.

— Ну, теперь лупи, фриц, в божий свет, как в копейку, — сказал довольный начштаба. — Разрешите снимать заслоны?

— Снимай, Вася, снимай. Брайко и Кульбаку пристраивай в хвост. Они арьергард теперь.

— А главный кто?

— Выходит, Шумейко...

Мы переглянулись.

— Да с такими главными навоюешься...

— Но нет же времени для перестройки колонны.

Небо распогодилось, весело засверкали умытые звезды, перемигиваясь и играя, а поля заголубели пушистым нежным ночным светом. Дорогу замело, и на санках вчетвером — начштаба Войцехович, Саша Коженков, новый мой ординарец Ясон Жоржолиани и я — мы резво повернули на юг. Застоявшиеся в лощинке сытые кони побежали споро, и на заметенной дороге мы, видимо, проглядели поворот. Только на другой день, разбираясь тщательно по карте, поняли, что свернули на юго-запад и угодили прямо в села, где стояли заставы так называемой самообороны бандеровцев. Санки наши пролетели три хуторка и одно большое село, не встретив никаких постов. Только во втором селе мы остановились расспросить дорогу у вышедших с толстыми палками крестьян. И тут я вдруг увидел, как из-за угла хаты в нас целится какой-то человек. Еще раньше его заметил начштаба. Погрозив нагайкой, Войцехович крикнул:

— Я тобі стрелъну! Ось я тобі зараз стрелъну!.. — А затем в морозном воздухе под звездным украинским небом повис длиннейший и виртуознейший набор соленых солдатских слов.

— То кто? — кивнув в сторону скрывшегося за углом, спросил я у ближайшего из самодеятельной охраны.

— Де? Ты, Мыкыта, бачив?

— Ничего я не бачив, — почесывая свой загривок, отвечал Мыкыта.

— И мы не бачили, паны-товарищи, — хором ответили мужики.

— Ну, раз вы не бачили, так и мы не бачили, — стараясь придать своему голосу как можно более безразличия, ответил я, подтягивая незаметно автомат. — Раз так, хай буде и так. И ваше счастье, що он не стрельнул. Ну, Мыкыта, подойди поближе. Садись.

Мыкыта не очень решительно шагнул к саням и присел на них боком.

— Коженков, вперед! — тихо скомандовал Войцехович.

Лошади взяли с места крупной рысью.

— Вернется ваш Мыкыта! — крикнул Ясон, на всякий случай все же держа автомат на взводе.

Выехав на полевую дорогу, мы расспросили проводника, где находится село Мосур — конечный пункт нашего сегодняшнего марша.

Мыкыта, умащиваясь ногами поудобнее на облучке саней, повернул к седокам свое усатое лицо.

— Эге, хлопцы, так вы ж сильно праворуч забрали. Придется нам через курень пана атамана Сосенко проехать.

— Погоняй!

Но все же мы с начштаба задумались. Сразу спрашивать провожаемого насчет объезда было бы неправильно. Успеется. Главное — не терять времени и не свернуть в сторону от общего направления колонны. Но на всякий случай мы вытащили и изготовили оружие.

Наш проводник оказался на редкость разговорчивым и догадливым.

— Я все разумию, товарищи. Ну, и шороху вы натворили на той германовой зализныци. Наши звязковцы охляпом прискакали. Говорят, армия идет с пушками, с танками. Герман текает аж до Польши.

Мы ухмылялись, понимая, что не только у бандеровцев, но и у нас самих по выходе из боя получилась порядочная неразбериха.

А на связного напала говорливость.

— Гей, гей, як бы наши так воевали! А мы через того куренного проскочим вмиг. Я крайними улицами проведу. Як мышь, проскочим.

Проскакивать, как мышь, нашему престижу улыбалось мало. Но мы помалкивали, припрятав на время партизанский гонор. Приглядываясь к проводнику, я думал: «Подведет или выведет?» И вдруг, не дожидая до куреня Сосенко, мы встретили порожие санки, мчавшиеся нам навстречу. Ясон успел схватить коней под уздцы. Ковырнув автоматом в соломе, он вытащил человека, в котором при свете луны мы сразу признали ездового наших особистов.

— Куда же ты дел пленных немецких офицеров? Где они? — спросил я ездового, ожидавшего от меня явно не таких вопросов. Он отстал от основной массы и сейчас гнал в обратную сторону. Мы завернули коней и пересели в его сани вместе с Войцеховичем.

Ездовой, худощавый, с бородкой клинышком, неожиданно, срывающимся голосом, «отрапортовал»:

— Пленных офицеров немецких не встречал, товарищ командир. А бандеры местные меня километра через три от переезда задержали. Думал, живым не вырвусь. Шестеро с дубинками ко мне в сани из кустов ввалились... Ну, пришлось... — И он замаялся.

— Как же это ты, друг, от обоза оторвался? И о чем речь с бандитами вел? — спросил я, успокаиваясь от горячего боя и минувшей опасности. — Да давай, поворачивай правее. Проскочим лошинку прямоком — должны к селу попасть. Путь сократим и к середине колонны вырвемся.

— Бандиты меня потому не тронули, товарищ командир, что я им про армию соврал, то есть сказал, что Красная Армия бой ведет. Когда они меня задержали, так ужасно сильная пальба на железке началась. Этим меня товарищи боевые только и выручили.

«Значит, подействовало!» — обрадовался я. Номер с переодеванием удался. Приказу Клыма Савура подчиняются и здесь.

С коней хлопьями летела пена. Ездовой все круче сворачивал вправо. Я вертел головой, прислушиваясь к чуткой, почти внезапно наступившей тишине.

«Снялись заслоны», — подумал я рассеянно.

— Вертай круче, — кинул наш проводник Мыкыта с задних саней ездовому, — зараз должно село быть.

— Есть вертать, — уже лихо ответил ездовой. — А разведка у них, товарищ командир, почище нашей будет...

— Это у немцев-то? — удивленно переспросил я.

— Не, у этих самых.

С дороги за нами скакало несколько всадников.

— Придержи коней — пусть догонят, — кинул я ездовому. — Да как тебя звать-то? Что-то я тебя не узнаю.

Ездовой перевел коней на шаг.

— А я из новых у вас в отряде, звать меня Федор, Федор Гайдай... В отряде у теперешнего помпохоза я воевал, в местном, так сказать... Добровольно к вам пошел. Не хотел от своих боевых товарищей односельчан отрываться.

Лошади, тяжело поводя боками, тащили санки целиной, без дороги. Затемнели какие-то скирды впереди. Мы явно подъезжали к селу, но не к околице, а откуда-то сбоку, к гумнам.

— Сейчас, сейчас вот и село, не с той стороны мы в него попали, — забормотал Федор Гайдай, вглядываясь вперед. — А разведка не у фрицев, а у бандитов... Как, значит, пальба на переезде началась да взрывы, откуда, скажи, взялся мальчишка верховой, как из-под земли, и громко так докладывает: «Офицеров гитлеровских червоноармейцы бьют». Бандеровцы сыпанули кто куда и как дым растаяли...

— Выходит, они нас за армию приняли?

— А как же? Видят, погоны у меня на плечах.

Мы с Васей переглянулись. Гайдай продолжал:

— Это же до чего молодец наш старшина. Прицепи, говорит, немедленно. Я еще хотел до утра повременить. Завтра, говорю, прицеплю по всей хворме. А он как грымнет на меня — трам-тара-рам... И я поцепил их на живую нитку, чтоб от старшины только отвязаться. И вот не захотел господь моей смерти-погибели от бандитской пули.

— Господь или старшина?

— Да кто его знает. Ну, старшине я магарыч поставлю.

Я оглянулся. Конников не было.

— Вроде скакали рысью... А мы перешли на шаг.

— Эге, товарищ командир... Они теперь как мыши в соломе. Как во-рухнешь вилами...

Но все же чьи это были конники? Мы легли на санях с автоматами на изготовку.

— Жаль, нет ручника, — шепнул Войцехович.

А Гайдай болтал:

— Так и то сказать... Они же все тутошние... С каждым кустом своему говорят. Скажем, вот мы были под Олевском — как что произойдет, через пять минут нам все известно. Вы из Карпат еще только до Городницы дошли, а мы уже тоже все знаем...

Подозрительная, тревожная тишина обступила нас, нарушаемая лишь храпом загнанных коней.

— Что за черт, где колонна? Где заслон? Давай, Федя, давай... Вон хаты... Тут наши должны быть...— И не успел я проговорить это, как перед нами выросли фигуры. Кто-то схватил под уздцы лошадей.

— Свят, свят...— зашипел ездовой.

Я взбешенно, потрясая нагайкой, заорал явную бессмыслицу с упоминанием Красной Армии, всех чертей и богов.

Послышался хохот и посвист.

— Откуда вы тут, товарищ командир?

— Откуда? А ты откуда? — засмеялся и я, узнав Усача.

А он, как пароль, забормотал свою любимую поговорку:

— Да не удивительно. Ночка темная, кобыла черная, едешь, едешь, да пощупаешь — не черт ли везет...

Оказывается, Ленкин, пронюхав о курене Сосенко, галопом проскакал через село, мимоходом обстреляв штаб этого куреня.

— Да, суматоха... Ну и суматоха,— смущенно бормотал начштаба, поглядывая на меня.

— Что там в боевом уставе насчет выхода из боя написано? — спросил я его с усмешкой. Но начштаба становился все угрюмее и молчаливее.

На рассвете мы достигли цели ночного марша — села Мосура. Там царило небывалое оживление. Даже паникеры из пятого батальона ходили задрав нос кверху. Мерцающие капризные блики славы падали и на тех, кто на переезде рыл носом снег, дрожа от страха. Теперь и им казалось, что они этой ночью совершили нечто героическое.

Вслед за нами через сутки на том же месте железную дорогу переходил партизанский отряд майора Иванова. Отряд этот отпочковался от соединения генерала Сабурова и сейчас действовал самостоятельно. Его разведка получила сведения, что фашисты убрали с путей свыше пятисот трупов и много раненых. Но, обсудив в штабе это лестное для нас сообщение, мы решили, что у мирных жителей, с сорок первого года не видевших настоящих боев, могло в глазах и двоиться.

Мы решили выслать дальние разведки к югу и за Буг. Село Мосур для стоянки казалось подходящим. Оно раскинулось севернее древнего Владимира-Волынского. С юго-востока лес подходит к Мосуру, осторожно не добежав двух километров, останавливается, словно в задумчивости; кое-где языками кустарников он подползает к самой околице. На западе по горизонту чернеет хвойный бор. Север и юг на первый взгляд прикидываются голой степью, но с высоток видны вдали зеленые разводья рощ, пятна дубрав и перелесков. Карта помогает нам заглянуть дальше горизонта. Зыбкая растушевка болот с белыми прогалинами полей, и супески, и лесные массивы Ковельщины превращаются в северной Володимиршине в лесостепь.

Штаб соединения со всеми службами и два батальона расположились в Мосуре. Остальные три батальона — в соседних селах. Нас охватили повседневные хлопоты, без которых не быть и успешным маршам. Забот было много. Подводились боевые итоги. Отмечались особо отличившиеся. За легкомысленное путешествие по дислокации куреня Сосенко основательно влетело всем четверым: Сашке Коженкову и Ясону Жоржолиани — от коменданта штаба Кости Руднева, а мне и Войцеховичу — от замполита Мыколы Солдатенко. Он отозвал нас в сторону и всыпал нам всем по партийной линии за ненужную, как он, хмурясь, выразился, преступную лихость.

Пришлось самокритиковаться.

Я сказал не очень вежливо:

— Насчет командирской дисциплины, может, хватит уже. Теперь слушай. Нужно что-то делать с олевцами. Неизлечимые паникеры. Этот батальон Шумейко второй раз нас подводит: на льду Горыни бросили

раненого комбата, а тут испугались эшелона. Как думаешь, комиссар?

— Пока ничего не думаю.

— Плохо, что не думаешь... Знаешь, браток, что такое паника на войне? Вот один польский генерал даже книгу написал. Так и называется: «Паника в войску». Наука целая!

— Да расформировать его, и крышка,— предложил Солдатенко.— Между нашим народом те люди рассосутся и вмиг подтянутся.

— Правильно. А может, и наших научат паниковать,— буркнул начштаба.

Я даже обрадовался, что переключил внимание замполита с нашей лихой командировки.

— Ох, и не люблю проработки,— шепнул я Войцеховичу.

— А кто ее любит, товарищ командир?— удивился начштаба с ухмылкой.

Когда Мыкола ушел, Войцехович сказал мне:

— А комиссар — того... Завинчивает. Как бы не сорвал резьбу.

— Ничего, Василь, все-таки мы с тобой поступили не по-командирски.

## 19

Первый же день стоянки дал очень положительные сведения о нашей оперативной маскировке. Она явно удалась. Тем более, что ни одна из партизанских групп в этих местах никогда не ломилась через «железку» с таким напором и шумом. По существу железные дороги были тут своеобразными фронтами: фашистское командование держало крупные гарнизоны на станциях — от роты до батальона. Сторожки и разъезды охранялись целыми взводами. Между будками на пути сновали парные патрули. Если к этому добавить, что фронт этот ошетинился и на север и на юг, то станет ясно, что через него могли незаметно, ползком, под покровом непогоды или тумана, просачиваться только мелкие группы. Целыми же военными единицами с обозом и артиллерией здесь еще никто не проходил. Престиж боевой силы плюс невиданная в этих краях форма одежды и усиленная самодеятельная агитация наших бойцов сделали свое дело. Через бандеровские села, в которых, мы знали наверняка, находятся их гарнизоны, наша разведка проходила теперь преспокойно до самого Буга. А наиболее лихие заглядывали и за Буг, совсем не подозревая, что переходят «линию Керзона».

— Прошли в обычном составе — отделение численностью в восемь — двенадцать человек. И никто не тронул,— докладывал Шумейко.— А бандеровский гарнизон там есть. Это я точно знаю. Но сидят тихо. Ни гугу.

— Комедия-а!.. Людей с оружием совершенно не видно,— говорил другой комбат.— Ни на улицах, ни во дворах. Мои разведчики и в хаты заскакивали, плотно закусили, побалакали с народом о том о сем. Выяснили точно о движении немецко-фашистских войск. В последние дни оно что-то активизировалось. Все больше по шоссе Луцк — Грубешов шныряют туды-сюды...

И другие докладывали в том же духе. Сделав дело, они брали проводников. Лишь придя с проводниками в расположение своих батальонов, они превращали их в языков, основательно допрашивали, а иногда и перевербовывали — если удавалось.

Особисты наши сбились с ног от допросов и составления разведдосудесений.

— Что-то уж больно много бумаги пишут наши пинкертоны,— сказал начштаба.— А толку чуть: вопрос, ответ, вопрос, ответ. А вникни — просто базарное радио.

— Ну ладно, люди стараются...— захотел примирить я эти «ведомственные разногласия».

Но все-таки Солдатенко и я решили сходить к контрразведчикам.

Встретил нас на пороге отдельной хаты, которую всегда требовали себе контрразведчики, сам майор Журкин. Приложив тыльной стороной руку ко рту, а потом к моим ушам — характерный спецжест,— шепнул:

— Завербовали!..

— Ну да? — поддержал я таинственность события.

— Да. Сразу не хотел раскалываться. А потом, на тридцать шестом вопросе, сдался.

— Шпион?

— Пока не выяснено. Но главное узнали. Он не украинец...

— А кто? Фольксдойч?

— Мазур, говорит. Так и признался...

Мыкола посмотрел на меня удивленно.

— Не смекну нияк. Мазуриками у нас знаешь кого зовуть?

— То мазуриками! А этот ясно говорит — я мазур. Матка боска, говорит, на мне, и крестится. Да чудно как-то так крестится, задом наперед.

Это уже начало меня сердить. Проходя вместе с майором в хату, я подумал: «Может быть, Журкин и не знает, что у нас на Украине «мазур» — бранное слово; так называют здесь поляков шовинисты. А мы к нему привязались... Но разведчик должен знать все...»

И мы шагнули в клетушку, где сидел человек в расстегнутом бараньем тулупе. Поверх украинской сорочки у него на шее болтался большой нательный крест. Засаленный шнурок был поддет под воротник кожуха, а в широком разрезе вышитой манишки лохматились волосы с проседью. Величина креста и то, как он был нацеплен, чем-то напоминали мне священнослужителя. Только попы носят кресты поверх зимней одежды. Но крест был вдвое меньше поповского.

— Вопрос,— сказал майор Журкин, берясь за перо.— Повторите ваше последнее показание.

— Я не хлоп. Я есть мазур... Вот матка боска ченстоховска.— И человек широко и быстро стал креститься обычным католическим жестом.

Мы переглядываемся с Мыколой. Я окончательно понимаю, что перед нами просто запуганный бандеровской резней польский крестьянин. Задавать ему, запуганному человеку, тридцать седьмой вопрос — глупость. Я не сказал этого майору Журкину лишь потому, что перехватил озорной взгляд Мыколы Солдатенко.

Перелистываю обширный протокол, и мне становится смешно. Оказывается, даже его фамилия — Мазур.

— Я не знал, что вы советская партизанка... Я ведал, что то есть...— Мазур запнулся.

— Смелее говорите. Не бойтесь,— подбодрил я его.

— ...Що вы самостийна Украина. Що вы бандеры...— И в глазах его заметался такой страх, что я поспешил его успокоить.

— Нет. Мы — Советская Армия. Разумишь, пан Мазур? Армия Червона пришла.

Он закивал головой.

— Я з вами... Я к вам... Паны-товажиши...— И он зарыдал не то от страха, не то от радости.

Ему подали воды. Зубы его долго стучали о глиняную кружку.

Он немного успокоился. Я спросил его:

— Вы хотите нам помочь?

— Езус Хрїстус... Да чем только можу! Я панам-товажишам свою кровь не пожалею.

— Крови нам, дядько, твоей не надо,— перебил его замполит.— Ты нам все будешь рассказывать. Разведчики придут, пароль скажут.

— Куды придут? — Он испуганно метнул взгляд на меня.

— К тебе домой. Ночью.

И человек вдруг упал на колени.

— Ой, не гоните мене от себе. Раз вы Червона Армия, Советска...— И он опять зарыдал.

Что можно было объяснить ему? И очень мало и очень много. Мы вдвоем с Мыколой стали, может быть, и коряво, но душевно говорить Мазуру то, что знает у нас каждый пионер, каждая неграмотная старуха,— что у нас никто не смеет называть человека ни хохлом, ни юдой, ни кацапом.

— Понимаешь? Интернационал. Все равны. Кто работает? Робит. Працеу. Трудитсся...

Мазур по-ребячьи всхлипывал.

— Не пуйду. Не гоните мене. Я буду коней доглядать, дрѳва колоть, гной вычищать. Буду конца войны ждать.

— Ждать? — сказал Мыкола.— У нас воевать треба.

— Не, я на войну не хце.

— Тогда иди от нас, брат, подальше. До дому ступай.

— До дому? — И снова ужас в его глазах.

Нам казалось, что мы уже начали понимать побуждения этого человека. А сейчас опять ничего не могли уразуметь. Снова взглянув на исписанные листы бумаги, прочел: вопрос — ответ... Это была сплошная «липа», облеченная в канцелярские фразы, которые просто не доходят до этого по-детски вздрагивающего человека. Да и нас с Мыколой он тоже понимал наполовину.

— Ну ладно, пускай он сидит у вас, товарищ Журкин. Зачем? Говорит же человек — будет охотно дрѳва колоть, за лошадьми ухаживать. Тоже дело нужное. Тем более, что сами вы его завербовали...

А на другой день это путаное дело чуть не обернулось большой кровью.

Грохот от нескольких взрывов заставил меня и других работников штаба выскочить на улицу.

— Особый отдел гранатами закидали! — крикнул связной эскадрона, круто осаживая коня у штаба.

— Поднять роты и эскадрон по тревоге! — скомандовал начштаба.

Сашка Коженков уже выводил моего оседланного коня. Солдатенко где-то пропал.

— Оставайся, Вася, в штабе. Пусть занимают оборону и высылают разведку накоротке. Эскадрону осветить вокруг подходы к селу километра на три-четыре.

Конь взял с места галопом. За мной на неоседланных конях с автоматами на взводе скакали Сашка Коженков и Ясон Жоржолиани.

Через несколько минут выяснилось, что паника была излишней. Майор Журкин, чуть побледневший, но спокойный, подтянутый, вышел нам навстречу. У плетня он разъярснил, в чем дело.

— ...Вдруг от дровешни прибегает к нам этот чудак Мазур. Трясется, слова сказать не может. Мы по вашему указанию уже разобрались, что он какой-то католический псих, и не очень обратили на это внимание. Но все же вышли на улицу. Он показывает на спину человека, что уже прошел наши ворота шагов на тридцать. «Гражданин, стой!» — крикнул я. Тот молниеносно оглянулся и тут же прибавил шагу. «Стой, стрелять буду!» — крикнул часовой. А подозрительный сразу махнул рукой, в которой я заметил гранату. И тут же бросил другую. Но обе не долетели. В это самое время из эскадрона выскочили хлопцы. Навалились и связали.

— Гранатами ранил кого-нибудь?

— Нет. «Мадьярские консервы»... Одни царапины!

Но я уже заметил на рукаве Журкина кровь. Сукно его кителя было иссечено мелкой жестью.

«Все же он смелый, мужественный человек, этот Журкин...» Это я знал еще по рейду за Днепр, где Журкин был крепко ранен.

Но мысли сразу вернулись к происшествию.

— Допросили?

— Допрашиваем.

— Выяснили личность хотя бы?

— Мазур говорит — это их главный разведчик. Эсбе. Служба безопасности. Гестапо. Кулацкая жандармерия. Кличек у него много...

— По всему видать, головорез.

— Так точно.

Мы зашли в хату. На стыке двух крестьянских лавок, в углу, сидел связанный человек.

Ну, люди! Я ожидал всякого. Уроженец Правобережной Украины, я в юности видел самых колоритных бандитов на свете: не только Нестора Махно и Тютюнника, но на улицах Балты мелькнула как-то перед мальчишескими глазами под черным знаменем колыхавшаяся осиной талией знаменитая Маруся. И Заболотный, и атаман Лыхо, и Ангел, и Беда — чего только не было повидано и застряло ржавым гвоздем в памяти! Но таких я еще не видывал... Отличнейший светло-серый плащ-макинтош европейского образца (из тех, что с узенькими погончиками и рукавами реглан), галстук с искрой, бриджи сверхмодного покроя с рядышком пуговиц возле колен сбоку, высокие зашнурованные сапоги-ботинки на толстой двойной подошве с медными головками гвоздей. По одеянию с ног до пояса — альпинист, выше пояса — дипломат или профессор. Лицо длинное, бледное, глаза полускрыты пухлыми, мясистыми, как вареники, веками, словно у засыпающей птицы. Старается держаться бодро, хотя при борьбе наши конники, видимо, намяли ему бока.

— Фамилия?

Он криво улыбнулся.

— Клещ.

— Ну допустим — Клещ...

— Ой, не верьте ему, — шепнул кто-то подле моего уха.

Только теперь я заметил Мазура. Он стоял у двери, прислонившись головой к дверному косяку, и немигающим взглядом смотрел на того, кто называл себя Клещом. Как будто Мазур боялся, что бандит может напряжением своих довольно дряблых мышц порвать веревки или, как в сказке, напустить колдовского тумана и исчезнуть у нас из глаз.

Я смотрел на связанного, понимая, что он из тех птиц, у которых не добьешься толку. Тут надо было либо шарашить его чем-нибудь, либо долго плести хитроумную сеть. Догадка блеснула как-то сразу.

— Клещ так Клещ. Хай будет и такая живность, если это угодно пану полковнику.

Пухлые веки дрогнули и поднялись. Прямо на меня смотрели латунного цвета глаза с желтинкой в зрачке.

— Итак, полковник Гончаренко...

Ненависть блеснула в зрачках, забегали желваки, и усилием воли Гончаренко деланно устало прикрыл глаза. Но на лбу и висках его дрожали жилки, морщилась, не подчиняясь воле, кожа, выдавая беспокойно метавшуюся, растерянную мысль. Я вынул из полевой сумки его же приказ и быстро пробежал глазами несколько фраз. Затем громко и безразлично стал цитировать его же собственные откровения. Но запомнился



еще один взгляд — Мазура. Я подумал: это совсем не тот темный польский крестьянин, за которого он себя выдает.

— Развяжите руки,— скрипнув зубами, сказал Гончаренко.

— Сперва надо развязать язык,— сострил Журкин.

— Все скажу. Развяжете? Нет?

— Спокойно. Два вопроса. Отвечать без вихляния.

— Отвечу. Первый?

— Зачем пришел в Мосур?

— Хотел своими глазами увидеть Красную Армию.

— Увидел?

— Да. Откуда вам известно о нас?

— Вопрос второй. Согласен распустить свою банду и подписать воззвание к обманутым тобой людям?

Он забился в углу, впрямь собираясь порвать веревки.

— Развяжите руки, г-гаспиды...

Мы молча смотрели на беснование минуты две-три. На губах его появилась пена. Напряжение сменилось упадком.

Прискакал Мыкола Солдатенко. Я поручил ему вместе с Журкиным что-либо узнать у этого матерого волка, а сам поехал проверить оборону. Но он не имел больше никаких секретов, чтобы за них купить свою подлую жизнь убийцы и грабителя, «героя ОУН» — организации украинских националистов.

Вечером его расстреляли.

И тут же Мазур стал собираться в дорогу.

— Я пуйду до дому, паны-товажиши,— заявил он.

— Что так? — спросил его Журкин.

— Як вы сумели того зверя вывести, то вже нам вздохнуть можно будет...

Он вытер набежавшую на морщинистое лицо слезу и продолжал: — Сколько люду он перевел, а малых дзеток, а кобет<sup>1</sup> и паненок...

Оказывается, Гончаренко разгуливал по селам и, пользуясь раздутой «славой» и, видимо, обладая жестокой волей садиста и убийцы, безнаказанно вершил свои злодейские дела. Он и в Мосур пришел с какой-то разведывательно-террористической целью, которую ему не удалось выполнить.

Глядя вслед уходящему вместе с разведчиками крестьянину, я с улыбкой спросил Журкина:

— Ну как? Завербовали?

— Так точно,— ответил тот серьезно, видимо не поняв моей иронии.— Завербовал. И оформил. Вот пароль, явочные дни, зеленая почта...

— Очень хорошо,— похвалил я довольного особиста.

Журкин был неплохой парень. Только немного переученный, что ли. Подпорченный ремесленными шаблонами, теми штампами и правилами, которые перестали учитывать значение для советской разведки связи с массами. А именно эти связи учил крепить первый чекист — Феликс Дзержинский.

## 20

Сотни фактов и фактиков натащила наша разведка. В них надо было разобраться, чтобы не сделать политического промаха, не допустить тактической ошибки. А я все еще думал о Мазуре: здесь, на границе, возможна и перевербовка. Мазур был из хуторов «восточнее Грубешова», как лаконично говорилось об этой местности в меморандуме лорда Керзона. Он мог бы быть также разведчиком, агентом другой — знаменитой разведки. Догадку же эту еще надо было проверить.

<sup>1</sup> Женщин.

Мы решили созвать всех комиссаров батальонов, всех парторгов рот и наиболее активных коммунистов и комсомольцев. Созывать общее партийно-комсомольское собрание всего соединения мы не могли, так как в случае внезапного возникновения боевой обстановки это очень снизило бы боеспособность соединения.

— На этом совещании комиссаров с партийным активом мы и ознакомим товарищей со всеми фактами, полученными за последнее время. В особенности за прошедшие сутки,— сказал я, давая, правда не без опасения, команду на вызов в штаб большей части комсостава.

На другой день командиры и политработники собрались в штаб. Войцехович доложил обстановку, а майор Журкин сообщил о разведдонесениях батальонов. Тут были и всякие немудрящие записки от командиров отделений и взводов, рыскавших во все стороны, были солидные донесения с попытками наших батальонных «стратегов» построить некоторые выводы и обобщения.

— ...На первый взгляд эти факты, не очень грамотно изложенные в разведывательных донесениях, наталкивают на вывод: мы имеем дело с довольно широким, хотя и примитивным в военном отношении движением.

— Вояки они, конечно, аховые, это бесспорно. Вот товарищ начштаба может это подтвердить,— дополнил по-своему выводы Журкина Мыкола Солдатенко.— Он плеткой с ними собрался воевать.

— Слыхали, слыхали,— раздались одобрительные возгласы.

И тут я понял, что Мыколу нужно поддержать. Он был, конечно, прав, когда одернул нас в порядке партийной дисциплины и потребовал от командиров не допускать мальчишества и безрассудства. Но сейчас, вынося наше поведение как бы на обсуждение большинства коммунистов, он рисковал остаться изолированным. Чего только не простил бы рейдовик-партизан за лихость! Храбрость бойца, а тем более командира, считалась у нас высшим, первостепенным качеством. За храбрость любили, за смелость уважали, перед мужеством преклонялись, героизму завидовали. В непрерывном движении и в ежеминутно меняющейся обстановке родной сестрой храбрости была быстрота, сообразительность, смекалка, порыв. А быстрота и порыв не требуют раздумий. Они рождаются в мгновенном и решительном действии. Это-то и вырабатывало характеры веселые, бесшабашные и часто порождало безрассудное отношение к опасности, лихость. Особенно в кавэскадроне, в этом самом подвижном подразделении, храбрость и лихость были синонимами. А вот уже у пеших разведчиков за храбрость хвалили, а за лихость ругали и даже наказывали — там больше нужна была смелая осторожность, храброе терпение, твердая выдержка и боевое упорство. А в партизанской пехоте храбростью считалось стойкое бесстрашие и смелый, но не безрассудный напор. У пеших разведчиков — сообразительность и наблюдательность. У подрывников выше всего ценилось умение осторожно подползти к полотну железной дороги или под мост, без шума и звяка пролежать сколько положено в кювете, бесстрашно и безошибочно всунуть в боевое гнездо взрыватель и осторожно, когда жизнь висит на волоске и каждый миг можешь взлететь на воздух, вынуть предохранительную чеку. Тут уже бесстрашие воина равнялось мастерству ювелира. А пушкари? А старшины и хозяйственники? А медицинские сестры и врачи? А ездовые, в любое время похода и боя, атаки и отступления, марша и стоянки, всегда, днем и ночью, привязанные к своей повозке, к саням, к лошадям? В чем их доблесть? В бесстрашном терпении и смелом боевом упорстве. Это простые работяги войны. Они, люди, везущие драгоценный груз: раненого товарища или пять ящиков взрывчатки, двадцать снарядов или семь-восемь тысяч автоматных патронов,— разве они могут или смеют быть трусами? Да, храбрость была нужна всем.

И, конечно, командирам. А вот лихость, то есть безрассудство, безразличие к опасности и неосмотрительность, которая часто лишь маскировалась в личину храбрости, конечно, могла повредить. Но прощалась она всем, кроме командира, хотя imponировала она людям беспредельно, тем более, если была остроумной...

Эти мысли быстро пронеслись в голове, я встал и прямо высказал их комбатам и комиссарам. Подтвердил правоту комиссара и объяснил, почему он прав. Начштаба вначале недоволен, как боевой конь, которого жалит овод, крутил головой. Но потом и он согласился. Мыкола Солдатенко был очень польщен.

Но ведь мы собрались, конечно, не для этого. Жизнь ставила перед нами новый запутанный вопрос. Сложный узелок национализма завязал фашизм в этих краях. «И по силам ли нам, молодым еще коммунистам, развязать его? Понимают ли это до конца мои товарищи? В основе понимают. Но не до конца... Вот мы начали обсуждать разведсводки, донесения. Но что-то недоговорено. А что? Ну, конечно же... Об этом как раз хлопцы и толкуют...» Разгоряченный Шумейко, которому уже известно предварительное решение командования по расформированию его батальона и предстоящее персональное взыскание за пристрастие к самогонным аппаратам, разглагольствует:

— Так что ж это такое — бандеровщина? Вон их сколько под ружьем. Один курень разгромили, а тут уже второй... Это же полки целые, мужики, народ...

— Под ружьем или под дробовиком? Уточняйте, товарищ капитан, — ехидно спрашивает, перебивая, комбат-четыре Токарь. Он слегка нажимает на «о», и получается «копытан».

— И с вилами и с дубьем.

— Все равно, — кипятится Шумейко.

«Но как же пояснее разжевать ему, что это все-таки не одно и то же? Он видит факты. Но вряд ли понимает их...» Вопросительно переглядываемся с комиссаром Мыколой. Мы с ним еще с начала Карпатского рейда считались в некотором роде специалистами по бандеровщине. В Шумских лесах Ковпак и Руднев посылали нас вдвоем парламентарями к Беркуту; вместе с Мыколой мы разбирались в деле Наталки — представителя областного «провода»<sup>1</sup> на Тернопольщине; ходили в конную атаку вместе с эскадром Усача против отъявленной фашистской банды Черного Ворона... «Неужели уж тут Мыкола не сумеет разобраться?» А Мыкола уже встает.

— Вот тут наплел нам товарищ Шумейко такого... — начинает Мыкола задумчиво. — Где ты увидел народ?

Голос с задних скамеек:

— Так это же с пьяных глаз, товарищ замполит. Разве не видно?

— Ничего подобного. Я совершенно трезвый, — огрызается Шумейко.

— Тем хуже, — с неожиданной сообразительностью парирует Мыкола. — Хуже для тебя. А для дела и совсем плохо. Что ты нам здесь голову морочишь? Какой же из этого куреня полк?

— А в селах? С дубинами, с берданками и вилами кто вышел? Самооборона в селах из кого состоит? — совсем взъерепенился «копытан».

— Эх ты, тюха-матюха! Самооборона, конечно. Это нам всем понятно. А против кого она с дубьем вышла? Против немецких фашистов и их прихвостней и сателлитов: мадьяр-салашистов и прочей всякой... А ты инструкцию Гончаренко читал? А приказы ихнего главкома Клыма Савура — это же явная фашистская программа.

Мы с Войцеховичем не можем надивиться, глядя на молчуна Мыколу.

<sup>1</sup> Руководства,

— Откуда у него и разговорчивость взялась? — шепнул начштаба, делая вид, что склонился над картой.

— Когда надо партийное дело проводить — заговорил, — отвечаю я.

А замполит хватает со стола бумажки, зачитывает по ним подчеркнутые места и, размахивая над головой костлявым своим кулаком, убеждает, доказывает и разоблачает. Затем он вдруг лезет в карман и достает затрепанную солдатскую записную книжку.

— От я вам сейчас прочитаю.

В хате тишина. Только посапывает Шумейко.

— Это, хлопцы, партийная директива. Адресована она была членам подпольного ЦК Компартии Украины.

— Кому? — раздается сзади голос Федчука.

— Ковпаку, Рудневу, Бегме, Федорову. И я сам ее бачив. На листочку из блокнота. Зверху — штамп печатный. Член Военного Совета Воронежского фронта. Весна 1943 года. А главное мне Руднев дал выписать... «Запомни, говорит, политрук. Это соль нашей политики в этих местах...» Вот: «О нашем отношении к украинским националистическим «партизанским» отрядам». Комиссар Руднев потом поглядел мою запись и слово «партизанским» взял в кавычки. Значит... националистическим... отрядам. Так вот мы должны всегда помнить и различать, сказано тут, что руководители украинских буржуазных националистов — это немецкие агенты, враги украинского народа и что некоторая часть рядовых участников этих отрядов искренне желает бороться с немецкими оккупантами, но они обмануты буржуазными националистами, пролезшими к руководству этими формированиями. Бачив, Шумейко? Проветрит тебе мозги эта директива?

Коллективный разум партии — от ЦК до партизанских комиссаров — дружно распутывал сложный клубок национализма. Я смотрю, как жадно слушают Мыколу комиссары батальонов, политруки рот, парторги и комсорги, и понимаю — завтра они доведут важную мысль до сотен бойцов. Появилась уверенность, что двухтысячный наш коллектив будет действовать единодушно. Думалось весело: «Эге, брат! Да и в политработе, видимо, тоже важно, чтобы каждый солдат понимал свой маневр!..»

А в конце своей речи Мыкола совсем удивил нас.

— Но щоб с народом вы тут в игрушки не играли. Помните, що про эту национальную идею Ленин говорыв. Ось послушайте. — И он снова полистал свою затрепанную книжечку: — «Поскольку на почве многовекового угнетения в среде отсталой части украинских масс наблюдаются националистические тенденции, члены РКП обязаны относиться к ним с величайшей осторожностью, противопоставляя им слово товарищеского разъяснения тождественности интересов трудящихся масс Украины и России»<sup>1</sup>. Чулы? От это всё мы завтра размножим на машинке и разошлем по батальонам и ротам. Этим и руководствуйтесь.

В ходе совещания прибыл связной из третьего батальона. Брайко писал: «Только что связался с армянским отрядом. Действуют, имея локтевую связь, с бандой Сосенко. Сообщили о своем беспрекословном переходе на нашу сторону. Прихватили у Сосенко все тяжелое вооружение, минометы, станкачи и вместе с моей разведкой двигаются к батальону. Прошу указаний. Брайко».

Я тут же огласил донесение Брайко. Даже многоопытные и всякое видавшие комиссары и политруки раскрыли рот в изумлении.

— Вот чертовщина какая! И со своими никак не разберешься, а тут еще и армяне, — развел руками Кульбака. — Давай, товарищ Бакрадзе, разбирайся. Это уже больше по твоей части будет.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 30, стр. 142.

Удивленный Бакрадзе поднялся во весь свой огромный рост.

— Ни черта не понимаю. В чем дело? Товарищ Брайко, наверно, путает.

Но связной вступился за своего командира.

— И ничего мы не путаем, товарищ Бакрадзе. Я сам их видел. Бандеровцы про них говорят — они за самостоятельную Армению. От моря до моря...

— От какого моря? До какого моря, кацо? — вскипел Давид Ильич.

— А это уже нам не известно. Вам виднее, — невозмутимо отвечал связной.

Я закрыл совещание, приказав командирам быстрее отбыть в свои подразделения. Политруки и комиссары батальона окружили Солдатенко и наскоро переписывали партийные директивы.

— Ничего не понимаю, товарищ командир, — развел руками Бакрадзе, подойдя ко мне. — Какая Армения?

— Да я и сам пока не понимаю, товарищ Бакрадзе. Для этого и собрали коммунистов, чтобы во всем разобраться.

И в главном, кажется, разобрались. Теперь уже всем понятно, что бандеровщина — это чудовищная провокация гестапо, ставка на национальную рознь: мутить воду и в мутной воде ловить свою тухлую националистическую рыбку. Что же касается армянского варианта, не будем заскакивать вперед. Придут эти люди — встретимся, поговорим, разберемся.

— Товарищ связной! Передайте комбату Брайко приказание: явятся армяне — пусть действует осторожно. Двух-трех наиболее толковых — командиров, что ли, — немедленно к нам, в штаб. Тут и решим. Товарищ Бакрадзе, прошу после совещания не уезжать. Поможете нам в этом деле. Все-таки почти ваши земляки. А сейчас все по своим постам!

Через три часа к штабу подкатила тройка, запряженная в шикарные сани.

— Цветные ковры, и чуть ли не с бубенцами. Х-ха... Клянусь мами, у этого Брройка есть нехорошие замашки, — неодобрительно проговорил Бакрадзе. — Ковер — это еще понимаю. А эти побрякушки? Зачем, кацо?

Из саней выскакивает щупленький Брайко и, отдав приказание конному эскورتу, сопровождавшему его, постукивая каблучками хромовых сапог, вбегаёт в штаб.

Давид Бакрадзе подошел к окошку хаты и, нагибаясь, взглянул на приехавших. Они стояли немного в сторонке, все трое одного роста, невысокие, немножко сутулящиеся, отчего казались совсем низкорослыми.

— Тоже мне — три богатыря, — проворчал Давид, но от окна не отходил, с любопытством продолжая рассматривать «земляков».

Войдя в хату, Брайко лихо козырнул и доложил коротко о происшествии.

— Так, значит, тридцать один человек, говоришь?

— Так точно. И все — армяне.

Бакрадзе отошел от окна и не очень приязненно посмотрел на Брайко. Между ними вообще частенько бывали споры, разногласия. Брайко по своей ехидной привычке подкусывал темпераментного великана, хихикая над его раздраженными фразами или гневными восклицаниями, что Давида еще больше злило. Он даже фамилию украинца Брайко произносил по-своему. Все звали Брайко — Брайкóм, произнося слово с ударением на последнем слоге. Давид же всегда нажимал на первый слог, меняя звук «а» на «о». Получалось примерно так:

— А кто это говорит?! Бррòйко. А?.. Этот Бррòйко расскажет! Клянусь мами, язык у него во-от... — Он показывает рукой, какой у Брайко язык — от локтя до кончиков пальцев. Не менее полуметра получался Бррòйков язык в интерпретации Давида.

Подойдя к комбату, Давид остановился, пожал плечами, посмотрел на щупленького улыбающегося Петра и сказал:

— Послушай, Брройко, где ты их достал? Зачем они тебе, генацвале?! Ты что, кавказский человек? Х-ха? Скажи, пожалуйста! А? Брройко... Зачем голову морочишь?

Брайко захихикал.

— Пригодятся. Вижу, наш Давид заскучал...

— Зачем заскучал, кацо?

— Сам не знаю. Хлопцы говорят, мозоли замучили. Никак сапоги не достанут по размеру твоей ноги. Хи-хи...

Давид Бакрадзе с высоты своего роста молча мерит презрительным взглядом маленького юркого капитана, затем плюет и молча отходит в сторону.

— Ну, вот и получай земляков, забавляйся,— миролюбиво говорит Брайко таким тоном, что выдержать уже невозможно.

— Х-ха, земляки... Мелюзга какая-то.

— Какие есть...— посмеивается Петя.— Я их не выбирал.

— Перестаньте вы цапаться, как петухи! — поднял голос Мыкола Солдатенко.

— Нет, кроме шуток, товарищ замполит. Ребята мировые. Пришли с первоклассным вооружением — минометы, ручники почти у всех. Вроде хлопцы ничего, хотя и земляки... — Он подмаргивает в сторону Бакрадзе.

Давид готов вот-вот взорваться.

— Ну, давай сюда своих богатырей,— говорю я, прекращая пикировку.

Через минуту в штаб вошли три человека. Козырнули на наш, советский, манер, но щелкнули каблуками как-то не по-нашему. Ох, этот щелк! По нему мы почти всегда узнавали бывших военнопленных из фашистских лагерей. Была еще одна разновидность этого военного ритуала — это козырянье с особым вывертом ладони, взлетом руки к виску и таким щелком каблуков, что звучит он, как выстрел из мелкокалиберки или пистолета. Я знал: так козыряли только люди, прошедшие муштру не одних концлагерей... Это уже были наемники, запроданцы из разных подсобных немецких войсковых формирований: полицаи, казачки, легионеры, власовцы. Нет, те, что стоят сейчас перед нами, вроде не из таких. Стоят смиренно, но без особой, специфически пруссацкой, выправки.

Молчание, пауза, разглядывание, раздумье. Теперь я вижу, что они совсем разные, хотя ростом почти одинаковы. Крайний слева, стоящий ближе к окну, самый щуплый. Он немного лысоват, зрачки, не мигая, смотрят на Давида. Вижу, ему хочется что-то сказать, но он пока не решается... Тот, что в середине, немного сутулится, шапка съехала набекрень, стоит вольно, чуть-чуть подергивая левой ногой. Третьего плохо видно — он в стороне от небольшого оконца, — можно только различить, что в плечах он шире своих земляков.

— Ну что ж, давайте знакомиться. Только так... Допросов мы с вас снимать не будем. Выворачивать наизнанку всю вашу подноготную нам не требуется. Ни к чему... Но вы сами должны понять — мы не можем и не обязаны сразу и во всем вам верить. Наше доверие к вам придет вместе с вашей искренностью. Прошу рассказать о себе все, что считаете нужным.

Пауза. Все трое смотрят на нас удивленно.

— С чего начинать? — спрашивает средний, еще больше выставив вперед подрагивающую ногу. — Право не знаю. — Видимо, он бывал на разных допросах, но на таких еще не приходилось, и он немного растерялся.

— Ну, хотя бы начни с фамилии, имени и отчества, — откуда-то из угла раздался голос Давида.

Средний усмехнулся и сразу посерьезнел. Наверное, и это не так-то просто в его положении — вот так прямо назвать себя.

— Антон Семенович Погосов, тысяча девятьсот двадцатого года рождения, по профессии горный инженер-технолог, учился в Промакадемии имени Кирова. Перед войной работал в ЦК Компартии Азербайджана. Родился в Исмаиллинском районе, — сказал он и примкнул левую ногу к правой, без подчеркивания и напряжения вытянул руки по швам.

Мыкола Солдатенко встал, прошелся по комнате, подошел к Погосову вплотную, остановился перед ним, положил свою жилистую, худую руку ему на плечо. Тому пришлось поднять голову, так как высокий Солдатенко смотрел на него сверху вниз.

— Скажи, товарищ, если ты коммунист, кто твой отец?

— Красный партизан из Астрахани. В Баку у Кирова красногвардейцем был... А затем пулеметчик первого мусульманского железного полка.

— Откуда вы к нам пришли? Все то, что вы сейчас сказали, хорошо. Но где вы были последние два тяжелых года?

Тут от окна сделал шаг вперед самый шуплый из трех.

— Докладываю. Старший батальонный комиссар Арутюнянц Серго. Наш маленький партизанский отряд армян активно действует в тылу врага уже с марта тысяча девятьсот сорок третьего года. Где действовали? Сначала в Польше, под Замостьем... И здесь, между Ковелем и Владимиром.

— Это правда, что вы воюете здесь за какую-то самостийную Армению? — спросил Давид Бакрадзе.

Они переглядываются, затем, отбросив всякое подобие военной выправки, переходят к Давиду и начинают размахивать руками. Все трое говорят сразу, перемежая русские фразы какими-то не то армянскими, не то грузинскими словами. Мы с комиссаром молча слушаем, пока кавказцы договорятся между собой. Петя Брайко стоит в стороне, довольный, улыбается, но без обычного ехидства.

Лицо Давида постепенно добреет, и он, выступив вперед, говорит, уже обращаясь к нам:

— Нет! Это наши ребята. А я сразу подумал — кто они? От моря и до моря?! Сижу, думаю, голову ломаю: откуда здесь, возле Западного Буга и Вислы, могут появиться такие персонажи из прошлого? Думал — войдут, поставлю перед автоматом и спрошу грозным голосом: вы кто такие? Отвечайте! Дашнаки? Маузеристы? Армянские националисты? Меншевики? Муссаватисты? Басмачи, может быть? Нет, вроде ничего ребята. Я даже согласен их всех к себе в батальон...

— Черта лысого! — выскакивает как-то по-петушиному Брайко, но под строгим взглядом Солдатенко осекается и переходит на более сдержанный тон: — Погодите, товарищ Бакрадзе. Они не к вам в батальон пришли. У нас так не водится.

В соединении существовал неписанный закон, по которому боец или группа, пришедшие к нам, а также военнопленные, отбитые у врага, поступали на службу в то подразделение, с которым они первыми встретились.

— Ничего не имею против... товарищ Брайко. Х-ха! Можете оформить их по всем правилам.

— Погодите, товарищи Бакрадзе и Брайко, — остановил я комбатов. — Мы с замполитом еще не кончили беседу с новыми товарищами. Надо все же расспросить и выяснить, когда и где они попали в плен, как очутились на свободе. А вы, товарищ Брайко, повнимательнее слушайте. Вам с ними работать.

Давид быстро заговорил с ними. Все больше и больше-смягчалось его лицо.

— Говорят, окруженцы из-под Харькова. Весна тысяча девятьсот сорок второго года. Всем нам памятная Изюм-Барвенковская операция.

— Точнее?

— Весь отряд — все тридцать один человек — офицеры и политработники триста семнадцатой стрелковой дивизии. Формировалась в Баку, — ответил Погосов.

— Кто командир? — спросил Войцехович, записывавший ответы прибывших.

— Полковник Сироткин. Погиб в селе Большие Салы под Ростовом.

— Помню бригадного комиссара Аксенова, — добавил Арутюнянц. — После смерти Сироткина дивизию принял полковник Яковлев. Тоже погиб в Изюм-Барвенковском окружении. Под селом Лозовенькой его похоронили.

— В каких лагерях были у немцев? — спросил я Арутюнянца.

— Демблин. Двадцать восемь барачков... Пленных фашисты рассортировали по национальностям: французы, англичане, югославы, русские, армяне, грузины, узбеки... В пяти бараках были армяне...

— Оттуда и бежали?

— Нет. Там нас только пытались вербовать. Наши же земляки. На службу к фашистам звали.

— Но мы наотрез отказались взять оружие и надеть немецкую форму, — быстро сказал третий, по фамилии Тониян. — Тогда нас увезли в Седлец под Замостьем. Оттуда мы и бежали...

— Так все-таки объясните нам, что у вас за альянсы с этим... Бандерой.

— С Бандерой ничего общего, — ответил Арутюнянц. — Из Польши мы попали на Волынь в марте тысяча девятьсот сорок третьего года. Тогда здесь не было советских партизан, но уже была крестьянская самооборона. Нам предложили влиться в нее. Мы отказались... Тогда нас стали просвещать. Разжевывать свою национальную идею.

— Ну и как? Просветили?

— Да нет, конечно. Психология у них, как у дашнаков.

— Но вы все же изучали их?

— Да, изучали, как будущего противника, — заговорил Погосов.

— Какого? — спросил Мыкола.

— Классового.

— Но и элементов национализма, антисоветчины немало в этой самообороне, — заметил Мыкола.

Арутюнянц подумал и сказал:

— Это все от кулацкой верхушки идет. Эта бандеровская головка — хитрая штука.

— Что знаете о ней?

— Все как на подбор или кулацкие сынки, или местная интеллигенция из бывшей петлюровщины, из мелких чиновников, духовенства.

— Что в них главное?

Арутюнянц задумался.

— Пожалуй, самое главное — это их ненависть к колхозному строю. И понятно почему: в колхозах кулак видит конкретное воплощение своей смерти. Отсюда ненависть и к Советской власти, к коммунистам.

— Ну, положим, кулак и до колхозов был непримиримым врагом Советской власти.

— Я говорю о кулаке Западной Украины...

— Понятно. Продолжайте...

— Но Советскую власть ведь принесли сюда русские. И кулакам уже всерьез кажется, что колхозы — это чисто русская, национально-русская идея. Итак, сущность этого национализма — классовая, а форма — националистическая.



— Вы никогда не читали лекций, товарищ Арутюнянц?

— Я педагог, учитель, пропагандист.

— Заметно... Так все-таки при чем тут самостийная Армения?

Три «богатыря» засмеялись.

— Эта самостийная Армения возникла не сразу. Они долго нас просвещали. Все старались привить нам национализм. Мы не сдаемся. То прикидываемся непонимающими, то спорим, доказываем... А неделю тому назад у них началось сильное брожение. Ну, понятно. С севера идут большие силы партизан, с востока наступает Советская Армия. Засылают к нам парламентаров, вызывают на переговоры... «Давайте определяйте вашу политическую линию». — «Ну что ж, давайте...» Хотелось сначала выложить им все начистоту. Но тут возник такой тактический момент. Конечно, как только появятся наши, мы либо возьмем в армию, либо пристанем к советским партизанам. Но у бандеровцев надо все разведать, у них же тут во Владимирских лесах склады оружия, штаб, школа.

— Школа? Лисовы чорты!

— Вы уже знаете?

— А вы знаете? Где она?

— В том-то и дело, что о существовании школы мы знали лишь понаслышке... Расположение застав, систему охраны и способы связи они нам не доверяли. Надо было втереться в доверие. Вот мы им и наплели. Скоро, мол, Советы придут, и нам нужно будет к себе, на Кавказ, путь держать. А для этого нам потребуется оружие, нам нужны связи.

— Ну и как? Выложили они вам свои секреты?

— Все до ниточки. Всю дислокацию. Тайную дорогу к школе. В болотах она со всех сторон. Подхода нет. Только две тропы. И даже пароль у нас имеется на ближайшие сутки.

— Оказывается, эта публика тоже идейная, — захохотал Бакрадце. — Ради своей идеи какую военную промашку дали! А, генацвале? Клянись мами...

Давид со своими земляками на время удалился. За ними, не отступая ни на шаг, ревностно следовал Петя Брайко. А мы с начштаба сели тут же за разработку плана по разгрому «лесных чертей».

— Именно по этой школе мы и направим свой главный удар, — сказал я Войцеховичу. — А вспомогательные действия намечай по штабу банды Сосенко и складам оружия.

— Срок? — спросил начштаба.

— Два-три дня хватит? Ведь надо собрать ударный кулак, хлопцев-то разослали по коммуникациям.

— Эх, жаль. Пароль знаем.

— Это верно, но не начинать же из-за одного пароля без подготовки? И сколько до них, до этих лесных чертей?

Начштаба прикинул по карте.

— Километров шестьдесят с гаком. По болотным да лесным дорогам. Все равно не успеем.

— Вот видишь? Нет, не стоит спешить. Пускай эти два дня хлопцы потреплют фашистов на засадах. А там, глядишь, какая-нибудь самостийная сорока на хвосте и пароль принесет. Словом, действуй не спеша. Но и не затягивай, конечно...

В штабе накурили. Было душно. Хозяйка только что вытащила каравай из печки. Я распахнул окно. На дворе пасмурно, волгло, гнило, висит тот зимний туман, от которого особенно портится настроение.

Под окном, на завалинке, в ожидании приказов сидят связные от рот и батальонов. Тихо переговариваются, попыхивая огромными самокрутками.

На меня никто не обращает внимания. Среди связных у нас много под-

ростков. У Васьки с Толькой на нежных, почти девичьих щеках не заметно даже того легкого пуха, который пробивается у мальчишек к пятнадцатилетнему возрасту. Никодим выглядит постарше, хотя, думается мне, лет ему столько же, сколько и этим двум. Они зябко кутаются в трофейные плащ-палатки «тютюревки» и подбирают ноги, на которые капает с крыши.

— И что у тебя за имя — Никодька, не иначе спящу тебе родители такое выискали... — смеется Толька.

— Не-е, — отвечает хриплым, простуженным голосом Никодим. — Меня бабушка ухитрилась без родителей окрестить. У попа в святцах на мое рождение такой святой был... И черт ее дернул с крестинами этими! Верьте, ребята, самому как-то неловко... Вот война кончится, через газету объявление сделаю, поменяю на... придумаю потом какое.

— Подумаешь, окрестили! И меня тоже крестили, сеструха старшая рассказывала... Она помнит. Только батя меня в метрики Анатолием записал... А твои — несознательные, у попа на поводу пошли, — не сдается Толька, допекая добродушного хрипатоного друга.

По крыльцу загремели сапоги. Я выглянул в окно. Вернулся замполит. На ходу, почти не глядя на ребят, он кинул им через плечо:

— Эгей, старики! Чтоб этого больше не было... Смотрите мне, уши натреплю, — и, рванув дверь, вошел в хату. — Товарищ командир, ребята табаком балуются...

Я показал на приказы.

— Давай подписывай, и разошлем, что ли, в батальоны.

Пока комиссар Мыкола выводил подпись, я снова подошел к окну. Оттуда до моего уха донесся хриплый шепот:

— Ишь, черт! И как это он углядел, ведь мы в рукава спрятали сигарки-то. Комиссар Руднев сильно за самогонку взыскивал, а этот до курева добирается.

— Так это он таких сопляков, как ты...

— Какой нашелся...

За окном тихая возня, смех.

А через десять минут, получив пакеты, мальчишки вскочили на коней, и, приглушенный туманом и оттаявшей землей, топот копыт заглох в темноте.

Я закрыл окно.

## 21

Село Мосур на несколько дней стало базой нашей стоянки — в ней была большая необходимость. Мы мотивировали это так:

1. Конский состав требует отдыха после непрерывного марша и пополнения обоза санями.

2. Необходимо устранить ряд недостатков организационного порядка, обнаруженных во время непрерывного марша с 5 по 20 января.

3. Для повышения боеспособности соединения провести некоторую переформировку.

4. Из Луцка и Ковеля немцы интенсивно вывозят награбленное имущество как по железной дороге, так и автоколоннами, и, следовательно, мы обязаны выслать на коммуникации побольше засад и диверсионных групп.

5. И, наконец, возникает острая необходимость разобраться в националистическом движении на Воляни, так как весь район западнее и юго-западнее Луцка охвачен вооруженными бандами. Кроме того, нас крепко интересует школа «лесных чертей».

В отданном тогда приказе по соединению глухо говорилось о необходимости проведения разведки переправ через Буг и о наметках дальнейшего маршрута. А именно это и было главной целью нашей стоянки. Штаб упорно думал: не махнуть ли за Буг?

Мы решили организовать ряд небольших засад и диверсий на путях отступления немцев, маскируя, кстати, мелкие группы под «бульбашей». Пусть немцы гоняют националистов! Хлопцы уже научились молниеносно то снимать, то надевать погоны.

В наших руках были документы, свидетельствующие о сговоре гитлеровских тыловых органов охраны и администрации с бандеровцами. Бандеровская верхушка лихорадочно торопилась организационно укрепить свой союз с гестаповцами. Бандеровцы получали оружие, налаживали связь по радио — короче говоря, готовились к подпольной борьбе против Советской власти. Но простые люди, вовлеченные в эту заваруху под лозунгом борьбы с оккупантами, по-прежнему охотно действовали против мелких жандармских отрядов и тыловой немецкой администрации. Нам надо было всячески использовать в своих интересах это противоречие.

В раздумье прохожу мимо расположения разведроты. Смех, прибаутки. Собираются, видно, в поиск. Снаряжены, подтянуты — все один к одному. У колодца отделение Антона Землянки. Ведро поблизости не оказалось, или просто поленились бежать за ним. Воду достают какой-то небольшой плошкой. Веселая перебранка.

— И с чего вы, хлопцы, воду пьете? Или селедки объелись? — спросил, подходя к ним, старшина разведроты Зяблицкий.

— Нет, товарищ старшина, селедки на обед сегодня не было. И рыбу соленую тоже не употребляли... А хотим сообща с рапортом к комиссару взойти, чтобы, значит, из эскадрона Усача никого близко к нашей поварихе не подпускать... Прямо перевела всех нас. Он-то что? Придет, как кот около сала, усами пошевелит, а мы потом гуртом страдаем. Борщ в рот взять невозможно...

— А вы бы, хлопцы, свою красавицу на какую-нибудь постарше сменили, чтоб вам к комиссару с пустяками не лазить. Так бы и обезопасили себя на случай пересолов,— советует Тимка Арбузов, старшина санчасти.

— Сменили! Переменишь шило на швайку! Не подбивай клинья! Наша — чистеха и готовит хорошо: и вареники лепит, и картошку жарит, и все быстро, сноровисто — все может, пока Усач своих эскадронцев не подпустит. Мы понимаем, дело молодое, с кем грех да беда не случаются... А все же гридется какому ни на есть коннику в темноте бока пощупать, чтобы отвадить от нашей кухни...

— Напоились? Двинули, что ли? Или еще черпать будете? — серьезно спрашивает Антон Землянка.

— Только фляги наберем. Это же нет спасу, до чего жажда разбирает после соленого обеда.

— Поехали...

Уже третий день стоим в Мосуре. Но прав был Вася — наши не засидятся. Вчера после появления у нас армян мы решили разослать в засады во все стороны сразу несколько рот.

Засады и мелкие группы диверсантов вышли на коммуникации Ковель—Владимир, Владимир—Луцк, Владимир—Замостье.

А сегодня утром в соединении торжество. Связавшись с Киевом, мы голучили две радиogramмы. В одной сообщалось, что капитану Роберту Кляйну Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза. Вторая радиogramма адресована самому Кляйну. Его поздравлял с высоким званием и наградой Никита Сергеевич Хрущев. Он желал ему дальнейших успехов в борьбе с фашизмом. А сам адресат рыскал где-то под Ковелем...

Еще днем ординарцы, смеясь, сообщили мне, что Цымбал вчера здорово рассказывал о боевом пути Роберта Кляйна, о подвиге, за который он был представлен к Герою.

Вечером я решил размяться и поехал верхом по селу. Подмораживало.

Спускался туман. Кони скользили копытами по ледку, который то выдерживал их, то проваливался.

На площади, возле церквушки, встретил Мыколу Солдатенко.

— Ординарцы говорили, что очень интересно о нашем герое Цымбал рассказывает,— сказал я Мыколе.

— Ага. Сегодня хлопцы опять собираются его послушать...

— Послушаем и мы, что ли? Где они тут?

— Та в школе. Там у них штаб батальона. И рота одна.

Я спешил у школы.

Мы вошли в класс, где в полутьме лежали бойцы. Только дверь в соседнюю комнату — видимо, учительскую — была освещена. У просвета толпился народ. Мыкола Солдатенко молча указал мне на горку школьных скамей, сложенных одна на другую у стенки. Я примостился поближе к печке. Напротив была разостлана солома. На соломе лежало человек двадцать. Одни похрапывали, другие курили...

— Ну давайте, Андрей Калинович, пора уже,— просили связные.

— Сейчас, сейчас,— заговорил Цымбал немного неуверенно. Он заметил, что в учительскую вошел Солдатенко.

— Та вже починай! — сказал тот.— Знов про меня будешь? Бре-шешь — так бреши уже в глаза...

— Нет, товарищ Мыкола, тут разговор вчера был про нового,— сказал Цымбал.

— А про вас они всю только правду рассказывали,— защитил Цымбала связной Шкурат.— Очень даже подходяще.

— Послушаем,— сказал, усаживаясь, Солдатенко.

— Сейчас обскажу... Значит, так,— начал Цымбал.— Идут бои за Киев. Это тогда, когда я еще в бригаде Родимцева воевал. Держимся. Как зубами вцепились. Ну, Клейст, генерал ихний, потыкался-потыкался и назад: правее завернул и на Умань пропер. А потом слух пошел, что уже к Николаеву подходят его танковые клинья. Семнадцатого чи девятнадцатого сентября, не помню уже точно,— приказ: Киев сдать! Ах ты, горе какое! Фашисты на Левобережье рвутся, уже впереди нас клещи загибают. Прикрывала наш отход к Борисполю танковая бригада. Не упомяну уже номера и кто там командовал. Не знаю, может быть, я и встречался где в боях с Робертом Кляйном, а может, и нет, но что мы где-то рядом были — это точно. Я выкарабкался живой, а он, значит, остался. Ранили его в левую ногу.

— Так откуда же он взялся под Борисполем? — не утерпел Солдатенко.

— Он с Поволжья родом. С самого города Энгельса. Танкист. Лейтенант, кандидат партии. Да-а... И остался он на огороде. Тут фашисты в Борисполь из Киева прорвались. Раненых достреливают, пленных ведут, как курят на зарез. А этот танкист лежит пластом рядом с подсолнухом спелым. Нога перебитая — ни подняться, ни ползти. Он стебель подсолнуха зубами перегрыз, до решета добрался, выгрыз все семечки и вроде съел. Только воды нет. А солнце в полдень добре припекает. Горит весь, а воды нет. Разум мутиться стал. Словом — смерть. Но на другой день вышла на огород дивчина, хозяйская дочка. Увидела раненого. «Солдатку, тикай,— шепчет.— Немец у нас на дворе». А он: «Пи-ить». Глянула она на ту рану страшную, тихо ойкнула... и убежала. А он как в тумане — конец. Сейчас фашисты придут. И небо у него в глазах черное-черное стало. А через полчаса приходит он в себя. Весь воротник мокрый — это она ему зубы разжала и в рот воду из глека льет. Глотнул раз, глотнул второй, чуть-чуть отдохнул.

— Ох и жестокая ты, жизнь солдатская...— вздохнул в классе кто-то из слушателей.

Цымбал замолк, задумался, что-то вспоминая. Молчали все, лишь потрескивали чурбачки в «парашюте». И Слупский, и Вася со своим другом Соколом, и связные — все молчат. Мыкола Солдатенко нарушил молчание:

— Да кажи, що ж дальше, Андрей Калинович?

— И вот берет эта дивчина серп и начинает кукурузу жать. И кладет те бодыля прямо на него. Целую скирду наложила. Шуршат сухие листья, а затем сразу все затихло. И словно ветерок подул. Шепчет она: «Солдатику, ты живой?» — «Живой». — «Я, когда возможность будет, приду. Тебя схочу». Она ему и воды полную тыкву рядом положила. Пришлось ему день и две ночи там еще пролежать. Немцы по огороду ходили. Понимает он хорошо по-ихнему, слышит, как они между собой переговариваются, спорят — трогать им хозяйскую дочку или нет. Был среди них какой-то капрал — баптист чи вангелист какой, ну, словом, старовер европейский. Запретил трогать. Обошлось.

Человека три из курильших, лежавших в классе на соломе, встали и по-дошли к дверям учительской. Цымбал продолжал:

— А когда фрицева колонна ушла на восток, Катерина, дивчина эта самая, Кляйна на чердак перенесла. Объявился и фельдшер какой-то. Но только на второй месяц дело пошло на поправку. Так и пробыл он у тех добрых украинских людей всю зиму. Весной только, через шесть месяцев, стал ходить. Нога у него левая получилась короче правой.

Среди слушателей немало было людей родственной судьбы. Многих выходили в погребах, сараях, на чердаках сердобольные молодичи и девчата. Не поэтому ли слушают так внимательно? А может быть, и потому, что очень уж складно наловчился в госпитале рассказывать Андрей Калинович?..

— Надо мне к своим уходить, говорит. А Катерина его, видать, любить стала, что ли. «Не уходи, Романи! — Она его так по-своему звала. — Оставайся у нас, иначе меня в неметчину угонят. А так поженимся — может быть, обойдется. Не уходи...» Ничего он ей не сказал на это, но еще на неделю остался, все выпрашивал. Слух о партизанах уже и туда, в степя, дошел. Воспрянул танкист духом. Только где их искать, тех партизан: до северных лесов далеко, с большой ногой скоро не дошкандыбаешь. А тут и на юге повеяло новостями. Говорит Кляйн Катерине: «Спасибо тебе за все. Не могу я больше». А она отвечает: «Ну что ж, война. Я понимаю, она и мое сердце переехала, а не остановилась». Тяжелое у них вышло прощание. Що там было у нее, в ее женском сердце, того не знаю. Чи, может, патриотизм, чи, может, любовь — подика разберись. Все перемешала тая война.

Задумались партизаны. Приходилось многим такие тяжелые минуты переживать.

— Ушел-таки Кляйн?

— Катерина его больше не держала? Значит, настоящая патриотка, — вздохнул Слупский.

— Ага. Аусвайс<sup>1</sup> он хороший достал и пошел на юг. Блукает по полям и дорогам уже не один день, все партизан ищет. Встречаются на шляхах машины. Немцы его, правда, не трогали. Полиции только, эти бешеные собаки, вылупятся бараньими глазами на аусвайс, на печатку с черной вороной на гербе. Но он быстро с ними наловчился обходиться. Документ под нос, да как гаркнет по-немецки: «Ахтунг, ахтунг, русише швайн, дон-нэр вэтер!» — и поверх всего того немецкого русским матерком перекроет. Сразу полиция руки по швам. Так и блукал он недели три.

— Вынюхивал? — шелотом спросил Вася Коробко.

— Ага. Трудно было, но все же вынюхал. Есть там, за Богдановыми

<sup>1</sup> Удостоверение.

местами, лесок. Есть и овражки с дубнячком. Вот где-то тут, чуёт он, должны быть партизаны. Еще три дня ходил по тем оврагам. Там и спал, в села не заходя. Так его спящего и накрыли.

— Гестапо? — охнул кто-то.

— Партизаны. Они тоже двое суток по его следу шастали, выслеживали: чего человеку надо? Что он вынюхивает, как шакал? Проснулся он. Вокруг него человек десять, глаза в упор. «Ты кто?» — «Окруженец». — «Все мы окруженцы. И полицаи и партизаны. Зараз ты кто?» — «Никто. Партизан ищущий». — «Эрих Кох, и полицаи, и Степан Бандера — все они тоже партизан ищущий». Молчит наш Роберт-Роман. Должен я вам, хлопцы, сказать, что степной партизан — это человек совсем другого сорта, чем, скажем, мы. Осторожность и бдительность у них, в степу, — это самое главное. Я с теми степняками в госпитале лежал. Так ночью, на кровати лежа, и то оглядываются. Каждые десять минут прокидается, голову сторчком круть-верть на все стороны — и снова спит. Отряды степных партизан по балочкам, по камышам да по плавням хоронятся. А народу в отряде человек десять — пятнадцать. Ну, от силы — полсотни. Не больше.

— В общем, уши торчком, глаза туды-сюды? — спросил Мыкола. — А воевать когда же?

— Воевать, воевать... Близо один-единственный лесок, а кругом степь на сотни километров. Лес-то ерундовый, ну овражки там... тоже не ахти какие. Камень с одного берега на другой перекинуть можно. Так и приходится перебегать каждую ночь из одного овражка в другой. В общем так: когда действует отрядик в два десятка человек, и на хитрость и на что только не пускается тот степняк-партизан. Ну и вот, стоит наш Роман-Роберт, по рукам связанный. Командир вперед вышел. Конько — бывший учитель. Видать, учитель тот в психологии разбирался неплохо. Понял, что не подосланный какой-нибудь гестаповец, не брешет. Кляйн ему свою нацию открыл. И Конько задумался. Оставил его под присмотром товарищей, а сами — видать, комиссары и там прочие начальники — в сторону отошли. Сели за кустами совещаться. Потом вышли и свое решение ему объявили: «Принять тебя в отряд не можем». И объяснили ему по-товарищески свое южное степное положение. Видят, как изменился в лице человек. Ну, как из петли вынутый. Тогда и говорит товарищ Конько: «Но все ж, задание тебе даем. Поступай на службу к фашистам, раз ты их язык хорошо знаешь. Вот тут, в райцентре, и поступай. Ну, скажем, в эмтээс. Ты танкист — технику должен знать». Договорились насчет паролей. Документы Кляйну переменяли. Выходило по выдуманной биографии к тем документам, что он фольксдойч из Бессарабии. И пошел Роберт Кляйн к немцам на службу. Назначили они его механиком. Райончик неважнецкий, хотя и хлебный. Какое в районе начальство? Гебитскомиссар, жандармов человек двенадцать, зондеркоманда, ну, в общем, двадцать пять — тридцать человек фрицев, для запаха, как говорят. Еще парочка агентов тайной полиции.

Две шкуры Кляйн носил, и обе просвечиваются: и полиция носом тянет, и, знает он, подпольщики районные с него глаз не спускают. Втерся он все же в доверие к немецкому начальству. С самим гебитскомиссаром в карты стал играть. Хотя фашист в карты с ним играет, но за обед, скажем, уже не посадит, нет. Все равно считают его человеком второго сорта: фольксдойч — это вроде только кандидат в арийцы. Потом стали его просвещать, Геббельсову науку ему долдонить. Взвыл Кляйн от того Адольфа учения... То ли сбегать, то ли в петлю. Не лезет в душу советского человека фашистская дребедень. Но тут как раз от Конько связной пришел и принес ему такую резолюцию от командования отряда: «Приказ считаем выполненным, зачисляем подпольщиком и разведчиком отряда».

— Агентурным, значит? — спросил Сокол.

— Дают ему новое задание: охотником стать. Развел руками наш Кляйн, но повеселел: поверили, значит, хлопцы и командир. А приказ есть приказ — надо выполнять. Стал охотником. Зайцев и куропаток наловчился стрелять. Полуторка задрипанная в его распоряжении была как у главного механика эмтээс,— чмыхалка такая, вроде примуса. Дребезжит, мотор чихает, но колеса крутятся. Смердит, а едет. Вот выезжает Кляйн ночью в поле с двустволкой, к оврагу условленному подкатит, а партизаны ему на машину зайцев, уток понакидают штук двадцать и говорят: «Отвези все к самому гебитскомиссару». Тот фашист жадный, конечно, доволен. «Гут, гут»,— говорит. А через неделю сам уже спрашивает: «Скоро, фольксдойч, на охоту?» Понравилась ему дичь украинская. Так и стал Роберт почти сутками пропадать с машиной. На охоту, значит, и все. Однажды с вечера ему Конько и говорит: «Третье тебе задание: оттарабанишь на машине десять человек на сто километров? Два часа хлопцы поработают — и сто километров обратно?» — «Что ж, можно»,— отвечает Кляйн. Погрузил он партизан с минами за плечами — на случай нежелательных встреч, чтобы можно было ребят в кювет побыстрее высадить,— и газуют они по степи, прямо под станцию Яготин. Минами теми свалили эшелон под откос — и обратно.

— Вот тебе и зайцы и утки-кряквы! — довольный, засмеялся Мыкола.

— Так за неделю-другую эшелончиков пять они под откос аккуратненько спроводили. То там шуруют, то совсем в другом месте. Каратели около железной дороги партизан по степи ищут, найти не могут. Никого нэма, неизвестно, кто шкоду немцам делает.

— Вот тебе и охотники! — Вася Коробко даже зажмурился от удовольствия.

— Это волчья тактика называется,— сказал серьезно Цымбал.— Волк возле своего логова никогда овцу не задерет. И свинью не зарежет.

— Правильно,— подтвердил Мыкола Солдатенко.

— Наладились они поезда щелкать. То под Яготином, на линии Киев—Полтава, то под Красноград махнут. Сбилось с ног гестапо. Села стали палить вблизи железной дороги. Полицаев загоняли. Ничего не могут унюхать. Расшлепали человек с полсотни полицманов с досады.

— Так им и надо,— сказал серьезно Сокол.— Почему не углядели?

— Ну, понятно, стали полицаины разбежаться кто куда.

— Не любят, значит, когда шлепают...

— Выходит, и на юге можно партизанить?

— А как же, конечно, можно. Но тактику соблюдать надо. Южную, особенную. Там колонной не попрешь. В общем, целый год у них дело так и шло. Ни разу не засыпались. Но провалился сам Кляйн. Губернатор в район сыщика опытного прислал под видом продавца или какого-то коммерсанта. Он по карточной игре пристал в партнеры к гебитскомиссару. И стал о чем-то догадываться. Обратил внимание, гад, что в ту ночь, когда Кляйн на охоте, тогда именно и крушения бывают. Три месяца, стервец, в карты играл. И вынюхал, а мер не предпринимал — хотел Роберта-Романа с отрядом захватить. Но и сам Кляйн почувствовал, что погорел, и вместе с полуторкой вовремя смотался в отряд. Теперь уже Конько ему не препятствовал. Хоть и немец, но проверенный партизан.

— И волчья тактика сорвалась? — спросил Сокол.

— Не то чтобы сорвалась — время другое наступило. Уже сорок третий год шел. Лето. Курская дуга. Наступление Первого и Второго Украинских фронтов. К Днепру Красная Армия подступает. Стал тогда наш Кляйн под сберста, немецкого генерального штаба полковника, работать. Подбили раз такого на засаде. Самого оберста — в овраг, сапожки и шинелку, кителечек, фуражечку сняли и Кляйна поднарядили. Ничего — подходит. Машина тоже классная, мировая машина — «опель-адмирал» называется. Мундир, ордена, карта, планшет кожаный, бинокль, пистолет

в кобуре с монограммой от самого Гудериана. Чем не оберст? Мотается по степи «оберст», а за шофера у него сам командир отряда Конько. И не то чтобы не доверял Конько немцу Кляйну, наоборот — на все сто процентов доверял, а сам рисковал, чтобы в случае чего решение на месте происшествия принимать, ну, и сколько возможно охранять своего классного разведчика. Кроме эмтээсовской полуторки, обзавелся отряд еще парочкой грузовиков — позади «оберста» газуют за «опель-адмиралом» по Полтавщине по утрам да сумеркам. А днем по оврагам и балочкам переходываются.

— Тоже, видать, рейдовая тактика?

— Ну да! А ты думаешь как? Только другого, значит, ранжира — москиты, комары, а кусаются и спокойно спать фашистам не дают, нет...

— И большой у них уже был отряд?

— Точно не знаю, сколько братвы в том отряде. Но немного. С нашу роту отряд был, не больше.

— Ишь ты. Я бы и то злякался,— наивно сказал бесстрашный разведчик Мурашко.

— Все дело в привычке. Ты привык к грохоту, чтобы уж если бой, так треску, шуму на весь район, а степняки, сказал уже,— комары, москиты. Боеприпас весь на учете, баз нет, что у противника раздобудут, то ему же и возвратят. Сам теперь понимаешь — много с собой на две-три машины не нагрузишь при такой рейдовой тактике.

— Да, тактика: туды-сюды и обратно.

— Ну, небольшой отряд так небольшой. Как же дальше-то они работали? — сказал Солдатенко.

— Вот, значит, наступает к Днепру наша Армия: к Десне Рокоссовский жмет; южнее — Первый Украинский фронт, Ватутин и Хрущев наступают; еще южнее — Второй. Представитель Ставки маршал Василевский координирует.

— Чего, чего? Координаты наводит?

— Ну вроде так... Да, в общем, я и сам не знаю, как кто координирует. Щоб не переспорились, что ли. А может, для дисциплины. На севере, там, где партизан побольше, так по переправам, партизанами сохраненным, дивизии стрелковые наступают на Черниговщину, другие — на запад, к Днепру выходят. Танковые сражения идут на Полтавщине. Фриц огрызается. За Днепр, как гусеница-гадюка, фашист с техникой ползет. Думает на том берегу закрепиться. И в этой каше прифронтовой крутится машина «опель-адмирал». Командир Конько за шофера — петлицы обер-вахтмайстера, а на заднем сиденье — такой важный оберст генерального штаба со стеклышком в глазу.

— Тоже координируют?

— Конечно. Они к этому времени уже и рацию себе раздобыли. Только в разведку сам командир всегда отправлялся.

— Ну, это не дело! Если бы у нас комиссар или, скажем, сам Ковпак в разведку ходил, что бы случилось? Скажи еще, в крайнем случае сам подполковник пошел бы, как это было под Брянском или в Карпатах, когда он заместителем действовал. Это еще туда-сюда. Но чтобы сам командир отряда... — рассудил разведчик дальнего прицела Шкурат.

— Конечно, не годится,— соглашается Цымбал.— Но тут же не обычное время, а три фронта наступают. Борьба за Днепр. Можно и командиру. Приказ Верховного Главного командования объявили: кто первый за Днепр ногой ступит — тому Героя положено. Как говорится, исключительное положение: либо пан, либо пропал. Получают и степняки-партизаны приказ по рации. Может, от товарища Василевского, а может, от товарищей Хрущева или Ватутина, не знаю. Словом, высокий приказ: «Разведать переправу через Днепр, подтянуть отряд к ру-



бежу». Подошли к переправе партизаны и на рассвете — в камыши. Как утята. «Опель-адмирал» — фыр-фыр! — выскочил на насыпь и газует. Через Днепр проехали на полном газу мимо охраны, все вынюхали — и к своим. Часов в восемь утра уже из камышей по радию — стук-стук! Так, мол, и так: «Переправа мощная. Тяжелые танки выдержит, но заминирована. Войска идут беспрерывно, прут навалом. Комендант переправы в блиндаже сидит возле машинки подрывной, только крутнуть и — все в воздух». Отстучали. Ждут. Через несколько минут по радию приказ: «Не дать врагу переправу взорвать. Продержать в своих руках несколько часов. Танковым передним батальонам дан приказ: прорваться к Днепру. Два батальона танков пошли в рейд. Свяжитесь. Выполняйте». Выезжает снова «опель-адмирал» на насыпь. И тихо, на первой скорости, — на мост. Наш оберст направо, налево козыряет двумя пальцами. Конько нежные гудочки подает: дорожку ослобони, дорожку, фрицы. Вклинились в немецкую колонну и прямо на мосту стали.

— А отряд? — пробасил кто-то из слушателей.

— Сидит в камышах, как лиса перед стадом гусей, что на лугу пасется.

— Выехали на мост?.. А дальше?..

— Выходит не спеша из «опель-адмирала» оберст, стеклышко на часового вскинул и пальчиком ему махнул. Часовой гусиным шагом вперед и по-егерски на караул. Честь ему отдает. «Вас ист дас, ви-филь?» — и все такое прочее спрашивает оберст. «Где комендант переправы? Позвать его сюда!» Побежал часовой в блиндажик. Комендант в чине обер-лейтенанта явился в каске, но небритый. Оберст генерального штаба ему прочухан давай вычитывать: «Почему небритый? Почему сапоги грязные, да и на переправе непорядок? Чистоты нет...» И вода ему в Днепре грязная и запах плохой. «Как караулы держишь? И зенитки почему на левом берегу? Они на правом берегу должны стоять».

— До зениток, значит, уже подобрался... — выдохнул Солдатенко.

— Приказывает немедленно зенитки те переправить. Десять минут срока! Обер-лейтенант побежал приказ выполнять. Оберст на перилах моста карту развернул, стратегию соображает. А Конько тем временем, значит, машину драит, чистоту наводит. Но по сторонам оглядывается. Через полчаса подбегает комендант переправ с рапортом. Зенитки уже на том берегу установлены. Немцы работают как часы. Кляйн опять на него кричат: «Доннэр взтер! Ферфлюхтер, туды твою... и обратно. На том берегу, да не туды смотрят». Но, видно, перебрал он. Отошел обер-лейтенант в сторонку как в воду опущенный. «Подозрение у немецких офицеров пошло. Они у коменданта что-то спрашивают», — шепнул Кляйну Конько. И собралось их уже человек пять. Разговаривают. В сторону «опель-адмирала» головой кивают и направляются все к машине. Комендант переправы и тот смелости набрался, почти-точно под козырек взял и к оберсту: «Все же, — говорит, — извиняюсь, а разрешите ваши документы».

— Ух ты, — выдохнул связной Шкурат. — Ну, влипли ребята. Их же двое, а фашистов небось кругом!..

— Глянул Конько на то офицерье, а у них кобуры расстегнуты, только пистолеты выхватить. Тихонько Кляйну по-русски: «Держись, браток, рванем напрапалу» — и остороженько мотор «опель-адмирала» завел, сам в руль вцепился. А Кляйн как гаркнет: «Молчать! Разбаловались все тут. Трам-тара-рам...» Комендант чуть-чуть отошел шага на три и опять: «Ваши документы!» — и за пистолетиком тянется. Наш оберст отошел от машины ближе к коменданту. У того пистолет уже в руках, офицерье вокруг насторожилось. Кляйн спокойно: «Документы?» — и в боковой карман руку опустил. Кроме того, что в кобуре

с монограммой самого Гудериана, там у него еще парочка пистолетиков была. Запасной пистолет из кармана — р-раз! — и спокойно так, почти не глядя, говорит: «Именем фюрера» — да бац коменданта в лоб. Свалился комендант. Кляйн сунул пистолет обратно в боковой карман и к офицерью подходит. «Кобуры застегнуть!» — и на свой кобур показывает. Видать, доки среди них были. Сразу серебряную монограммку и подпись самого Гудериана узнали. «Разойтись! Выполнять приказание!» — командует оберст. Никому охоты нет от имени фюрера девять грамм в лоб получать. Повернулся оберст спокойно к ним спиной, к машине подошел, сапожок на подножку поставил. Глянул на своего шофера, а тот как вцепился в руль, аж ногти в ладони впились. Кляйн вздохнул и говорит: «Фу, пронесло, кажется... Давай, товарищ командир, действуй, а я останусь тут». И обменялись взглядами. Сказано было боевыми товарищами все. Роберт-Роман будет «наводить порядок» на Днепре. Сделает все возможное и невозможное. Козырнул двумя пальцами оберст своему командиру партизанского отряда, тот крутнул машину, и только пыль взвилась столбом. А оберст сигару закурил, прутик из верболоза вырезал вроде стека, изредка себя по голенищу сапога похлопывает. По переправе прошелся и с насыпи вниз сбежал в блиндажик.

— И наводит там порядок?

— Ага, прогуливается, осматривает. Немецкие солдаты ему под козырек берут. Он вроде не замечает. Проводку ищет, ту, которая тянется от блиндажа к шурфам, колодцам моста, полным взрывчатки. Под мостом нашел. Стороной самолеты как раз шли, не то немецкие, не то наши. Оберст солдатам сигарой в небо показал: «Ахтунг, мол, следить всем».

— Вот здорово насобачился по-немецки шпрехать! Не Цымбал тебе, а заправский немец... Калинович,— обратился к рассказчику Шкурат,— это ты не курсы, случаем, в госпитале проходил, по немецкому языку?

На Шкурата зашикали, замахали руками, а Солдатенко молча показал ему на язык.

— Солдатня вытаращила глаза в небо, а он тихо вырезал карманным ножом провода метра два. В Днепр сапогом его отшвырнул, концы землей замаскировал — ищи теперь, как взорвать! — и опять на переправу. Ну, в общем, больше часа он один переправу немецкую держал. А Конько тем временем на восток газанул километров двадцать пять. Танки советские увидел — красный флажок из-под сиденья, он у них там всегда был в запасе,— и прямо на тридцатьчетверку...

— С флагом, чтобы не подбили?

— Ага. Тут же доложил. Командир танкового батальона указания на этот счет уже имел. За «опель-адмиралом» сразу колонна танков построилась и на полный газует. Выскочили на насыпь, стрельбу подняли прямо по немецким обозам. А оберст спокойно по мосту похаживает. Когда же танки советские развернулись вдоль поймы, он часового — хлоп, телефонную трубку снял и ротам, что залегли на правом берегу, приказ: «Именем фюрера, всем сдаваться в плен. Русские нас окружили». Ну, немцы — народ, конечно, дисциплинированный. У них не то, что у нас. Наши воюют по приказу, а приказа нет — воюют по совести. А у них, пока приказ есть, — выполняй. А нет — организованным порядком хенде хох! И готово. Танковый советский батальон на тот берег с ходу переправился и зенитки утюжит. К вечеру партизаны Конько и десантный танковый отряд на том берегу захватили плацдарм. Ночью целая стрелковая дивизия переправилась туда. А к утру и корпус.

Хлопцы оживились.

— А я думал, раз немец, так уж... А он вон какой!

— На вид он действительно так себе, вроде мыршавенький мужичонка. Может, из окруженцев какой, может, из запаса, думал и я вначале,— отозвался Шкурат.

— А он «оберст»!..

— Да этот мыршавенький как дал бы тебе девять грамм между глаз именем фюрера!

Партизаны захохотали.

— Откуда же тебе это все известно? — спросили у Цымбала.

— Сам генерал Строкач нам в госпитале об этом подвиге доклад делал. И о других, конечно. Он частенько раненых навещал, подбадривал, так сказать, морально нас подлечивал.

— Вот, брат, и не думали, что среди нас такой немец действует,— резюмировал Мурашко.

— Гляди, еще, может, и турки объявятся.

— Турки не турки, а венгерский комсомол у Бакрадзе ходит в политруках...

Возвращаясь с Мыколой в штаб, мы решили, что Цымбала надо назначить комиссаром в батальон Брайко. Конечно, политрабату надо строить в основном на текущей политике, но если боевые дела живых, знакомых каждому людей подают пример и делают политрабату живой, конкретной, поучительной, то это тоже немалое дело.

— Та чего говорить, молодец Цымбал,— подтвердил Мыкола.— Я сам его слухал, как малое дитя сказку... А людям этим своим рассказом он внес в душу и боевую и интернациональную идею.

## 22

Через день из засад на коммуникациях начали прибывать наши мелкие группы. Действовали они успешно — приводили пленных, подбивали машины, пускали под откос поезда, захватывали обозы.

Давид Бакрадзе с новым комиссаром, венгром Иосифом Тоутом, во главе двух рот вышел на Ковельское шоссе, к селу Блаженики. Они заминировали мост через реку Турью и умело замаскировали свои роты в засаде. Ждать пришлось недолго. Из Ковеля на Владимир-Волинский спешила небольшая колонна автомашин. Впереди — легковая, с офицерами. Бакрадзе вспомнил, как в засаде на горе Синичке я приказывал ему: «Открывать огонь только тогда, когда сможешь различить, какого цвета глаза у фашистов».

Тут была не гора, а равнина, и не егеря с эдельвейсами на пилотках, а быстро идущие машины. Хитрый старшина Боголюбов заблаговременно разобрал доски на мосту. Передняя машина застряла, утопив колесо в щель между балками. Задние поднаперли вплотную, затем развернулись и стали переезжать реку по льду. Партизаны пропустили их на свой берег и только тогда открыли дружный огонь. Стычка продолжалась не более пяти минут. Еще десять минут на сбор трофеев, и роты Бакрадзе уходили на Мосур с трофеями, картами и пленными.

— Гитлеровцы потеряли две легковые, десять грузовых машин и два взвода пехоты,— рапортовал Давид.

На Луцкое шоссе, как охотник в тайгу, вышел со своей знаменитой четвертой ротой омич Саша Тютерев. Этот сибиряк был немалым спецом по засадам. Сержант действительной службы, он начал воевать вместе с Иваном Ивановичем Бережным в дивизии генерала Бирюзова. Не раз они на привалах рассказывали, как выходили вместе со своим генералом из брянского окружения. Особенно часто они вспоминали бой на Севском шляху, под селом Ивановкой, в воскресенье 12 октября 1941 года. Генерал Бирюзов собрал остатки своей дивизии и повел ее на прорыв. Через шлях прорывались под шквалом огня. Бирюзов был

ранен. Наскоро перевязавшись, он продолжал руководить боем, пропуская мимо себя подразделения и обоз с материальной частью и ранеными.

— Через полчаса генерала ранило вторично, а затем и третий раз — гяжело, — рассказывал Тютерев. — «Не бросать генерала!» — командует Бережной и тащит палатку. Сам умри, а командира выручай.

Взвалили они терявшего сознание командива на палатку и понесли. Затем поймали обозную лошадь.

— Такой серый, в яблоках, конек был. Видать, из третьей батареи. Генерал в себя пришел. И с повозки опять стал руководить боем, — рассказывал Тютерев, не подозревая, что он и Бережной спасли жизнь будущего Маршала Советского Союза.

Так же поступил Тютерев и в Карпатах, где его рота спасла Ковпака. Тютерев числился у нас и мастером засад.

— Смотри, не зарывайся. До конца войны далеко, — говорю ему. Тютерев молча козыряет.

— Да он же охотник! Сибиряк! Ходит тихо, ударит лихо, — смеется Ленкин, тоже сибиряк. Усач сам давно напрашивается в засады. Но я приберегаю его конников для «лісових чортів». Там потребуется быстрота и лихость Усача.

И на этот раз Тютерев ударил смело. Пропустив пару легковых машин и один патрульный броневик, он укараулил-таки автоколонну в десяток трехтонных «опель-блитцев» и восьмитонных «бюссингманнов». Машины ревели дизелями, подымаясь в гору медленно и натужно.

— Грузеные. Черт их знает! А если живая сила? На таких дьяволах и батальон уместится, — забеспокоился старшина роты.

— Люди легче. А это машины с грузом. Не видишь, еле ползут, — успокоил Тютерев. — Приготовиться. Огонь пулеметов и автоматов. По стеклам и кабинам. Бронбойкам по первой и последней. Гранаты — только если будет выскакивать живая сила. Пр-р-приготовились. Огонь!

Бой в засаде — как пожар в сушь. Минуту-другую шквал. Ура-а!.. Атака.

И тишина.

Хлопцы Тютерева уже хозяйничают возле огромных автобитюгов.

— Подметки! Вакса! Шинели! Маскхалаты! — раздаются крики с разных сторон. Не успели как следует допросить дрожащих шоферов, как по верхушкам сосен захлопали разрывные пули.

— Крупнокалиберный бьет, товарищ командир. Надо уходить.

— Подбитых сколько?

— Три машины.

— Шоферов по местам. Заводить машины и за мной! — командует Тютерев, садясь рядом с немцем шофером.

Пять или шесть машин удалось оттащить с шоссе на дорогу в лес. Но в нескольких километрах от шоссе они застряли в топком торфяном грунте. Оставшаяся на шоссе разведка донесла через час, что к месту засады на шоссе съехалось до десятка фашистских бронемашин и два легких танка. Через полчаса моторы заурчали и на просеках, осторожно, ощупью двигаясь по машинному следу. Тютерев приказал перегрузить часть груза на подводы, машины поджечь. Вместе с машинами сгорела и большая часть немецкого обмундирования.

На это же шоссе, западнее Владимира-Волынского, к Грубешову вышла и пятая рота Ларионова. Этот молодой лейтенант воюет хорошо, но очень он терпелив. Мы уже поговаривали о том, что следует завести нам и второй эскадрон конницы. Намечаем пятую роту превратить в драгун.

— Добывай седла, Ларионов! — инструктирует его начштаба перед выходом в засаду. Я даю ему пароль к Мазуру, предупредив о своих подозрениях...

Ларионов возвращается, подбив несколько грузовиков. Порожняк. Направлялся из Луцка на Грубешов. Тоже ехали за шинелями и маскхалатами для танковой дивизии. На глухих хуторах «западнее Грубешова», как сказано о них в меморандуме лорда Керзона, Ларионов связался с поручиком Владеком из шестого уланского полка... Мазур познакомил их. В беседе поручик прощупывал, когда и на каком фронте Красная Армия перейдет Буг... Ей-богу, Ларионов этого не знал, как не знал этого и я.

Из всех этих данных, которые приносят вместе с довольно обильными трофеями наши роты из засад, следует предварительный вывод: на шоссе на дорогах оживление. Дорога Грубешов—Владимир—Луцк, видимо, питает какое-то крупное воинское соединение, причем фронтовое.

Трудно, конечно, размышлять во фронтовом масштабе, когда ты всего-навсего партизанский командир. И все более тяжелое раздумье охватывает меня. Не для этих же мелких стычек в засадах дошли мы до западной границы страны? Часами гляжу на карту: севернее нас — Ковель и Холм, соединенные черным жгутом железной дороги; южнее — Владимир и юго-восточнее — Луцк; строго на восток — шоссе и железная дорога Ковель—Ровно. На западе — голубая лента Западного Буга. Над нами проходят две трассы воздушных коммуникаций — незримые, но уже основательно намозолившие нам ухо и глаз. Куда наносить удар из этого четырехугольника, если ты воюешь всерьез, а не думаешь ограничиться мелкими засадами, шелкая по две-три машины в сутки? А ведь со всех четырех сторон у тебя фронт! Нечеткий, прерывистый, сквозь который можно при желании без особого труда пробиться, так же как всего три дня тому назад прорубились мы через переезд у села Подгорного. Но все же ты в окружении! Хотя бы только в психологическом, так сказать, смысле, но в окружении. А психологический жупел этот заставлял холодеть военачальников покрупнее, да и поопытнее нас.

— Эге-ге, командующие и то оглядываются, как только засекаются на флангах подвижные группы, хотя и состоят они всего из нескольких танков,— говорит Войцехович.

Однако к этому времени для нас, совершивших тысячекилометровые рейды от Брянских лесов до Карпат, жупел оперативного окружения начисто выветрился. «Так какого же дьявола ты ломаешь голову? — спрашивал я сам себя.— Правда, четырехугольник черных, красных и голубых линий тесноват. Пусть жиденский, но вокруг фронт. Но мы же воюем без фронта. А где твои фланги? Чепуха! Давно воюем без флангов. И ничего...»

— Кончим войну, засядем за парты в академиях, напишем труды. Вот тебе и готова тема для диплома,— говаривал мне Руднев, еще задолго до решающей схватки с фашизмом окончивший военную академию.

— «Война без флангов»... А что, подходящее заглавие для диплома? — говорил я.

— Ну, за одно такое кощунственное заглавие тебя, брат, и на порог военной науки не пустят.

— А если более обтекаемое: «Война без фронта и флангов»? — спрашивал я наивно.

Хитро закручивая черный ус и прищуривая карий глаз, комиссар говорил:

— Смеешься? Военная наука — это тебе, брат, не фунт изюму. Это тебе не по тылам врага бродяжить...

И нельзя было понять — смеется ли он или всерьез раскрывает свои сокровенные думы. А может, и просто тренирует меня, требуя брать высокие барьеры заостренных понятий и шаблонов.

Такие разговоры бывали не раз. И почти всегда комиссар варьировал эту тему: «без фронта и флангов». Но я хорошо запомнил, как он с тревогой и настороженностью, каким-то даже враждебным взглядом обжег меня, когда я, бросив поводья мысли и бездумно дав ей шенкеля, звизлел свечкой:

— А может быть, назвать «Война без тыла»? Как?

— Ты это брось! — И даже погрозил рукояткой нагайки. — Как это — без тыла? Без тыла не бывает. А если вздумаешь так воевать, запомни — это смерть. Гибель.

Вспомнив любимого комиссара, я снова мысленно возвращаюсь к конкретной обстановке, к четырехугольнику, в который мы влезли южнее Ковеля.

Итак, мы ведем войну без фронта и флангов. На всех крыльях этого эфемерного фронта сейчас действуют наши засады и диверсанты.

Война без флангов! Ну, а где же наш тыл? Вот в том-то и дело, что стараниями всех этих бандер, гончаренок, сосенок в четырехугольнике, куда забралась мы сами, у нас нет тыла. По каждой из наших групп могут ударить эти шакалы. Рано или поздно раскусят же они наш маневр. А здесь действуют целых три куреня и школа «лісових чортів». Значит, они и есть наша ближайшая цель. Ну, а вести войну без флангов мы умеем: это наш профиль, наш хлеб.

Но где-то смутно мерещились еще две заманчивые цели. Мелькнуло на миг: а не плюнуть ли на этот четырехугольник?! Не махнуть ли за Буг? Там, в двадцати километрах за переправой, в Грубешове, склады обмундирования, седел, маскхалатов, зимней одежды, обуви и кожи, которыми так шикарно подлатались и рота Тютерева и эскадрон Ларионова. Одних только зимних маскхалатов привез Тютерев восемьсот штук! Да шинелей свыше тысячи. Налет на интендантские склады! Чем не цель? Или еще другая: по санному пути совершить стремительный двухсоткилометровый марш на юг, к Львову, и дальше — в Словакию.

Все это заманчивые объекты. И в чисто военном отношении, конечно, более значительные, чем какая-то там банда Гончаренко-Клеща, Антоюка (он же Сосенко) или «лесные черти». Но обе эти цели за Бугом. А Буг — это государственная граница. За Бугом Польша. Но все же там, за Бугом и за Карпатами, уже как-никак, а стратегические цели. Военный нюх, порыв говорили в пользу двух заманчивых вариантов. Может быть, действительно стоило закрыть глаза на высокие материи и действовать попартизански? Так сказать, эх, была не была?! При удачном исходе через пять дней мы закоптили бы польское небо черным дымом от сотни фашистских самолетов, что гудят над нами. «Но граница, граница, черт бы ее подрал совсем...»

О том же, что нас засекли за Вислой и на берегах Темзы и встревожились понапрасну нашими погонами, мы тогда, конечно, и думать не могли.

Оставалась только одна ясная цель: разгром националистических банд в Западной Волыни. А главный удар? Ну, конечно же, «лесные черти»! Решено. Надо немедленно громить их.

— Вызвать комбата Брайко и с ним старшего армянской группы, — отдал я приказание связному Шелесту.

Последующие два дня хватало работы и штабникам и разведчикам, получившим особую и трудную задачу: так прощупать дислокацию, численность и вооружение этой школы, чтобы ни в коем случае не вызвать у противника никакого подозрения. Я строго предупредил их, чтобы они не проболтались.

Штаб «потел». Войцехович и его помощники десятки часов просиживали над картами, донесениями, сводками. Но больше всех работал политсостав. Мыкола Солдатенко, комиссары батальонов Цымбал, Тоут,

Шолин, политруки, парторги рот и агитаторы во взводах, помощник Мыколы по комсомольской части Миша Андросов, бывший секретарь райкома комсомола Надя Цыганко, коммунисты и комсомольцы все время проводили в ротах, писали листовки, созывали собрания жителей, залезали в глухие хутора. Задача была ясна: изолировать банды от народа, лишить их тыла, поддержки, резервов. Конечно, немногие из наших помощников знали конкретную боевую цель. Мы не могли раскрывать даже и коммунистам направление главного удара, наоборот, тщательно маскировали его.

С военной стороной операции мы, конечно, справимся. Уверенность в этом была полная, и она оправдалась через несколько дней. А политический маневр? «Уж очень сложная каша заварена здесь гестаповцами и их верным помощником Бандерой. Сумеет ли мы в ней разобраться? Нет ли где просчета?!» — думал я, думали комиссары.

— Если уж теряем время и силы, то тут мало выбить «курсантов» из лесов, потеснить или разогнать их, — толковал я начштаба, корпевшему над составлением боевого приказа. — Логика борьбы подсказывает самое решительное построение боя: окружение. Полное уничтожение этого гадючьего гнезда.

Явился Брайко, с ним Арутюнянц — старший армянской группы.

— Как бы нам пароль узнать, друг? — спросил Войцехович Арутюнянца.

Тот подумал.

— Есть там один человек...

— Кто такой?

— Старший лейтенант Семенюк. Его они вроде военспеца держат.

— Чей старший лейтенант? Обер-лейтенант, что ли?

— Нет, наш. Бежал с нами из плена. Хорошо знает военное дело. Профессор «лісових чортів».

— Ну дела! Сможете установить связь с ним? Но он не продаст? — заинтересовался я.

— Что вы, товарищ командир! Вот вам моя рука. Рубите, если что. Хотите, я привезу его к вам?

— Нет, лучше оставить его на месте. Пусть даст пароли, расположение постов. А в момент наступления спутает им карты.

— В бою перейти трудно. Или пуля в спину от тех, или в горячке боя от своих пуля в лоб.

— Пусть выполняет приказ. Хочет замолить грехи — пусть идет грудью... А там как его солдатское счастье вывезет...

Разрабатывать боевую операцию по разгрому «лісових чортів» пришлось при довольно сильном шумовом оформлении. Над нами, видимо, проходила какая-то воздушная трасса. С интервалом в десять—пятнадцать минут с северо-запада на юго-восток одна за другой шли тяжелые транспортные машины: иногда парами, иногда тройками, а чаще в одиночку. Шли знакомые нам трехмоторные «Ю-52», темно-серые, в пасмурном небе казавшиеся аспидно-черными. Тупорылые, медлительные, с обрубленными крыльями тяжеловозы, воздушные битюги. Обрати они возвращались под вечер веселее, как будто налегке. По опыту прошлого года, когда под Ровно наши доморощенные зенитчики сбили одну такую машину с офицерами южной группы Клейста, мы знали, что обратно они везут либо раненых, либо штабное офицерье. А на фронт ползут тяжело, с нагугой, глухо урча перегруженными моторами. На этот раз изредка, с интервалом через десять—двенадцать грузовых «юнкерсов», появлялось какое-то невиданное воздушное чудище. Огром-

ная машина с громоздким фюзеляжем, похожая на лохматого шмеля, волокла под своим пузом пять или шесть пар колес, прикрепленных вплотную — шасси к шасси. Было полное впечатление, что воздушный тяжеловоз везет подцепленный к брюху танк. Шесть моторов ревели дружно, сотрясая стекла в сельской избушке.

Большинство самолетов проходило на приличной высоте. Трудно было достать их ружейно-пулеметным огнем и даже бронебойками. Зениток у нас не было. Пришлось строжайшим приказом удерживать рьяных партизан от беспорядочной, неорганизованной стрельбы.

Но некоторые машины проходили на высоте ниже двухсот метров.

Можно было попытаться.

Еще с утра начальник штаба распорядился установить в каждой роте на специальных турелях из колес телеги по одному, по два пулемета. Было приказано вести огонь только по низко летящим машинам.

Это дало результат. Как раз, когда мы сидели над разработкой плана по уничтожению «лісових чортів», возле штаба раздались крики постового:

— Горит, горит!

Выбежав из хаты, мы еще с крыльца заметили уходящий за крышу дома черный дымный след. Обежав дом, я увидел «Ю-52». Он шел на посадку, волоча за собой, как Змей Горыныч, лохматый хвост маслянистого дыма. Из-под самолета вырывалась оранжевая подпалина пламени. Сразу за селом, у мелкоколосья, на припорошенной снегом торфянистой луговине машина пропорола брюхом черную борозду. Из нее выскочили четыре человека в комбинезонах. Они побежали к овину, стоявшему на отшибе села. Но туда уже скакали верховые партизаны.

Через несколько минут к штабу привели четырех фашистских летчиков.

Самолет горел, все больше и больше оседая к земле. Изредка в машине раздавались глухие взрывы, а потом началась непрерывная трескотня. Самолет, видимо, вез боеприпасы, ракеты, мины. Только малую часть их удалось спасти. Боеприпасы догорали, взрываясь. Я вернулся к штабу часа через полтора и вспомнил о летчиках. Их допрашивали в хате, отведенной для Особого отдела. Допрос походил чуть ли не на торжественное заседание. Летчики стояли у стены навтыжку, а за столом, покрытым вышитой скатертью, сидели наши контрразведчики: майор Журкин, майор Стрельчуков, старший лейтенант Колесник и два наших немца — тельмановец Вальтер и Герой Советского Союза Кляйн. Если ко всему этому прибавить еще двух секретарей (уже исписавших довольно большую кипу бумаги), то станет ясным, как должны были чувствовать себя пленные. При нашем появлении весь контрразведывательный синклит вскочил на ноги. Это, видимо, больше всего подействовало на летчиков.

— Прошу продолжать,— сказал я, по привычке пристраиваясь в закутке с русской печью за дощатой перегородкой.

Журкин зашел ко мне и показал кучу листов, исписанных стандартными, весьма хитроумными и ловко расставленными вопросами-ловушками. Однако ни на один из них не последовало вразумительного ответа. Кроме сведений чисто автобиографических, фашистские летчики ничего не сказали. Ценой целого часа тщательной, чуть ли не виртуозной работы порознь пять допрашивающих выяснили следующий состав экипажа: 1) командир корабля — член «Стального шлема», национал-социалист; 2) штурман — национал-социалист с 1930 года; 3) летнаб — национал-социалист, награжденный железными крестами 1-го и 2-го классов, орденом Румынии, медалями за пребывание на Восточном фронте в 1941—1942 годах и знаками отличия за Судеты и Крым — летнаб летал ранее на



боевых машинах, и 4) радист корабля — член гитлеровского союза молодежи.

— Не густо,— сказал я Журкину.

Тот развел руками.

А за дощатой стеной упорно задавались одни и те же вопросы. Переводчики переводили их, и на все следовал один и тот же стандартный ответ: «Не знаю... По служебному положению не обязан знать... Честь офицерского мундира не позволяет мне говорить об этом...»

— Ваша комиссия явно зашла в тупик. А ну-ка, уберите этот протокол. Что вы их бумажками пугаете?! — сказал я Журкину.

Когда мы вошли в «зал заседаний», летчики вторично вытянулись и звонко шелкнули каблуками.

«Ага, значит, все же понимают, что мы начальство...»

— Дайте мне с этим, который воевал в Румынии, потолковать! — сказал я старшему лейтенанту Колеснику, бывшему бессарабцу, хорошо владеющему румынским языком.— Ты имел, кажется, какое-то касательство к авиации? — тихо спросил я его.

— Так точно, учился в румынской королевской авиашколе.

И мы открыли за дощатой перегородкой «румынский филиал». Зазвучала музыкальная румынская речь.

— А ну, дай-ка ему стакан нашего первача, партизанского...

Через некоторое время Колесник и пленный стали даже что-то напевать.

Фрузе верди ди овес,  
Унде-й друмул ла Одесс? <sup>1</sup> —

затянул летнаб.

— Ну вот, это уже другое дело.

Три оставшихся летчика встревоженно переглянулись.

Я моргнул Журкину, чтобы он убрал со стола бумаги. Особисты поняли распоряжение по-своему, и неизвестно откуда на столе появилась бутылка с ликером.

— Давайте пока беседовать по-человечески... Надо же понимать. Переведите.— И, нагнувшись, тихо, только для своих, я добавил: — Как-никак, а они теперь нас должны уважать. Пригласите военнопленных сесть за стол.

Они присели. Выпили. И без всякого нажима стали, по выражению наших особистов, раскальваться.

Один только командир корабля, раньше всех почему-то захмелевший, упорно доказывал нам, что он не имеет права говорить ни слова о секретном оружии, «которым фюрер спасет Германию».

— Ну и не надо нам его секретного оружия. Пусть он назовет соединение, к которому принадлежал вот этот сгоревший недавно самолет. И пусть помолится своему фашистскому богу, что он еще жив.

— Это другое дело,— отвечал командир корабля.

Самолет «Ю-52» номер 809869-М-9-1 входил в состав первого военно-воздушного соединения транспортной авиации. Штаб — Германия, город Целла. Авиагруппа этого соединения, под командованием майора Шмидта, базировалась на аэродроме Бяла Подляска в двадцати километрах западнее Бреста. В состав группы входили четыре эскадрильи «Ю-52» по двенадцати самолетов каждая и шестимоторные «М-323» в количестве до двадцати пяти машин.

«Так вот что значат эти огромные воздушные шмели с целой тележкой шасси под пузом!»

<sup>1</sup> Зеленый листочек овса,  
Где дорога на Одессу?

С тревогой взглянув на майора Стрельчукова, который стал делать в блокноте какие-то записи, командир корабля вскочил в испуге.

— Но я ведь ни слова не сказал вам о секретном оружии...

Опять это секретное оружие? Ох, не дает оно ему покоя! И я сказал Бальтеру и Кляйну:

— Успокойте его и скажите, что мы можем выдать ему даже справку о том, что он не прболтался... об этом секретном оружии.

А за перегородкой, уже совершенно явственно и не считаясь ни с какой конспирацией, «клиент» Колесника снова затянул песню. Ту самую, которую орали румыны и немцы, наступая на осажденную Одессу:

Унде-й друмул ла Одесс?..

— Ишь, как развезло его! — крикнул Войцехович. — А ну, спой ему нашу, партизанскую...

— Не поймет, — ответил Колесник. — Я ему по-румынски ответ сейчас составлю. Только на наш, партизанский, лад:

Фрузе верди де пелин,  
Унде-й друмул ла Берлин?..<sup>1</sup>

После небольшой паузы за перегородкой послышалось громкое всхлипывание.

— Что, не нравится? — спросил Колесник своего «клиента» уже по-русски.

Они вышли из-за перегородки.

— Немец, а похож на цыгана, — разглядывая пьяные слезы на лице летнаба, сказал Солдатенко.

— Тироль? — наугад спросил я.

— О, я! О, я! — забормотал, стирая с лица слезы, летнаб.

Дальше уже не представляло труда выяснить, что аэродром расположен с южной стороны Бялы Подляской; что он охраняется установками счетверенных зенитных пулеметов; что авиагруппа майора Шмидта ежедневно совершает рейсы в направлениях: Тернополь, Минск, Бобруйск, Львов, Одесса, Рига; грузы — боеприпасы, пулеметные части, авиамоторы; в обратных рейсах — раненые, офицеры-отпускники.

— Надо занести все эти трассы на карту, — шепнул Войцехович. — При составлении маршрутов будем располагать наши стоянки на трассах. Нашелкаем их, пока низко летают.

И на столе появилась карта. Фашистские летчики сразу прикусили языки.

Я мигнул Колеснику:

— Отвлекай!

— О, донна Клара-а-а!.. —

заорал тот во всю глотку.

Летчики сначала даже вздрогнули, но сразу заулыбались и подтянули:

Их хаб дих танцен гезеен.  
О, донна Клара...

— Подтягивай... — закричал Колесник Роберту Кляйну, который сидел в обнимку с радистом.

<sup>1</sup> Лист зелененький полыни,  
Где дорога на Берлин?

А тем временем мы с Журкиным подсели к летнабу и штурману и снова, уверив их, что не будем допытываться у них сведений о секретном оружии, стали интересоваться маршрутами. Войцехович быстро наносил трассы на карту. При этом он проявил удивительный дипломатический такт. Он не требовал, чтобы летчики сами наносили трассы на карту. Больше того, ни о чем их не спрашивал, а только чертил тупым концом карандаша в воздухе линию и вопросительно глядел на штурмана или летнаба. И если они утвердительно кивали головами, трасса яркой линией ложилась на глянцевой бумаге карты. Иногда фашисты отрицательно качали головами. Тогда им предлагалось два-три варианта, пока наконец они не кивали согласно головами, подтверждая правильность Вазиных догадок.

Все было соблюдено. Ни своей рукой, ни языком штурман и летнаб сами не выдали ни одной военной тайны. И, конечно, совесть их перед майором Шмидтом и даже перед самим фюрером была совершенно чиста. Мы еще раз уверили их в этом.

Правда, в последующие пятнадцать—двадцать дней именно на этих трассах мы сбили еще четыре самолета из авиагруппы майора Шмидта. Из них один шестимоторный гигант «М-323». Можно было бы и больше.

— Расход боеприпасов большой,— ворчал помпохоз Федчук.— Ну их к черту, эти самолеты!..

Это было верно, и позже стоянки на трассах пришлось отменить.

## 24

Еле дождавшись двадцать пятого января — срока возвращения всех наших подразделений из засад, мы двинулись через железную дорогу. Арутюнянцу удалось связаться с Семенюком, и тот сообщил пароль и отзыв еще на два дня и обещал выполнить наше приказание — создать в школе панику.

— Я говорил вам — парень он свой. Все сделает,— доложил Арутюнянц о результатах своих переговоров с Семенюком.

...Двадцать шестого января в 16.00 мы покинули село Мосур и направились к железной дороге. Южнее села Туропина подошли к переезду. Но там оказались два дзота. Их надо было брать с боем. Дзоты были блокированы партизанской пехотой и быстро разбиты артогнем. Путь был свободен, но звуки боя, наверное, насторожили «лесных чертей». Мы поняли, что на полную внезапность атаки рассчитывать уже нельзя.

— Окружить школу на тесном пяточке вряд ли удастся, как было задумано вначале. — Начштаба подскакал к моей тачанке.— Какие будут указания?

— Невод надо растягивать пошире...

— Значит, и сетей надо больше?..

— Нет, резервы пока не трогай. Давай, Васыль, вперед кавалерию! Наверное, черти шевелятся уже там, в болоте...

После перехода железной дороги второй батальон Кульбаки пошел на Осу и Буду, третий, Брайко, — налево, через Турью, а первый батальон с кавэскадром должен был ударить по школе прямо в лоб. Успех дела решили кавалеристы. Ленкин столкнулся с разведкой «курсантов». Наши выкрикнули пароль. Те подпустили вплотную, но, увидев звездочки, пытались оказать сопротивление. Несколько бандитов было убито, двое взято в плен. Они рассказали, что у «лесных чертей» наша канонада вызвала тревогу, но с места школа старшин еще не снялась, ожидая сведений от разведки. Семенюк же всячески успокаивал командование, утверждая, что для паники нет никаких оснований.

— Надо действовать молниеносно,— горячился начштаба кавалерии Семен Тутученко.— Потеря нескольких минут может сорвать дело. Все решает быстрота.

Усач и его бравый начштаба не стали копаться. Сообщив в штаб обстановку и послав под конвоем языков, они на галопе бросились вперед. Вслед им штаб соединения развернул стрелковые роты. Для быстроты пехоту посадили на сани. Правда, оттепель уже развезла дороги — сани ползли по грязи. А «лесные черти», верные девизу Бандеры, на знамени которого было: предательство, шантаж и провокация, — успели совершить подлый контрманевр. Отходя через хутора, они сгоняли оттуда женщин, детей и стариков и бежали, смешавшись с жителями. Открывать огонь было нельзя.

Разделив эскадрон по взводам, Ленкин скомандовал:

— На галопе обгонять толпу! Дедов и баб не трогать. Вооруженных топтать конями и в клинки! Ворваться на плечах в село. Остальных «зачистит» пехота.

Предательский контрманевр бумерангом вернулся к «лесным чертям». Теперь они уже не могли вести огонь, так как конники, обгоняя толпы жителей, насели им на плечи. Буквально в несколько минут все было кончено.

Эскадрон Усача, численностью не более восьмидесяти пяти кавалеристов, разогнал и наполовину уничтожил «отборные войска» Бандеры. «Лесные черти», бросая оружие, теряя шапки, не оказав сопротивления, разбежались в разные стороны. На поле боя осталось несколько десятков трупов, вещи и военное имущество. Захвачено было до двадцати пленных. Остальным «чертям» тоже не удалось далеко разбежаться.

— В дело теперь вступил пехотный невод из второго и третьего батальонов. — Довольный Войцехович потирал руки. — Чуете? Широкими крыльями охватывает пехота округу от Осы и Буды до Домкинополя.

Трескотня винтовочной стрельбы, недовольная воркотня пулеметов и задиристое фырканье автоматов разносились по округе, прижимая к болотам и лесам остатки уже не существующей школы «лесных чертей».

Но когда к полудню, подытоживая донесения и летучие доклады связных, мы уже были готовы подвести черту и дать команду «свернуть боевые порядки в походную колонну», где-то там, в самом центре нашего кольца, что-то глухо завозилось, заворочалось: длинными очередями над лесом потянулся серпантин трассирующих пуль, поднялись там и сям ракеты, мягко забухал миномет, а в разных концах серое небо расчертили языки пламени и черного дыма. Загорелись хутора. Так рыбак, закинувший невод за окунем и плотвой и уже почти вытащивший его, вдруг обнаруживает в самой мотне огромного хищника — старую щуку с желтевшими острыми зубами или тупую морду покрытого бородавками сома.

— Кажется, кроме школы покойников, тут еще есть что-то? — спросил я у начштаба. — Немедленно выяснить.

— Связные, галопом вперед! И сразу же с донесениями обратно. Капе командира подвижное. Через полчаса будем вон на тех хуторах. Волчек называются. А позже — по обстановке, — скомандовал Войцехович.

Только ошметки грязи пополам со снегом, еканье селезенки и всплеск конских копыт. Полминуты — и конные связные скрылись впереди. Они понимают: в такой момент главное — не терять времени.

На хуторах Волчек штаб быстро развернул свою работу. Обстановка и усложнилась и прояснилась. Невод загреб целую стаю хищников: в нашем кольце, кроме офицерской школы «лесных чертей», оказался весь курень Сосенко (он же Антонюк).

— Состав — семь линейных сотен, одна конная сотня и небольшая группа узбеков, бежавших из немецкого плена. Их задержал Сосенко для организации отдельного подразделения, — так доложил нам Семе-

нюк, который выполнил задачу и перебежал к нам где-то на стыке кавэскадрона и батальона Брайко.

Маленького роста, очень подвижный, видимо, мускулистый, с хорошо натренированным телом, Семенюк стоит свободно, и лишь играющие желваки выдают волнение. А глаза острые, наблюдательные, с хитрецей.

— Почему раньше не сообщили нам об этом? — спросил я перебежчика.

— Они подошли только вчера под вечер. Двигаются походом на юг.

— Направление?

— На Порыцкие леса. А дальше — Карпаты. Клым Савур, назначенный ихним главкомом, стягивает силы в Карпаты. Вы не успели завершить окружение. Охватили банду только с трех сторон.

— Уйдут они на юг?..

— Могут уйти. Кони у них добрые.

Плохо. Можно было бы послать Усача наперерез, но он уже с расвета на рысях и галопе. И это после ночного марша.

— Дайте мне ваших хлопцев с минами. Я ему насыплю горячих гвоздей на дороге, — вдруг говорит Семенюк.

— Ладно, подумаем. Вызвать капитана Кальницкого.

Вот тут и пригодился наш второй кавэскадрон, срочно сформированный из пятой роты Ларионова.

Поручив нашему инженеру продумать предложение Семенюка, я послал свежих конников в обход противника.

Невод надо было сужать. Но уже вечерело. Прочистку леса к ночи начинать поздно. Продвинувшись километра на два вперед и сократив таким образом фронт, наши батальоны закрепились. Пришлось дать команду:

— Оставить до половины личного состава в обороне. Стать на ночевку!

Всю ночь активно действовала разведка — войсковая и агентурная. Эскадрон Ларионова и минеры Кальницкого заставили курень прекратить отход в темноте. А на рассвете следующего дня, продвинув заслоны вперед, роты под командованием Бакрадзе нажали на бандитов. Противник явно не принимал боя. Издали отстреливаясь, он отходил только одному ему известными тропками на юг. Впереди всех, верхом, бежало основное кулацкое ядро куреня. Этим было до сотни человек. Остальные — преимущественно мобилизованные крестьяне... Сосенко умышленно оставлял их в качестве заслона. Они беспорядочно палили в воздух. После первого же броска нашей пехоты стали охотно поднимать руки кверху. Вот здесь и важно было не упустить момента. Многие из наших партизан в пылу боя озверели. Были ранены и убиты наши товарищи. Людям, ослепленным мстью, не до дипломатии и политики.

— Как бы хлопцы не наломали дров... — озабоченно сказал я Солдатенко. — Как думаешь, комиссар?

— Обязательно наломают, — отвечал Мыкола. — У мене у самого зубы скрипят. Я б того Бандеру сейчас загрыз.

— Степан Бандера далеко. Где-нибудь под Берлином. А вот атаман Антонока загрызть надо. Или в петлю его.

— Ой, утечет, подлюга. Я вже раскусив его тактику. Там, на хуторах, дедами и детишками прикрывался, а тут, бачишь, здоровых мужиков не жалеет. Бросает их на смерть, только бы самому шкуру свою волчью унести.

Наша атака действительно иссякала. Вокруг пленных — бледных, с поднятыми руками — задерживались бойцы и командиры. Отдавать распоряжения идущей впереди цепи было некому. Она замедляла шаг. Кто-

то увидел «знакового» бандеровца и заехал с размаху ему по сопатке, кто-то заметил добротные сапоги и под дулом автомата предлагал сдавшемуся в плен «добровольный» обмен на юпорки. Угрозы, насмешки, а кое-где и добродушные односторонние диспуты — все это было неизбежно. Но были и расстрелы в горячке. Особенно во взводах, где были убитые и раненые.

Мыкола Солдатенко махнул мне рукой.

— Ну, я пошел в цепь, товарищ командир. Там теперь самая главная политработа.

— И в самый раз и в добрый час! — крикнул я ему вдогонку.

— За мной, комсомольцы! — с высоты своего жердиного роста, сидя на таком же худющем маштаке, скомандовал Мыкола Мише Андросову. Тот тоже был довольно долговязым парнем.

Они взяли наметом и быстро скрылись там, где первый батальон Бакрадце прочесывал лес. Через минуту следом за ними поскакал еще один конник. Из-под папахи его выбились длинные волосы, словно это был какой-нибудь польский гусар времен Тараса Бульбы с развевающимся на шлеме конским хвостом.

— Надька Цыганко, — узнал начштаба конника.

Это была действительно она — политрук взвода конной разведки и комсорг первого эскадрона.

Через полчаса атака возобновилась в новом, все более убыстряющемся темпе. Сказалась работа замполита и его многочисленных помощников в боевых порядках. Прибыв к цепи, Мыкола Солдатенко быстро послал на правый фланг Мишу Андросова, а на левый — Надю Цыганко. Произносить речи времени не было. Инструктаж был один:

— Коммунисты, комсомольцы! Пленных не трогать. Куркульня уходит. Вперед! А с темными людьми разберемся после боя.

Не успевшие обменять сапоги с минутой, может быть, и поворчали, но, увидя рывок коммунистов, бросились вперед за ними, на ходу вставляя в автоматы новые диски. Наиболее цепкие и бойкие успевали на ходу обменяться с пленными головными уборами.

— Походи в пилотке малость, бандера! А я в твоей смушковой шапке потерплю. Прихватит мороз — уши снегом потри. Не забудь. А там привыкнешь — и дело пойдет! — добродушно кричал, оглядываясь на ходу, кто-то из роты Тютерева.

Пленные растерянно смотрели вслед, не веря своим глазам и ушам. Потеря папахи или даже ладного кожушка — это же чепуха, мелочь по сравнению с теми ужасами, которыми их пугала кулацкая пропаганда. Наиболее сообразительные тут же вызывались быть проводниками. Они подсказывали командирам рот, взводов и эскадронов наиболее краткие и удобные тропы, направления для обходов и выходов наперерез врагу.

Антонюк-Сосенко бежал стремглав. А когда напоролся на мины, поставленные Кальницким по указке Семенюка, то и совсем прекратил сопротивление. Банды были деморализованы. К вечеру второго дня боя осталось, по данным разведки, не более полусотни конных и человек семьдесят пеших бандитов. Это были люди, связанные круговой порукой преступлений. На следующий день пешие тоже превратились в конных. Правда, без седел. Побросав тяжелое вооружение, они панически бежали на юг. Преследователи увлеклись: они вырвались из лесов и болот, проскочили шоссе и были уже в холмистой Волинской степи. Все быстрее уходила назад зубчатая кромка леса.

Преследование шло уже третий день. Враг совсем не отстреливался и не делал никаких попыток к сопротивлению. Он просто бежал и уже доскакал до северной кромки Львовщины, где за городом Порыцком синели на горизонте новые леса. А в них почти наверняка должен быть еще один курень из армии Клыма Савура,

— Видать, все-таки под «счастливой» звездой родился этот Антонюк. Ушел! — резюмировал на третий день начштаба, пристраиваясь к кавалькаде связанных, ехавших небольшим табунком позади моей тачанки.

— Нагнали шороху на бульбашей, — засмеялся связанной Шелест, подвязывая хвост своей лошади.

— Главное, что простым дядькам немного мозги проветрили, — рассудительно сказал Дудка — связанной четвертой роты Тютерева. Он лихо сдвинул набекрень серую смушковую шапку, добытую при разгроме «лесных чертей». — Что ты, Шелест, своей кобыленке девятый вал сзади пристраиваешь?

— Так ведь грязнота какая...

— А мужики волынские клянутся и божатся больше с клещами да бандерами дела не иметь... Отбили им охоту, — посмеивались добродушно и другие связанные.

Посоветовавшись с комиссаром Мыколой, мы дали команду прекратить преследование.

— Надо взвесить обстановку и переходить к другой, более важной цели, — сказал я начштаба. И не сразу заметил, как затихла моя кавалькада.

— Гляди, Шелест! — услышал я тихое бормотание Дудки. — Командир против шерсти бороду гладит. К чему бы это?..

Приметы, суеверия, предрассудки в этом бесшабашном войске уживались с зоркой наблюдательностью и беспечным простодушием. Я уже давно заметил эту их блажь и следил за собой, чтобы неосторожным жестом не сделать промаха. Спыхватившись, разозлился: «Э, да ну их к чертям, с их забобонами...» И громко сказал, обращаясь к начштаба:

— Нельзя столько времени терять на возню с какой-то бандой. Где танковая армия? Вот что важнее. А то напоремся на нее с разбегу, тогда хватим лиха.

Связные и ординарцы сразу наострили уши и посерьезнели. Мы продолжали разговор вполголоса.

Бои с бандами сыграли нам немалую службу. Во-первых, были изрядные трофеи — оружие и в особенности хозяйственные припасы. Их хватило бы нам не на один месяц, вздумай мы вести сидячую партизанскую жизнь. Большое значение имел и психологический эффект: победа досталась сравнительно легко. Это поднимало и престиж командования и веру бойцов в свои силы. Даже партизаны из бывшего пятого батальона, расформированного в Мосуре за трусость, и те сейчас подняли нос кверху. Надо было поддержать этот порыв и закрепить его как постоянное состояние духа, становящееся военным бытом...

А штаб? Командование? Мы ведь тоже были солдаты, и увлечение было нам не чуждо. Но штаб обязан побольше думать и размышлять.

— Не слишком ли увлеклись мы преследованием? Вот ушли на юг километров на сто пятьдесят. А зачем это нам?

— Даже и Кульбака не заметил, что до Карпат ближе стало.

— Еще за одной-двумя бандами погонимся — и опять вскочим с разгона в Карпатские горы.

— Чего доброго...

— Нет, к черту эту возню со всякой мразью!

Из всех этих рассуждений выплывало одно: действительно, стоило ли так увлекаться? Календарь, погода, потеря времени и санной дороги... «Неужели все-таки возня с Гончаренко, «лесными чертями» и Антонюком, отнявшая у нас без малого десяток дней лучшего для рейда зимнего времени, была ошибкой?» — не раз думалось мне потом, месяцы и годы спустя.

«Эх, надо было раньше идти за Буг. Ведь все равно позже пошли! Но если все подвергать безжалостному анализу, то можно додуматься и до

того, что Сосенко своей бесславной гибелью спас на время и огромный вещевой склад в Грубешове и аэродром под Бялой Подляской от вполне возможного разгрома... Я твердо знаю, что эти дела с чисто партизанской точки зрения были нам по плечу. И мы решились бы на них... если бы не граница».

Но мы ведь все равно ее перешли. Перешли, правда, позже, чем это было возможно.

«...А вообще сколько ошибок было бы не совершено или вовремя исправлено, если бы человек способен был угадывать будущее»,— думал я не раз после войны, перелистывая страницы своей памяти. Дар предвидения — это, пожалуй, самый высокий дар природы. И, говорят, он присущ только гениям. Но даже гении и то ошибаются... А тогда ошибка наша заключалась и в том, что мы рассматривали разгром банды Антонюка и школы «лесных чертей» только с военной точки зрения. Гораздо позже мы узнали, что в этой довольно ординарной с военной точки зрения операции особенно важной была политическая сторона дела. Именно она блестяще удалась и намного превзошла военную. На шестой сессии Верховного Совета Украины говорилось, что в декабре 1943 года между командиром отряда «УПА» Антонюком и командиром немецкой части обер-лейтенантом Остен и заместителем гебитскомиссара города Владимира-Волынского состоялся договор. Немцы обязались снабжать оружием националистические банды, а представители «УПА» обязались помогать фашистам грабить крестьян...

Значит, мы, разгромив эту банду, помогли украинскому народу разобратся, кто его друг и кто недруг, помогли партии пригвоздить к позорному столбу заклятых врагов нашего правого дела. Партия большевиков назвала их настоящим именем: «украинско-немецкие националисты».

## 25

Подходил конец января. Мы еще не знали, что на правом фланге Первого Украинского фронта Ватутин уже подготовил операцию, которая непосредственно коснется и нас,— удар во фланг противника силами двух кавкорпусов и Тринадцатой армии.

— Раз уже занесло нас так далеко на юг, то надо и тут делать свое партизанское дело! Ход конем вообще-то удался,— ворчал на следующий день не то в оправдание, не то в укоризну начштаба.

— Только с разгона конь твой прыгнул на одну лишнюю клетку,— поправил я его шахматные аналогии.— Не пора ли сделать следующий ход? А?

— Какой бы фигурой ни ходили, товарищ командир, но надо подготовить этот ход пешками,— мудрил наш штабной шахматист.

— Согласен. Значит, снова перейдем на мелкие удары?

Мы остановились пока на этом варианте, тем более, что обстановка на фронте быстро изменялась, особенно на нашем направлении. Мы поняли это еще раньше, чем приняли сводки Совинформбюро. Поняли по бегству противника. По дорогам мчались на запад фашистские колонны и обозы. Отдельные мелкие группы проскакивали и на юг.

— Тут-то их и будут вылавливать наши партизаны. А соединение, обоз, штаб, санчасть остановим. Пускай приводят себя в порядок. И сразу несколько рот пошлем в разные концы в засады.

Особенно отличился в одной из таких засад командир взвода Устенко из третьего батальона.

Бравому комвзвода вначале не повезло. Его хлопцы впустую пролежали целые сутки в засаде где-то юго-западнее Луцка и так и не дождались



фашистских обозов. По всему было видно, что по этому тракту они не пойдут. Длинную ночь и весь день тихо просидели охотники на опушке роши. Серое небо сеяло на землю попеременно то дождь, то мокрый снег, то колючую крупу. Никакой поживы не было. Вечерело. К полуночи нужно было явиться в батальон.

Устенко приказал взводу сниматься с опушки. Поручив своему помшнику вести его к деревне, маячившей за лощинкой километрах в двух от места засады, он остался проверить, не забыл ли кто из хлопцев диски или оружие. А вообще-то это был повод, так как никакой самый захудалый партизан оружия никогда не только не бросал, но и случайно забыть не мог. Просто Устенко грызла горькая досада.

«Это же позор! В батальоне осмеют... Чуть не сутки мучить людей на дожде и холоде, и никакого тебе результата».

Завистников у него хватало. Был он решителен, смел и талантлив. Часто действовал по собственной инициативе. Менее способные командиры взводов и даже рот не раз с завистью поглядывали на трофеи Устенко и высмеивали его простецкий наряд и совсем не военное, панибратское отношение к бойцам: «Командовать не умеет. Ни тебе выправки, ни командирского голоса».

По виду Устенко был шупленьким мужичонкой лет этак под тридцать. Но военные задания выполнял всегда блестяще. И вот сейчас — такое невезение. Стоит только таланту споткнуться, как серячок и бездарь сразу торжествуют.

Раздумывая, Устенко тихо насвистывал что-то грустное. И так, размышляя, незаметно для себя он шагал взад и вперед там, где только что была засада. Затем повернул назад, к дороге, где углубляющийся кювет переходил в выемку. И вдруг позади него, в каких-нибудь трехстах метрах, взлетела ракета. Комвзвода оглянулся и тут же, инстинктивно прыгнув в кювет, залег за кучу битого щебня. Когда ракета упала, он осторожно высунул голову. Метрах в двухстах, из-за бугра, прямо на него выползал небольшой обоз.

«Возов двенадцать—пятнадцать», — быстро прикинул Устенко.

Повозки были доверху нагружены чемоданами и большими узлами. Возницы шли рядом с лошадьми, спотыкаясь о колеи и выбоины. Шоссе на спуске изрыто гусеницами танков и грузовиками. Двигаться по нему можно было только шагом. Рядом с повозками, кроме обозных, тащилось по два-три эсэсовца. На некоторых — голубые шинели, а большинство, видимо разогревшись от ходьбы, сбросило их и шло налегке. Только двое — в коротеньких масктушках с капюшонами, откиннутыми за спину.

«Десятка три-четыре наберется... — подумал Устенко. — Плохо! К своим не добежишь, карабином снимут... Эх, помирать, так с музыкой!»

Оценивающим взглядом он окинул полтора метра метров дороги, отделявших его от первой повозки. Вот где, а не на опушке леса надо было выбирать место для засады. Возле роши противник, конечно, шел настороже, может быть, посылал к ней разведку. Наверное, прочесывали и ближайшие к дороге кустарники. А вышли из леса — даже оружие сложили навалом на телеги...

Пока Устенко разглядывал и обдумывал все это, передняя телега уже подходила к каменной куче.

«Пропустить половину колонны и бить сразу в оба конца! По голове и по хвосту — гранатами, по центру — из автомата», — мелькнула быстрая, лихорадочная мысль.

Еще перед засадой Устенко, как всегда, насовал в карманы штанов и бушлата штук шесть гранат-лимонок и повесил на пояс четыре бутылки. Он не помнил, как и когда успел разложить их, но они уже веером лежали на камнях, под рукой.

«Только бы не вздумал какой-нибудь фриц зайти за кучу дорожной щбенки по нужде. Тогда — конец...» Но эсэсовцы, усталые, потные, брели, еле волоча ноги, держась руками за телеги. Лошади, храпя и фыркая, тащили за собой перегруженные телеги.

«Три повозки прошло. Как подойдет пятая — начну!»

Устенко уже хорошо видел, что на седьмой повозке не было ни чемоданов, ни узлов — одно оружие: автоматы, карабины, два ручных пулемета. Там же, свесив ноги, сидели спиной к Устенко два офицера.

«Пропущу еще две...» И взял три гранаты: в правую — одну, в левую — две. Кольцо первой рванул зубами и, размахнувшись широко, швырнул одну вперед и тут же другую назад. И еще... Три взрыва, один за другим. Колонна скучилась, спереди и сзади образовались пробки от упавших и бившихся в судороге лошадей. К повозке с оружием сразу бросилось десятка два человек. Они столпились вокруг нее, но она была так близко от Устенко, что гранату он бросил не наотмашь, а прямо подкатил ее, как кегельный шар, к середине повозки. Взрыв был хлестким, скрежетнули осколки по вороненой стали оружия и обсыпали спину Устенко белыми отрубями каменной крошки. Повозка перевернулась в кювет. Подбегавших к ней эсэсовцев Устенко встретил длинной строчкой автоматной очереди, патронов на тридцать пять. Мозг работал лихорадочно. Несколько шагов перебежки в сторону, очередь назад — патронов двадцать пять. Очередь направо — десять патронов. Налево — десять. Еще семь-восемь патронов — и диск кончится. Значит, стрелять больше нельзя. Времени для перезарядки автомата нет. Гранат — две. Снова вправо и влево полетело по гранате. Пауза. И в этот момент Устенко диким голосом скомандовал:

— Рота справа, рота слева! Батальон вперед!

Затем последовала виртуозная, понятная на всех языках, длинная очередь русской матерщины. И уже по-немецки: «Хенде хох! Хенде хох! Хенде хох!» Эсэсовцев было еще человек двадцать. Они быстро подняли руки. Но на поясах доброй половины фрицев — «парабеллумы», «вальтеры», «кольты». Секунды две, и фашисты увидят, что он один. А в диске всего семь-восемь патронов.

«Перезаряжать? Не успею!» Рассчитав расстояние до опрокинутой повозки, Устенко стремглав бросился вперед и, пробежав десять шагов, плюхнулся на колено с немецким ручным пулеметом, наведенным на скучившуюся толпу эсэсовцев. Так лежал он с минуту, не спуская глаз с мушки. Если хотя бы один-два фрица, пусть даже раненые, но с пистолетами в руках, остались на флангах — пропал бы Устенко. И тут он почувствовал, как холодный, липкий пот заливает глаза, стекает по спине, правое веко начинает дергаться и непрошеной слезой закрывает мушку пулемета.

«Если даже пропал, теперь знаю — не даром», — подумал он со страхом и торжеством, уже готовый нажать гашетку и выпустить всю ленту пулемета по сбившейся в овечью отару толпе.

Но в это время от деревеньки уже стремглав бежали партизаны его взвода.

— В атаку! Вперед! Выручай командира! Может, еще живой!

Мы сами долго не верили рассказу бойцов Устенко и спрашивали его, как же он все рассчитал, сообразил.

— Не помню, — застенчиво отвечал он. — Действовал быстро, знаю, а как — не помню.

Подтверждением подвига было двадцать два пленных эсэсовца, девять подвод на ходу, двенадцать автоматов, два пулемета и шестнадцать карабинов. Да еще пятьдесят четыре чемодана, которые так и не довели до Западного Буга эсэсовцы из города Луцка.

Через несколько дней радисты приняли сводку об освобождении Луцка, а политруки прочитали ее всему соединению. Устенко, словно оправдываясь, говорил:

— Ну от, бачите? То ж немаки от кавалерии тикали. От Червоной Армии. А когда тикают, да еще всякая тыловая мразь фашистская, так их бить самый раз. Як куропаток во время линьки. Бегаёт плохо, летать не может и голову под крыло прячет. Знай только бей! Ей-ей... Сам по себе знаю. Я тут в сорок первом в этих местах от фашистских танков драпал, так хоба ж так?! Так драпал, шо и не догнали меня фрицы.

— Так у тебя же, Устенко, одно преимущество было. Ты же тикал без чемоданов...

— Тоже верно...— рассудительно соглашался Устенко.— Правильно, без чемоданов. А я вторые сутки думаю, даже ночью прокидався,— як же так получилось, что воны мене не догнали, а я их догнав? Конечно ж, все дило тут в чемоданах.

Содержимое устенковских трофеев стало достоянием всего батальона. Трофеи у нас делились только среди участников операции, и мы строго придерживались этого правила. Себе Устенко ничего не хотел брать. Только по настоянию комбата, категорически потребовавшего от него отобрать до дележки себе все, что он пожелает, комвзвода долго и задумчиво шагал среди трофеев, небрежно откидывая кованым сапогом крышки чемоданов. вороша всякое барахло, и, сплюнув, отошел в сторону. Наконец под пристальным взглядом не отходившего от него комбата он сделал выбор. Из всего многообразия и дамского и мужского белья, костюмов и отрезков, побрякушек и драгоценностей, украинских вышитых рушников и кружев Устенко выудил старинные карманные часы фирмы «Павел Буре», поставщика двора «его императорского величества». Часы были с восьмидневным заводом, пружиной, вращавшей весь механизм, с зубцами огромной шестерни и с маленьким циферблатом, сквозь который просвечивал маятник. На тыльной стороне крышки было выгравировано: «Лейб-гвардии унтер-офицеру Трублаевичу Кириллу за отличную стрельбу».

— Тоже наши. За якого-то отличного стрелка я рассчитался. Думаю, что трофей этот мне по полному закону будет. А?

Больше Устенко ничего взять не захотел. Да и часы эти через два месяца где-то под Беловежской Пущей он подарил мне. Почти насильно... А через день Устенко пал на поле боя. Он погиб ярко, так же как жил.— защищая жизнь нескольких тысяч мирных жителей, которых фашисты угоняли в Германию на каторгу.

Но сейчас, под Луцком, солдатская судьба дарила Устенко еще более двух месяцев жизни. Может быть, по этой причине да по часам, которые я храню у себя по сей день, и запомнился этот подвиг на дорогах Волыни в те самые дни, когда правый фланг Первого Украинского фронта, осуществляя замысел Ватутина, совершал двумя корпусами ход конем.

На других дорогах тоже действовали наши засады. Кроме двух основных направлений, по которым отходили фашистские войска из Луцка на Грубешов и из Ровно на Львов, было и третье — шоссе на рокада, соединявшая эти две магистрали. Тянулась она из Луцка на Львов. На полпути ее лежал уездный городишко Горохов.

Первого февраля основные наши силы расположились километрах в пятнадцати западнее этого города.

— Тут, пожалуй, можно денька на два-три стоянку сделать, пока роты шуруют на засадах,— вздохнул начштаба.— Эх, и гнилая же зима под этим Гороховом!

Расплакалась, раскапризничалась третья военная зима. Пехота еле вытягивает из грязи ноги. Обозы — в тягость. И сани и телеги, и не раз-

берешь, на чем ехать. Лошади тянут изо всех сил, каждые полкилометра всхрапывают, останавливаются, тяжело нося потными боками.

— Но надо же и по главной магистрали ударить.

— На Львов?

Мы решаем: так, всем гамузом, не дотянем до главной железной и шоссейной коммуникации Ровно—Львов. Нужно отправить в рейд один облегченный батальон, без обоза...

По данным разведки, в Бродах, как раз на полдороге между Ровно и Львовом, расположился крупный штаб. По этим же данным, по железной дороге каждые десять—пятнадцать минут проходит эшелон.

— Каждая мина сработает,— спешит заверить капитан Кальницкий. Он рвется в бой.

Третьего утром, как только закончился болотный марш, мы вызвали в штаб Петю Брайко. Начальник штаба как раз заканчивал выписывать из приказа маршрут батальона. Брайко козырнул, щелкнув каблукми.

← Здорово, Федот Данилович,— сказал Войцехович, называя комбата по имени его предшественника Матющенко.

Я спросил начальника штаба:

— Это почему же такое?

— Да он такой же хитрый, как и тот, Матющенко,— ответил Войцехович.

— Садись, Брайко! — И я пододвинул табурет к самым своим коленям. Заглядывая прямо в глаза шустрого, всегда готового к бою комбата, спросил: — Как люди, устали?

— Есть малость.

— А лошади?

— Еще больше...

— Сани заменили на телеги?

Войцехович бегло посмотрел в какую-то ведомость и сказал:

— Наш Петро приказ выполнять привык быстро. Это уже хорошо.

Я задумался, поглядывая то на карту, то на Брайко. Комбат неспокойно заерзал на табурете, всем своим видом как бы говоря: «Ну что тянешь? Говори уж!»

Я хлопнул его рукой по колену и сказал:

— Есть дело. Надо провести одну трудную операцию. Мы решили поручить ее тебе. Как ты думаешь? А?

— Я готов,— сказал комбат, вставая.

— Сиди, сиди. Если готов — хорошо. Давай поближе к карте.

Три головы склонились над картой. Еще раз пристально заглядывая комбату в глаза, словно проверяю, не робеет ли.

— Смотри сюда, в район Дубно—Львов. Здесь под ударами наших войск немцы быстро отходят на запад. Одновременно предпринимают все усилия, чтобы задержать успешное наступление Красной Армии на севере к Ковелю. Значит, с запада в этот район должно непрерывно идти подкрепление. А удирая, увозят в Германию награбленное добро. Так вот, сегодня в пятнадцать часов, без обоза и хозчасти, только с боевыми силами батальона выходите в район Буды. Прибыть туда пятого февраля. В ночь на шестое тремя диверсионными группами на участке Рудно—Дубно пустить под откос не менее трех эшелонов. Кроме того, на железной и шоссейной дорогах поставить семь-восемь фугасов замедленного действия. Срок не более пяти суток. Вывести из строя весь этот участок дороги. В ночь на седьмое передислоцироваться в район хутора Сытенки и повторить то же самое на перегоне Радзивилов — Рудно. Так?

— Понял, товарищ командир.

— Обратный маршрут тебе укажет начальник штаба. Вернуться не позднее десятого февраля. Не опаздывай. Уйдем на запад. Для выполне-

ния задачи батальону придается группа минеров во главе с капитаном Кальницким. С ними полтонны взрывчатки.

Взгляды комбата вновь устремились на карту. Еще раз мы все вместе смотрим на черные и красные полосы коммуникаций и словно видим там бегущие на восток поезда с танками, представляем, как через несколько дней все это будет грохотать, ломаться, грудой лома лететь под откос.

— Вопросы есть? — спросил я.

— Есть. Где сейчас, хотя бы приблизительно, проходит линия фронта? Я задумался...

«Ах, если бы я сам знал, где она находится».

— Точными данными сегодня не располагаю. Но примерно мы оторвались от своей армии километров на сто—сто пятьдесят. Так вот, веди разведку и на восток, ты же не первый год в партизанах воюешь. Должен знать, что в партизанской войне наперед все спланировать и предусмотреть невозможно. Поэтому и посылаю тебя. Надеюсь на твою инициативу, решительность и быстроту, а главное, конечно, на хитрость, уважаемый Федот Данилович,— шуткой закончил я постановку задачи.— Ну, ни пуха тебе, ни пера.

Через два часа облегченный батальон Брайко стремительно пошел на юг — резать львовскую коммуникацию.

## 26

Ночью тяжелая махина обозов всего соединения отползла километров на десять к югу. Именно тут мы узнали о повальном бегстве оккупантов из Луцка.

Вечером Миша Андросов вбежал в штаб со сводкой Совинформбюро, наспех записанной карандашом на клочке бумаги. Вздвоннано, немного заикаясь, он стал читать. Прочитав «наши войска освободили города Луцк и Ровно», торжественно взглянул на всех нас и хотел продолжать дальше.

— Почекай, почекай, комсомол. Не торопись,— сказал Мыкола Солдатенко.— А ну, давай еще раз сначала и громко. И не заикайся так.

Миша стал читать нареспев. Теперь у него получалось значительно лучше. На его голос в дверях показались головы связанных, коменданта штаба Дудника. Солдатенко молча, не перебивая чтения, широким жестом пригласил всех зайти в хату. Через порог переступали люди в кованых немецких сапогах и ботинках на двойной подошве с металлическими шпильками гвоздей, украинских ютовых чёботах и кирзовых солдатских сапогах. На цыпочках, чтобы не скрипеть, они отходили в глубь хаты, уступая место людям в валенках, обшитых сыромятной свиной кожей с шерстью наружу, в хромовых сапогах и лаптях. Даже часовой у входа в штаб, нарушая инструкцию, топтался в сених, вытягивая шею, чтобы услышать новость, не только касавшуюся наших умов и сердец в общем плане, но и могущую иметь прямое, скажем по-военному, оперативно-тактическое отношение к нашим боевым делам, походам и к самой нашей жизни.

Пришлось Андросову читать в третий раз.

Слушали по-прежнему молча, каждый прикидывал что-то свое заветное, глубоко личное... Слушали и мы, командиры, хотя уже, кажется, zapomнили наизусть немногие строки сообщения. Перед моими глазами всплывали контуры фронтовой карты, мысль рисовала ярко-красные мощные стрелы, нацеленные с севера, из лесных массивов, откуда и мы две недели тому назад вырвались на юг. Эти стрелы сливались в моем воображении в одну, острие которой направлено сюда, на Львов. И мы на самом острие этой стрелы! Партизанское острие — тоненькое, хрупкое, а вслед за нами мощные кавкорпуса, а за ними еще и армейская пехота.

Впереди же нас тонкой иглой пробирается к артериям врага партизанский батальончик Пети Брайко.

Опытный начштаба уже успел разложить нужный квадрат карты на столе.

— Ну, конечно же, на Львов!

— А на полдороге — Горохов! Ось вин самый...

«Так вот оно что?» И молнией вспыхнула в мозгу знакомая картина... Кабинет командующего Первым Украинским под Киевом. Член Военного Совета... «Постой, постой!...»

— Какие части заняли Луцк и Ровно? Как сказано в сводке?

— ...Кавалерийскими корпусами...

— Удар во фланг. Ясно? — шепнул Войцехович.

— Правильно бьет Ватутин. Прямо под дыхало, — говорит наш кавалерист Саша Ленкин. — А то — кавалерия против фрица не годится! Смотря где и смотря какая!

— Погоди, Усач! Давай, комсомол, читай сначала, в четвертый раз.

И снова громко звучит уже немного осипший от натуги, чуть-чуть заикающийся голос. А мы слушаем и не слушаем. Снова рисуются перед глазами картины — такие четкие и ясные, что уже не голос нашего комсомольского заправилы Андросова, а ясно слышен другой, знакомый мне, задумчивый голос командующего фронтом: «Надо подсказать... чтобы больше изучали военную историю...»

Громкий хохот прерывает на миг мои мысли. Задумавшись, я не знаю, над чьей удачной фразой смеются. Я понимаю, что это смеются мои друзья, но почти галлюцинирующее воображение рисует другое: смеется Ватутин, а затем, сразу посерьезнев, говорит: «Припять всегда разрезала фронт на северный и южный участки». Врывается в беседу мыслей и воспоминаний и другой голос — Хрушева: «...и в двадцатом году такая же картина. Ее не учли и поставили Первую Конную...» И снова голос Ватутина: «Верно, верно, кавалерия, ну, конечно же, здесь кавалерия». И немного озорной его взгляд и теплота в голосе, с которой он обратился к члену Военного Совета.

— Спасибо Красной Армии! — этими словами кто-то выражает нашу общую мысль.

— Спасибо-то спасибо, — говорит сухим голосом начштаба, уже раньше всех почувствовавший эту новость. — Но мы чем ответим? Опять Красная Армия нам на пятки наступает. Думали — вырвались вперед на сотни километров, а она снова тут как тут.

Трезвый голос начштаба вернул нас к действительности. Конные корпуса, взяв сутки тому назад Луцк и Ровно, через день-два могут быть в Горохове, а через пять дней — во Львове. Надо опять уходить на запад...

— А не ударить ли нам по Горохову? — спрашивает замполит.

— Надо подумать. Но для этого — кончай митинг, — говорю я Солдатенко. — Товарищи, разойдитесь по своим местам. Сейчас же сводку на машинку, по одному экземпляру в батальоны. И одновременно типографским способом. Отпечатать сотни две экземпляров для рот, взводов. Перевести на украинский — для населения.

Штаб мигом пустеет.

«Ход конем... Ход конем... А мы-то думали, что у нас одних ловко получилось... Наш ход был вокруг Ковеля, а тут... сразу и по Луцку и по Ровно. Кавалерийскими корпусами... Вот это ход так ход!...»

На миг даже зависть вползает в сердце. Но это хорошая зависть. «Что же! Большому кораблю, большое и плавание. Но и мы тоже кое-чего стоим. И наш партизанский конь недаром скакал по волынским увалам и перелескам».

— Итак, удар по Горсхову?

Но Горохов от нас на восток. А навстречу нам стремительно наступает все то же правое крыло Первого Украинского фронта. Конно-механизированная группа. Ей присущ быстрый, стремительный удар... Это не медленное, прогрызающее наступление пехоты вдоль дороги Коростень — Сарны... Его можно было обогнать и на быках. А тут, брат, кавалерия.

— А что, если пощупать Горохов только одним батальоном? Чьим? Остался только Бакрадзе.

— Его грузинская душа давно рвется к самостоятельным делам,— поддерживает эту мысль начштаба.— Тем более сейчас, когда третий батальон Брайко получил самостоятельную задачу и действует южнее нас, под Бродами.

«Да, Брайко. Петя Брайко. Надо нам с ним связаться...»

Уже третьи сутки, как он двинулся на юг, туда, где по Львовскому шоссе и дороге на Тернополь идет передвижение основной группировки немецкой армии, действующей в Западной Украине.

«Каковы ее силы? Состав? Об одном мы кое-что уже знаем: там четвертая танковая армия немцев. Главные силы ее должны быть сейчас где-то под Бродами, под Дубно».

— Ох, напорется наш Петя на эти танки,— озабоченно отзывается начштаба на эти размышления.— Как по-вашему? Сколько их должно быть в четвертой танковой армии?

— Трудно сказать. Полный комплект — больше тысячи. Учитывая то, что ее трспали под Житомиром и где-то там, поближе к Виннице, может быть, и половины не будет.

Начштаба озабоченно свистит и чешет затылок.

— И четвертушки хватит... Останется от Петра мокрое место...

— Да они же кучей не ходят... Дивизиями, полками,— успокаиваю я его. А у самого тоже скребет на душе.

— У него всего четыре бронебойки да одна сорокапятка,— продолжает начштаба.— Тут и один танковый батальон, как начнет нашего Петю гонять...

— А глаза? А ноги? А партизанская хитрость?

— Хитрость хитростью, да места безлесные...

Это верно. Места безлесные. Тут он прав. Но дело еще и в том, что начштаба вообще был против рейда батальона Брайко. Он сторонник уже оправдавшей себя годами тактики нашего деда: все соединение держать в кулаке, действовать всем вместе, на дальние расстояния посылать только мелкие группы диверсантов и разведчиков. «А у тебя не ослабило?..» — строго спрашиваю я самого себя. И отвечаю честно: «Да, и у меня свербит на душе. Действительно, влезет наш Брайко в самую гущу четвертой танковой армии. Парень он, конечно, опытный, из Карпат вывел, не растеряв, свой отряд. Но все же...»

— Да еще и батальон Токаря у нас в расходе.

— Но этот тоже действует западнее — по направлению ко Львову. И в лесах. Если будем отходить, то прямо на него. Сблизимся. Нет, все-таки надо попробовать ударить по Горохову, но только одним батальоном. Ладно?

— Бакрадзе?

— Ну, конечно.

Я выхожу на улицу. Надо потолкаться среди народа и побыть одному. Порывами дует ветер. Рваные клочья облаков низко несутся по небу. Просветы среди них, как лесные озерца и болотца, когда глядишь с самолета. Кажется, будет мороз. В ноздрях покалывает, ветер несет лесные влажные запахи — то горечь слежавшейся листвы, то свежесть хвои. А иногда — гарь войны.

Проходя мимо санчасти, остановился возле операционной. Доктор Скрипниченко быстро раскидывает ее на любой стоянке.

Сажусь на завалинку. Рядом в конюшне хрумкают кони. А в каморе, где летом спит хозяин, сидят ездовые санчасти. Видно, давно тянется у них медленный, с долгими паузами разговор.

Молодой голос спрашивает ехидно:

— Все пишешь? Кончал бы уже. Ну что интересного? Жив, здоров, чего и вам желаю. Поклоны там. И точка.

— Эх ты, ветер... Много понимаешь... Я не только насчет всего прочего, а я про жизнь нашу описываю. В колхозе читают...

— Да небось твои письма стыдно самой себе вслух читать, а не то что в колхозе, на народе.

— Это ты брось! — И всем известный похабник, усатый Васька шелестит объемистой пачкой писем. — Моя баба тоже толк знает. Вот... «А еще читала я твое последнее письмо на посиделках про Карпатский рейд девчатам да бабочкам молодым. Очень все довольны остались, что про вас, партизан, такие геройские подробности узнали... А то только по радио и узнаем про вас. Как партизаны на букву Кы или партизаны на букву Ву. А кто они — никак не догадаемся... И зачем эти буквы выдумали? Надо все описывать в точности. У кого дети, например, чтобы они не догадывались зря, а точно знали, кто и как воюет».

— Дура твоя баба. Никакой конспирации не понимает.

— Она же с другого боку подходит. С душевности... — говорит кто-то третий в глубине каморы. — Опять же и комиссар Мыкола объяснял намедни, что письмо — оно великое дело...

— Когда это он объяснял? Что-то не слышал я такого объяснения.

— Глухому два раза не служат... Он прямо, когда к санчасти подходил, так и сказал на ходу раненому: «Пиши, брат, ничего не скрывай! Она все поймет». Вот.

— Так ведь это он раненому сказал. А ты при чем? Бугай здоровенный...

Молчание.

— Что ты, дурья башка, можешь расписать толкового? Ты кто — командир отделения или сам комроты?! Подводчик, ездовой. Крутишь хвост кобыле, и вся война у тебя возле этого хвоста.

— Вот ты и есть дурья башка... Сам подумай... Бабочка у меня молодая. Карточку показать? Що, не забыл? Помнишь? Вот сиди и думай. С последней почтой пришло только шесть писем. А почему? Писать некогда? А как же раньше было время? С каждой оказией я больше всех получал. А сейчас война в переломе. Раненых там, контуженных и прочих выздоравливающих прибавляется. Могут ей голову совершенно свободно завертеть. Ну, до чего серьезного она не допустит, а все же... Умник нашелся. Холостежь...

Молчание.

— ...И опять же, может, какой отряд из местных выходить из тыла будет — передам. А чтобы потом не путаться — приготовлю. Оно, лишнее предупреждение, не помешает.

— Ну и нудьга ты, Васька! Да от одного такого числа писем загуляешь. Ведь ты ее можешь письмами своими вполне распалить...

Пауза. Затем торжествующий, самоуверенный смешок. И снова тишина.

Все делают свое дело. Чистят оружие, пишут письма, перевязывают раны, маракуют возле карт.

И подходит каждый со стороны душевности. А где же твоя душевность, командир? Наверно, в том она, чтобы враг ни дня ни ночи не имел покоя. Встаю с завалинки, иду в штаб.



— Итак, решено! Бакрадзе бросаем на Горохов! Город брать не обязательно. Но устроить панику на дороге Горохов — Львов, где наверняка движутся отступающие колонны врага, во что бы то ни стало. Нашуметь и смыться! Как это сказано у Дениса Давыдова: «Убить да уйти — вот сущность тактической обязанности партизана». Пиши приказ и ставь грузину задачу. Пускай с Брайко посоревнуется! И придется отвести все обозы со штабом на несколько километров в леса.

## 27

После нескольких гнилых дней с дождями и туманами, съевшими весь снег, расквасились все дороги. Но сегодня с утра пушистый мокрый снег прикрыл белым ковром талую землю. Разъезженные дороги стали пухлыми, мягкими, как перина.

— Опять придется переходить с телег на сани, — сокрушается помпоз Федчук, подъезжая к моей тачанке.

— Это в который раз?

— Выехали на телегах, перед Стоходом перешли на санки, под Владимиром-Волынским взяли у бандитов снова телеги. Теперь уже будет четвертый. Вот зима!

Ближе к вечеру заголубело на небесах, забелело на земле. Только на западе жирной чертой чернеет по горизонту густой бор. Он обнимает своими крыльями весь видимый юго-запад, резко отделяя белую землю от золотисто-палевого неба. Вечереет. Солнце уже кануло за горизонт, но лучи еще играют на верхушках холмов. На востоке совсем другое — там небо взялось густой синевой. Над самым же горизонтом играют пурпурными лучами не успевшие удрать на восток снеговые облака. Ветры вдруг сразу стихли. Мороз уже прихватил сверху снежную перину, но пока не в силах добраться до мягкой земли. Воздух напоен запахами леса, мокрой земли, снега. Но их сейчас забивает терпкий запах конского пота, дегтярной сбури. Запах походов! И лишь когда выскочишь вперед колонны и отойдешь по снегу в сторону от дороги, потянется сквозь морозный покой тоненькая струйка воздуха и принесет могучий аромат хвои да прогорклый дымок раздует ноздри, напоминая о привалах. Тонкая, еле уловимая струйка жилых, мирных зовов разбередит душу, заволнует сердце, заставив его стучать сильнее.

Село Печихвосты — место стоянки обозов и командный пункт наших небольших, но лихих и подвижных групп. Петя действует под Бродами, Бакрадзе подходит к Горохову, третий — Токарь — шурует под Порыцком и Каменкой-Струмиловской, а Ларионов снова перескочил за Буг, к Грубешову. Все надеется раздобыть настоящие седла...

Заночевали. Утром прибыл батальон Токаря. Партизаны оседлали пути бежавшей на юг банды Антонюка и обстреляли ее. Разворошили в лесах бандитские гнезда и подняли довольно обильные продуктовые базы. Видимо, бандеровцы собирались действовать здесь долго.

Токарь — один из немногих ветеранов, начинавших партизанскую борьбу еще на Сумщине. Средних лет и среднего роста, широкоплечий украинец, спокойный и немногословный, он обладал мягким баритоном и пел когда-то в самодеятельном хоре. Он и командир роты Манжос — оба голосистые — иногда выводили такие рулады, что заслушаешься.

Но сейчас нам было не до дуэтов. Выслушав обстоятельный доклад комбата, совершившего самостоятельный рейд от Мосура до Порыцких лесов, я сидел, задумавшись. Вот беда! Все мысли были уже сосредоточены на той железной лавине, которая надвигалась с востока. Четвертая танковая немцев где-то невдалеке. А здесь эта бандитская мразь опять путается под ногами.

Шумейко, теперешний заместитель Токаря, помалкивал, видимо еще обиженный за разгон пятого олевского батальона.

— Все, товарищ Токарь? А выводы?..

— Выводы... Бандеровщина бешено готовится. Стакнулись с немцами и сейчас закладывают базы. Собираются в тылу Советской Армии вроде как бы партизанскую войну затевать. Только вряд ли выйдет что дельное у них. Разложение идет полным ходом. Даже активисты... Вон Шумейко старых знакомых вчера встретил.

Я взглянул на Шумейко вопросительно.

— Может, помните, под Тернополем мы ее летом взяли? Наталкой звали.— Шумейко ехидно усмехнулся.— Вам попало еще тогда от деда за эту птицу.

Я был так удивлен, что даже не обратил внимания на Шумейкин выпад. Как же мне забыть этот красивый репейник, что рос на обочине нашего боевого пути к высокому Карпатскому хребту...

Батальон Токаря расположился на хуторах в пяти километрах от Печихвост. Люди его устали. А мы уже второй день совершали короткие дневные марши.

— Поехали, покажешь свое войско...— сказал я Токарю.— А вы, товарищ Шумейко, по дороге доложите подробно.

Мимоходом я заглянул в штаб и сообщил Войцеховичу о своей поездке в батальон. Взяв с собою отделение конных разведчиков, мы рысью выскочили из Печихвост на запад.

Солнце слепило глаза. Санки весело шли по пушистому снегу, мягко погрывивая полозьями на дорожных кочках. Их успело прихватить морозцем за ночь. Проваливаясь с буханьем в ухабы и колдобины, за селом пошла тише. И сразу, подчиняясь ритму движения, разворошенные репликой Шумейко, всплыли картины лета 1943 года.

Помните вы боярыню Морозову, как она вызвана к жизни Суриковым? На розвальнях, в темной шубе, опущенной мехом, с горящими глазами и высоко поднятым вверх двуперстным крестом?

Я ее видел живую.

Говорил с нею, спорил, закидывал вопросами и поражался этому обжигающему взгляду слепой страсти и тупого фанатизма. Не зимой, а летом, не в снегах Московии, а в степях Тернопольщины, не в санях, а на моей тачанке ехала она. Чернобровая, с упрямо сжатыми губами, горящим взглядом — правда, без опущенной мехом шубы и без цепей на запястьях рук. Но это была она. Я сразу узнал ее, когда ее привели разведчики четвертого батальона где-то за Скалатом в июле 1943 года.

Рыжий и конопатый Берсенев, в которого она стреляла из нагана и промазала, привел ее к штабной тачанке. Берсенев шел сзади, хмурясь и отплевываясь. Она, видно, здорово расцарапала ему лицо.

Мы уже знали от прискакавшего раньше Семенистого, что поймали националистку.

— Важная птаха! — заверял Михаил Кузьмич Семенистый.— С револьвером! А стрелять-то и не умеет,— торжествуя, заключил он свой доклад и подал захваченные бумаги.

Это были скрученные миниатюрные листочки папиросной бумаги, влезавшие в мундштук папиросы, «грипсы»: тайная переписка бандитского подполья. По ним я уже понял, что арестованная — член областного «провода» бандитского руководства.

— Сидайте,— сказал я, не отрывая взгляда от бумаг.

Она гордо вскинула голову.

— Сидайте! — крикнул Берсенев и, кажется, замахнулся нагайкой.

Я взглянул на арестованную. Снизу вверх смотрело искаженное смехом лицо и горящие ненавистью глаза. Ей-богу, она страстно желала, чтобы ее били. Вот чудеса!

— Садись, чертова кукла! — заорал я на нее.

— Можно и сесть, раз так просят,— вдруг сдалась она. Влезая на тачанку, даже оперлась на мою руку.

Я немного помолчал, не зная, с чего начать.

Стандарт «кто, откуда» был явно неподходящим. Но другого не приходило в голову. К моему удивлению, она громко начала отвечать на анкетные вопросы:

— Кто?

— Борец за правду.

— Звать?

— Наталка.

— Фамилия?

— Такая, як и родителей.

— А родителей?

— Мабуть... в паспорте.

Ей-богу, она способна вывести из терпения. Но я понял: она этого и добивается. И, взяв себя в руки, спокойнее стал задавать ей вопросы по существу.

Какую чушь она понесла, но с каким убежденным видом! Слушая ее разглагольствования, я думал: что все-таки движет этим человеком? Только ли ненависть к новому строю? А что утверждает она? Я стал выяснять, какую «самостийную» Украину они обещают народу. Вот тут сразу из мешка и выползло шило. Здание, построенное на песке,— «Украина без контингентов»<sup>1</sup> — сразу рухнуло. Украина, которая не взимает со своего крестьянства налогов,— вот идеал. На разные лады и разным людям повторяла она это в ответ на все вопросы. Это была примитивная программа, но она в известной степени действовала на темное крестьянство Галиции. Действительно, чем же еще лучше было взять демагогам за живое галичанина, столетия жившего под Австрией, а затем под Польшей в страхе налогов: на землю, на скот, на людей, на крыши, на стекла, на спички. И помню, что именно в этом пункте спора она растерялась.

— Ну, добре. Допустим, вы получили эту самостийную Украину. Дальше что?

— Люди живут кто как хочет.

— Свобода?

— Ну да.

— А образование?

— Бесплатное.

— А откуда гроши учителям платить?

— Родители будут платить.

— Добре. А страну защищать надо? Армию кормить, одевать... Откуда?

Вот тут и сбилась с толку эта страстная, но не счень опытная пропагандистка.

Загнав ее в тупик, я дал ей возможность прийти в себя. Затем снова продолжал спор. Это было интересно — видеть откровенного врага, не скрывавшего своих мыслей, бросавшего их в лицо в совершенно обнаженной форме.

Я спросил спокойно, почему она так дерзит.

— Все равно вы меня расстреляете.

— Почему же? — искренне удивился я.

— Как почему? Я говорю вам правду!

<sup>1</sup> Контингентами называли в Западной Украине во времена Австро-Венгрии и в Польше Пилсудского многочисленные налоги.

— Ну, положим, правды тут маловато. Просто ловко подобранные фактики. Для агитации. Для задурманивания людей. А идеи ваши — карликового роста.

Дела заставили меня прервать допрос. Я отдал ее под охрану в комендантский взвод и возобновил допрос лишь на следующий день.

За эти сутки у нас был переход «железки» и два боя у нее на глазах.

Прерванный допрос начался вновь.

— Ну что, привыкаете? Пригляделись? Как наш народ?

Она долго смотрела на меня своими черными глазами.

— В первый раз вижу настоящих коммунистов...

— А я беспартийный, — резонно ответил я, так как мое кандидатство тогда еще не было утверждено.

Она с интересом и недоверием посмотрела на меня.

— Не может быть.

— Я вам не собираюсь приносить клятву. Хотите — верьте, хотите — нет.

— Ну, все равно. Я про всех вас говорю.

— Это — другое дело.

— Только одно непонятно: зачем во время боя вы столько людей отрываем от дела — стеречь меня?

— Что вам, жаль?

— Нет. Я не убегу...

— Как знать...

— Я могу вам дать честное слово.

— Но вы же его не дали.

— Даю.

— Что?

— Честное слово, что не убегу.

— Это — другое дело, — сказал я, смеясь.

Через день-два обстоятельства заставили меня воспользоваться этим словом. Мы перевели ее в санчасть батальона, где было много раненых. Пришлось снять часовых. (Правда, на всякий случай за ней поглядывала одна из ухаживающих за ранеными девчат.)

Каким-то образом об этом узнал Руднев и потребовал объяснений. Я сказал, запинаясь:

— Понимаете, она меня расположила к себе своей откровенностью.

Комиссар постучал пальцем по моему лбу.

— А ну, повтори еще раз.

Пытаясь оправдаться перед комиссаром, я пробубнил нерешительно: — Уважаю людей, которые не боятся говорить в лицо все, что они думают.

— Ну и что же? — спросил холодно комиссар.

— А то, что она могла за это поплатиться жизнью. Вы понимаете?

— Я понимаю! — взорвался Ковпак. — Интеллигенция чертова! Всех поразгоняю к сучьей матери! Це що? Шпионов мне разводить? Когда что нужно — от разведки не добьешься толку. А тут на честное слово. Кого? Бандеровку... от-вст-ствен-ную...

— Ладно, уходи, потом, — тихо сказал мне Руднев.

Я ретировался подалее от разъяренного деда. А он все не мог успокоиться.

— Интеллигенция! — кричал он уже на весь штаб. — Тонкошкурые субчики! Все бы вам переживать, чистоплюи чертовы!.. Где вы взяли на мою голову!..

Руднев вдруг разобиделся, но не на меня, а на Ковпака.

— Замолчи! Ты что? Может, если бы не эта интеллигенция, и тебя с твоим героизмом не было бы. Вот они, вокруг тебя, — Базыма, Войцехович, Тутученко, Матюшенко, Пятышкин, Ленкин — это же все обра-

зованные люди. Советской властью образованные... Да и я. Я всю жизнь науку большевистскую изучал. Да и ты сам-то кто? Лапоть? Ну, провинился Петрович. Так с него и спрос держи, а словами такими не кидайся. Не загибай влево, командир. А то ведь мы и поправить можем... То же не шилом выструганы,— закончил он с улыбкой.

Но, успокоившись немного и оглядевшись после этой сцены, вспоминая гневную речь Руднева, я по-новому понял особенность нашего отряда.

Головка отряда, штаб и командование — все были советские интеллигенты. Нам доверяли. Это ободряло нас. Но мы пришли уже в готовый организм, включились в его работу, иногда забывая, что мы только винтики. Да, конечно, немалая часть интеллигенции — романтики. Романтика помогала нам переносить лишения, много работать, придумывать всяческие тактические уловки, иногда удивлять ловкостью своих учителей — Ковпака и Руднева. Но создали этот отряд они — старые коммунисты-большевики.

Там, на коренной части Украины, было проще. Есть немцы — их надо бить; есть народ, ненавидящий врага,— на него надо опираться; и есть мы — партизаны, слуги и защитники народа, помощники Советской Армии в тылу врага.

А вот когда мы летом 1943 года впервые ворвались в Галичину,— отказало чутье. И подвела интеллигентщина. Ковпак был очень прав, когда так ругался. Это я подвел его. И не как командира, а как старого члена партии, давшего мне рекомендацию. Сейчас я даже был готов расстрелять бандеровку, но вопрос, как говорится, вышел из моей компетенции и перешел в высшую инстанцию. Нужно было ждать решения старших. А они, поспорив немного, посмеиваясь, перешли к другим, более существенным делам.

Вспоминая мимолетную перепалку комиссара с Ковпаком, я понял, что все это было сделано для меня.

«Воспитывают!» — думал я, бродя по горной тропе.

Смешно, конечно, понимать, что тебя воспитывают, когда тебе под сорок, когда ты кончил два вуза. Но это было так.

Вузы-то вузами, а это было политическое воспитание.

Через день я еще раз увидел Наталку.

— А що я хочу у вас спросить, пан полковник,— неожиданно льстиво улыбнулась она.— Нельзя мне совсем в санчасть перейти?

Возле нас были бойцы, и она болтала еще что-то, идя со мной рядом. Говорила всякие пустяки. Я понял: она хочет поговорить наедине. «Ну что ж, пожалуйста!» — подумал я, когда мы отошли. Наталка вперила в меня глазами.

— Слушайте. Верните мне мое честное слово.

Я удивился.

— Зачем?

— Я сегодня ночью буду бежать.

— Но если я верну слово, то прикажу усилить охрану.

— Все равно, верните.

— Нет, не верну.— Я засмеялся.— Когда надо будет бежать, я сам вам об этом скажу.

— Добре,— шепнула она мне, как заговорщику.

Я зашагал к штабу. «Вот как? Она уже считает меня своим сообщником. А игрушки с честным словом — это прием, чтобы попасть в доверие».

Зайдя в штаб, я еще раз просмотрел в записной книжке материалы первых допросов.

Дело было, конечно, в ее биографии. Но мои разведчики проглядели это в первый раз. В этом была и моя ошибка.

А вот Руднев сразу обратил внимание на другое.

— Биографию узнал?

Я рассказал.

— Понятно. Вот он, уничтоженный класс, оживающий, согретый пожарами войн и фашизма.

И это в конце концов было главное.

— Семен Васильевич! — сказал я Рудневу. — Сегодня ночью Наталка будет бежать.

— Я так и не успел ее поглядеть. Что за птица?

— Птица с коготками, товарищ комиссар. Решайте...

Я ушел. Чертыхался и злился. Злился я совсем не потому, что каялся в своем временном очаровании фальшивой красотой и мужеством фанатика! Нет! Совсем не потому, что не понимал, что враг может быть иногда красив и мужествен. И это надо уметь видеть и понимать. Понимать, что от этого он не становится лучше. Наоборот: тем он опаснее!

Руднев говорил потом:

— Враг часто совсем не таков, каким его рисуют на плакатах и описывают в газетах. В жизни не обезображенные «трактовкой» художника — с лохматой шевелюрой и выщербленными зубами — бандиты подстерегают тебя.

Но как я-то попался на этот крючок? Вот что было мне тогда обидно!

Конечно, в мирное время такому человеку можно оставить жизнь и даже перевоспитать его.

А на войне...

Пусти этого микроба, ядовитого и обаятельного, в красивой шелухе «идеи», — сколько нестойких людей сшибет он с пути своим фанатизмом!

Ведь и боярыня Морозова боролась за двуперстный крест...

А предатель Мазепа любил прекрасную Марию и писал стихи...

Ой, горе, горе тій чайці,  
Чаєцці небозі..

К вечеру, не колеблясь и не копясь в психологии, я вызвал карнача. — Усилить караул. При первой попытке к бегству — застрелить! Важная птаха, как окрестил ее Михаил Кузьмич, тоже, видимо, не бросала слов на ветер: на рассвете начались тяжелые многодневные бои. Воспользовавшись суматохой, Наталка исчезла — видимо, все же сбежала.

Эта женщина, необычная по своему поведению и натуре, запомнилась. И не одному мне. В отряде ее вспоминали долго, как курьез.

А сейчас эта история уже чем-то походила на горное эхо. Мы, стрелки и воины, до сих пор хорошо помнили, какой коварный предатель горное эхо и как капризно звучат выстрелы в горах, сбивая с толку самое опытное партизанское ухо. Во всяком случае, Наталка все же бежала в ту августовскую ночь перед Делятинским боем.

Я подозвал к себе Шумейко.

— Садись к нам в сани, товарищ бравый замполит.

— Ничего, я потрясусь верхом, — сказал он, откозыряв ни к селу ни к городу.

— Где же вы поймали эту тернопольскую птаху? — спросил я его.

— Ловить не пришлось. На хуторе она лежит, еле живая.

— Поглядеть страшно, — подтвердил комбат Токарь.

На мой вопрос Шумейко сказал: «Работа ихнего эсбе...» — и замолчал.

«Эсбе», или «служба беспеки», — самый страшный орган бандеровщины, ее контрразведка. Комплектовалась эта беспека (безопасность)

из отпетых типов. Кулачье и уголовники, выпускники иезуитских школ — это были весьма поднаторелые в истязаниях и пытках люди. Они душили людей кожаными поясами и качалкой для раскатки теста, дробили кулаками суставы, выкалывали глаза и резали, не дрогнув, детей...

Мы приехали на хутор.

Я согласился на доводы Токаря, просившего во второй половине дня батальон не тревожить. Люди отдыхали после тяжелых маршей с боями.

— Может, пройдем до той Наталки? — спросил Шумейко. — А то докладывал доктор Никитин — дюже она плоха. Все внутренности отбиты.

Пройдя два-три дома, мы зашли в указанную Шумейко хату. Дверь нам открыла старуха в очипке и вылинявшей запаске — старинной одежде украинских женщин. Она узнала Шумейко и на немой вопрос его черных глаз прошамкала беззубым ртом:

— Мабуть, уже доходит...

В светелке на топчане лежала Наталка, накрытая тулупом до самого подбородка. Глаза, обведенные синими кругами, были закрыты. Мертвенная бледность, испарина и горячее дыхание говорили о ее тяжелом состоянии. Старуха обтерла ей лоб вышитым рушником. Наталка прошептала «пить», и когда бабка напоила ее кислым молоком, она приоткрыла глаза. Подернутые предсмертной тоской зрачки вдруг остановились не то от ужаса, не то от радости.

— Вас узнала, — мрачно сказал Шумейко.

Я наклонился над лицом стропивой бандеровки. Что-то сказал успокоительное. Но она не могла говорить, да и вряд ли понимала мои слова. Запах крови был так силен, что я через несколько секунд отпрянул на середину светелки, чтобы дохнуть чистого воздуха. Старуха наклонилась над ней с крынкой молока, затем тихо отошла к дверям и открыла их. Голова Наталки безжизненно лежала на подушке, открытый глаз смотрел в одну точку.

Мы долго стояли в комнате.

— Мабуть, идите уже... — сказала старуха. — Я баб позову. Треба нам справить ее в последнюю дорогу... Тут ни одной косточки целой не было...

— Что говорила она вам, бабуся? — спросил я. — Перед смертью?

— Много чего говорила. Передай, говорит, людям, чтоб не ходили кривою стежкой, а шли прямою, як ти хлопцы Ковпака.

— А еще?

— И щоб никогда не ломали своего слова. За это меня доля и покарала. Вот чего говорила... А теперь выходите с хаты.

Поездив по батальону, я под вечер усталый возвращался в Печиховсты. Так до конца и не было понятно, почему бандеровское «эсбе» подвергло ее такой жестокой казне.

Лишь позже я узнал ее запутанную историю, обманным горным эхом докатившуюся до степей Воыни и навсегда заглохшую в Порыцких лесах.

Через сутки Бакрадзе донес: занял Горохов! О том, что именно он занял город, до сих пор существует спор. Дело в том, что примерно в эти же дни и часы, пройдя стремительным маршем из Житомирщины через всю Ровенщину, прямо на юг Воыни врезался бравый кавалерист, партизанский генерал и Герой Михаил Иванович Наумов. Легендарный партизан во время этого марша разбил и потрепал гарнизоны в Острожце, Тарговицах и Воротнюве.

Размышляя об истории партизанского движения в Великой Отечественной войне, часто думаешь: почему в этой войне было так мало кон-

ных партизанских отрядов?! Неужели уж совсем изжила себя конница? Даже партизанская? Мне лично известно только кавалерийское соединение Наумова на Украине, с которым вместе приходилось и воевать и дружить. И еще, по слухам и полуофициальным документам, был коннопартизанский отряд Флегонтова и Тихомирова, действовавший в Белоруссии. Может быть, воевали и другие отряды. Не знаю. Во всяком случае, конников-партизан было очень мало. Поэтому хочется рассказать о кавалеристах Наумова, о нем самом, о его удивительном комиссаре Михаиле Михайловиче Тарасове, докторе из Кремлевской больницы, добровольно ушедшем работать хирургом в партизанский отряд и ставшем там комиссаром. Правда, я отвлекусь несколько в сторону и уведу мысли читателя от Тернополя и Луцка. Но что поделаешь? Я не пишу ни истории войны, ни оперативно-тактического исследования. Я просто вспоминаю то, что было. И пишу прежде всего о дорогах мне людей.

Так вот, партизанская кавалерия... Она не появилась так, вообще, по прихоти того или другого военачальника, полюбившего седло и шенкеля.

— Нет! Нас породила степь украинская,— еще на Припяти говорил товарищу Демьяну молодой и стройный генерал Наумов.— Степь, где нельзя быть пешим. Если даже сам Ковпак пойдет на юг пешим, то на другой же день его расколшматят, как только он оторвется от лесов... В степях партизанам немисливо воевать в пешем строю! Да, да!

Это категорическое утверждение нам казалось тогда странным.

— Заносит молодого генерала...— миролюбиво отмахивался спокойный Базыма.

Но я вспоминал не раз этот разговор, когда мы сами выходили из Карпат. Через степное тернопольское Подолье пришлось пройти лихим кавалерийским рейдом.

Когда дошел слух о том, что в Горохове появились конники Наумова, мы все обрадовались. Ведь это они совершили знаменитый Степной рейд, каких никто из нас не совершал. Зимой 1943 года бурей пройти по тылам группы войск Манштейна, выйти к Днепропетровску, подойти к Кременчугу, петлять две недели по Кировоградской и Одесской областям, там, где нет ни одного партизанского леска, где кишмя кишели не только полицейские гарнизоны, но и клубились осиные гнезда стратегических резервов Гитлера, прекрасно понимавших, что Красная Армия уже приближается к Днепру! И стремительно взвиться вверх из степей и замахнуть наотмашь партизанской саблей!.. На кого? На какого-нибудь гебитскомиссара? Нет, бери выше. На областного губернатора или ээсовского генерала? Выше! На самого гаулейтера Украины, рейхскомиссара Эриха Коха? Нет, выше, выше! Ну тогда на Геббельса? На Альфреда Розенберга — гитлеровского наместника всех оккупированных советских районов? И опять нет. На самую ставку Гитлера замахнулась партизанская сабля советского пограничника капитана Наумова. И пусть даже враг успел увернуться и спасти свою шею. Но он в ужасе задрожал перед грозной опасностью.

С нетерпением мы ждали Наумова, обещавшего заехать к нам в Печиховсты. Когда начало смеркаться и только белый пушистый снег, синая, задерживал приход черной ночи, село вдруг ожило. По центральной улице промчался запряженный тройкой легкий волынский шарабан. За ним — два верховых коня, а на расстоянии двадцати метров — целая кавалькада конников.

Я не видел Наумова с весны 1943 года, но сразу же узнал его. Всегда питал я к нему, еще капитану-пограничнику, повышенный, обостренный любопытством и немного ревнивый интерес.

Мы поздоровались, и Наумов отрекомендовал мне сидевшего рядом с ним широкоплечего человека в полушубке со сборки.



— Доктор кремлевский. И комиссар мой. Прошу любить и жаловать. Я удивленно оглядел нового знакомого. Тот не без любопытства взглянул на меня и добродушно протянул руку.

— Тарасов, Михаил Михайлович.

Генерал ловко скинул с плеч черную бурку. Разминаясь, знакомит со своими орлами:

— Кроме доктора, со мною Колька Грызлов, москвич, и этим все сказано; а это земляк Гоголя, Владлен Гончаровский; Андрейка Лях; Хинельской гвардии братья Астаховы — Илья и Роман; Митя Самоедов — земляк Ломоносова, архангельский мужик, кавалер ордена Ленина за спасение жизни командиров в бою; а этот, с самым лихим чубом, — Сергей Бузанов, смоленский соколик; Коршак Коля — этот лазил под лед за пулеметом; Тося Дроздова — девочка из Конотопа; донецкий шахтер Анатолий Кихтенко. Хлопцы на подбор!

Я смотрел на них с нескрываемым уважением. Передо мной стояли герои хинельских походов, овеянные степными ветрами, прокуренные пороховым дымом, рыцари кавалерийских рейдов.

Действительно орлы, ничего не скажешь, румянец у всех во всю щеку, глаза озорные, блестят.

Я представляю в свою очередь Мыколу Солдатенко, Васю Войцеховича, Кульбаку, Роберта Кляйна...

— Под Гороховом мои хлопцы из Венгрии с твоим капитаном встретились. Обнимаются, целуются, — говорит Наумов, — даже я растрогался.

— Это Иосиф Тоут? Он у Бакрадзе вроде за комиссара.

— Фамилию не помню. Знаю, что из ЦК венгерского комсомола, что ли...

— Ну, он самый.. А каких он земляков у вас встретил, товарищ генерал? — спросил Мыкола.

— Есть у нас группа: Иштван Декан, Ева Ракоши и другие, — ответил нашему комиссару его коллега, доктор Тарасов.

— Целый интернационал, — засмеялся Наумов. — Разве думали мы еще год тому назад, сражаясь в Брянских лесах с восьмым венгерским корпусом, что у нас будут комиссарами да контрразведчиками мадьяры? А, Петро?

— Та це що? — подхватил его мысль Мыкола. — У нас Герой Советского Союза — немец, Роберт Кляйн.

Наумов посмотрел на меня удивленно.

— Правда, Петр Петрович?

— Да вы только что видели его.

— Ну, дела-а... — сказал бывший пограничник. — Что же он у вас делает?

— Да вот вернулся с асфальта. Мотался на машине между Львовом, Золочевом и Бродами. А сейчас пошел разведдонесение писать.

— Вот это уже совсем интернационал!..

Приехавшие устали с дороги и пошли в хату отдохнуть. Я распорядился, чтобы Федчук позаботился о конях. Встретиться решили за ужином.

— Как полагается, — сказал Наумов. — А когда у вас ужин по расписанию?

Взглянув на часы, я сказал, что через сорок минут.

— Ого! Режим питания — большое дело, — хмыкнул комиссар-врач не то насмешливо, не то добродушно-одобрительно.

— Заночуете, конечно?

— Да, пожалуй. А впрочем, там дело покажет, — с намеком сказал генерал.

— Да, дел много, поспешать надо, — отвечаю и я. — Жду вас в штабной столовой, второй дом справа.

— Только так, чтобы о деле поговорить можно было. Без митинга,— наклоняясь через облучок, вполголоса говорит генерал.

— Понятно. Будет обеспечено.

И пока вольнянский шарабан заезжает в указанный дом, а рядом, в стололе, размещается лихой эскорт, я прохожу вдоль улицы и невольно вспоминаю то, что знаю о Наумове и его славных рейдах.

После хинельских походов, в конце 1942 года, капитан Наумов получил задание совершить рейд на юг Сумской области.

Сборы в этот рейд начались уже в декабре сорок второго года в Хинельских и Брянских лесах. Войско для этого рейда подбиралось не ахти какое.

— С брянского бора да с хинельской сосенки,— шутили сами партизаны соединения.

Капитану, бывшему пограничнику, отходившему с боями от самых Карпат в сорок первом году, это было не в новинку.

— Только бы мне вырваться, сколотить боевое ядро. Ну да ладно! Дальше будет виднее.

Центральный Комитет Украины, украинский штаб партизан поддержали инициативу Наумова совершить кавалерийский рейд. Вариант капитана стал приказом. Не по проторенной Ковпаком и Сабуровым дорожке, а самостоятельным маршрутом решил идти Наумов. На юг! По Левобережью до Запорожья и дальше — за Днепр! А там, как говорится, само дело покажет.

Пошел с ним в этот рейд и другой капитан — командир конотопцев Кочемазов. Перед выходом в рейд на Правобережье я видел его не раз в Брянских лесах. Это был вояка под стать Наумову — честный, прямой, храбрый. Помню упрямый дерзкий взгляд Кочемазова...

Под стать ему были его хлопцы-конотопцы. Рейд начался из села Суходола — родины Ивана Бунина. А напротив Суходола раскинулась Вольная Слобода. Из нее был родом Анисименко Иван, командир Червоного отряда, входившего в соединение Наумова.

Им, пожалуй, было потруднее, чем Ковпаку. У того были комиссар Руднев, верный Базыма и все мы — помоложе, старательные ученики Руднева и Ковпака. Но и они добились немалого успеха. В Степном рейде сумских партизан по тылам группы Манштейна было взорвано на железных дорогах Сумы — Харьков и Сумы — Курск десять железнодорожных мостов, перерублены многие линии снабжения и эвакуации, организовано много крушений и столкновений эшелонов; в Ворожбе освобождены из лагеря смерти две тысячи военнопленных, влившихся в партизанское соединение; в засадах уничтожена колонна противника под Сумами, автоколонны под Котельвой, Зиньковом и Новомиргородом, карательная экспедиция в Турбаях на Хороле. Бои были перенесены на Правобережье — в Подгорное и Андрусовку, под Чигирин и Кременчуг. Об этом сообщала «Правда» в своей передовой за 7 марта 1943 года.

В начале нового, сорок третьего года соединение Наумова вышло южнее Кременчуга к Днепру. Это было в то время, когда южнее Харькова передовые части Советской Армии находились от Днестра в сотне километров. Ответы Сталинграда уже полыхали над Днепропетровщиной. Мы на Правобережье в это время рванули Сарнский крест, Сабуров воевал вокруг Овруча, а на севере с Черниговщины Федоров и Мельник двинулись за Днепр и Припять. Противник тоже не дремал. Манштейн собирал за Днепром резервы, чтобы ударить по армии генерала Харитонова, готовил контрудар на Харьков. В этой-то каше и лавировала лихая партизанская колонна Наумова, Кочемазова, Анисименко. А как грянул январь, партизаны по льду перемахнули на сотнях саней через реку.

Зима. Санные дороги. Отряды Наумова уже на Днепропетровщине. Затем они устремились на юг — на Одесщину, под Знаменку и до самого Кривого Рога. Дошли до Южного Буга и вдоль его течения стали подниматься вверх к реке Синюхе.

В это время Манштейн нанес свой удар на Левобережье. Харьков опять пал, севернее Белгорода стала постепенно образовываться знаменитая Курская дуга. Капитан Наумов и Кочемазов со своим лихим войском решили стремительно двигаться на север.

— Между Винницей и Киевом пойдем? На север, к белорусам? — советовался со своими соратниками Наумов.

— Вправо слишком забирать нельзя. Киев все-таки столица. Не по силам будет, — говорил Кочемазов. — На Винницу, что ли, нам шапдарахнуть?

Вообще-то ничего в этой фразе как будто страшного и не было: мало ли областных городов под самым носом прошло? Но теперь мы знаем, что было под Винницей...

— Будем так прямо и держать курс. Зюйд-зюйд-вест! — ухмыльнулся Наумов.

— Ладно. Держать так держать, — согласился и Кочемазов.

Не знали они, на что замахнулись. В десятке километров от Винницы находилась ставка Гитлера. Вот куда нацелились brave капитаны! Они совершили несколько ночных маршей по раз взятому азимуту. Прошли за Умань.

— Пока не зашучила авиация, давай один-два маршрута в сторону — и в Голованевские леса. Передохнем перед прыжком, — посоветовал Кочемазов.

— Правильно, — согласился Наумов. — Других лесов здесь нет. Приготовимся к степному прыжку.

Там, в Голованевских лесах, привлекала их посадочная площадка. Они ждали самолетов, чтобы эвакуировать раненых и получить карты, запас которых азимут — зюйд-зюйд-вест. Я помнил этот лес с детства. Местные называют его Галочинский лес. Дядьки называли его просто — Галоче. Передовой отряд Полесья, далеко вперед вырвавшийся к югу... Помню — путь из Голованевска через село Станиславчик.

Это-то село и заняли партизаны Наумова. Утром, на рассвете, заскочили в него партизанские разведчики, вслед за ними — колонна. Разместились по хатам. Тут же, усталые, завалились спать.

Кочемазову не спалось. «Надо бы обозы в лес». Вышел на мороз. Дымка, туман. Зашел к Наумову. Командир согласился и отдал приказание втянуть обозы в лес.

А через час началась трагедия. Полицейские и жандармы уже засекли этот самый азимут — зюйд-зюйд-вест. Доложили начальству. И тут выяснилось, что степная орда мчит прямо на ставку Гитлера.

К Голованевскому лесу из Первомайска, Умани, Ново-Украинки, Гайворона спешно подтянулись резервы ставки: первый эшелон — свежая моторизованная дивизия, два артполка, части румын из-за Южного Буга. Наумовские ребята не успели в Станиславчике увидеть первый сон, как уже около двухсот танков развернулось за селом. В село Трояны вступило с полсотни машин с пехотой. Бой был неравный. Внезапный. На полное уничтожение.

Через семь часов боя Станиславчик горел сплошным костром. Контуженный Наумов, сопровождаемый верными ординарцами, отошел в лес, к обозу. А когда стемнело, то выяснилось, что конотопцев в лесу нет. Не было и капитана Кочемазова. До сих пор не известно, погиб ли он в первом бою или отошел за Южный Буг. Может быть, хотел прорваться на Бершадские леса.

Тяжелой, страшной была ночь после разгрома в Станиславчике. Обозов много, боевых сил мало. Раненые, ездовые, женщины — всего осталось человек триста. В то же время с другого шоссе, Киев—Одесса, со стороны Умани, головная разведка донесла, что подходит другая немецкая дивизия.

Одна дивизия немцев уже охватила полукольцом лес с запада, вторая должна была замкнуть кольцо. Но в полночь разведчики прощупали выход в степь. Решение: всем сесть верхом! Проскользнуть оврагами подалеже в степь, днем укрыться в балке или на каком-нибудь хуторе. А в следующую ночь — опять на север. Решение единственно правильное. Капитан Наумов из тех людей, которые и в самом трудном положении показывают свой характер с блеском.

Об этой страшной, трагической ночи уже после войны у меня был разговор с двумя учительницами. Они оказались партизанками, участницами и этого рейда и этого голованевского разгрома.

— Воевал бы среди нас молодой Фадеев, — он бы написал. Сердца дрогнули бы, очи затуманились бы слезой, — сказала задумчиво одна из них.

— Ах, какая была страшная ночь! — вспомнила другая. — Раненых мы не смогли вынести, а были мы обе девчонки лет по шестнадцати. Целый день смерть перед глазами. Ночью еще страшной. Забились мы под куст. Сидим и плачем. Тихо всхлипываем. «Кто тут?» — раздался голос нашего командира. Мы откликнулись. Он остановился, узнал. Затем тут же ординарцам и связным какое-то приказание отдал, поднес руку со светящимся циферблатом и сказал: «Сверить всем часы! Ровно через полчаса — прорыв. На моих двадцать три часа одиннадцать минут!» И так нас, девчонок, удивил этот спокойный голос. И эти часы... Мы и всхлипывать перестали. Думаем, не все ли равно — в полночь или на рассвете кончится вся наша жизнь? Зачем сверять еще минуты? «Двух коней запасных приведите!» — сказал связным командир. Связные в стороны разошлись. Треск сучьев и скрип снега под ногами затих. А командир наш Наумов рядом с нами присел, к дубу плечом привалился. Мы думали, вздремнул. Сидим тихо, как мыши, раненые, со сбитыми коленями, голодные, иззябшие... Помолчал минут пять командир, а затем снова поднял руку и циферблат к глазам. Посмотрел и сказал: «Всего пять минут». Еще помолчал, руку от глаз не отнимая. А затем говорит: «Что, девушки, страшно?» Всклинула моя подруга: «Ох, и страшно». «Погоди, не плачь, — сказал командир. — Послушай. Вот запомни, навсегда запомни. Сейчас мы верхом все сядем и вырвемся. Но ты хорошо запомни эту ночь. Замуж выйдешь, детей, внуков иметь будешь — и всю жизнь ее вспоминать будешь, эту ночь, потому что эта ночь должна быть самой счастливой в твоей жизни... Сейчас вам коней хлопцы достанут...» И отошел в сторону. А мы сидим, одна к другой прижались. «Да что он, смеется над нами, что ли?» — спрашивает подруга. «Нет, не смеется. Слышишь? Сказал, на коней верхом посадит». «Да я ведь никогда не ездила». «Не ездила — так поедешь». И вы знаете — поехали верхом. И провались. Ведь действительно прав был наш командир. Как-то встретила я его на Крещатике. Прямо так на тротуаре и остановила. «Извините, товарищ генерал», — говорю. А он на меня смотрит удивленно. Бровь приподнял. «В чем дело, товарищ?» — сухо, официально. «А я ведь помню и никогда не забуду ваших слов. Действительно, это была самая счастливая ночь в моей жизни». Он вспомнил сразу и засмеялся: «В моей жизни тоже...»

Так рассказывала мне народная учительница, бывшая партизанка кавалерийского отряда Наумова.

В ту страшную ночь триста конников прорвались из Голованевского леса в степь. До рассвета отмахали километров сорок. Но смерть страшна. Чуть сереть стало, уже «костыль» в небе урчит — надо прятаться. А в степи нигде ни лесочка, ни хуторка. Голым-голо. В глубокую балку загнал свою кавалерию Наумов, коней в снег положил, снегом забросал, сами бойцы друг друга маскхалатами укрыли. Лежат. Только наблюдательные пикеты человек пять-шесть на бугры выставили в маскировочных халатах. Расчет на то, что с воздуха вроде река по оврагу чернеет, и все. Пикеты прислушиваются: над Галочинским лесом канонада, самолеты идут волнами, бомбят лес. Чуть смерклось, кавалерия Наумова выскочила из балки и опять на север. Шли без карты — руководствуясь чутьем. Двое суток скакали на север с маленьким отклонением к западу. А на третью ночь изнемогли. Надо было лошадей покормить, людям перекусить хоть немного. Решили завернуть на хуторок. Выслали разведку. По данным ее, на хуторе только жандармы. Не хотелось шум поднимать, но что поделаешь. Разведчики решились на налет. Ровно в полночь застрекотали автоматы, и в несколько минут от жандармов осталось мокрое место. Это была последняя, самая ближняя охрана, один из запасных узлов связи полевых ставок Геринга и Гитлера. Впереди уже никакой охраны не было. До ставки осталось каких-нибудь десять километров. Ох, если бы хоть один партизан о таком соседстве знал! Нет, не знали. А знали, уж решили бы: помирать, так с музыкой.

Когда Наумов прискакал к нам на Припять, мы вместе с его начштаба стали заносить маршрут Степного рейда на карту. Смотрю — глазам своим не верю.

— Да знаешь, чертов ты парень, ведь вы были от Гитлера в десяти километрах, — говорю я начштаба.

— Ну да? Не может быть! — отвечает он, да еще с таким припевом. — Откуда вы знаете, что там ставка?

Дело в том, что мы с Рудневым посылали еще поздней осенью под Винницу нашего разведчика, маршагента. Это была учительница. Глаза молодые, печальные, а лицо как печеное яблоко. Галей ее звали. Она к нам прибилась из-под Винницы еще в декабре сорок второго. Я ее спрашивал, как работает железная дорога Жмеринка—Казатин—Киев, а она все твердила о какой-то таинственной постройке в двенадцати километрах севернее Винницы.

— Что там? — допытывался я. — Нефтесклад? Боеприпасы?

— Никто не знает. Село все выселено, все жители угнаны. Строили эти таинственные постройки русские военнопленные в сорок первом году. Говорят, двенадцать тысяч человек было. И когда стройку закончили, все двенадцать тысяч были расстреляны. Все до одного.

Доложил я Рудневу. Он приказал: «Надо во что бы то ни стало выяснить, что там построено. Поговори с Галей, пойдет ли она еще раз? Проинструктируй».

Галя согласилась. Мы дали ей подробную инструкцию, сказали друг другу пароли и какие-то неловкие напутственные слова.

— Сколько же тебе лет, Галя? — спросил я на прощание.

— Девятнадцать.

Потом наши девчата-партизанки рассказали, что гитлеровское офицерье ее пять месяцев держало в публичном доме: сначала в офицерском, а потом — в солдатском.

Гали не было более трех месяцев. Послал я ее из Князь-озера, а вернулась она под Припять. Смотрю: еще больше морщин прибавилось, еще больше глаза стали, горят, как огненные.

— Выяснила? — сразу же спросил я ее.

Молча кивнула головой.

— План начертила?

Молчит.

— Что? Аэродром? Горючее? Боеприпасы? Может, завод какой секретный?

— Ставка Гитлера там.— И заплакала.— Почему вы мне мин не дали, подрывному делу не обучили? Почему?

Но нам не до нее уже было. Захватило дух. Побежал, доложил Ковпаку, Рудневу. На Большую землю полетели радиодонесения. Оттуда приказ: проверить. Послали две группы разведчиков, но они не смогли добраться до ставки Гитлера.

А через три дня после прибытия конников Наумова на Припять вдруг радиограмма — вызывали в Москву капитана Наумова, который с целым двухтысячным боевым коллективом под Голованевском исчез, а у нас на Припяти объявился. У него ведь и рация погибла. Ну, что там в центре было, доклады, донесения — мы не знали. Только весь его рейд занесли на карту, уже не ученическую. Данные зафиксировали. В это время по нашим донесениям, тем, которые Галя со старушечьим лицом в девятнадцать лет принесла, радиостанций туда понакидали.

Из винницкого подполья, того, которое «на берегах Южного Буга» действовало, радиосводки тоже, вероятно, шли. И по донесениям выходило, что в ту самую ночь, когда конница Наумова на хуторке с пятнадцатью жандармами похорохориться вздумала, паника в гитлеровской ставке поднялась.

Был слух, что в другой Ставке тоже разговор об этом шел. Верховный выслушал, встал, прошелся по кабинету, трубку закурил и сказал:

— Некрасиво как получается. Нехорошо. Капитан — и по ставке Гитлера ударил. Надо ему дать генерала...

Через неделю вернулся к нам в Оревичи молодой генерал Наумов.

Вспоминая все это, медленно прохожу по улице мимо штаба. Там полно связных. Хлопцы столпились в кучу и не видят меня. Остановился у огромной липы. Слушаю.

— А еще мне пишут, да только брешут, видать, что живут хорошо. Вот послухай: «Хлеба получили на трудодень достаточно, трудодней на всю семью заработали больше тысячи...» А всех-то трое: моя половина, да парнишка-ученик, а уж и не знаю, что дочка там на трудодни зарабатывает — ей еще десятый годок идет.

— Видно, мать тянется, не разгибаясь,— сказал кто-то басом.

— Еще пишут, что ничего для победы не жалеют...

— Ясно, что не жалеют, когда одна баба с двумя детьми-малолетка-ми более тысячи трудодней выработала.

— Какая уж тут жаль-печаль! Как ты ни говори, а нам полегче все же,— продолжает тот же бас, но тут же спохватывается: — Хотя тоже подчас достается и нам.

— А сколько получили хлеба-то?

— В том-то и дело, что не пишут. Если бы получили как следоват — непременно написали бы. А так, догадайся, мол, сам. Ну, да у меня приусадебный ничего... Если только вовремя засадили картоху — хватит...

А голоса все же счастливые, задумчивая теплынь в интонациях.

— Эй вы, скорее развезить почту! Пускай пишут ответы! У Наумова связь с разведчиками кавкорпуса. Можно передать почту на Большую землю! — крикнул я и тут же быстро пошел к столовой.

— Поужинаем без спиртного,— сказал генерал.

— Непьющие мы все оказались, как все настоящие партизаны-рейдовики,— смеется доктор Тарасов.

— Это в лесах, в болотах сидючи, самогонные аппараты можно завозить. А в рейде не разопьешься. Тут вмиг голову можно пропить, да и

не только свою,— заметил Наумов и вдруг почему-то спросил: — Слушай, нет ли у тебя свежих номеров «Русского слова»?

Я не знал даже, что это — книга или журнал.

— Газета такая в Ужгороде издавалась. Когда я служил на границе в Карпатах, любил ее читать.

— Нет. Я больше «Дас рейх» почитываю.

— Владеешь свободно немецким?

— Да нет, доктор один у меня есть. С пражским образованием.

— Интересно,— оживился Тарасов.

Так мы поужинали, перебрасываясь как будто ничего не значащими фразами. Затем начались разговоры как бы по уставу: первым делом противник.

— Ну, основной враг, конечно, четвертая танковая армия немцев. Тут, видимо, спора нет,— сказал Наумов.

— Это верно. У меня на пути этой армии один батальончик есть. Под Бродами...

Генерал сделал вид, что пропустил мимо ушей упоминание о батальоне Брайко. Но по глазам его я заметил — принял к сведению.

— А этот немец ваш — он как? Действительно ходит в войска противника? Свободно?

— Он в офицерском костюме на Львовскую магистраль уже дважды выскакивал,— сказал Войцехович.

— Это тот, что на Днестре отличился?

— Ага...

— Клейн или Кляйн? Так, что ли? Мне генерал Строкач рассказывал.

— А где Медведев? — спрашиваю у генерала.

— Да где-то тут, на подходе должен быть,— отвечает Наумов.— Сейчас вся наша активная партизанская братва потянулась поближе к Львову.

— А кто у вас все-таки под Бродами? — внезапно спрашивает наумовский комиссар.— Там отряд полковника Павленко. Вчера ночью, по данным разведки, три эшелона под откос пустили. Один вроде с танками.

— У меня под Бродами Брайко.— Я улыбнулся.

— Не слышал еще такого...— бросил генерал.

— Еще услышите.

— Кто же он такой, раз ты так его рекомендуешь?

— Да тут один паренек... Командир третьего батальона, бывший пограничник...

— Ну, раз пограничник — это другое дело,— сказал Наумов.

— Скажи, пожалуйста, и много их у вас таких? — с доброй улыбкой спрашивает Тарасов.

— Да есть. С десяток наберется. Вот, скажем, грузин Бакрадзе, тот, что Горохов занял.

Наумов нахмурился.

По нашим расчетам выходило, что Горохов заняли хлопцы Бакрадзе. Но Наумов сам стоял в Горохове и оттуда приехал к нам. Спорить не стали. Замяли это дело. И, может быть, напрасно: до сих пор Бакрадзе стоит на своем и Наумов на своем. Тогда же я все-таки не осмелился идти на конфликт с гостем. «Э-э, потом историки разберутся». Не стал я спорить еще и потому, что у нас уже зрел план, согласованный с ЦК Украины и Строкачом,— превратить наше соединение в партизанскую дивизию. И я предполагал, что через две недели младший сержант Бакрадзе будет командовать полком. Поэтому, хотя и не знал я тогда строк поэта —

Города сдают солдаты,  
Генералы их берут,

но махнул рукой на этот Горохов.

— Сколько же у этого товарища под Бродами? — стараясь стусивать неловкость, спросил Тарасов.

— Да батальончик, человек триста... сорокапятка, бронебоск без малого пяток, минометчики, — ответил Войцехович.

— Есть связь? — спросил генерал деловито.

— Есть, — сказал я.

Еще долго мы размышляли над сложившейся обстановкой и обменивались информацией. Но все же по какой-то глупой привычке скрывали друг от друга свои намерения. Первым проломил этот ненужный ледок недоверия более опытный в оперативном отношении генерал Наумов.

— Ну, теперь давай решать. Значит, так. Два полноценных партизанских соединения пошли по тылам четвертой армии немцев.

— Значит, нас только двое?

— Нет, Медведев третий. С Кузнецовым. По-моему, это он и есть полковник Павленко. Тоже конспирация... — вздохнул генерал.

— Кузнецова разведчики в Бродах видели. А сейчас он, наверное, по тротуарам Львова шастает, — сказал Войцехович.

— А как ваш Кляйн? — спросил Тарасов.

— Нет, я своего разведчика берегу. Он еще поближе к Германии пригодится.

Наумов косо посмотрел на меня при упоминании о Германии.

— Кто же еще?

— Да где-то на Тернопольщине — Шукаев. Еще Федоров — под Ковелем. Затем Иванов шел по моему следу, да где-то поотстал малость. Эти вроде настоящие вояки, хотя и другой, чем мы с тобою, партизанской веры. Тактика у них диверсионная.

— А вера одна — получше бить врагов, — ввернул молчавший до этого Мыкола.

Заговорили о Рудневе, о его гибели. Задумались. Затем склонились над картой. Синие прожилки рек Галиции, бегущие к Пруту и за Днестром, коричневые разводья Карпат. Для нас это не просто топографические знаки, а живая земля, обильно политая кровью наших бойцов.

Что-то вырвалось у меня горькое о Карпатах.

Испытывая друга, спрашиваю, кивнув на коричневую горную часть карты:

— Ну как, пойдём?

Он молчит. Потом неопределенно мотает головой и говорит задумчиво:

— Ну, если там самому Ковпаку наклали...

— Да вы же в голые степи ходили? — подзадориваю я.

— Ходил...

— А теперь?

— А теперь — подумаю.

— Я понимаю. Имеете другое задание?

Он молча кивает головой.

Понятно. Задание его — обойти Львов с северо-запада и запада и нанести удар по дрогобычской и бориславской нефти. Ну что ж, разумное задание. Ковпак летом пробивался на Дрогобыч с востока в лоб. А сейчас Наумова нацеливают на обходный маневр.

— Да, не много осталось нашей партизанской территории, несколько хороших ночных маршей на запад — и упрямся в границу, — говорит Наумов.

— Одно Львовское генерал-губернаторство и остается, — вставляет реплику Войцехович.

— Кстати, какие у вас сведения о львовском губернаторе Калмане? — спрашивает меня генерал.



Сведений об этой шишке у нас никаких.

— Этим делом Медведев должен больше интересоваться. Его дело...

У Наумова оказалась карта Галиции и Польши, недавно изданная в Лейпциге.

— Ну, а как вы смотрите насчет Сана и Вислы? — спрашиваю я гостей.

— Там же Польша все-таки. Иностранные дела... — отвечает Тарасов.

Наши взгляды устремляются туда, где кончается наша Советская страна. Но Наумова, вижу, больше тянет на юг, где за горными кряжами раскинулось Закарпатье.

— Прямо перед нами за Саном — Краковское воеводство. Генерал-губернатор — Франк, вроде Эриха Коха, который был на Украине главным воротилой. Правее — Люблинское генерал-губернаторство, — сказал Наумов привычно. Видимо, он уже сидел наедине с этой картой. И не раз...

— Были твои разведчики в Польше?

— А как же... С конца января от самого Владимира-Волынского до Грубешова через Буг наведываются.

— Ну как, пойдем спаренной ездой? — спрашивает он вдруг с какой-то залихватской интонацией.

Верно, спаренной ездой идти легче. Недаром в приказе Главкома партизанским движением маршала Ворошилова еще в сорок втором году, когда ставилась задача Ковпаку и Сабурову, был задуман именно такой рейд. На трудное дело посылались два соединения. Понимал опытный маршал значение ударов на двух направлениях: легче раздвоить внимание противника, спутать его карты, отвлечь силы врага от одного к другому и сообща наносить удары, координировать усилия.

— Ну как, карпатский именинник? По рукам?

Я понимаю, что это не подковырка, а искреннее предложение. Оно совпадает и с моими намерениями. «Вот только как Петя Брайко? Он же где-то под Бродами. И надо ждать его здесь, северо-восточнее Львова. Дней пять-шесть...»

— А когда выход?

— Стремительность и натиск — девиз рейдовиков, — говорит Наумов, поднимая кверху кулак. А на руке с генеральским кантом вьется партизанская нагайка. — Чего топтаться на месте? Завтра в ночь и выходим.

— Не могу. Под Бродами у меня батальон.

— Так что же это за батальон у тебя? Какой это бычок, что матку не найдет. Радиосвязь есть?

— Есть, только какая-то...

— Северок? — спрашивает генерал.

— Он самый...

Ох уж эти мне «северки»! Москву берут, а за двадцать — пятьдесят километров — как немые.

— Ну, думай сам, тебе виднее. Ты командир.

— А как пойдем?

— Если бы это было по-фронтовому, так надо было бы искать стыки, — говорит генерал.

— И где же их найдешь тут, стыки? — недоумевает Войцехович.

По штабной привычке сразу же прикидывать командирскую мысль на карте он нагибается над столом, шарит по своей, то по лейпцигской. Реки, горы, леса, дороги. Неопределенная обстановка. Есть ли у противника за Бугом дивизии? И какие? Есть ли охранные полки? И сколько их? Какие гарнизоны, национальные формирования, агентурная обстановка?

За Бугом — полная темнота.

Нагибаемся над картой и мы с генералом. Он вытаскивает из планшета свою, трофейную, с обозначением границ районов, воеводств.

— Тоже немецкая? — спрашиваю.

— Нет, польская — трехкилометровка, польского генерального штаба. А масштаб как у туристов.

Мы сличаем ее со своей русской и снова знакомимся с неведомой местностью, по которой через несколько дней нам придется идти, держать бои. И вдруг молнией догадка. Почудилось, что ли? Нашел вроде стыки, а может, и нет?

— Ну, что-то надумал? По глазам вижу, — немного покровительственно говорит генерал.

— Да как вам сказать — может, и показалось...

И еще раз смотрю на польскую трехкилометровку.

— Ну, давай, выкладывай. Что там тебе... показалось.

— Мне показалось, что я нашел... стыки.

— Интересно, — оживился генерал.

— В тылу врага, в глубоком, какие действуют против нас части?

— Конечно, охранные войска.

— А они ведь распределены по территориальному признаку, по губернаторствам, воеводствам. Так? Вот перед нами Львовское генерал-губернаторство, вот Краковское, Люблинское. А дальше, наверное, будет Варшава. Южнее — Венгрия. Во главе каждого воеводства — начальник, рейхскомиссар или генерал-губернатор. И каждый из этих тузов имеет в своем распоряжении свое войско: полк-два. Пока мы действуем на территории одного, он против нас бросает только свои войска. Подтянет их — мы с ними поиграем сколько можно. А потом — раз! — и к другому начальнику в гости. Значит, войска первого начальника от нас отстанут, а другой, пока собирается, да разведает, да подтянет, да развернет свои войска, — вот и есть пара дней передышки.

— А ведь верно, — сказал Тарасов.

— А то и неделя передышки будет, — задумчиво произнес генерал, прикидывая что-то курвиметром на карте. Затем поднял серьезный взгляд на меня и продолжал: — Никак я не понимаю одного. Вот я военный человек... Ну, как сказал бы Василий Иванович Чапаев, академий я не кончал, может быть, после войны кончу. Только нормальное училище, да Высшая пограничная школа, да практика... И вот в голову не пришло. Объясни ты мне, пожалуйста, как же кинороботнику такое... Каким ходом мысли? А?

Будучи не в ладах не только с оперативной, но и с тактической терминологией, которой меня до войны никто не научил, я решил отшутиться:

— Да, пожалуй, это лучше меня мой начальник штаба вам изложит.

— Секретничаешь? — Мне показалось, что Наумов даже обиделся.

— Да нет. Не было здесь никакого оперативного хода мыслей. Просто вспомнилась кинокартина одна. Еще давнишняя. На экранах ее давно уже нет. Но хотя я «Выстрелов» и не кончал и нормального офицерского образования не имею, но академию все же одну кончил. Киноакадемию в Москве. У Эйзенштейна учился. У братьев Васильевых, у Довженко. Так вот, по истории своего дела обязаны были мы все старые классические картины смотреть. И сейчас вспомнилась вдруг мне одна короткометражка. «Чарли-контрабандист» — так, кажется, она называется. Граница гротесковая, конечно, на земле нарисована белая полоса, — спохватился я, вспомнив, что Наумов — пограничник. — По левую сторону от этой полосы бегают Чарли, а за ним — мексиканская полиция. Вот-вот догонят, за полы пиджака схватят. Но в этот момент Чарли — хоп! — и через белую полосу перескочил. По другой уже территории бежит. Мексиканской полиции хватать его запрещено. Для передышки и шаг убавил. Но тут его другая, американская, полиция догонять стала. Он опять — через «границу». Вот вспомнил и представил себе наши стыки.

Хохот, смех, прибаутки. Отсмеявшись, Наумов сказал-серьезно:

— Все секретничаешь. Ну, ладно. Это первая ступень мастерства.

— А вторая? — спросил я с любопытством.

— Высшее мастерство всегда щедро. Оно рассыпает знания, опыт, торопится передать его другим.

— Ну, куда уж нам... до высшего,— ответил я, чувствуя, что краснею.

Стали обсуждать время выхода. Может быть, под влиянием похвалы и подзадоривающих реплик генерала я решил, что выйду на день позднее его. Посоветовался с Васей. Начштаба сказал:

— Рискнем...

Тут же наметили и переправы через Южный Буг.

— Не близковато от Львова будет? — спросил Наумов.

— Сколько там?

— Километров тридцать пять,— отвечал Войцехович.

— Ничего. Пока очухаются, на запад еще полсотни отмахаем. Подмораживает, санный дорога будет.

Вызвали радистов.

— Обменяйтесь позывными, установите расписание! Нужно будет двустороннюю радиосвязь держать.

— Ну, как тот контрабандист? — Генерал Наумов хлопнул меня по плечу на прощание.— Значит, двигаем спаренной ездой?

— Двигаем, товарищ генерал.

— До самого Сана?

— На самый Сан.

— А к Сану дойдем и — влево р-раз! Как это у вас? Ход конем? Вот тебе и Карпаты.

— Дойдем до Сана, там — кто влево, в Карпаты, а кто направо, на Вислу,— сказал я твердо.

Через несколько минут мы распрощались.

## 29

Девятого февраля вечером колонна партизан вытянулась из Печиховост по дороге к селу Корчину.

— Вот мы и во Львовской области,— сказал около полуночи начальник штаба.— Перемахнули Волынь за семь ходовых дней. А? Да еще с-боями! Львовщина пошла...

— Какой район?

— Да вроде район Каменки...

— Каменки?

— Ага... Каменка-Струмиловская,— ответил начштаба, осветив электрическим фонариком планшет, взятый у немецких летчиков в Мосуре.

Марш проходил не быстро. Мы притормаживали движение, давая время разведчикам прощупать новый маршрут. Через каждые два-три часа следовала команда на привал, и колонна останавливалась на хуторах. Командиры и бойцы заходили в хаты: бойцы — погреться и побалагурить, командиры — сверить маршрут и выслушать короткие донесения разведмайков и связных. Заговаривали с жителями.

На одном из хуторов я по своей привычке забрался куда-то в закуток, а Войцехович, ежеминутно сверяясь по карте, выслушивал капитана Бережного, вернувшегося с берегов Буга.

— Где кавэскадрон? — спросил начштаба у Бережного.

— Махнул через речушку.

— Как связь с генералом Наумовым?

— По радио у вас должна быть.

— Нет, я о локтевой.

Бережной почесал свою чуприну.

— Мы шли по следу... Видели его хвост. Может, Усач и догонит. От Сашиних конников никакой генерал не уйдет.

— Противник?

— Впереди — ни гу-гу. Южнее, к шоссе на Львов, — сплошные гарнизоны...

Войцехович сделал в блокноте какую-то запись и откинулся от стола, вытянув затекшие ноги.

— Еще что нового?

— Грязь, снег, леса, болота. Больше ничего особенно примечательного не видать.

— Не густо, капитаа.

В хате тишина. Начштаба сложил карту. Бережной отошел в сторону и, пожав плечами, отколол обычную шутку:

— Торгуем товаром, имеющимся в наличии. Рекламой не занимаемся. Кота в мешке не продаем. Видели сами — грязь. Пожалуйста. Так же и все прочие удовольствия.

Но это не вызвало ни у кого улыбки. Начштаба, шагая взад и вперед по хате, заглянул ко мне в закуток, присел рядом. Я думал в это время о том, что мы идем, словно по коридору: севернее — вязкое болото бандеровщины, южнее — железный забор немецкой танковой армии, который где-то там, за Бродами, у Тернополя, пока сдерживает войска Ватутина; мы идем с немцами как бы параллельным маршем — вытянулись вдоль тылов фашистской группы войск «Украина».

— Генерал пошел напролом — прямо на запад, — тихо сказал начштаба.

— Слышал...

Я знал, что, не доходя до Сана, Наумов свернет влево и прорвется на Карпаты. Но не это сейчас волновало меня. Я вслушивался в журчавшую балачку штабных с хозяевами. Плохо понимая друг друга, переспрашивают, затем, уразумев, так и сыплют: «бардзо дзенькую», «проше пана». А затем снова объясняются мимикой и жестами. Вспыхивает смешок.

— Слышишь, какой у местных людей говор? Хлопцы с ними больше на пальцах говорят.

Начштаба удивленно посмотрел на меня, не понимая.

— Сильно пестрит полонизмами.

Войцехович пожал плечами, словно хотел сказать: «При чем тут лингвистика, в нашем положении...», но тоже стаа прислушиваться.

— Я си ходыу до Польши ще до Хитлера... ще як Рид Шмигла тута пановау, — медленно объясняет хозяин разведчикам, особенно любопытствующим насчет жизни в этих местах.

— Польша рядом, Бася.

— А-а... — И мой друг и помощник ушел к столу, озабоченно развернул карту.

Слух мой зацепился не только за смысл услышанного. Привлекала музыка речи, интонации, обороты совсем не такие, как у тернопольских подоляков или у карпатских гуцулов. Чем-то давним, знакомым пахнуло. Откуда же мне знакома эта речь? Ах да, в юности, где-то в девятнадцатом, в родной Каменке на Днестре застряли двое австрийских военнопленных. Назывались они у нас австрияками... Но на самом деле были обыкновенные украинцы — галичане. Старший из них, Пика-рыжий, — пожилой, костлявый; Грынько — совсем молодой парубок, здоровяк. С Грыньком мы работали по соседству, на мельнице и у кулаков. А квартировали у моей тетки Оксаны — простой, неграмотной крестьянки. Вечера и посиделки. Песни галичанские... Тоскливые песни. Бывало, сидят вдвоем эти два разных по возрасту человека, занесенных к нам в Молдавию войной, и рыжий Пикс выводит высоким тенорком, подперев щеку ладонью:

Чуешь, брате мий, това-а-ры-шу мий,  
Видлита-а-ют сызым клыном журавли  
в ырий...

А вдали, за Днестром, в туманной дымке — Бессарабия, неведомый, таинственный край, отрезанный боярами... Наверное, это и есть тот мало-понятный «ырий», о котором поют два галичанина.

«Но нас-то куда заведет этот коридор? На запад? А там сто километров — и Сан. Наумов пошел налево, к Карпатам, направо — Висла, Польша. Тоже — ырий, дымка. Ох, и тесная же ты стала, партизанская Малая земля...»

— Эгей, паны-товарыши,— говорит за перегородкой крестьянин из Каменки-Струмиловской,— войны я вже си не бою... Абы с места не рушали... Умерты — так дома.

Вспомнился выход из Карпат и сентенция Карпенко, горячо поддержанная Кульбакой.

— Ежели и умирать, так хоть на ровном месте...

Впервые почти тридцать лет назад почувствовал я могучую тягу двух галичан к родине. Была она так сильна, что и юная душа моя улетала вдаль за журавлями, в ту далекую Галичину, где, оказывается, тоже есть своя Каменка — Каменка-Струмиловская. «Стремительная, что ли?»

Эта Струмиловская — возле Западного Буга. Может, именно к ней стремилось сердце рыжего Пики и Грынька, задумчиво и тоскливо певших:

Чуты кру-гу, кру-гу, кру,  
В чужыни-и умру-у,  
Заким море перелэ-э-чу  
Крылонька зитру,  
Крылонька-а-а зи-и-тру...  
Кру,  
кру,  
кру.

Давно ушли за Днестр, вслед за журавлями, галичане. А вот и я теперь здесь. Ровно через четверть века.

Начштаба встряхнул головой, и я, возвращаясь к действительности, спрашиваю:

— Что за Каменкой?

— Буг. А за Бугом — Жовква.

Вспомнилось о Петре Первом. Кажется, там он составлял свой план знаменитой кампании 1708 года, завершившейся Полтавой. «Отходить на свою землю для оголаживания неприятеля...»

Там когда-то совершил одну из своих боевых мертвых петель авиатор Нестеров. Там он и погиб.

Тут, под Каменкой-Струмиловской, в июле—августе двадцатого года побывал и Котовский. Не об этих ли делах говорил член Военного Совета Хрущев командующему Ватутину?

— А за Жовквой? Эх, связи с Наумовым нет...— сокрушается начштаба.

— Это хуже...

— А с Брайко? Завтра свяжемся или сегодня?

— Сегодня — стоп,— говорю я Войцеховичу.

Начштаба удивленно смотрит на меня. «Перед самой рекой? Когда переправа в наших руках?» Он не говорит этого, но мое решение явно противоречит нашей тактике быстроты и натиска.

— Так все-таки будем переходить границу или нет?

— Давай как-нибудь перебежмся... денек,— прошу я начштаба.

— Защитит нас на этих хуторах какой-нибудь поганенький эсэс полчок...

— Ты проверил бы оборону лучше, Василь,— говорю я.— Чем так вот... беречь душу. И без тебя не очень сладко.

— Какая тут оборона? Разъездами, патрулями прикроемся. Хуже, чем на марше. Да и эскадрона, как назло, нет.— Войцехович направился к выходу, затем вернулся и умоляюще сказал:— А что, если нам вслед за генералом?! До Сана и налево. Там еще добрый кусок Львовщины, а потом еще...

— Карпаты?

Начштаба ожесточенно заскреб голову и, плюнув, молча пошел проверять оборону.

Я вышел на улицу. Ночью не разглядел, где пришлось остановиться на непредвиденную дневку.

Кажется, ночной марш загнал нас в самую неблагоприятную для боя местность. Кругом хутора, холмики, перелесочки, путаная сеть тропок и дорожек. Где и как тут строить оборону? Словно растерзанная, лежала перед глазами земля, разделенная собственническим укладом. И вдруг стало ясно: хутора — вот где экономическая опора бандеровщины. Индивидуализм тут в самой сути жизни, быта. Все вокруг организовано так, чтобы замкнуться в своем пятигектарном мирке. Отгороженный от всего света канавой, колючей изгородью, кустарником, человек особо восприимчив к национализму.

Тихо, мертво. Кое-где между хуторами снуют партизаны. Но вот взгляд мой остановился на одном из увалов. Из-за него выползала небольшая колонна конников. «Вроде Усач возвращается? Или, может, это какой-нибудь из эскадронов генерала Наумова?» Сотня на рысях спустилась в долину и скрылась на миг в лощинке, затем снова появилась, круто завернув на извилистую хуторскую тропу. «Но что за черт? Чего остановились? Передние сбились в толпу. Так у нас не бывает...» А навстречу коннице шел человек. Я забежал в хату, схватил автомат и бинокль. Поднял его к глазам и в окуляре ясно увидел пешехода. «Это же Сашка Коженков!» Поворот окуляра на более четкий фокус — и перед взором возникла молчаливая картина, словно кадр звукового кино с оборвавшимся звуком. Коженков шел медленно, вразвалку. А над конниками показалась на пике двухцветная тряпка — от одного вида ее у меня на спине стянуло кожу морозом. «Это же конная банда». А где наши роты? Как же начальник штаба разместил оборону, если вот тут же, к самому КП, без выстрела прошел враг? И нет нашего эскадрона. Вот тебе и стоянка... Словно умышленно поставили себя под удар хитрого и пронырливого врага.

Тут же заговорило чувство самосохранения и желание предупредить товарищей. Пять шагов влево — кусты. Снова поднял бинокль к глазам. Коженков идет беспечно. «Да что он? Надо его предупредить, что ли...» И сразу очередь вверх из автомата. И три выстрела тревоги из парабеллума. Опять бинокль. Коженков остановился. Оглянулся. Ему отходить некуда, открытая местность, шагов пятьсот назад — ни кустика, ни хатки. Но очередь и три pistolетных хлопка сделали свое дело: тревога, тревога! Я оглянулся назад. Из соседней хаты выбежал Ясон Жоржоллиани. В руках у него какой-то горшок. Остановился на бегу и — в оwin. Еще миг, и выскочил с ручником.

Сашка стоит и ничего не понимает. К нему скачет около десятка конников. Кричат. Размахивают плетками. Блеснули два-три клинка. И вдруг он поднял руки, словно собирался сдаваться в плен.

Я выхватил ручник из рук растерявшегося Ясона. После бинокля вдаль смотреть трудно, только маленький бугорок пляшет на горбинке мушки. Но нельзя стрелять по скачущим конникам. Коженков с поднятыми руками стоит прямо на пути, перекрывая путь траектории. Ложился бы. Но он стоит. Поднял кулаки кверху. Переводя мушку левее, на колонну, я в последнюю секунду видел, как Сашка махнул руками, одной, затем дру-

гой. Валяются лошади, свалка... И глухой грохот двух ручных гранат сотрясает воздух. Очередь, тряска ручника закрыли на миг все. Только горький дымок из пламегасителя. Ныряют в снег стреляные горячие гильзы. Перед глазами все еще недоумевающий Ясон.

— Вперед! Там Сашка Дончак.

А вот с хуторов уже бьют два ручника. От штаба-забубнил-станкач. Банда рассеивается по бугру и исчезает, скатываясь в долину.

— Отходят, отходят! — кричит Жоржолиани.

Он проскакал на неоседланной лошади. А когда через несколько минут возвратился, я увидел слезы на его горбоносом лице.

— Зарубили Коженкова Сашку, зарубили...

Он отшвыривает сапогом черепки разбитого глека из-под молока и громко, по-детски всхлипывая, плачет.

Все это продолжалось не более пяти минут. Когда мы опросили двух бандитов, раненных гранатой Коженкова, то оказалось, что прямо в центр нашего расположения въехали остатки банды Сосенко. Они прошли мимо застав боковыми тропами — заставы принимали их за возвращающийся эскадрон Усача. Бандиты и сами не подозревали об опасности. Сотня отъявленных головорезов довольно бесечно двигалась обратно на Владимир, откуда по обрывкам подпольной связи им сообщили о нашем уходе.

— И надо же случиться, чтобы именно Сашка попался им на пути, — сказал Войцехович, забывая, что еще десять—пятнадцать минут, и банда была бы возле штаба. А вокруг что? Узел связи, санчасть, КП — самые уязвимые и слабо защищенные небоевые подразделения.

Через несколько минут все решил бы злой и коварный пасынок войны — случай. Кто первый сообразил бы, не растерялся, кто раньше нажал бы на гашетки и у кого не дрогнула рука — тот бы и взял верх. Это был бы даже не встречный бой, а просто свалка, поножовщина, драка.

Обошлось... Ценой жизни Коженкова.

А сотня Клеща уходит верхами, и кавалерии для преследования у нас нет. Вот что досадно.

Через два часа мы хоронили Коженкова.

— Эх, донской казак. Хороший партизан был, — сказал над могилой Мыкола Солдатенко. — Жил по-казачьи, верхом да с песней, весело. И погиб от сабли...

Люди стояли вокруг свежей могилы молча, словно вспоминая Сашкины танцы, залихватские его дела, озорные глаза и песни.

Любо, братцы, любо,  
Любо, братцы, жить.  
С нашим атаманом  
Не приходится тужить.

Салютовали над могилой из автоматов замполит, начштаба и я. Да из «дегтяря», скрипя зубами, маленький, юркий Ясон Жоржолиани выпалил в степь полдиска...

Наши батальоны встревожились после случая с Коженковым. Из-за сверхбдительности перед вечером приняли возвращающегося из Забужья Ленкина за Бандеру.

— Второй батальон с переляку обстрелял эскадрон Сашки Усача, — доложил Жоржолиани.

Ленкин соскочил с коня, размашистой, с приседанием, кавалерийской походкой вошел в штаб, нагайкой похлопал по порогу. Козырнул, играя желваками, и остановился молча. Он решил, видимо, умолчать об инциденте. Помалкивал и я.

— Дошел до границы. Выполнил приказание. Вернулся.  
 — Под Жовквой был?  
 — Был.  
 — Район — как? Для завтрашней стоянки годится?  
 — Как следует. Нема ничего. Пусто.  
 — Не влипнем, как тут? Слыхал?  
 — Слыхал. Как же... Свои пули над головой свистели. Спасибо пулеметчикам Кульбаки, что с превышением стреляют...  
 — Брось, не о том сейчас речь... Оборона как?  
 — Имеется.  
 — Наумова видел?

— Только след остался. Пошел генерал на Сан. Не то что мы. Пленные немцы показали, что впереди прошла целая кавалерийская дивизия...

«Вот чертов генерал! Хвостатый дьявол... Наверное, уже дошел до Сана», — невольно подумал я, чувствуя, как меня разбирает зависть и я не могу с ней совладать.

— Может быть, и правда пошел на запад... Но до Сана еще не добрался, конечно, — сказал я, примиряясь с превосходством друга.

— Да кто его знает. Все ж таки учтите — кавалерия. Во всяком случае, вчера у него справа осталась Рава-Русская. Теперь, товарищ командир, и нам надо держать ушки на макушке.

— Непонятно только, чего мы-то топчемся на месте? — недовольно спросил Ларионов — комэск-два.

Он снова побывал за Бугом.

— Ну как? Добыл себе седла? — спросил я Ларионова.

Тот махнул рукой.

— Так, кое-чего... Ленчики да стремена кузнечной работы.

Я знал его мечту добраться до грубешовских складов, где, по сведениям Мазура, были тысячи настоящих кавалерийских седел. А пока его второй эскадрон ездил на седлах самодельных. По этой причине Ленкин не признавал Ларионова настоящим кавалеристом. Но грубешовские склады были одному Ларионову не по зубам.

— Когда же все батальоны перемахнут за Буг? — спросил Ларионов.

— Разве не знаете, что Брайко поджидаем...

— Дождемся... холеры в бок, — усмехнулся Усач. — Уже своих обстреляли. И на дьявола нам с этими бандами столько волюнку тянуть...

«Как же вам объяснить, хлопцы? Впереди пятачок, маленький плацдарм украинской земли за Бугом. А затем — либо переход границы, либо влево, на Карпаты... Что вы тогда запоете?..» — думал я. А сказал:

— Не попрём же мы прямо на Львов?!

— А що вы думаете? — блеснул зубами Усач, и его зрачки заиграли дьявольским блеском. — Там уже есть наши хлопцы. Да и позавчера во Львове какие-то партизаны ухлопали не то одного, не то двух немецких генералов.

Я посмотрел внимательно на начштаба. Тот сказал тихо:

— Разведка пешая уже вернулась... только что... из-под самого Львова. Действительно, ухлопали прямо на тротуаре...

— Кузнецов, конечно. Его стиль работы...

Сидим, прикидываем, маракуем.

— Вот заскочили в уголочек... — Начштаба чешет затылок. — Хуже, чем «мокрый мешок»...

— Там фашисты нас в него загнали, а тут сами полезли, — укоризненно говорит Мыкола Солдатенко.

Впереди, на западе, — Буг, другого выхода нет. На следующем марше все равно нам знакомиться с этой речкой.



А Усач стоит у двери, помахая плеткой, и вижу, никак не может уразуметь, в чем и какое затруднение. Он нервно похлопывает нагайкой по голенищу и, прищурившись, презрительно говорит:

— Эх, тоже мне река. Сколько их осталось, этих рек, позади — Десна, Днепр, Припять, Днестр, Горынь, Стырь, Збруч... Да еще та, карпатская, Быстрица — злая река.

Замечание Усача на миг оторвало нас от мрачных мыслей. Но лишь на миг. А затем мысли опять возвратились к сложной действительности, поставившей перед нами преграды не меньше Карпатских гор.

«Вот чудак! И как же объяснить ему?»

И я говорю Усачу решительно:

— Не в реке тут, брат, дело, а в границе.

Но Усач не слушает и, нетерпеливо подпрыгивая ногой, подзадоривает: — Вперед! На запад! Ночка темная, кобыла черная. Можно и через границу! — Нагайка Усача взвизывает, словно эскадрон его вновь уходит к Бугу. — На что Ларионов — неделю верхом ездит, и то уже два раза за Бугом был. Просветился, стал по-польски заворачивать: проше пана, паненке целуем ручку... Как улан какой! Там, говорят, тридцать две партии было до войны. Или тридцать шесть. Комедия...

Но и он задумался. Все же граница Советской страны. Правда, там, где мы отметили с Наумовым переправу, Буг течет еще по территории Львовщины... «Лихой, лихой, а осторожный генерал. Только маленький клочок территории Львовщины остается, за ним — сразу граница. Передовые наши разведчики уже побывали и на польской земле».

— Как же там, под Жовквой, чувствовали себя твои хлопцы? — спрашиваю придиричиво Усача.

— Ничего. Огляделись и — полный порядок. Но там и других полно...

— Партизаны?

— А черт их разберет. Нет. Почти все без оружия. Вроде подпольщики.

— Коммунисты?

— Есть наши... Васька какой-то, грузин. Есть Казик, есть Андрей.

— Видел? Балакал?

— Нет, они за железкой. А потом под Жовквой и поляки есть. Тоже подпольщики.

— Какие еще?

— Всякие. Офицеры есть. Хлопские батальоны.

— Батальоны?

— Да никакие они не батальоны. И взвода хорошего нет. Но название такое. Может, для хитрости, а может, и...

— А коммунисты, рабочие-партизаны имеются?

— Есть, говорят, и такие. Сам не видел, но, говорили, в Яновских лесах полно их. Рабочничьей партии партизаны. Там народ тоже шевелится.

Мне вспомнилась импровизированная лекция доктора Зимы: «До войны в Польше было тридцать две партии». «Ох, и каша. Куда попал? Куда полез?»

А начальник штаба подзадоривает:

— Давайте, товарищ командир, за Буг. Там видно будет.

— Я вам наведу этого народа, — обещает Ленкин, — всякой твари по паре. А мне не разобратся. Все ж таки я кавалерист и бухгалтер, не больше. А тут — политика. У меня в эскадроне есть наших поляков человек пяток: Ступинский Ян, Прутковский Ленька, по прозвищу Берестяк. Они у меня с этими, из хлопских батальонов, уже завели дружбу...

— А леса как?

— Да есть маленько... Вроде как у нас на Сумщине... Рощицы, перелески.

— А крупные леса?

— Большой лес один — Белгорайский называется.

Я обращаюсь к Ларионову:

— Ну как? Был у Мазура на хуторе?

— Был. Да ну их к черту, этих офицеров! Дипломатия, хромовые сапожки, а фашистов бьют слабовато: на Лондон оглядываются. Вот ближе к Яновским лесам — там, говорят, простые мужики и рабочей партии партизаны...

Итак, решено.

— Следуем за Буг, товарищ начштаба.— И я быстро подался на радиоузел. Пока шла обычная штабная работа по составлению маршрута ночного марша, сидел над чистым листком и думал: завтра утром будем на плацдарме. От него только две дороги: направо—через Вислу, налево— в Карпаты.

С кем же посоветоваться? У кого спросить разумной мысли? Эх, если бы рядом был Руднев или товарищ Демьян, вручивший на прощание подарок!.. Рука шарит в сумке, вынимает томик с закладкой из хвойной мелетки, сунутой впопыхах на прочитанную страничку.

Что говорит Ленин? Надо понять, учит он, что партизанская война — это военные действия, но и они должны быть освещены облагораживающим и просветительным влиянием социализма. Ленин говорит, что марксизм не навязывает массам никакой доктрины, а познает их борьбу и освещает их путь организующим и просветительным влиянием.

Массы уже поднялись... Поднимаются и здесь. Но везде ли есть это организующее влияние?

Какая бы ни была путаница — здесь, в этом уголке земли, есть только два главных мерила: народные массы и партия. Народ и Партия. Партия и Народ.

Чего же ты думаешь и ломаешь себе голову? Садись и пиши запрос. И на чистом листе бумаги запестрели слова: «Киев, Секретарю ЦК. Обстановка в Польше благоприятная. Польский народ вместе с украинским способен на дела большой взрывной силы. Прошу указаний...»

Через час все пришло в движение. А еще через два часа мы перемахнули Буг. К утру разместились в селах южнее Жовквы.

— Вот мы и на плацдарме,— облегченно вздохнул начштаба.— Разведка с утра выслана по всем направлениям. Но больше всего — ко Львову. Мы уже почти обошли его с северо-запада.

— Надо мозговать, товарищ начштаба. Тут зевать некогда.

— Да, конечно.— И он широко улыбается.

— Где-то здесь мы должны ударить по тылам четвертой,— прикидываю я по карте.

— Куда нам на таком пяточке лезть на фронтовые войска? — Начштаба вдруг становится настроенным.

— Не по самим войскам, а по их коммуникациям... Наступим на любимую мозоль! А? Вася?

— Новый Сарнский крест?!

— Вроде. Но не совсем. Там до Сталинграда было с тысячу километров, а тут до фронта сотни не будет.

— Да и кресты тут униатские, с фокусами. И с сиянием каким-то,— встывает Мькола, в функции которого, как-никак, входит и религиозный вопрос. В этих краях его надо очень учитывать.

— Пожалуй, удар нанести будет можно. Кульбаку двинем в лоб на Сан. Тот все опасается Карпатских гор. Пускай прет на запад хоть до самой Вислы. Кавэскадром легче всего маневрировать, его на фланги — к Львову. Циркача Гришку Дорофеева — на львовскую железку...

Задумались...

«А под Перемышль кого? А на Раву-Русскую? Но это только набросок, первый набросок плана».

— Пленные показывают что-либо новое? — спросил я Роберта Кляйна.

— Похоже, что львовский генерал-губернатор сосредоточивает все наличные у него охранные войска на шоссе и железной дороге Львов — Перемышль.

— Через два-три дня он нанесет нам удар, — бесстрастно докладывает начальник штаба. — Навяжут нам оборонительный бой.

— Значит, надо перескочить границу, — говорю я. — Куда? На Люблинщину, конечно. Сама судьба проложила нам туда дорогу. Иначе не пройдет двух-трех дней, как нам придется, огрызаясь, отходить, маневрировать...

— Выходит, все-таки надо пересекать границу, — бормочет довольный Войцехович.

— Да, будем двигаться к самой границе Польши. До нее один марш. А там решим, переходить ли ее.

И вот уже позади остался Западный Буг. И знаменитая Жовква тоже позади. Теперь только вперед, через «железку» на Раву-Русскую. Она ползет извилистой стальной линией по холмистой местности. Леса, перелески чем-то напоминают предгорья Карпат. Впереди колонны движется эскадрон Ленкина. За ним — батальон Токаря.

Через час на переезде вспыхивает перестрелка.

— Авангард сбивает охранение, — докладывает связной от главной разведки.

— Конники уже за переездом, — на слух определяет Войцехович.

Перестрелка уходит вправо и влево, как два разминувшихся железнодорожных эшелона. Маяки подгоняют колонну вперед, рысью через переезд. По карте видно, что в каких-нибудь десяти—пятнадцати километрах за железной дорогой — государственная граница. Знаменитая и такая для нас тревожная граница 1939 года. «Линия Керзона». О ней я неоднократно читал, слышал, но оставалась она в сознании абстрактной, малоизвестной. А вот сейчас за два-три ходовых часа нам надлежало подойти к этой самой линии.

Перестрелка по сторонам затихла. Боковые заслоны уже вышли на фланги, залегли, наскоро окопались, заминировали полотно и ждут. А колонна движется. Штаб, батарея и санчасть проскочили по дощатому настилу захваченного переезда, громыхнули по рельсам и на рысях вырвались на запад.

Справа, в лощине, село. Там лают собаки. Одиночные выстрелы. Видимо, наши боевые охранения потревожили полицасв.

Только хвост колонны ввязался на переезде в настоящий бой с подошедшим эшелоном.

— Токарь пустил его под откос, — докладывает возбужденный Вася Войцехович, верхом обгоняя мою тачанку.

Уходящий назад бой никому не страшен. Он только веселит кровь и поддает жару... Прядают ушами лошади, прислушиваясь к далекому сухому треску перестрелки, перекликаются партизаны. Изредка всплеснет над колонной командирский окрик:

— Разговорчики-и...

— Вперед, вперед, на запад!

Еще час марша — и привал. В первом же селе.

— Среди белого дня все же рискованно играть с границей, — одобряет мой приказ Мыкола Солдатенко.

— А гладить нагайкой линию Керзона и совсем не годится, — поддакиваю ему я.

— При чем тут линия Керзона?—осторожно, почти переходя на шепот, спросил меня Мыкола.

— Да вот же она, перед тобой.

Солдатенко только свистнул. И замолчал. Я стал что-то говорить, стараясь подбодрить и его и себя, но он — ни слова. «Граница — это, брат, связь, сигналы, пограничники... а через час авиация или танки, и это совсем нам ни к чему...»,— казалось, думал он.

Дорога вывела нас к большому селу. Скалистые берега речушки возле села вновь напомнили мне днестровскую Каменку. На левой, высокой береговине — четкие квадратики дотов. Наверное, это и есть граница. Укрепрайон. Мне уже доложили из боевого охранения, что доты свободны, а вокруг них много позеленевших ржавых гильз: и от маленьких скорострельных пушек, и от крупнокалиберных пулеметов, и простых винтовочных. Отсюда по всей линии Буга началось гитлеровское вторжение утром 22 июня 1941 года. И вот мы здесь 10 февраля 1944 года.

Привал. И колонны как и не было. Рассосалась по дворам. Выставили заслоны на дорогах, заставы заняли несколько дотов.

День проходил спокойно. Противник или потерял нас из виду, или не имел вблизи сил, способных потревожить нас. А может быть, вел разведку. Но она нигде не соприкасалась с нашими заставами и группами боевого охранения.

Как всегда при подходе к новым местам, с другими нравами и обычаями у населения, а иногда и другими распоряжениями властей, мы пытливо и вдумчиво вели агентурную разведку, опрос населения.

В доме, где расположилось командование, хозяйка, хитро улыбаясь, показала нам на свою подругу. Та через несколько минут замешательства и наших наводящих вопросов рассказала, что она жена лейтенанта-пограничника, служившего в укрепрайоне. Муж ее погиб в первый день войны в одном из дотов.

— Говорили, что немцы огнеметами их выжгли в этих железобетонных коробках,— сказала она.

— Почему же вы сразу не сказали нам, что вы жена лейтенанта?— спросил я ее.

— Испугалась я... и не поверила сразу. Думала, может, немцы переодетые или бандеровцы какие...

— А разве здесь не было советских партизан?

— Никогда.

— Как же звать вас?

— Наташа,— тихо ответила она.

После беседы со связными, веселыми и озорными хлопцами, и особенно нашими женщинами-санитарками Наташа твердо заявила о своем намерении уйти с партизанами.

Ну что ж, ничего удивительного в этом не было. Оформление пусть закончат в штабе писаря, коменданты и наши контрразведчики, которые выполняли и функции отдела кадров.

После полудня в селе появилась целая кавалькада.

— Прибыли «из-за границы» поляки парламентареры,— доложил связной с западной заставы.

На хороших лошадях, со скрипучими седлами и в странных фуражках с четырьмя углами — конфедератках.

Впереди гарцевал стройный, рыжий и очень подвижной молодой парень. Он бросил поводья ординарцу, вошел в штаб и лихо козырнул двумя пальцами.

— Блыскавица, командир бэха...

Я удивленно поднял брови.

— Как понимать?

— Батальоны хлопские,— довольно захохотал рыжий Блыскавица.— Ну, по-вашему, мужицкие батальоны. Это у нас название такое. А будем считать все одно — партизаны.

Приехал он, как оказалось, для установления контактов и связи. Мы осторожно пообещали совместно действовать против фашистов. Поговорили, и Блыскавица, очень довольный, ускакал. А еще через полчаса явился некий капитан Вацлав. У этого шику было намного больше, но разговоривал он сдержаннее, не приглашал гостеприимно в Польшу, как Блыскавица, и явно прощупывал наши намерения. Впрочем, и с ним был установлен контакт.

Под вечер появились и те, кого мы больше всех ждали: простые рабочие люди в обычной полукрестьянской одежде — подпольщики, представители рабочей партии Польши.

— Товарищ Чеслав,— отрекомендовался человек с лицом шахтера. На щеках и под глазами у него — въевшиеся синенькие частицы угля. Крепко пожал он наши руки, и я ощутил шершавую от обушка ладонь труженика. И почти так же, как незабываемый Мыкола Струк из Белой Ославы в Карпатах, он сказал: — Хочу мувить с товажишем командиром. На четыре ока.

Мы беседовали с ним около часа.

Ларионов, который долго приглядывался к Чеславу, улучил минуту и сказал мне шепотом:

— Товарищ командир, вот это народ! Не то, что тот Мазур. Придуривается, а у самого на хуторе батраков с полдесятка. Да еще пленный на него сколько работало. А это, сразу видать, наш рабочий люд.

— Слушай, Ларионов! А какой партии тот Мазур?

— Черт их знает! — Он заскреб чуб. — Какой-то войсковой... звензек... Войсковой связи, что ли...

— Ну, вот видишь! А это польской рабочей партии делегаты...

Я так много расспрашивал Чеслава о границе, что он, хмуро ухмыляясь в щеточку усов, сказал мне:

— Може, выйдем на тую холмечку и партизанский довудца своим глазом повиде-е...

Мы вышли на задворки и быстро стали карабкаться по тропке, которую наша застава проторила к видневшемуся на горе доту.

Это был большой пушечный дот, устремивший слепые глазницы амбразур на северо-запад. Амбразуры его слезились сизым дымком. Внутри дота был разложен костер, грелось наше боевое охранение. Часовые на верхушке дота менялись каждые полчаса, передавая друг другу командирский бинокль.

Я взял у сторожевого бинокль. Но как ни вглядывался в молочное марево, ничего не увидел. Даже горизонт был скрыт в тумане. А Чеслав твердил одно:

— То ест вже польска земля...

Пришлось из вежливости делать вид, что я вижу то, что видел этот человек. Выручил Жоржюлиани. Он запряг коней и полевыми дорогами, в обход, приехал за нами. Мы сели в санки и быстро спустились вниз.

У радиоузла я прыгнул, отослав сани с польским представителем к штабу.

Старший радист при моем появлении вынул из-под аппарата шифровку.

«Отвечаем на ваш запрос о границе. Распечатайте пакет. Тимофей».

Это была радиограмма Строкача. Он перед выходом вручил мне пакет со словами: «Распечатать только по нашему сигналу». Пакет всегда был со мною. Он был шит в подкладку кожаной куртки.

Вернувшись в штаб, я распорол меховую подкладку и вынул мягкий

матерчатый пакет. На листе холста была директива: «При подходе к границе нашей страны помнить об освободительной миссии Советского Союза. Вы выйдете к границе Венгрии, Словакии, Польши. Действовать самостоятельно, сообразно сложившейся обстановке и совести советского гражданина».

Далее следовала инструкция...

Конкретные советы и маршруты нам не были нужны. Но на словах не все сходилось с жизнью. Самое главное, однако, было сказано: «Действуйте сообразно обстановке и совести советского гражданина...» Подписи не было, так как адресат знал автора, и пакет был вручен лично. Я понял — дело было в сроках и сигнале.

Сигнал был получен.

— Маршруты марша набросал? — спросил я у начштаба.

Предусмотрительный Войцехович составил два варианта очередного ночного марша.

— Направо или налево? — спросил он.

Сейчас все мои сомнения как рукой сняло. Было ясно, что нас ждут. Разведчики, уже побывавшие за кордоном, в один голос подтверждали это.

— Направо, Вася, направо.

Без всяких колебаний мы тут же набросали план ночного марша в сторону Белгорайских лесов.

Установилась снежная погода, и санная дорога сулила быстрый, стремительный бросок вперед. Итак, решено бесповоротно.

Вечерело. Подмораживало. В медленно таявших сумерках колонна на санях, извиваясь вдоль долины, выползала из каменистого оврага на плато. Дальше глазу открывалась равнина, снежное поле белело и светило. Путь был виден далеко на северо-запад. Глаза, нагледевшиеся на карту, казалось, угадывали даже черную щеточку Белгорайских лесов.

По свежему морозу лошади взяли рысью, и я никак не мог удержать ся: взобрался на своего оседланного машака и поскакал к разведчикам.

Все хорошо, шел обычный, пока ничем не потревоженный марш. Луна, полная, круглолицая и бесстрастная, улыбалась с небосклона.

На развилке дорог, остановившись рядом с маяком от батальона Кульбаки, выставявшего сегодня заслоны, я разглядел у полевого колдочка меж двух тополей каменное изваяние. Рядом с мадонной стоял покосившийся пограничный столб.

В стороне разговаривал с разведчиками наш дневной знакомый Чеслав. Вокруг него сгруппировалось несколько наших бойцов — трое пеших и человек пять конников. Я прислушался и услышал польскую речь. Это Пругковский, а это конник Ступинский... Когда я подошел к ним, то услышал, как они уверяют Чеслава, что они настоящие советские партизаны, хотя по национальности и чистые поляки. Чеслав повернулся ко мне и сказал шутя:

— Сейчас мы это проверим с дозволения пана-товарища командира.

Я кивнул головой.

И, немного повысив голос до торжественной ноты, он спросил:

— Кем ты бэндзеш?

— Поляк чесный, — хором ответили бойцы.

— В цо ты вежиш?

— В Польске вежем.

— В цо ты вежиш?.. — более настойчиво спросил он вторично.

— В ожел бялый, — ответили они тише.

А конник Ступинский, нарушая торжественность минуты, вдруг добавил:

— И в звезду красноармейскую, и в партизанский автомат.

Все засмеялись, Чеслав — громче всех.

Колонна подтянулась.

— Ну как? — спросил я Чеслава. — Настоящие?

— Настоящие поляки и добри, видать, партизанци. Эх, нам таких давно уже тшэба.

— Тогда вперед, пан Чеслав, — сказал я, вскакивая на коня.

— Товарищ Чеслав, — поправил он меня.

Так вот она, наша освободительная миссия! Там, за этим покосившимся пограничным столбом, живет и борется братский славянский народ. Он обливается кровью. Тридцать две партии привели его к войне и к поражению... И лишь одна, рабочая, вместе с нами выведет на путь национально-освободительный...

Перекресток уже проходили санчасть и батарея. Я пристроился сзади к саням, из которых торчали длинные, как жерди, ноги комиссара Мыколы. Он лежал на спине, закинув руки за голову, как это любил делать Руднев. Когда я нагнулся к шее коня и заглянул в лицо комиссару, то увидел его широко раскрытые глаза, глядящие в звездное небо. Мыкола молчал. Молчал и я. Но думы мои были совсем иные, чем два дня назад. Тяжелой нерешительности как не бывало. Все было просто и ясно, как тот перекресток дороги с двумя тополями, мадонной, оставшимися позади. И, стеганув маштака нагайкой, я широкой рысью пустил его вперед. Догнав эскадрон Усача и присоединившись к его конникам, долго ехал впереди колонны.

Усталость и угнетенность исчезли. Бодрость и подъем сменили их. Через час к нам подъехал верхом и Мыкола Солдатенко. Поравнявшись со мной, он придержал моего коня за узду.

Верховые кони, держа равнение, пошли по санному следу. Мыкола спросил меня:

— Скоро?

— Чего?

— Ну тая... линия Керзона?

— Уже давно, брат Мыкола, осталась позади.

Мыкола свистнул. Но в этом свисте уже не было вчерашнего удивления. Наоборот, в нем я услышал ту самую лихость, за которую мой замполит прорабатывал нас на Волыни две недели тому назад. Кони поняли этот свист по-своему и взяли рысью, затем перешли в галоп. Навстречу нам бежали лощинки, перелески, а затем медленно стал выползать на горизонте широкий лес. Обогнав разведку, мы выскочили на бугор. Там остановили тяжело дышавших коней и оглянулись назад. Узкой черной лентой колонна тянулась по ложине, пройдя уже с десяток километров от того перекрестка, где в степи росли два тополя.

Да, граница осталась позади.

1950—1958 гг.

*Конец первой части*



---

---

А. ТВАРДОВСКИЙ

✱

## МОСКОВСКОЕ УТРО

Москва по утрам  
    обновляется чудно:  
Еще не шумна,  
    не пыльна, малолюдна;  
Подернута дымкой  
    в разводах белесых,  
Где дождь по асфальту  
    прошел на колесах:  
Насыщена запахом  
    булочных ранних,  
Где белый — как сдоба,  
    и черный — как пряник;  
Остужена тенью  
    своих корпусов;  
Озвучена боем  
    кремлевских часов...

И весь этот мир,  
    этот утренний город,  
Мне нынче особенно  
    близок и дорог.  
Надев мои новые  
    брюки в полоску,  
К газетному я  
    направляюсь киоску.  
Газету мне почта  
    доставит и на́ дом,  
Но мне ее видеть  
    на улице надо,  
В случайном составе  
    того коллектива,  
Где очередь я  
    занимаю учтиво.  
И скукой томиться  
    там нету причины:  
Газету как раз  
    выгружают с машины.  
А что там сегодня  
    на третьей странице,  
Еще никому  
    не известно в столице.



А я хоть и знаю  
от строчки до строчки,  
Но скромно молчу,  
продвигаясь в цепочке.  
Хотя эта скромность —  
признаться ли в том?—  
Она мне дается  
с немалым трудом...

Давно я немолод,  
но, странное дело,  
В одном остаюсь я  
парнишкой всецело,  
Тем самым, что где-то,  
далеко отсюда,  
Впервые познал  
это сладкое чудо —  
Увидеть свой вымысел,  
скрытно рожденный,  
Печатными буквами  
вдруг утвержденный  
И распространенный,  
объявленный разом  
С уборочной сводкой,  
Верховным указом,  
Ученой статьей  
и последнею самой  
Парижской ли,  
лондонской там телеграммой,  
Итоговым счетом  
футбольных работ...  
Но что это? Нет!  
Или номер не тот?

Уже впереди  
развернули газету,  
На третьей странице —  
стихов моих нету.  
Да, так-таки нету.  
И сердце упало...  
А люди вокруг —  
как ни в чем не бывало:  
Тот прячет газету  
в портфель для утехи —  
В служебное время  
прочесть без помехи;  
А этой серьезной,  
порывистой тете —  
Ей некогда будет  
читать на работе,  
Она, как и многие,  
мигом, на месте,  
Срывает верхушки  
последних известий,  
Себя сберегая  
для нынешних дел...

Зачем же я новые  
брюки надел?..

И чувство вины,  
и стыда, и просчета  
Меня охватило.  
Какого же черта...  
Как будто свой поезд  
прохлопав ушами,  
Остался дурак  
на перроне в пижаме:  
За поездом, что ли,  
бежать ему вслед?  
Он думал, что едет,  
а вышло, что нет...  
Какого же черта...  
Ведь ночью недавней  
Звонил мне редактор,  
не просто, а главный.  
Я к трубке приткнулся —  
не часто такое,—  
И слышу: — Простите,  
что вас беспокою.  
Хоть службу ночную  
мы сами несем,  
Но знаем, как дорог  
ваш творческий сон...—  
И против обычных  
редакторских правил  
С удачей меня  
троекратно поздравил.  
Мол, знаете сами,  
не мастер хвалить я,  
Но это в поэзии —  
просто событие,  
Этап! И ступень!  
И значительный шаг!

Слова эти  
так и горели в ушах...  
Хотя, если вспомнить,  
я с первой минуты  
Почуял, что главный  
подводит к чему-то;  
И вот уже вывел  
на самую кромку,  
Внизу для меня  
подстеливши соломку:  
— Печатаем, как же!  
За мелочью дело...—  
И трубка в руке  
у меня запотела.  
Я слышу, как главный  
закашлял неловко:  
— Вы знаете, все-таки...  
эта концовка...

Прочтите-ка сами —  
     не слева направо,  
 А справа налево:  
     двусмысленно, право...

Мой голос дрожит  
     от обиды и гнева:  
 — Простите, зачем же  
     мне справа налево  
 Читать эти строчки,  
     размысливши здраво,  
 Когда полагается —  
     слева направо?  
 — Конечно, конечно,—  
     и главный согласен,  
 Что смысл, если так,  
     безупречен и ясен.  
 — Но мы о читателе  
     думать должны.  
 (Как будто читатель —  
     он прибыл с Луны!)  
 Мол, этот вопрос —  
     он возник мимходом,  
 Поскольку мы тут  
     совещались с народом..

Я диву даюсь:  
     ну зачем он мне врет?  
 Какой там сейчас  
     в кабинете народ!  
 И мне ли не знать,  
     что на самом-то деле  
 Народ по ночам  
     пребывает в постели.  
 А тот, что на вахте  
     иль в смене ночной,  
 Он занят своею  
     задачей прямой...

Но именно данную  
     часть разговора  
 Я как-то из памяти  
     выпустил скоро.  
 А то, что я в трубке  
     услышал сначала,  
 В душе моей внятно  
     и сладко звучало:  
 «Печатаем, как же!  
     За мелочью дело...»  
 Но мелочь, я думал,  
     сама отлетела...  
 И утром поднялся,  
     доволен и светел,  
 И новыми брюками  
     дату отметил.

И бодрой походкой  
на улицу вышел,  
А как обернулось —  
рассказано выше...

Но утро есть утро,  
и день — это дело.  
Москва поднялась,  
зашумела, запела,  
Затмилась пылью  
и дымком зачатила,  
Но жизни полна,  
величава на диво!..  
Досада моя  
рассосалась помалу.  
К столу! —  
как другие к станку  
иль штурвалу.  
К труду! —  
и забудь  
в горделивом терпеньи  
Про все те «этапы»,  
«шаги» и «ступени».  
Но строки души  
и любви не лукавой  
Пиши, как положено, —  
слева направо.  
И помни в работе,  
единой со всеми,  
Что главный редактор —  
великое время, —  
Не в даях иных,  
за посмертной страницей,  
А время, что нынче —  
в селе и в столице.  
И ты не считай,  
что, родившись в сорочке,  
Ему не обязан  
от строчки до строчки.  
Обязан кругом —  
и завидной планидой,  
И славой своей,  
и минучей обидой.  
Оно и обиду  
по чести рассудит,  
А если не вдруг,  
так тебя не убудет.  
Не так ты уж беден  
и в нынешнем разе:  
Не все на прилавке,  
а есть и на базе!..

Ах, время, родное,  
великое время,  
Солгу по расчету —  
лупи меня в темя!

А если подчас  
оступлюсь ненароком,—  
Учи меня мудрым  
уроком-упреком.  
Приму его сердцем,  
учту его честно,  
В строю не замедлю  
занять свое место.  
Когда я с тобою,  
мне все по плечу,  
Ты скажешь —  
я горы тебе сворочу!

1957—1959 гг.



---

КОРРАДО АЛЬВАРО

★

## ДВА РАССКАЗА

*Имя Коррадо Альваро (1895—1956) широко известно не только в Италии, но и далеко за ее пределами. Наряду с Альберто Моравиа, Карло Леви, Чезаре Павезе, Васко Пратолини это один из наиболее серьезных и крупных итальянских писателей.*

*Еще в 1930 году, в период господства фашизма, в своем романе «Люди из Аспромонте» Альваро рассказал о трудной, полной лишений жизни крестьян его родной Калабрии, которой он посвятил большую часть своего творчества. Коррадо Альваро всегда был непримиримым врагом фашизма. Он безоговорочно осудил развязанную фашизмом войну. Убежденный антифашист и демократ, он считал борьбу против угрозы новой войны священным долгом писателя.*

*Публикуемые ниже рассказы взяты из его последнего послевоенного сборника, носящего название «Семьдесят пять рассказов». На русский язык произведения Коррадо Альваро переводятся впервые.*

### Пятьдесят лир

**М**еня предупредили по телефону, что я должен срочно явиться в полицейское управление, комната номер семь. Прошел час-другой, а я все еще терялся в догадках, зачем меня вызывают. Я перебрал все события последних месяцев и не нашел за собой никакой вины. И сколько ни старался, я так и не припомнил ни одного, даже мелкого, происшествия, по которому могли понадобиться мои свидетельские показания. Поэтому ровно в двенадцать я со спокойной душой отправился в полицию.

В эти ранние часы у входа в здание еще не собралась обычная группа женщин-просительниц, и полицейские чиновники, выйдя в коридор, оживленно беседовали между собой. В комнате номер семь полицейский комиссар сидел на своем обычном месте, возле окна. Знакомый запах его сигары вызвал во мне представление о том, что остается неизменным, какие бы в мире ни происходили события: людская толпа, строгий распорядок военной службы, монотонное постукивание поезда, ползущего через уснувшие, забывшие о времени провинции. Увидев меня, полицейский комиссар открыл сиреневого цвета папку, набитую серыми, наводящими уныние бумагами, и, небрежно поздоровавшись, вынул один из листков и спросил:

— Вам знакома синьора Агата Ц.?

В его голосе слышалось недовольство человека, которому приходится заниматься пустяковыми и неинтересными делами.

Агата Ц.?! Признаться, я никак не ожидал услышать здесь ее имя. С минуту я усиленно размышлял, и постепенно в памяти возник смутный образ женщины с черными блестящими глазами. Такие глаза бывают обычно у жгучих брюнеток. Их взгляд точно предупреждает вас о какой-то опасности; он говорит о твердой решимости, если надо; померяться силой с извечным врагом и преследователем — мужчиной.

— Конечно, я ее знаю. Две недели тому назад она была у нас и делала кое-что дома.

— Что вы можете рассказать мне об этой женщине?

— Она, должно быть, из порядочной семьи. Это нетрудно было определить по ее привычкам. Ведь родом мы почти из одних мест. У нее особая способность никогда не быть там, где находитесь вы. И в то же время мы всюду чувствовали ее присутствие. Обычно в приключенческих романах о войне в пустыне точно так же ведут себя партизанские отряды. И не было случая, чтобы ее взгляд бесцельно остановился на ком-нибудь из нас. Сейчас я вам поясню...

Но тут полицейский комиссар, явно удивленный такого рода объяснениями, прервал меня:

— И вы думаете, что люди интересуют меня именно с этой точки зрения?

— Тогда с какой же? — спросил я.

— Уже пятнадцать дней эта женщина находится в больнице. Она приняла яд. За все это время она не ответила ни на один вопрос. Упрямая. Уперлась, и все. Так и умрет, не проронив ни слова, — сказал комиссар.

Я почувствовал непреодолимое желание немедля все ему рассказать. К тому же слова полицейского комиссара об упрямстве этой женщины показались мне странным отклонением от казенного стиля подобного рода разговоров.

— Это не упрямство, а презрение, — сказал я. — Почему, собственно, она должна была отвечать? Чтобы объяснить все вам или мне? Но я, правда, полагал — она крепче. Мне думалось, что она сможет выдержать любые испытания. Она казалась слишком отчаявшейся, чтобы отказаться от жизни. Мы живем в грустные времена, когда бедняки и неудачники предпочитают порвать ту неразрывную нить, которой жизнь связана со страданием. А Агата даже и не была особенно бедной. Она работала. У нее двое детей, мальчик и девочка. С ней, должно быть, случилось что-то очень серьезное. Иначе она не отказалась бы от борьбы.

У полицейского комиссара было такое выражение лица, точно он прочитал пьесу еще до ее первого представления и теперь слово в слово знает все, что я ему скажу.

— Вот дают нам такие дела — и разбирайтесь в них, как хотите, — прервал он меня. — А в сущности это даже и не наша обязанность. Вы не догадываетесь, какими причинами вызвано самоубийство? Может быть, это обычная любовная история?

— Не думаю. Конечно, они у нее были. Да и у кого их нет! Во всяком случае, судить здесь нужно весьма осторожно. Ее очень беспокоила судьба дочки. Не знаю, известно ли это вам, но многие женщины не изменяют мужу, стесняясь дочери. Они не хотят, чтобы у нее, будущей невесты и жены, стоял перед глазами пример материнской неверности. Так вот, дочь доставляла ей много забот. Агату беспокоило любопытство дочери, ее страстное желание быть в гуще людей, поступить куда-нибудь на работу, все узнать, почувствовать и увидеть — словом, самой принять участие в спектакле, который дает жизнь. Наконец после долгих бесплодных поисков дочь устроилась на фабрику, где делают знамена...

— Знамена?

— Да, да, синьор, на ее счастье в Риме открылась такая фабрика, — ответил я.

Полицейский комиссар удивленно воззрился на меня, не понимая, что я хотел этим сказать.

— Трудно ей приходилось с детьми, господин полицейский комиссар. Я их ни разу не видел. Но я знаю о них по рассказам Агаты, которые мне передавала моя жена. И сын и дочь оба были необузданны и жадны до жизни. Агату это удивляло. Ей и в голову не приходило, что она не подчинилась природному инстинкту. Наши дети выдают нас. Все, что мы пытаемся скрыть, с чем боремся в себе, потом обнаруживаешь в детях. Когда

Агата работала в чужих домах (и в моем тоже), она все время волновалась за сына. Она не знала, чего от него можно ожидать. Не думаю, чтобы у нее была неудачная любовь. Вся ее жизнь представляла собой сплошное насилие над чувствами. Ей тридцать лет, но она точно и не начинала жить. Шестнадцать лет она вышла замуж. И неудачно. Наперекор советам родных, наперекор инстинкту она выбрала себе в мужья болезненного, слабого юношу. «Он был какой-то необычный, деликатный, скромный», — объясняла свой выбор Агата. Между тем это была всего лишь та хрупкость и деликатность, которая свойственна тяжело больным людям. Четыре года спустя муж умер, оставив ее с двумя детьми. Тогда она переехала в Рим. Вся в черном, с черными блестящими глазами на смуглом лице, с фигурой подростка, она и сама точно осталась подростком. Иногда Агата приходила к нам, одетая, словно девочка; тугая черная коса падала ей на плечи. Ее глаза не умели лгать. Я хочу сказать: они были готовы ко всему. Со стороны казалось, что чужие взгляды были ей ненавистны. Она точно отметала их от себя, вступала в яростную борьбу и, проиграв ее, затаилась, обдумывая месть. В ее глазах не было ни малейшего лицемерия. Они бесстыдно говорили: я знаю все, но берегись, я женщина и буду беспощадной. Впрочем, достаточно было увидеть, как она готовит.

Полицейский комиссар, до этого слушавший меня терпеливо и равнодушно, неожиданно заинтересовался.

— Что значит увидеть, как она готовит?

— Ей было тридцать лет, — продолжал я свой рассказ, — она уже десять лет жила в городе, но так и не могла привыкнуть к ненужным тратам, к расточительству горожан. По тому, какое блюдо женщина готовит и подает к столу, вы можете определить почти неуловимые свойства ее характера. Существует определенная связь между едой и чувством, и человек, наделенный воображением, не может этого не заметить. Есть блюда, синьор комиссар, которые может приготовить только мать, так же как есть блюда, приготовленные руками женщин, целомудренных до робости. Бывают такие блюда, вид которых пробуждает в вас неведомые доселе чувства. Наконец, встречаются блюда, точно обвиняющие вас в преступном сообщничестве. Не знаю, ясно ли я говорю?

— Продолжайте, продолжайте, — поощрил меня полицейский комиссар. — Только я не вижу, какое...

— Эта женщина как будто похищала что-то тайком у жизни, ставшей для нее жестокой, скупой на радости. Агата упорно не соглашалась делать некоторые покупки. Например, она ни за что не хотела покупать ранние фрукты и овощи. Она находила самые немыслимые отговорки, была способна на любую ложь, лишь бы не купить их. Мы с женой точно перенеслись в другое время, когда люди жили честно и скромно и времени у них хватало даже на то, чтобы экономить. Теперь это кажется смешным, ведь время само стоит слишком дорого. Но для гостей Агата не жалела ничего, старалась угостить их как можно лучше, вкуснее и торжественнее. Она по-прежнему соблюдала обычаи былых времен, когда гостя, пришедшего издалека в глухое селение, встречали, точно героя античной поэмы. Гость навсегда запоминал жареного поросенка, начиненного макаронами. Он часто потом вспоминал об этом селении, о гостеприимных хозяевах и у каждого приезжего из тех мест неизменно спрашивал, что с ними случилось.

— Понимаю, — сказал полицейский комиссар. — Но мне нужно записать кое-какие сведения в протокол опроса. Почему она перестала ходить к вам в дом?

— Как раз дней пятнадцать тому назад Агата пришла к нам с опозданием. Двигалась она как-то вяло и ничего не хотела делать по дому. До этого дня Агата ни разу не обращалась ко мне; она всегда разговаривала только с женой, точно нуждалась в переводчице. На этот же раз



она подошла прямо ко мне с таким выражением, как будто я чем-то обидел ее; Агата рассказала мне, что сын, как обычно, попросил у нее денег. Она дала ему пятьдесят лир, прибавив: «Трать их с толком, ведь они достаются мне тяжелым трудом, в них моя кровь». Сын взял ассигнацию, перегнул ее пополам и разорвал. Затем он снова сложил ассигнацию, старательно изорвал ее на мелкие клочки и выбросил их на улицу. Потом сказал: «Постарайся, чтобы кровь у тебя была побогаче». Агата несколько раз повторила эту фразу, словно никак не могла до конца понять ее смысл. Она ушла, даже не притронувшись к еде... Вы говорите, пятнадцать дней тому назад она приняла яд. Значит, разговор с сыном остался для нее последним воспоминанием в жизни. Этот разговор и послужил, очевидно, причиной ее отчаянного поступка.

— Вы думаете? — сказал полицейский комиссар, аккуратным почерком вывел на листе: «Семейные неприятности» — и закрыл свою сиреневую папку.

*Перевел с итальянского Л. Вершинин.*

## Наш квартал

В один из приходов нашего города был назначен молодой священник. Он неплохо помнил длинный перечень грехов, изученный в семинарии. Он изучал грехи, как человек, ни разу не выезжавший из дому, изучает по учебнику ботаники экзотические растения; а среди них хоть и не часто, но встречаются растения странные, предательски изменчивые, порой таящие в себе смертельную опасность. Лицо у него было бледное, словно после долгого поста, такие лица нередко бывают у молодых священников. Он стал исповедовать верующих своего прихода — а это был богатый приход — и убедился, что экзотические, предательски изменчивые, а порой и смертельно опасные цветы не так уж редки, как это кажется. Священник советовал прихожанам не соблазняться этими цветами, он предупреждал, что их нельзя срывать. Он знал, до чего слаб и несчастен человек, но не переставал удивляться, глядя на людей, приходивших к нему на исповедь. Слова, которые говорили ему нарядные дамы и уверенные в себе мужчины, были удивительно бедными, серыми, безоружными словами. Но это были слова людей, которые заставляли других трепетать, глядя на их красоту, элегантность, богатство.

Черты бледного лица молодого священника преждевременно исказила усталость. Опыт и знание скоро придали его лицу то выражение снисходительности, которое делало его похожим на преждевременно состарившегося человека. Есть люди, которые, пройдя через горнило собственных страданий, научившись читать в чужих сердцах, слишком поздно узнают, что представляет собой человек.

— Да, да, падре, я больше с ним не встречаюсь. Нет, падре, нет, у меня от него ничего не осталось, я избегаю даже воспоминаний. От него у меня только одна безделушка. Я с ним порвала, только эта безделушка — я ношу ее в сумке — порой напоминает мне о нем. Но ведь это пустяк. Я попросила его дать мне на память такую безделушку, чтобы никто, даже муж, не догадался, если найдет. Это же просто мелочь, которая ничего, совсем ничего не значит. Это маленький ключик, падре, совсем маленький ключик, которым нельзя ничего открыть. Хорошо, хорошо, раз вы сказали, я расстанусь и с ключиком. Я думала, это не так уж важно... Да, я его выброшу... Лишь иногда в обществе, когда много людей, когда говорят о самых разных вещах, я как бы невзначай произношу имя этого человека. Это тоже нехорошо, да?..

Молодой священник сидел у себя в комнате, на верхнем этаже большого дома. В квартале зажглись огни, зажегся свет и в доме напротив,

в комнатах, где живут незнакомые ему люди; и тогда, как бы желая последовать чужому примеру, зажег свою лампу и свеченник. Освещенные окна буравили черную глыбу ночи. Эти окна напоминали сцену театра, там, за ними, за их позолоченными рамами, проходит чья-то жизнь, психоякая на вымысел. Там кто-нибудь борется с собой, прежде чем выбросить ключик, которым все равно ничего не откроешь, прежде чем как бы незначай признать дорогое имя. Ночь все покроет, все примирит. А наутро видишь — нельзя ничего примирить, и снова приходит боль, словно ноет незаживающая рана.

— ...Да, падре, я попросила у него пятьдесят тысяч лир, и он дал мне их. А через несколько дней я пришла к нему. Только один раз. Больше я к нему не пойду, нет, пусть моя совесть будет спокойна. Но я ему еще не отдала деньги. Ну да, можно подумать, что я пошла к нему ради этих денег. Но это не так, просто я проявила слабость. Теперь он говорит, что ему не хватает денег, чтобы запастись углем на зиму. Но где мне найти деньги, чтобы отдать? Сказать мужу? Но как же я могу? Ведь пошла я не ради денег. Я взяла эти деньги, чтобы шить дочке новое платье к конфирмации. Нет, это не из расчета...

Вот уже несколько лет, как молодой священник исповедует и причащает прихожан. Грехи повторяются с какой-то фатальной неизбежностью, и снова люди приносят к нему свои угрызения совести, свое раскаяние. Грехи повторяются. Разве может эта бедная женщина просить денег у своего мужа?..

Квартал погружается в темноту. В одном окне за другим зажигается свет; в тревоге ночи загораются фонари на улицах, словно город хочет найти в этом утешение, превратить этот час в праздник, доказать, что счастье нашло приют за освещенными окнами.

Автомобили замедляют ход, проезжая мимо женщин с вихляющей походкой; завидев их, останавливаются мужчины; кажется, что пьяны и люди и машины.

— Я борюсь, как умею. Все говорит мне об одном и том же: стены зданий, театральные афиши, книги, музыка. Но я не знаю, что такое любовь. Я не испытала ее. Муж ничего не замечает. Ему я подчиняюсь, знаю, что должна повиноваться. Но мне тревожно. Нет, он мне не противен. Я даже к нему привязана. Но и я должна знать, что такое любовь, раз все о ней говорят. Мир полон этой любви. Нет, я буду верна мужу, никогда ему ничего не скажу. И все же мне кажется, что я поступаю дурно...

Трудно представить себе город без зла. Молодой священник задумался о том, что стало бы с его кварталом, если бы исчезло зло. Он вспоминает одну молодую даму. Если из окна исповедальни взглянуть на ее ногу в открытой туфле на низком каблуке, то видишь, что у нее совсем детская походка, и голос у нее робкий, неуверенный. Да, эта дама попросит у мужа деньги и вернет свой долг. А дама в вуали — лишь по лихорадочному блеску глаз можно судить о ее возрасте — покинет богача, на связь с которым согласны даже ее родители, разъезжающие на машине, предоставленной им любовником дочери. Важный толстяк вернет бедной вдове деньги. Эти деньги ее муж доверил ему пять лет назад, когда вынужден был бежать от преследований.

— Я вложил эти десять миллионов в дело. Если я теперь их верну, у меня все пойдет прахом. Разорится семья, мои служащие останутся без работы. Ведь его уже нет в живых, он умер в ссылке. Осталась вдова, у нее нелегкий характер — без конца кричит и жалуется. А теперь наняла адвокатов. Что ж, эти деньги так и должны были лежать без дела?.. Она и сама за себя постоит. Уж я ее знаю, вечно жалуется, но до нужды ей далеко. Ему пришлось бежать из-за политики, все равно потерял бы

все... Да, хорошо, я посмотрю... верну ей эти деньги, сделаю все, что нужно, но только спокойно, без спешки...

Молодой священник хочет представить себе, как будет выглядеть его квартал в то утро, когда исчезнет зло. Вот пешком отправляются на прогулку родители дамы в вуали, которые разъезжали на машине. На них поношенные костюмы, и портье уже не кланяется им с прежним почтением. Фирма того господина, который присвоил десять миллионов, закрылась, сам он снова поступил на работу и вот возвращается домой из центра, сходит с трамвая. Да, он немного похудел, но, должно быть, чувствует себя лучше, хотя и по-прежнему тучен (ведь тучность красит богача). В глазах у женщины, вышедшей замуж по ошибке, теперь больше доброты и милосердия — она наконец обрела покойствие.

Этот день не похож на другие дни. Это день без прикрас и мишуры. На улицах меньше машин, сдаются внаем многие квартиры — портье прибывают к их дверям объявления. Закрылись магазины, где торговали предметами роскоши. Опустели дома терпимости. В них распахнуты окна, и свежий воздух врывается в затхлые комнаты. А люди стоят в очередях перед магазинами, в которых торгуют по умеренным ценам. Фасады домов больше не должны скрывать тайны их обитателей — на них уже не лежит печать ревнивого высокомерия. Из этих домов ушла даже прислуга: поведение их владельцев недостойно настоящих господ. Из квартиры молодой дамы, у которой детская походка и туфли на низком каблуке, выносят мебель. Хозяйка продала ее скупщику, чтобы уплатить свой долг. Квартал утратил свой былой вид, он больше не походит на плотно запертый сейф...

Молодой священник не спал эту ночь. Настало утро. Покончив со срочными делами, он поспешно отправился к кардиналу — просить аудиенции. В приемной немало людей, пришедших сюда за тем же, в руках секретаря мелькают большие листы бумаги, чем-то похожие на светлый пергамент с почерневших картин старых мастеров. Одежды кардинала — красное пятно на черном фоне.

— Ваше преосвященство, я пришел просить о смещении. Я убедился, что зло не только фатально, оно необходимо. Стоит искоренить зло, и мой приход не сможет существовать. Я думал об этом всю ночь, и мне не удалось отогнать от себя эти мысли. Отстраните меня, дайте мне бедный приход — быть может, там зло не стало еще роковым.

Кардинал недовольно склонил усыпанную серой пудрой седины голову. Как гармонировало серебро висков с пурпуром его мантии! Он сказал:

— Сын мой, откуда это стремление искоренить зло? Тебя обуяла гордыня, сын мой. Ты полагаешь, будто именно тебе дано побороть зло. Ты полагаешь, что должен разорить свой приход? Нет, не следует этого опасаться. Покайся, сын мой, одумайся, вернись к исполнению своего долга. Разве зло когда-либо было немощным? Разве зло не бессмертно? Вернись к себе, сын мой.

И молодой священник вернулся в свой приход. Квартал просыпался. Квартал хорошо провел эту ночь, квартал еще и сейчас не совсем проснулся. Горничные выбивали пыль из дорогих ковров, а хозяева спали, отдыхая после вчерашних приемов и развлечений. Мусорщики рылись в отбросах, отбирая все, что еще может пригодиться. Две девушки в английских спортивных костюмах выехали на новеньком мотоцикле, прозрачное смотровое стекло хорошо защищало их прически от ветра. Здесь все в порядке, здесь все спокойно.

*Перевел с итальянского Г. Брейтбурд.*



---

---

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

★

## ЧЕТЫРЕ СОНЕТА

### КАМЕНЬ ФИЛАРЕТОВ<sup>1</sup>

Березы, сосны да песок кругом,  
Да птичий свист, да ветер над равниной.  
Звук не дойдет отсюда ни единый  
До слуха псов, подсланных царем.

Родное небо, тучек рой на нем,  
Каких не знают небеса чужбины...  
Тут смело крылья взвил в полет орлиный  
Поэта дар, пылающий огнем.

Произрастая из зерна мечтаний,  
Здесь зреет плод высоких упований,  
Здесь слово в оля жар дает сердцам.

Замыслив гордый стих, на тайной встрече  
Здесь с вещим взором слушает Адам  
Чечота с Заном пламенные речи.

### МАРИЛЯ

«Как панночка наивна и пуста!  
На титул променяла дар поэта!» —  
Друзья Мицкевича твердили это,  
Сомкнув при нем почтительно уста.

Какая дружеская слепота!  
Душа его всю жизнь была согрета  
Ее любовью. Скорбь и вспышки света  
В его сердечных песнях — прошва та,

Что сделана иголкой Марили,  
И волны неманские сохранили  
Ее печать в сонете на века.

Спасибо этим липам густолистым,  
Где запылала факелом лучистым  
Любовь поэта, что и нам близка.

---

<sup>1</sup> Камень филаретов — большой камень в лесу, у которого собирались члены вольнолюбивого студенческого Общества филаретов. К нему принадлежал и Мицкевич. Томаш Зан и Ян Чечот — близкие друзья Мицкевича, члены общества. Ян Чечот — поэт, один из первых белорусских фольклористов, этнографов и языковедов.

### ДУБ ДАНИЛЫ

Над Свितязью прозрачною, в долине,  
Где встарь частенько отдыхал Адам  
(Подобный холст оставил мастер нам:  
Стоит живой Мицкевич на картине),

Где речка небосвод колышет синий,  
Где ивы плачут, наклонясь к волнам,  
Что нет возврата годам и мечтам,  
Как Пушкин некогда сказал,— доньше

Там дуб стоит, могучий, как земля:  
Какая величавость! Сколько силы!  
Стоит, ветвями гордо шевеля.

Другой поэт, кого судьба крестила  
Мицкевичем<sup>1</sup>, лесного короля  
Назвал во славу сына: дуб Данилы.

### У ДУБА В ЩОРСАХ

Под этим дубом он писал «Гражину»,  
Здесь чутким ухом жадно слушал он  
Мечей средневековых перезвон,  
Потрясший встарь Литвинки всю долину.

Но тот ли это край? Чуть взгляд я кину —  
И новое встает со всех сторон!  
Вон речка Сервечь, позабыв про сон,  
Вся пенясь, крутит быструю турбину,

Как приказал колхоз-миллионер...  
(Адамов гений, нашим не в пример,  
Мог подивиться б на слова иные!)

На гидростанцию ж заглянешь ты —  
Там, над водой смиренной, с высоты  
Свисают филодендроны резные.

*Перевел с украинского Борис Ирнин.*

---

<sup>1</sup> Настоящая фамилия Якуба Коласа — Мицкевич.




---

М. ГРИГОРЬЕВ

★

## У СТАРИННОЙ ИКОНЫ

Написан древним богомазом,  
Глядит с доски — который век! —  
Быть может, понятый не сразу  
Не бог, а русский человек.  
Придавлен тусклой позолотой,  
Глядит не с болью, не с тоской,  
Не с надоедливой заботой —  
С хитринкой смотрит костромской.  
Он так доступен, так обычен —  
Ему б не ладан, а табак:  
Он всем своим земным обличем —  
Охотник, пахарь и рыбак.  
И, забывая бить поклоны,  
Искусству давнему дивясь,  
Как у картины,  
                                    у иконы  
Толпятся люди,  
                                    не крестясь.  
Уйдут — и вновь глядят с порога...  
Так будь же славен на века  
Тот, кто дерзнул писать не бога,  
А костромского мужика!



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕОНИД ИВАНОВ

★

## КОГДА СЕЯТЬ?

**В** Шадринске наше купе пополнилось еще двумя пассажирами. Им достались верхние полки. Оставив свои небольшие чемоданчики, повесив плащи, оба пассажира вышли в коридор и сразу шумно заговорили.

— Нет! Все же я не могу, Николай Павлович, с вами согласиться! — воскликнул молодой, черноволосый.

— Вот это и хорошо, что не соглашаетесь, — басовито проговорил второй, тучноватый человек лет сорока. — Приятно, Василий Иванович, иметь собеседника, который возражает, не соглашается. А то иной раз говоришь, приводишь факты, а тебе только поддакивают...

— Но если вы правы? — заметил Василий Иванович. — Если вы правы, тогда как?

— Я не в том смысле, — возразил Николай Павлович. — Приятно беседовать, когда тебе возражают. Это значит, что какой-то твой вывод или твое понимание подвергнется проверке в споре и, если ты найдешь более убедительный довод в свою защиту — это же очень важно, — ты почувствуешь себя человеком, уверенно пополнившим свои знания. Если тебе только поддакивают — ты не растешь, закисаешь, обольщаешься этими поддакиваниями.

— Уж не потому ли вы и Терентию Семеновичу старались все время возражать? — улыбнулся Василий Иванович.

— А вы думаете, Мальцеву приятно только похвала? Нет... Я много раз с ним встречался, и у меня всякий раз оставалось такое ощущение, что Мальцев недоволен собой. Весь вид, все его поведение кричит: ну возражайте же, черт возьми! Вы заметили, когда он говорит, то обе свои руки выставляет вперед. — Николай Павлович показал это сам. — Так и чувствуется, что на эти свои руки с длинными узловатыми пальцами он готов принять любое возражение, и принять с радостью человека, борющегося за истину в науке. Но чаще всего на эти просящие ладони сыплются не возражения, а восторги, которых Терентию Семеновичу не занимать стать...

— Не мне возражать вам, — скромно произнес Василий Иванович.

— Да почему же не вам? — пробасил недовольно Николай Павлович. — Кому, как не молодежи, дерзить?

— Лучше дерзать...

— Сначала дерзите, тогда и дерзать смелее будете, — улыбнулся Николай Павлович. — Так с чем же вы не согласны? — спросил он уже совершенно серьезно.

Радио объявило: через пять минут поезд отходит. Василий Иванович встрепенулся, побежал из вагона, крикнув:

— Мы же хотели последние газеты купить!

Вскоре Василий Иванович принес пачку газет, и оба товарища принялись читать.

Меня заинтересовали новые пассажиры. Было ясно: они ездили к известному ученому Терентию Семеновичу Мальцеву. А это уже интересно. Мне много раз доводилось встречаться с Мальцевым, бывать на его полях. И я хорошо знал, что к Мальцеву «просто так» ездят очень немногие — такие попадают иногда в больших экскурсиях. Когда же ездят одиночки, то только со своими большими вопросами. А оба

---

Печатается в порядке обсуждения. Редакция приглашает читателей высказаться по затронутым в статье Л. Иванова вопросам.

новых пассажира ездили как одиночки, это было понятно. Особенно после того, как проводник забрал их билеты. Василий Иванович ехал в Новосибирскую область, а Николай Павлович — в Павлодар.

— Ага! Вот вам и возражение! — воскликнул Василий Иванович. — Вот, пожалуйста! Посмотрите, что пишут омские товарищи.

Он быстро прочел фразу из газеты: «Практика подтвердила, что ранние посевы пшеницы, а также других зерновых культур и картофеля дают в Западной Сибири высокий урожай».

— Позвольте? — протянул руку Николай Павлович. Он углубился в чтение статьи.

— Странно... Очень странно... Сразу вдруг обо всей Западной Сибири.

— Вот видите! — торжествовал Василий Иванович. — А вы говорите, нам, молодым, просто, за нас старшие давно решили вопрос о сроках сева в Сибири.

— Вы не спешите с выводами!

— Но ведь здесь, Николай Павлович, — воскликнул Василий Иванович, — решительное утверждение! И утверждение авторитетное: область раньше других в Сибири выполнила план хлебосдачи.

— А я вам сейчас предъявлю иное мнение, — возразил Николай Павлович и полез за своим чемоданчиком. Он достал газету — тоже центральную — и, подавая ее собеседнику, бросил: — Вот прочтите, что по этому же вопросу пишут товарищи из нашей области.

Глаза Василия Ивановича забегали по столбцам газеты. Дойдя до нужного места, он перечел вслух: «Смело пошли труженики колхозов и совхозов на внедрение новых методов и сроков сева. Нынче никто не стремился как можно раньше начать сев, ибо знали из опыта, что это может пагубно сказаться на урожае».

— Ну как? — улыбнулся Николай Павлович.

— Как, как... — вроде обиделся Василий Иванович. — В двух соседних областях по одному и тому же вопросу делают прямо противоположные выводы, а что делать мне, молодому агроному? Ведь наша область граничит и с Омской и с Павлодарской, а оба автора ссылаются на опыт.

— А это уж совсем интересно! — воскликнул четвертый пассажир нашего купе, Григорий Григорьевич. Это был работник Министерства сельского хозяйства, ехавший в командировку на Алтай.

— Может быть, и интересно, но нашему брату агроному... — Василий Иванович замялся, потом заговорил как бы о другом: — Я представляю себе положение любого агронома в Омской области... Попробуй он сказать на основе своего опыта, что ранние посевы хуже средних, — не сладко ему придется... А вот агроному в Павлодарской области, те уже в другом положении. А вдруг, — рассмеялся Василий Иванович, — из Павлодарской области агроном переедет работать в соседнюю — Омскую! Что тогда?

— Нет, товарищи... Это же все очень интересно! Кто же прав? Видимо, победитель!

— А победители оба, — улыбнулся, но быстро погасил улыбку Николай Павлович. — Павлодарская область раньше выполнила план и сдала хлеба намного больше. Так что победители оба, а прав кто-то один.

— Кто же?

— Ответ на этот вопрос интересует очень многих, — сказал Николай Павлович. — В условиях Сибири и Северного Казахстана сроки сева решают иной год судьбу половины урожая! Понимаете? Половины урожая! И для решения судьбы этой половины урожая не мешало бы собраться вместе агрономам, ученым, а главное, руководителям соседних областей, выложить по-честному весь накопленный опыт в обеих областях и на основе его разработать рекомендации применительно к особенностям каждого района, а может, и каждого поля.

— Тогда уж нам-то обязательно надо быть на этой встрече! — воскликнул Василий Иванович. — Мы с теми и другими граничим.

— А все же, у кого нынче выше урожай? — осведомился Григорий Григорьевич.

— Урожай выше оказался в Павлодарской области, — ответил Николай Павлович. — Центнера на три, не меньше! А ведь что такое даже один дополнительный центнер зерна с гектара? В Казахстане — это без малого полтора миллиона пудов, в Западной Сибири — это тоже не менее ста миллионов. Вот ведь о чем речь-то идет.



После некоторого молчания Николай Павлович продолжал:

— Совершенно противоположные точки зрения на сроки сева имеют еще две области — Челябинская и Курганская. Вот полюбуйтесь... — Он снова заглянул в свой чемоданчик, достал журнал «Сельское хозяйство Сибири» и прочел вслух одно место из статьи председателя колхоза имени Сталина, Шадринского района, П. Колмакова. Вот оно дословно:

«В 1955 году... колхозы Шадринского района получили в среднем пшеницы 15,5 центнера, колхоз имени Сталина — 17,8, колхозы Курганской области — 6,8 центнера с гектара, колхозы Челябинской области — только 5,2 центнера... То же самое было и в 1957 засушливом году: в Шадринском районе средний урожай пшеницы — 9,5 центнера, в колхозе имени Сталина — 11,8, в колхозах области — 6,1, а в Челябинской области — 4,7 центнера с гектара.

Основа этого — разный подход к организации весеннего сева: челябинские колхозы осуществляют преимущественно ранние посевы, в колхозах Курганской области применяются как оптимальные сроки, так и ранние, а в колхозах Шадринского района — преимущественно оптимальные сроки. Результаты говорят сами за себя».

Григорий Григорьевич сильно заинтересовался приведенным сообщением, перечитал всю статью.

— Надо будет кое-кому в министерстве показать, — заключил он.

— А вы из министерства? — удивился Николай Павлович.

— Да, из союзного...

— А ведь этот журнал, — он потряс книжку, — орган Министерства сельского хозяйства... Плохо, видимо, читают его там, в министерстве?

— Я, видите ли, экономист...

— Здесь и по экономике много интересного...

Григорий Григорьевич совсем смутился и неожиданно предложил:

— А не заказать ли нам чайку?

Все согласились. Григорий Григорьевич ушел к проводнику.

За чаем разговор был продолжен.

— Вот теперь и попробуйте разобраться, Василий Иванович, — начал Николай Павлович. — Было бы как-то еще понятно, если бы, скажем, южные области — Павлодарская и Челябинская — стояли на одной позиции в сроках сева. А то ведь Омская севернее Павлодарской, и в Омской говорят о ранних сроках, Челябинская, наоборот, южнее Курганской, однако и там тоже за ранние сроки. Никакой логики. А между тем тот же Шадринский район, собирающий самые высокие урожаи в Курганской области, граничит с полями Челябинской.

— А сами вы, Николай Павлович, за оптимальные?

— Я, Григорий Григорьевич, за лучшие сроки сева.

— Это очень расплывчато и не совсем понятно.

— Нет, понятно! — упрямо возразил Николай Павлович. — В каждом хозяйстве для каждого поля, для каждой весны надо знать самые лучшие сроки посева. Вы знаете, как в прошлом году получилось у Терентия Семеновича Мальцева? Он писал об этом в «Правде». Сам он сторонник оптимальных сроков, точнее — противник ранних посевов. А в прошлом году — думается мне, для окончательного ответа своим противникам — взял да часть полей засеял, как и некоторые соседи в Челябинской, пораньше.

— И что же? — заспешил Григорий Григорьевич.

— А то, что газеты, хотя и с такими скучными вещами, как сроки сева, все же надо читать, — улыбнулся Николай Павлович и серьезно продолжал: — У Терентия Семеновича на некоторых полях, засеянных рано, в самом начале мая, урожай получился на семь-восемь центнеров с гектара ниже, чем на полях, засеянных в оптимальные сроки, но в мальцевском толковании.

— То есть?

— В третьей декаде мая, — уточнил Николай Павлович.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Николай Павлович раньше работал в Курганской области, а как началось освоение целины, поехал на целину и теперь главный агроном совхоза. Он уже давно в своем совхозе вводит систему обработки почвы по Мальцеву, придерживается его сроков сева. И каждый год после уборки урожая

ездит к Мальцеву, чтобы рассказать ему о своих результатах, выяснить недоуменное, узнать что-то новенькое, а новенькое у Мальцева рождается часто.

Что касается Василия Ивановича, то он работает в крупном колхозе Новосибирской области, институт окончил три года назад. К Мальцеву приезжал первый раз, впервые встретился и с Николаем Павловичем.

А Николай Павлович, между тем, разговорился.

— Вы понимаете? — Он уже держал за рукав пижамы Григория Григорьевича. — Понимаете, сколько хлеба недобирают Сибирь и Северный Казахстан только потому, что кое-где стремятся пораньше спихнуть посевную кампанию? Сотни миллионов пудов. Я давно пытаюсь понять идейность, что ли, сторонников раннего сева, понимаете? Услышать о теории раннего сева...

— А теория позднего сева разве разработана? — перебил Григорий Григорьевич.

— Есть! Она ясна, как божий день! — И тут Николай Павлович повторил обычные высказывания Мальцева: не нужно насиловать природу! Когда бы семена ни бросил в землю, они все равно не взойдут, пока в почве не будет положенного минимума тепла. Но лежка в холодной земле не проходит бесследно: много семян, особенно с низкой энергией прорастания, гибнет совсем, и потому ранние посевы всегда сильно изрежены. Но самое главное, по словам Николая Павловича, то, что в холодной земле прекрасно чувствуют себя семена сорняков, они-то растут, когда культурное зерно лежит и ждет тепла. Отсюда и засорение полей при раннем сроке сева. А Мальцев и те, кто сеет в оптимальные сроки, ранней весной ведут усиленную борьбу с сорняками: культивируют поля, боронуют их и этим уничтожают появляющиеся всходы сорняков. Хлеба, посеянные в достаточно прогретую землю, дают всходы дружно, уже на третий день после посева, дружно развиваются, заглушают сорняки, если они остались, более экономно расходуют влагу.

Николай Павлович приводил множество фактов из практики Курганской области и Павлодарской.

— Позвольте, Николай Павлович, но, вероятно, есть и теория раннего сева? Не с потолка же все берется?

— Теорию ранних посевов никто не обосновывал. И теория эта укладывается в несколько слов: пораньше посеешь — пораньше с полей уберешься... Мне приходилось сталкиваться с такими товарищами, все они из числа тех, кто в довоенные годы хлебнул горя с хлебом — тогда хлеба убирали и по снегу, а иногда и после зимы. Они давно еще напуганы и не хотят замечать ни того, что машин теперь стало раз в десять больше, ни того, что механизаторы стали опытнее. Теперь только работу дай: все приберут!

— Странно все это, — покачал головой Григорий Григорьевич. — Вы извините меня, Николай Павлович, я немножко профан в данном вопросе, работать мне пришлось больше на юге, и там вопрос о сроках сева не вызывает споров, там все стремятся посеять пораньше.

— Совсем не могу возражать — на юге работать не довелось. Но, по-видимому, к нам и с юга кое-что завезено. У нас ведь собрались агрономы, механизаторы и руководители со всех концов страны, и у каждого — опыт тех мест, где он работал. Многие южане... Да что за примерами ходить, — махнул рукой Николай Павлович. — Наш директор — из-под Харькова, очень умный, деловой человек, Герой Труда... А в первую же весну поднял панику: май начался, а мы еще не приступили к севу, все погибло!..

— Понятно! — перебил Григорий Григорьевич. — В Харьковской в мае хлеба начинают колоситься — я там часто бывал.

— Вот-вот... И тут тоже. Но это было один год, вернее, одну весну. А когда стали убирать урожай, он понял, что горячку пороть не к чему. У нас на целине, знаете, все это было очень хорошо проверять: агрофон везде одинаков — бывшая целина, только сроки сева и могли влиять на урожай.

— А семена? — вставил Василий Иванович.

— Первый год своих семян у нас не было — все завозные и из одного элеватора.

— И директор ваш убедился?

— Конечно. Теперь ранее десятого мая никто не заставит его начать посев... И вот другой раз задумаешься. ну, хорошо, приехал товарищ на новые места, условия новые,

агротехника иная. Все верно. И такому товарищу можно простить, если он один раз и ошибся. Да умный человек это и сам поймет и уж на второй год такой ошибки не повторит. Наш директор не повторил, во всяком случае, а ведь многие продолжают повторять и повторяют их пять, десять, двадцать лет. И все это сходит с рук. Чуть неурожай: погодные условия плохие! А вдруг уродило! Сразу: высокий уровень агротехники применили! Вот так...

— Последний вопрос, Николай Павлович,— перебил Григорий Григорьевич.— Сколько вы собрали с гектара?

— Нынче около двадцати центнеров.

— Замечательно! — И Григорий Григорьевич отправился за чаевым подкреплением. Теперь заговорил Василий Иванович:

— Вам хорошо, Николай Павлович... Вы и сами опыт большой имеете, и директор у вас умица... А вот у нас в колхозе не так... Наш председатель, бывший профсоюзный работник, часто в качестве уполномоченного разъезжал по многим районам и всегда знал одно: чем скорей будет посеяно, тем лучше, тем быстрее он сможет вернуться домой. И человек очень неглупый, а весной паникует: сей быстрее! Нынче мы первыми отселись, переходящее знамя за посевную у нас, а урожай — самый низкий в районе.

Григорий Григорьевич, входя со стаканом чаю, услышал последнюю фразу.

— Значит, самый низкий в районе? Стало быть, вашего председателя ругают всюю, да и агронома, наверное...

— Нет, хвалят нас...

— Позвольте!..

— Мы раньше всех убрали хлеба, всё, кроме семян, сдали, но нам и план доводили с учетом нашего урожайчика, вот мы и герои. Разве, не убрав хлеба, я поехал бы к Мальцеву...

— А я бы поехал!—воскликнул Николай Павлович.—Поехал бы! И в низком урожае виноват не председатель, а вы, Василий Иванович! Агроном виноват и больше никто!

— Не мог же я сеялки останавливать...

— А если не по-агрономически дело делается, почему же не могли? Вы, как агроном, обязаны были это сделать! Мне жаль вас, Василий Иванович... Молодой, а энергия уже... Нет энергии, напористости...

— А вы думаете, к Мальцеву я ездил погостить? — немножко обиделся Василий Иванович.— Надо знать, быть убежденным, тогда и энергия появится... Теперь я убежден, но вот вопрос: неужели нельзя договориться ученым, руководителям, практикам...

— Можно. Найдется умный человек в Министерстве сельского хозяйства или в Академии сельскохозяйственных наук и соберет всех нас вместе, вот тогда и договоримся.

— А когда найдется? Когда додумаются до этого?

— А вы сами об этом подумали бы,— возразил Николай Павлович.— У нас обком партии ввел твердый порядок: кончили уборку, подсчитали результаты — все агрономы, ученые и руководители собираются на совещание и подводят итоги. Тут вырабатываем и новые предложения на будущий год. А что, у вас так нельзя?

— Не знаю,— пожал плечами Василий Иванович.— У вас ведь и института сельскохозяйственного нет, ученых мало, а у нас...

— Где ученых сельскохозяйственных много, там истину не скоро найдешь,— рассмеялся Николай Павлович.

— Это почему же? — удивился Григорий Григорьевич.

— Очень просто. Возьмите тот же Омск. Там расположен научно-исследовательский институт сельского хозяйства всей Сибири, а, скажем, имеет ли он свою позицию в таком важнейшем вопросе земледелия, как сроки сева? Нет, не имеет.

— Так ли это? — усомнился Григорий Григорьевич.

— Скорее всего так. Иначе почему же в статье партийного руководителя о сроках сева сказано, а в статьях ученых этого института ничего об этом нет? Ведь от них корм отняли, а они спокойны — не обижаются.

Когда поезд подходил к Омску, я стал собирать вещи. Николай Павлович хитровато подмигнул:

— Промолчали, что из Омска... А почему?

Эта встреча особенно отчетливо вспомнилась мне в дни, когда изучались тезисы доклада Н. С. Хрущева на XXI съезде партии. Цифры семилетнего плана величественны, волнующи, вселяют гордость за нашу замечательную Родину.

И вот о хлебе как основе всего сельскохозяйственного производства. К концу семилетки колхозы и совхозы страны должны производить ежегодно 10—11 миллиардов пудов зерна! Решающую роль в этом деле должны сыграть Казахстан и Сибирь. Уже в 1958 году Казахстан и Сибирь дали в закрома Родины без малого половину товарного зерна, а продовольственного — яровой пшеницы — очевидно, больше половины. В дальнейшем сбор зерна здесь должен сильно возрасти. И главным образом — это с особой силой подчеркнуто в тезисах — за счет увеличения урожайности полей.

И правильно выбранный срок сева в условиях Сибири и Северного Казахстана имеет часто решающее влияние на урожай. Об этом я слышу вот уже больше двадцати пяти лет, с тех пор, как живу в Сибири.

Однако вопрос о правильных сроках сева в Сибири и Казахстане остается нерешенным до конца. Ведь только поэтому в соседних областях — Омской и Павлодарской, Челябинской и Курганской — сделаны диаметрально противоположные выводы. А ведь если верить Терентию Семеновичу Мальцеву, речь идет об огромной прибавке урожая! И не верить нельзя: факты убеждают!

И я решил съездить в некоторые хозяйства Омской области, побеседовать с агрономами из числа тех, которые научились выращивать наиболее высокие урожаи.

Русско-Полянский район.

За последние годы только в этом одном районе освоено около 140 тысяч гектаров целины и залежи. В 1958 году колхозы и совхозы этого района сдали государству без малого 11 миллионов пудов зерна.

Самый высокий урожай в районе вырастили коллективы соревнующихся совхозов, созданных на целине, — «Цветочный» и «Целинный».

Соревнование между ними упорное. Они весной 1958 года посеяли и зерновых поровну — по 25 300 гектаров, оба собрали одинаковый урожай — около 15 центнеров с гектара, оба сдали и хлеба одинаково — почти по два миллиона пудов.

Главный агроном совхоза «Цветочный» Александр Леонидович Мищенко, ветеран совхозного строительства в Сибири, сказал мне:

— Если говорить о моем личном мнении, то выигрывает всегда тот, кто сеет в оптимальные сроки.

Это не совсем точно. Конечно же, кто сеет в лучшие сроки, тот и выигрывает. Но Мищенко уточнил свою позицию:

— Если говорить о наших местах — а я здесь уже пятый год, — то никогда не ошибешься, если посеешь во второй декаде мая. А вот пятьдесят восьмой год помог тем, кто сеял еще позднее.

— А если сеять в конце апреля и в начале мая?

— Это значит собирать только половину возможного урожая, особенно в засушливые годы.

Александр Леонидович достал свои записки. Они весьма интересны.

Совхоз создан на целине, паровых полей не имеет, удобрений пока не применяет. То есть, говоря агрономическим языком, агрофон полей примерно одинаков. А вот урожай...

Урожай довольно пестроват. Есть поля, с которых сняли по 11 центнеров, но есть, где собрали и по 28!

В чем же дело?

Александр Леонидович считает, что одна из главных причин — сроки сева, и называет такие цифры: на 44-й клетке собран самый высокий урожай — по 28 центнеров пшеницы с гектара. А заседалась эта клетка самой последней — с 22 по 27 мая. Все остальные засеяны раньше. И хотя сев в совхозе был начат не очень рано, после 5 мая, однако именно первые посевы дали резко сниженный урожай.

Точно такие же выводы сделал и главный агроном совхоза «Целинный» Владимир Александрович Пинекер. В его многолетней практике ранние посевы никогда не оказывались выше средних.

Он делает такой вывод: в условиях 1958 года все другие агроприемы не оказали такого заметного влияния на урожай, как сроки посева. У Владимира Александровича десятки примеров, и не на делянках, а на огромных полях-клетках.

Между прочим в целинных совхозах все поля называют клетками. И это очень похоже: здесь большинство полей квадратные — два километра в длину и столько же в ширину.

Вот примеры. По воле случая на 14-й клетке оказались три предшественника: 80 гектаров было вспахано на зябь, 116 гектаров сеяли по взлущенной стерне, а остальную площадь — по весновспашке. Теоретически урожай здесь должен быть очень пестрым. Самый низкий, конечно, — по весновспашке. А практически заметной разницы в урожае на различных предшественниках нет. Но что интересно: на этой клетке получен высокий урожай — свыше 25 центнеров с гектара.

— И только потому, — замечает Владимир Александрович, — что сеяли это поле в хорошие сроки — с 18 по 24 мая.

А вот факты в более укрупненных измерителях: раньше всех в совхозе начала весенний сев третья бригада Ивана Рутковского, славящаяся своей организованностью. Не случайно же именно этой бригаде поручено выращивать сортовые семена для всего совхоза.

Бригада Рутковского отсеялась первой в совхозе, раньше других она справилась и с уборкой урожая. А седьмая бригада оказалась на севе самой последней в совхозе — она уже с помощью других завершила сев в начале июня. Урожай же в третьей бригаде немногим более 13 центнеров, а в седьмой — выше семнадцати.

Владимир Александрович и в эти укрупненные показатели вносит дополнительную ясность: в третьей бригаде самой последней засеивалась 38-я клетка. Сеяли здесь, как и на других клетках, по зяби, но в период 24—27 мая, и зерна собрали более 20 центнеров с гектара. А на полях этой же бригады, засеянных до 10 мая, урожай пшеницы не превышал 11—12 центнеров с гектара.

— Однако и это еще не все, — сокрушается Владимир Александрович. — Когда мы очень уж спешим отсеяться, то выбрасываем из агрономического арсенала и передовые приемы обработки — некогда...

А это вот что: всем агрономам известно, что, скажем, перекрестный посев обеспечивает прибавку урожая до двух центнеров на гектаре, прикатывание поля — еще не менее двух центнеров. Эти приемы с каждым годом применяются все шире и шире, однако и в 1958 году в области не было таких хозяйств, которые провели бы их на всей площади. Половина посевов проведена по-старому, большинство полей осталось неприкатанными. Значит, заведомо недобран урожай. И совсем не потому, что не хватило техники. Просто многим товарищам не хватило терпения повозиться с передовыми приемами: поскорее отсеялись — и спокойней...

Нельзя сказать, что совхоз «Целинный» в 1958 году рано начал посев. Массовый сев здесь развернулся с 8 мая. Но это потому, что и агроном и директор совхоза Алексей Федорович Ишутин выдержали упреки вышестоящих организаций, не погнались за сводкой о севе. И выиграла в урожае.

Для большей наглядности приведем еще один пример.

Совхозы «Целинный» и «Цветочный» собрали наиболее высокий урожай в районе, да, пожалуй, и в области. Между этими двумя хозяйствами расположились поля еще одного целинного совхоза — «Розовского».

В 1957 году совхоз «Розовский» первым в районе и чуть ли не в области начал весенний сев — с 27 апреля — и первым в области закончил его. Это случилось в первой декаде мая. Много похвал в адрес руководителей совхоза раздавалось со страниц газет в ту весну. Очень много. А вот урожай подвел: он оказался самым низким в области. Таким низким, что и называть его не совсем удобно, — по 2,4 центнера с гектара...

Весной 1958 года в совхозе «Розовский» отказались от апрельских посевов. Произвели их в начале мая. И опять газеты весной хвалили совхоз «Розовский»: он первым в районе отсеялся, сильно опередил ближайших соседей — совхозы «Целинный» и «Цветочный». И уборку он завершил раньше всех. А урожай опять подвел. Он оказался на 2—3 центнера ниже, чем у соседей. Совхоз в числе очень немногих хозяйств не выполнил своих обязательств по сдаче хлеба.

Так обстоит дело в районах бывшей целины, на юге Омской области. А как в хозяйствах со старопахотными землями? Как там со сроками сева?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, я поехал в совхоз «Боевой», Исиль-Кульского района. Поехал потому, что знал: агрономом там вот уже пятнадцать лет работает Николай Михайлович Климанов. Знал и то, что здесь собирают наиболее устойчивые и довольно высокие урожаи всех культур. Недавно в областной газете была опубликована статья Климанова. В ней сообщалось, что в среднем за последние десять лет совхоз собрал зерновых более 12 центнеров с гектара. Таким высоким показателем могут похвалиться никак не более трех-четырёх хозяйств Омской области.

Мне было известно, что устойчиво высокие урожаи — результат внедрения правильных севооборотов, передовой агротехники. Все это при руководстве Николая Михайловича находилось на высоком уровне. Тем интересней знать: как при высоком уровне агротехники, при наличии правильных севооборотов решается вопрос о сроках сева? Ведь ясно, что и правильная система земледелия и высокая агротехника — все это осуществляется во всех хозяйствах уже в самые ближайшие годы; об этом сказано в тезисах доклада Н. С. Хрущева. Введение правильных севооборотов — одно из важнейших заданий партии в этом семилетии.

Николай Михайлович отвечает уверенно, выводы подкрепляет фактами. А их за многолетнюю работу достаточно.

Между прочим, любопытна такая деталь: совхозу «Боевой» в 1957 году была сделана прирезка земли от соседних хозяйств. Земли эти оказались сильно запущенными, они не знали севооборотов. В 1957 году весенний сев на этих землях проводился уже совхозом, и агротехника сева ничем не отличалась от той, что применена и на старых полях совхоза, то есть была совершенно одинаковой. Однако урожай оказался далеко не одинаковым: на старых совхозных землях сняли с гектара на 4,2 центнера зерна больше, чем на прирезках.

Эти четыре с лишним центнера и есть дань высокой культуре земледелия.

И в 1958 году с земель, на которых введен севооборот, совхоз собрал урожай тоже на четыре с лишним центнера выше, чем на прирезках.

— Годика через три-четыре и те земли приведем в чувство, — уверяет Николай Михайлович.

И этому можно верить: в «чувство» те земли уже начали приводить — самые истощенные поля отвели под пар, посеяли многолетние травы.

И вот разговор о сроках сева.

— Мы за оптимальные, — просто говорит Климанов и, немного переждав, добавляет: — Вообще же неправильным выбором срока сева можно свести на нет самые передовые приемы агротехники.

— Есть примеры?

— Конечно.

Николай Михайлович приводит разительные примеры. Пятое и шестое поля центрального отделения в 1957 году паровались — здесь были чистые пары. Засевали их в 1958 году в сроки, которые считались лучшими, — с 10 по 15 мая. И урожай для 1958 засушливого года получился неплохой — по 18 центнеров пшеницы с гектара.

А вот первое поле этого же отделения не подавало таких надежд, как паровые: его не успели распахать даже на зябь и потому сеяли по весновспашке.

— При прочих равных условиях, — замечает Николай Михайлович, — паровые поля в сравнении с весновспашкой дают урожай обычно в два раза выше.

— С этим согласится любой агроном.

— Ну, а в 1958 году прочие условия были неравными: первое поле засевали на десять дней позднее, чем пятое и шестое. Но урожай по весновспашке оказался равным урожаю на парах — тоже по 18 центнеров. Выходит, не совсем правильный, для условий 1958 года, выбор срока сева свел на нет роль чистых паров.

— А если бы и паровые поля засеять 25 мая?

— Видимо, уродило бы центнеров до тридцати, — отвечает Климанов.

— А как вели себя прирезанные поля?

Николай Михайлович говорит, что общая картина та же: более ранние посевы дали более низкий урожай. А если сгруппировать посевы по срокам, то на полях вновь

созданного на прирезках Ленинского отделения урожай зерновых, посеянных до 15 мая, составил около 6 центнеров с гектара. А на тех, что сеялись во второй половине мая, собрано свыше 11 центнеров.

Правда, Николай Михайлович говорит, что 1958 год был не совсем обычным: первые летние дожди пошли не в начале июля, как это бывает в большинстве случаев, а лишь с 11 июля. Это и обеспечило высокий урожай на самых поздних посевах.

— Обычно же,— говорит он,— самые высокие урожаи дают посевы, произведенные в период с 10 по 25 мая.

Вот то, что мне рассказали агрономы передовых хозяйств, агрономы с большим опытом работы в Сибири, научившиеся выращивать высокие урожаи зерновых культур.

И снова вспоминается разговор агрономов в вагоне. В самом деле: сроки сева в Сибири — важнейший агротехнический и организационный вопрос. И почему бы действительно Министерству сельского хозяйства вместе с Академией наук не собрать вместе ученых, специалистов, практиков, руководящих работников Сибири и Северного Казахстана и не поговорить, что называется, по душам, найти наиболее правильное решение о сроках сева применительно к отдельным зонам, районам?

Должен оговориться: одно такое совещание уже было — проводилось оно лет пять тому назад в Сибниисхозе. На этом совещании с докладом от имени Академии сельскохозяйственных наук выступал товарищ Кралин. Он ратовал за ранние сроки сева в Сибири и Северном Казахстане. А выступивший с докладом Т. С. Мальцев убедительно опроверг утверждения докладчика. Совещание приняло рекомендации об оптимальных сроках сева. Только одна делегация — от Челябинской области — осталась тогда при своем мнении: она стояла за ранние сроки сева.

Совещание, безусловно, сыграло свою положительную роль. Но за прошедшие пять лет накоплен богатейший опыт казахстанцев и сибиряков, достаточно проверены все сроки сева — от самых ранних до самых поздних. Можно и должно уже сделать выводы. Почему же медлит, скажем, Академия сельскохозяйственных наук?

Уж не потому ли, что в прошлой дискуссии доклад представителя академии не нашел поддержки у сибиряков?

Обида, как известно, плохая помощница в деле.

А вопрос о сроках сева не терпит отлагательства. Ведь каждый год вносит большие изменения в сельское хозяйство. Не так еще давно вопрос о сроках сева в Сибири стоял так: сей как можно раньше, иначе вообще не отсеешься. И это понятно: техники было маловато, весенний сев продолжался 40 и даже 50 дней. Тут какой-нибудь посев да попадал в точку.

А ведь уже в прошлом году многие хозяйства Омской области имели возможность посеять основную культуру — яровую пшеницу — за 7—10 дней. Заглянем на два-три года вперед, представим себе новую технику, бурным потоком идущую на поля Сибири и Казахстана. Ведь тогда весенний сев будет завершаться в 4—5 дней. Ошибись в этих условиях с выбором срока сева, как ошибся в 1957 году совхоз «Розовский», — поставишь под угрозу весь урожай!

Многолетняя практика сибирского земледелия свидетельствует о том, что выбор правильных сроков ярового сева — это один из важнейших резервов повышения урожая зерновых, да и не только зерновых культур. И чем скорее этот огромный резерв будет поставлен на службу Родине, тем быстрее хлеборобы Сибири и Казахстана выполнят задания семилетнего плана по производству сельскохозяйственной продукции.

г. Омск.



---

А. МАЛЫШ

*Кандидат экономических наук*

★

## ЗА ПАРАДНЫМ ФАСАДОМ

**О**бусловленный рядом искусственных факторов, послевоенный бум в развитых капиталистических странах основательно вскружил голову недалевидным буржуазным экономистам. Преисполненные действительного или деланного благодушия, они принялись воспевать «счастливый XX век».

Они уверяют, что капитализм избавился от тяжелых болезней своего прошлого и вступил теперь в полосу небывалого процветания. Экономика империалистических государств, и особенно США, превозносится ими как живое воплощение гармоничного развития отраслей народного хозяйства. Утверждается, что отказ от прежнего принципа «laissez faire», то есть невмешательства государства в экономическую жизнь, обеспечивает наилучшие условия для развития научной и инженерной мысли.

Если верить защитникам буржуазного строя, в капиталистическом мире нет сейчас помех, сдерживающих движение вперед науки и техники. Так ли это?

Обратимся к фактам. Не претендуя на всестороннее освещение этого вопроса, попытаемся охарактеризовать лишь в общих чертах действительное положение вещей, используя для этой цели преимущественно свидетельства самих буржуазных деятелей.

### 1

Современный капитализм раздирают острее противоречия, коренящиеся в существе его природы. Явления кризисов перепроизводства, хронической недогрузки производственных мощностей, социальных контрастов стали слишком уж очевидными. И не случайно в среде буржуазии все чаще раздаются озабоченные голоса о том, что, мол, «не все благополучно в королевстве датском». Вольно или не вольно беря на себя роль исцелителей, разного рода теоретики ломают голову в поисках спасительных рецептов, между тем как «пациент» болен безнадежно.

Никакие действия буржуазных правительств и заклинания их ученых прислужников не в силах переделать или отменить объективные экономические законы. История показывает, что нельзя исправить внутренние пороки реакционного общественного механизма искусственными мерами, в духе, например, пресловутых компромиссов английского экономиста Джона Кейнса, выступившего с теорией «регулируемого капитализма» и ратовавшего, в частности, за снижение реальной заработной платы в интересах роста рентабельности капитала.

Совсем недавно, лет пять назад, возникла еще одна модная теория — «второй промышленной революции». Ее проповедники — буржуазные и правосоциалистические экономисты — провозглашают происходящие ныне преобразования в технике «новой ступенью хозяйственного развития», которая ведет к высокому жизненному уровню народных масс в условиях капитализма и сулит автоматический переворот в производственных отношениях. Смешивая в одну кучу такие понятия, как «техника» и «экономика», что вообще характерно для новейших буржуазных теорий, профессор Карло Шмид в своем докладе на съезде СДПГ в Мюнхене в 1956 году объявил, что автоматизация призвана «коренным образом изменить структуру общества». Он утверждал,



что появилась техника, которая «коренным образом меняет наш общественный строй, наши формы политической жизни, даже сами формы человеческого существования».

Налицо прямая и сознательная фетишизация техники. Всерьез утверждается, что автоматизация будто бы в состоянии изменить производственные отношения людей, в силу чего в капиталистическом обществе могут исчезнуть присущие ему противоречия и антагонизмы.

Подобного рода наукообразные домыслы шиты белыми нитками. Цель их видна невооруженным глазом: попытаться найти новые, оригинальные способы отвлечения рабочих от классовой борьбы за победу социализма. Зачем, мол, выступать против капитализма, если найдено средство — совершенствование техники,— способное изменить капиталистический общественный строй.

Очевидна и абсурдность теории «второй промышленной революции». Бесспорно, в технике происходят поистине великие изменения. Открытие атомной энергии и перспективы ее мирного применения, широкое развитие механизации и автоматки — все это знаменует новый этап в покорении человеком природы, но само по себе никак не может привести к тем социальным изменениям в капиталистических странах, о которых толкуют буржуазные экономисты. Наоборот, в условиях капиталистического общественного строя технический прогресс приносит новые беды трудящимся — усиление мощи монополий, чудовищную эксплуатацию, увеличение резервной армии и так далее.

В настоящее время, даже при пока еще относительно небольшом размахе автоматизации, в США, Западной Германии и других капиталистических странах наблюдается обесценение рабочей силы, бешеная интенсификация труда занятых рабочих, подтверждением чего является, в частности, заметный рост несчастных случаев и ранней инвалидности на производстве. Это влечет ответные выступления рабочего класса, вплоть до массовых забастовок, против технического прогресса. Так, в Англии на автомобильном заводе в Ковентри свыше десяти тысяч рабочих прекратило работу, требуя возвращения на завод своих товарищей, уволенных в связи с автоматизацией. Много было и других забастовок, вызванных аналогичными причинами.

Ясно одно: как бы ни были значительны перевороты в технике капиталистического производства, они не могут превратиться в фактор, революционизирующий основные устои капитализма, не в состоянии преобразовать производственные отношения, создать какую-то новую экономическую структуру общества. Единственный путь к этому — свержение капиталистического строя.

## 2

Мы живем в знаменательную эпоху великих революционных свершений. Социализм стучится уже во все двери обветшалого капиталистического здания. Конечно, это вовсе не значит, что теперь вообще исчезли перспективы развития экономики на базе капитализма. Марксистское положение о неизбежности конфликта между производительными силами и капиталистическими производственными отношениями отнюдь не отрицает возможности роста производства и его научно-технического совершенствования. Напротив, марксизм-ленинизм решительно отвергает теорию так называемой стагнации, то есть застоя, закупорки производительных сил, как не имеющую ничего общего с подлинной наукой. В. И. Ленин характеризовал империализм как загнивающий и умирающий капитализм. Но он же предупреждал: «Было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма; нет, отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, отдельные страны проявляют в эпоху империализма с большей или меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций».

В последние десять — пятнадцать лет техника шагнула далеко вперед, в том числе и в капиталистическом мире. Однако в отличие от СССР, которому, как указывал Н. С. Хрущев в докладе на XXI съезде КПСС, чуждо использование успехов науки и техники для проведения воинственной политики и навязывания своего диктата другим государствам, технический прогресс в главных капиталистических странах определяется в основном военными факторами. Научно-технический потенциал здесь поставлен на службу «холодной войне», организованной монополиями США, ревностно исполняющими функции международного жандарма — душителя свободы и независимости народов.

В одном лишь 1957 году министерство обороны США ассигновало на исследовательскую работу по новым видам оружия и их испытание пять с лишним миллиардов долларов.

Важнейшие открытия буржуазных ученых рождались в условиях подготовки и проведения второй мировой войны. Так, в связи с освоением управляемых снарядов и радарных установок получил развитие целый ряд процессов электроники, являющихся существенным звеном современной автоматизации. Проектированию и строительству атомных электростанций предшествовали эксперименты с атомным оружием, сначала в США, а позднее и в Англии.

Можно было бы сослаться также на пример авиационной промышленности, достижения которой в странах капитала всецело обусловлены заказами военного ведомства. Но предоставим слово самим американцам. Видный физик Джон Р. Даннинг писал в журнале «Нью-Йорк таймс мэгэзин» в ноябре 1957 года: «Послевоенное развитие в большой мере было основано на фундаментальных исследованиях военной времени, предпринятых и финансируемых для военных надобностей». Этот справедливый вывод применим, конечно, не только по отношению к США, но и к другим государствам, участникам агрессивных блоков.

Итак, питательной средой научно-технического прогресса в капиталистических странах в наши дни служит прежде всего милитаризация экономики, стремление монополистов создать материальные ресурсы, нужные им для проведения авантюристической политики «с позиции силы», политики войны и военного шантажа.

С другой стороны, промышленно-финансовые монополии вынуждены идти вперед по пути совершенствования производства из-за конкуренции, ставшей в последние годы более острой, чем когда-либо прежде. Между капиталистическими хищниками, при всей общности их политических целей, усиливается ожесточенная борьба на внутреннем и внешнем рынках.

Не какие-либо особые, возвышенные принципы, не интересы общественного блага, а расчеты на максимальную наживу либо же угроза оказаться раздавленным в этой схватке понуждают предпринимателя добиваться уменьшения издержек производства. Если раньше это проще всего достигалось сокращением заработной платы рабочих, то теперь этот излюбленный прием капиталистов уже не всегда является надежной гарантией успеха. Покушение на жизненные нужды трудящихся чревато обострением классовой борьбы, развитием нежелательных для монополий форм сопротивления пролетариата. Поэтому приходится прибегать к обновлению орудий и средств труда, к замене морально устаревающего оборудования новым, более совершенным и производительным, к применению технологического процесса лучшего, чем у других производителей данного продукта.

Тенденция роста производства и научно-технического прогресса в современных капиталистических странах усиливается и таким немаловажным фактором, как мирное соревнование двух социально-экономических систем.

Советский Союз, народный Китай и другие демократические государства, образующие могучий и непрерывно крепнущий социалистический лагерь, своими выдающимися победами буквально во всех отраслях хозяйственного и культурного строительства бросили капиталистическому миру серьезный вызов. В Советском Союзе с 1954 года работает первая в мире атомная электростанция. В 1958 году дана в эксплуатацию первая очередь (на 100 тысяч киловатт) самой крупной в мире атомной электростанции мощностью 600 тысяч киловатт. Проходит швартовые испытания турбоэлектрический атомный ледокол «Ленин». В СССР создан самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц с энергией до 10 миллиардов электроновольт. Благодаря запуску советских искусственных спутников Земли и особенно многоступенчатой космической ракеты в сторону Луны открывается новая эра в истории человечества — эра освоения космического пространства. Велики успехи СССР и в других областях. Только за период после XX съезда КПСС создано и освоено свыше 4 500 новейших типов машин, механизмов и аппаратов, то есть намного больше, чем за всю пятую пятилетку.

Как известно, официальная американская пропаганда, всячески преувеличивая промышленную мощь США, без умолку шумела о якобы «индустриальной незрелости»

Советского Союза, о неизбежном снижении темпов роста нашего промышленного производства и так далее. Однако сейчас ложь и клевета уже перестают действовать на умы и настроения широкой публики, видящей неопровержимые факты. Больше того, буржуазные деятели вынуждены сами скрепя сердце и не без паники заговорить о приоритете нашей науки и техники в ряде важнейших областей. В этой связи примечательны слова доктора Э. Теллера, слышущего в Америке «отцом водородной бомбы». На вопрос телевизионной компании: «Что, по вашему мнению, в первую очередь увидит на Луне первый американец?» — ученый ответил коротко, но весьма выразительно: «Русского!» Эпизод этот произошел еще до пуска нашей космической ракеты.

Апологетам капитализма приходится считаться с очевидной реальностью осуществления главной экономической задачи СССР: достичь и превзойти в ближайшие годы показатели производства США на душу населения. Стремительный и всесторонний рост экономики СССР, как и всех социалистических стран, очень пугает главарей капиталистического строя. И вот в интересах частных монополий приводятся в действие разнообразные рычаги «государственного регулирования» экономики и прямой финансовой помощи частному бизнесу. Буржуазные правительства берут на себя львиную долю расходов по внедрению в практику новых технических достижений. Вопросами организации специальных научных исследований и продвижением их результатов в промышленность занимаются особые правительственные или парламентские комиссии.

Но было бы ошибкой не видеть на общем фоне научно-технического прогресса те факторы, которые порождают тенденцию к его задержке.

### 3

В послевоенное время в главных капиталистических странах началось почти генеральное обновление основного капитала в промышленности и на транспорте. Западная Германия и Япония приступили к нему несколько позже, лишь в самом конце сороковых годов, когда четко определилась установка международных реакционных сил на возрождение германского и японского империализма.

Однако замена устаревшего оборудования не сопровождалась, как правило, какими-либо серьезными массовыми изменениями в технике производства, действительно коренной технической реконструкцией предприятий. Вместо изношенных образцов появились станки и машины, в большинстве своем не отмеченные существенными усовершенствованиями из области радиоэлектроники, полупроводников, ультразвука, радиоактивных изотопов и других. Не нашла широкого распространения комплексная автоматизация производственных процессов. Таким образом, нынешний производственный аппарат капиталистической промышленности покоится в основном на базе традиционного оборудования. Вытеснение его принципиально новой техникой совершается не так быстро и не в таком объеме, как это может показаться, если принимать на веру рекламную трескотню буржуазной печати и радио о так называемой «второй промышленной революции».

Свидетельством этому в известной мере может служить динамика производительности труда. В Соединенных Штатах Америки средний ежегодный прирост почасовой выработки составил в период между двумя мировыми войнами три процента и почти столько же (3,1) и за 1947—1953 годы. Известный немецкий публицист Фриц Штернберг, обычно восхваляющий капиталистические порядки, говорит в своей книге «Военная и промышленная революция» (1957): «В США производительность человеческого труда в последние годы повышалась, однако, лишь чуть быстрее, чем в те годы, когда об автоматизации едва говорили». Штернберг указывает на медленные темпы развития техники на американских предприятиях, производящих гражданскую продукцию, по сравнению с военной техникой и отмечает, что частный капитал действует здесь зачастую в качестве тормоза, ослабляющего темпы внедрения автоматизации.

Не лучшим образом обстоит дело и в Англии. Правда, в течение последнего десятилетия в этой стране произошла значительная реконструкция отдельных отраслей промышленности, в частности угольной. Но ведь именно эти отрасли нахо-

дились издавна в состоянии невероятной запущенности, представляя собой ярчайший пример прозябания производительных сил. На угольных шахтах Англии применялась самая примитивная техника добычи и транспортировки угля. Вплоть до конца сороковых годов нынешнего века на откатке основной тягловой силой были пони, а иногда и люди. Шахтовладельцы, избалованные хронической безработицей, предлагали рабочим самую мизерную плату, переоборудование своих шахт считали ненужной роскошью. В ходе реконструкции, предпринятой после лейбористской национализации в угоду предпринимателям-банкротам, дотошные средства были заменены такими, которые отнюдь не являлись новым словом в мировой технике угольной промышленности. Даже буржуазные наблюдатели не скрывают, что и поныне шахтеры Англии отбой угля производят в своем большинстве вручную, лежа на боку или на спине.

Автоматизация производства в Англии пробивает себе дорогу с большим трудом, хотя заметное начало в этой области было сделано еще в период второй мировой войны, когда существовал большой и устойчивый спрос на военную продукцию. По данным, относящимся к 1957 году, на полностью или частично автоматизированных предприятиях работало всего лишь три процента общего числа занятого населения.

В одном из отчетов английского Департамента научных и промышленных исследований отмечался «предпринимательский скептицизм в отношении нового и радикального развития в технике». Авторы отчета подчеркивали, что «некоторые традиционно мыслящие предприниматели из-за их консерватизма замедляют прогресс автоматизации, как и вообще нововведений». Кстати сказать, в книге об автоматизации, выпущенной этим учреждением в 1956 году, на первом плане была помещена фотография не какого-либо отечественного предприятия, а полностью автоматизированного советского завода поршней. В пояснительном тексте перечислены все тридцать три применяемые на этом заводе машины, для обслуживания которых требуется всего лишь четыре контролера.

Прямое нежелание монополий содействовать техническому прогрессу подтверждает и американский журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт»: «Известное число английских промышленников сомневается в необходимости применения новых машин на их предприятиях. Эти хозяева английской промышленности согласны сохранить устарелое оборудование до тех пор, пока оно еще действует».

Заправилы монополий без зазрения совести надевают на производительные силы, по выражению американского публициста Стейна, «смирительную рубашку». Они проявляют заботу о новой технике лишь в тех случаях, когда расходы на ее внедрение могут возместиться в самом непродолжительном времени. Деньги на бочку! — этот исконный принцип капиталистического предпринимательства продолжает жить и теперь. Из-за алчности теряется проницательность. Отсюда — незаинтересованность во всякого рода перспективных предложениях более или менее дальнего прицела. Самые лучшие и высокопроизводительные новые машины могут превратиться в залежалые экспонаты, если они не обеспечивают сразу же получения большей прибыли, чем при традиционных методах производства. Этим, между прочим, объясняется чрезвычайно слабый спрос в США и Англии на станки с программным управлением посредством электронных устройств. Такие станки успешно прошли испытания, освоены производством, их преимущества очевидны, но применение их обходится вначале довольно дорого.

Не чем иным, как только эгоистическими интересами личного обогащения, руководствовались некоторые влиятельные круги Западной Германии, связанные с нефтяными и другими концернами, когда они организованно и настойчиво выступили недавно против рационального предложения автомобильной фирмы «Боргвардт», сулившего крупную экономию на горючем. В конечном счете фирма, опасаясь за свою судьбу, вынуждена была отказаться от этого новшества.

Аналогичные мотивы лежат и в основе действий монополий во Франции. Приведем такой пример. Увеличение производства электроэнергии является жизненной необходимостью для страны, однако французские капиталисты не захотели финансировать строительство гидроэлектростанций на реке Роне, так как эти работы рассчитаны на длительный срок и требуют крупных вложений, которые начнут приносить прибыль лишь через двадцать лет. Между тем в условиях Франции такой путь представляется лучшим решением проблемы.

Представители монополистического капитала различными способами регламентируют обмен технической информацией. Они скупают патенты на ценные изобретения и всячески вынуждают своих действительных и потенциальных конкурентов воздерживаться от всего, что способствовало бы усилению их производственно-технической мощи. Рассуждая по этому поводу, американский экономист Маршалл Е. Димок признает, что, несмотря на положение федеральной конституции «поощрять прогресс науки и полезных искусств» и провозглашенное конгрессом США «исключительное» право каждого изобретателя на свое изобретение в течение семнадцати лет, в действительности многие патенты попадают в руки корпораций, которые и распоряжаются ими по своему усмотрению, то есть практически вольны применить купленное изобретение в любых выгодных им пределах или держать его какое угодно время под спудом. Это же отмечает и известный английский буржуазный экономист С. Флоренс. В книге «Структура промышленности и управление предприятиями Британии и США» он рассказывает о практике замораживания новых изобретений как одним из методов получения максимальных прибылей. Флоренс указывает, что монополисты нередко договариваются между собой о том, чтобы препятствовать техническому прогрессу с целью сохранить свои прибыли при существующем оборудовании.

Патентные пулы и другие соглашения, объективно направленные против технического прогресса, держатся в строгой тайне, однако частенько тайное становится все же явным. Известно, например, что в послевоенный период монополии, владеющие залежами чилийской селитры, инспирировали ряд соглашений между Чили и странами — потребителями селитры с двоякой целью: иметь гарантированный сбыт и не допустить строительства заводов синтетического азота. Такие соглашения состоялись в 1947 году между Чили и Аргентиной, между Чили и Бразилией. Подобного рода сделки имеют довольно широкое распространение.

## 4

Капитал придает развитию науки и техники уродливое направление. Величайшие завоевания человеческого разума в борьбе с силами природы обращаются против человека, становятся предметом спекуляции в руках дельцов капиталистического мира.

Высвобождение энергии атомного ядра представляет собой открытие, значение которого трудно переоценить. Исключительно перспективны возможности использования атомной энергии в промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Однако правящие круги капиталистических стран, прежде всего США и Англии, это замечательное достижение — гордость мировой науки — рассматривают главным образом как средство уничтожения в подготавливаемой ими агрессивной войне и весьма мало пекутся о мирном его применении. Скорее даже наоборот — всячески этому препятствуют.

В США программа по атомной энергии разрабатывается с 1946 года специальной комиссией конгресса, но реализация ее фактически поручена частному капиталу, пользующемуся щедрыми субсидиями из средств федерального бюджета. С самого начала своей деятельности эта комиссия, во главе которой, кстати сказать, находится крупный банкир и представитель военщины адмирал Страус, выступает как послушный орган Пентагона (военное ведомство США). Об одном из первых замыслов комиссии «Бюллетень ученых-атомщиков» писал так: «Программа, которую Комиссия по атомной энергии начинает теперь выдвигать на первый план, есть прежде всего программа вооружений. В периодической печати все еще пишут об актуальном или потенциальном применении атомной энергии в мирных, гражданских целях. Но дело заключается в том, что около 80 процентов денежных средств и усилий Комиссии по атомной энергии предназначено непосредственно для продолжения и увеличения производства бомб. Эта концентрация на производстве вооружений неизбежно влечет за собой торможение гражданского применения атомной энергии».

Видные представители крупного капитала и политические деятели США в своих публичных выступлениях тщатся доказать, что мирное использование атомной энергии пока что нецелесообразно. «Развитие машин для преобразования атомной энергии в промышленно применимую энергию, — указывал в свое время в официальном заявлении бывший военный министр США Генри Стимсон, — остается задачей более поздних

исследовательских работ. Никто не в состоянии сказать наперед, сколько лет понадобится для этого. Кроме того, нужны будут многие экономические расчеты, прежде чем мы определим, в каком объеме энергия атома может заменить собой энергию угля, нефти и воды».

По существу аналогичным духом нарочитого скептицизма был проникнут также и принятый в 1946 году конгрессом США закон об атомной энергии (закон Макмагона). В нем имелась примечательная оговорка: «В настоящее время не может быть определено воздействие использования атомной энергии на современную социальную, экономическую и политическую структуру. Это область с неизвестными факторами». Такую оговорку авторы закона предпочли убрать из новой его версии (1954), но в действительности она, как указывал об этом профессор Данбер в статье, опубликованной журналом «Карент Хистори» (май 1958 года), «сохраняет свою силу и сегодня», являясь уступкой энергетическим монополиям, которые не заинтересованы в развитии нового источника энергии.

Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» поместила как-то серию статей своего обозревателя по научным вопросам Джона О'Нейл относительно предумышленной затяжки в США проектов мирного использования атомной энергии для гражданских нужд. «Военные власти,— отмечал О'Нейл,— сделали все для того, чтобы монополизировать всю область атомной энергии как чисто монопольное предприятие, в котором гражданские лица будут участвовать лишь по указанию и с разрешения военных властей... Любой возможный план использования атомной энергии на благо человечества подавляется военной кликой абсолютно и беспощадно».

Основные работы над атомными объектами для мирных целей проводились в США нарочито медленно, иногда с нарушением технологического процесса и под руководством людей, заведомо не обладавших необходимой компетенцией. Сооружение первого опытного реактора было поручено «Монсанто кемикл корпорейшн» из финансовой группы Моргана. При первом же испытании реактор сгорел, что, по отзывам печати, явилось следствием заранее обдуманных действий, рассчитанных на дискредитацию самой идеи мирного использования атомной энергии.

Существующая оппозиция мирному использованию атомной энергии обуславливается прежде всего линией правящих кругов на форсирование производства атомного оружия. Наряду с этим определенные группы монополистического капитала опасаются, что в случае расширения производства атомной энергии для мирных целей придется, во-первых, списывать в большом количестве старое оборудование раньше, чем оно придет в состояние полного физического износа; во-вторых, приобретать новое оборудование; в-третьих, разрабатывать специальные виды сырья и вообще нести расходы, неоправданные с точки зрения интересов голого чистогана.

Любопытную картину нарисовал однажды американский журнал «Кольерс». По его словам, два видных американских сенатора — Артур Ванденберг и Брайен Макмагон — рассуждали так: «Представьте себе, что кто-нибудь вдруг заявит, что он изобрел атомный локомотив, который может покрыть расстояние от Нью-Йорка до Вашингтона, израсходовав атомного горючего всего на несколько долларов. Все акции железнодорожных и угольных компаний обесценятся... Страховые компании, вложившие капиталы в железные дороги, обанкротятся, и наступит общий финансовый хаос». Вот оно, то главное, чем озабочены капиталистические акулы, — не допустить условий, которые могли бы вызвать падение курса их ценных бумаг!

Надо ли удивляться, что голосование даже относительно куцей программы ассигнований для атомной промышленности (помимо военного бюджета) в конгрессе США проходит далеко не гладко. В 1956 году Комиссия по атомной энергии предложила программу строительства крупных демонстрационных реакторов на 400 миллионов долларов. В сенате это предложение получило незначительное большинство, но в палате представителей было вовсе провалено. И лишь в результате целого ряда тактических уловок одобрение получила в конце концов урезанная программа. Во время дебатов авторитетные представители частной промышленности высказывались за ограничение правительственной доли в общей сумме средств, отпускаемых для этой цели. Национальная угольная ассоциация предлагала, например, ограничить правительствен-

ную субсидию суммой, не превышающей стоимости только одного реактора какого-либо типа.

Вследствие откровенного или, в лучшем случае, слегка замаскированного сопротивления ведущих монополий в США замедлились темпы развития атомной промышленности. Атомная установка в Шиппингпорте, работающая на обогащенном уране, является первой и пока единственной в стране атомной электростанцией. Мощность ее — 60 тысяч киловатт. Предприятие сдано в эксплуатацию в конце 1957 года, спустя три с половиной года после рождения первенца атомной энергетики — электростанции под Москвой. Следует заметить, что установка в Шиппингпорте (как и английское атомное предприятие «Колдер-Холл», а во Франции энергетический реактор «Меркул») сооружена для производства расщепляющегося элемента атомных бомб — плутония, электроэнергия получается здесь только как побочный продукт. По некоторым данным, мощность атомных электростанций США к 1964 году не будет превышать 1,6 процента установленной мощности всех электростанций страны.

Как известно, для США отнюдь не праздной является проблема получения нефтепродуктов из других видов сырья. К ним относятся глинистые сланцы, огромные запасы которых, причем с поверхностным залеганием, были обнаружены сравнительно недавно в штате Колорадо, а также лигнит — низкосортный уголь, имеющийся в большом количестве в недрах Северной Дакоты. По вопросу о будущем обоих видов сырья развернулась ожесточенная борьба с участием крупнейших нефтяных компаний и тех промышленников, которым добыча и переработка сланцев и лигнита обещала изрядные барыши. «Нефтепромышленники, — пишет американский публицист и экономист Харвей О'Коннор в своей книге «Империя нефти», — решительно сопротивляются всяким усилиям, которые направлены на развитие других источников их продукта. Их ответом на преследующие нас страхи об исчерпании запасов нефти всегда является цена. Если 2,9 доллара не соблазняют один баррель выйти из земли, то это сделают 4 и 5. Им нет дела до интересов потребителя».

Эти факты, которые можно было бы умножить, служат неопровержимым свидетельством реакционной роли современных капиталистических монополий, препятствующих назревшим требованиям дальнейшего развития производительных сил.

## 5

Известное марксистское положение гласит, что наука зависит от состояния и потребностей техники, что определенные технические потребности общества способны продвигать науку вперед больше, чем десяток университетов. Вместе с тем и уровень науки и образования в свою очередь влияет на развитие техники, может его сдерживать или поощрять. «В техническом прогрессе, — справедливо указывает видный английский физик, лауреат Нобелевской премии Джордж Томсон, — участвуют три основных элемента: знание, энергия и материалы... Знание, безусловно, является главным из них; без него остальные два элемента бесполезны».

В главных капиталистических странах наблюдается в течение последних лет очевидное несоответствие системы образования и научной деятельности современным условиям жизни общества. Сама буржуазная печать вынуждена очень часто говорить о кризисе и упадке народного образования, о неподобающе тяжелой участи ученых, о недостатке образованных кадров инженеров и научных работников. Упомянувшийся выше американский ученый Джон Р. Даннинг писал еще в конце 1957 года: «Раньше мы обладали монополией ядерного оружия, мы, а не русские воспользовались услугами лучших немецких специалистов по ракетам. Теперь мы потеряли в основном наше ведущее место в области атомных вооружений, мы, по-видимому, идем наравне с русскими в производстве водородного оружия, мы плетемся явно позади русских в деле ракетостроения». Он объясняет все это забвением нужд науки и тем фактом, что в США для целей образования выделяется государственных средств «не больше, чем на производство табачных изделий».

Не будет преувеличением сказать, что наука в капиталистических странах — это содержанка частного капитала. Научно-исследовательские институты и лаборатории высших учебных заведений, как правило, зависят от милости опекающих их

крупных банков и промышленных объединений. Не лучше и положение школ, которым доверено воспитание и образование подрастающего поколения. Вот почему они влчат жалкое существование. По свидетельству журнала «Лайф» (май 1958 года), в США школьные помещения страшно тесны и неудобны, многие дети обучаются в зданиях, построенных на скорую руку. Учителей мало, большинство из них довольствуется крайне низкой заработной платой, а некоторые по своей квалификации и этого не стоят. В школах отсутствуют необходимые учебные принадлежности.

Тот же журнал сокрушается, что поразительно небольшой процент студентов высших учебных заведений изучает то, что принято называть фундаментальными предметами (basic subjects). Высшую математику проходят только 12,5 процента общего числа студентов, физику — 25 процентов. Современными иностранными языками овладевают менее 15 процентов студентов. Журнал пишет, что в то время, когда 10 миллионов русских изучают английский язык, русским языком занимаются только 8 тысяч американцев. Диплом низведен на уровень ничего не значащей бумажки, а преподаватели, которым приходится подписывать диплом, испытывают при этом «большие угрызения педагогической совести».

Наука и ее деятели не пользуются в Соединенных Штатах Америки почетом и уважением. Молодежь не привлекает научная деятельность. В органах конгресса США неоднократно отмечалось, что страна настоятельно нуждается в увеличении числа инженерно-технических кадров различных специальностей, ей не хватает инженеров и ученых. Само собой разумеется, что это затрудняет развитие и применение новой техники.

Таковы некоторые факты, вскрывающие изнанку капиталистического «рая». Они показывают, что за внешним фасадом, даже в фазе известного оживления и подъема производства, происходит процесс загнивания экономики. Так еще и еще раз подтверждается гениальная прозорливость В. И. Ленина, обнаружившего те глубинные тенденции империализма, которые предопределяют его неизбежную гибель.

Вынужденные под давлением обстоятельств совершенствовать технику производства, монополии в то же время выступают как реакционная сила на пути научно-технического прогресса. И никакими потугами буржуазных теоретиков нельзя завуалировать все более обостряющиеся противоречия между нынешним характером производительных сил и капиталистическими производственными отношениями.





---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Л. БЕЗЫМЕНСКИЙ

★

## НЕИСПРАВИМЫЕ

1941 ГОДА, ИЮЛЯ 16 ДНЯ...

**Т**ак часто пишут в канцелярских документах — метрических выписках, справках, удостоверениях. Откуда пошел такой порядок написания дат? От него сразу веет древностью пергаментных свитков, прилежностью приказных, скрипом гусиных перьев. Надо полагать, что первый дьяк, написавший дату именно в таком порядке — сначала год, потом число, — руководствовался вполне здоровой идеей: пускай при чтении документа бросается в глаза в первую очередь год, а лишь затем число. В те медлительные времена, когда история двигалась вперед с небольшой скоростью, и вправду было неважно, какого числа случилось то или иное событие.

Однако не архаичности ради я именно таким образом написал дату в заголовке первого раздела этого очерка: мне хотелось воспользоваться этой идеей — поставить на первое место год, чтобы сразу на место стало все будущее повествование.

Итак, 1941 год, середина июля. Начало войны — тяжелое, горькое, героическое. Еще не было Курска, Сталинграда, Москвы. Еще даже не было Ельни и Тулы. Был Брест, — но полную правду о Бресте тогда знали только героические борцы в казематах крепости.

1941 год, 16 июля. В этот день войска Северо-Западного фронта вели бои с дивизиями группы армий «Север», вышедшей к реке Луге. Город Ленина спешно готовился к обороне: немцам от Луги до Ленинграда оставалось около 150 километров. На центральном участке советско-германского фронта в этот день передовые отряды 4-й немецкой армии ворвались в Смоленск. От Смоленска до Москвы триста пятьдесят километров. В тот же день войска группы «Юг» возобновили движение от Белой Церкви на юг. В штабе генерал-фельдмаршала Рунштедта считали: до Киева — около ста километров.

Именно в этот день ровно в 15.00 в ставке верховного командования немецких вооруженных сил шесть человек в военной и полувоенной форме направились в зал для оперативных совещаний. Собственно говоря, обычное оперативное совещание в тот день уже состоялось. Начальник оперативного отдела генштаба генерал-майор Адольф Хойзингер уже доложил своему тезке положение дел на Восточном фронте, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель сообщил несколько малозначащих новостей из Греции и Югославии, все указания командующим были даны. Но это дневное совещание обещало быть куда более важным: недаром, кроме военных, в числе присутствовавших находились два рейхслейтера<sup>1</sup> и один рейхсминистр. Шесть человек во главе с фюрером вошли в зал в три часа дня и, если не считать короткого перерыва, оставались там добрых пять часов — до восьми вечера.

Это небольшое вступление предпосылается публикации одного документа, который в полном тексте еще не известен советскому читателю, хотя в числе сотен других был представлен во время Нюрнбергского процесса главных немецких военных преступников (его номер L-221). Документ представляет собой запись совещания, состоявшегося 16 июля 1941 года в ставке Гитлера. Участники — Гитлер, Геринг, Кейтель, Борман, министр по делам восточных территорий Розенберг, рейхсминистр Ламмерс. Запись при-

---

<sup>1</sup> Высшее звание в нацистской партии.

надлежит Борману. Тема совещания: судьба Советского Союза после завоевания его гитлеровской Германией...

Сегодня — спустя сорок один год после Великого Октября, почти через сорок лет после разгрома гитлеровского вермахта и нацистского режима — мы с высоты наших побед видим неколебимость нового, социального строя и обреченность наших врагов. Но история любит жестоко смеяться над теми, кто не понимает ее законов. Некоторые ее архивы с течением времени превращаются в колоссальный сатирический сборник, в котором по заслугам воздается каждому политическому деятелю, пытавшемуся идти против мощного течения человеческого прогресса, желавшему повернуть вспять этот великий поток. Смех, гласит знаменитая поговорка, убивает. Это верно даже по отношению к мертвым. Но стоит добавить: смех учит. Разглядывая колоссальный паноптикум истории, мы не только смеемся над многими незадачливыми фигурами, над горе-героями «тысячелетнего рейха», но и учимся: учимся ненавидеть, учимся бороться против всех возможных наследников Гитлера и гитлеризма.

Вот почему из архива истории очень полезно извлечь упомянутый мною документ. Он в «третьем рейхе», разумеется, никогда не публиковался. Недаром на нем стоит гриф: «Geheime Reichssache», то есть «Секретный документ государственной важности». Так обозначалась высшая степень секретности в гитлеровском делопроизводстве. Документ никому и никогда не рассылался и, очевидно, лежал в сейфе Бормана до мая 1945 года. Не бывало на него ссылок и в официальных речах и директивах. Это был разговор «сугубо между собой», разговор шести оберфюреров гитлеровской империи в момент, когда они ни на секунду не сомневались в своей победе и собрались на совещание, дабы «решить» дальнейшую судьбу Советского Союза.

Привожу весь текст меморандума Бормана без сокращений, со всеми, зачастую второстепенными, деталями. Авторские примечания в сносках — лишь краткий попутный комментарий.

### СЕКРЕТНЫЙ МЕМОРАНДУМ БОРМАНА

«Ставка фюрера 16.7.1941 г.

Секретный документ государственной важности.

Запись для архива.

По указанию фюрера сегодня в 15 часов у него состоялось совещание с участием рейхслейтера Розенберга, рейхсминистра Ламмерса<sup>1</sup>, фельдмаршала Кейтеля, рейхсмаршала<sup>2</sup> и меня. Совещание началось в 15 часов и, включая перерывы на кофе, длилось до 20 часов.

Открывая совещание, фюрер заявил, что он хочет сделать несколько принципиально важных заявлений. Сейчас необходимо провести ряд мероприятий. Это доказывает, между прочим, бесстыдный выпад одной вишйской газетки, заявившей, будто война против Советского Союза есть война для всей Европы, и ее, дескать, нужно вести на пользу всей Европе. Очевидно, вишйская газета хочет подобными намеками добиться того, чтобы из этой войны извлекали пользу не только немцы, но и все европейские государства<sup>3</sup>.

Важнее всего, чтобы мы не выдавали всему миру наших целей. Это вовсе не нужно. Главное заключается в том, чтобы мы сами знали, чего мы хотим. Мы не должны затруднять себе путь излишней болтовней. Болтовня не нужна. Если у нас хватит сил —

<sup>1</sup> Ламмерс — начальник имперской канцелярии Гитлера. После войны был осужден американским военным трибуналом. Умер.

<sup>2</sup> Геринг. Борман во всем документе именуется только по званию.

<sup>3</sup> Сейчас трудно установить, какая именно статья вызвала раздражение фюрера. Важнее отметить другое: высказывание Гитлера бесстыдно обнажает лживость так называемой «европейской пропаганды», которую развернул Геббельс в 1941 году. В то время все нацистские листки утверждали, что, мол, немецкие солдаты «умирают за Европу». Номер «Фелькишер Beobachter» от 22 июня 1941 года открывался большой статьей под заголовком: «Судьба Европы в руках наших солдат». Эта геббельсовская версия продержалась до послевоенных лет. Так, генерал войск СС Пауль Хауссер в своей книге «Войска СС в боях» (1949 год) провозглашает, что эсэсовские войска были «авангардом европейской идеи». В записях Бормана мы видим еще одно дополнительное свидетельство тому, что «европейские разговоры» — бесстыдная ложь. Гитлеровский вермахт не умирал за Европу. Он заставлял Европу умирать за себя.

мы можем достичь всего; но того, что лежит за пределами наших сил, мы все равно достичь не сможем.

Перед лицом мировой общественности мы должны мотивировать наши шаги, руководствуясь тактическими соображениями. Мы должны сейчас действовать точно так, как в Норвегии, Дании, Голландии и Бельгии. Тогда мы ничего не говорили о наших намерениях, и мы поступим разумно, если и впредь будем делать так же.

Итак, мы снова будем подчеркивать, что вынуждены оккупировать территории, навести на них порядок и обеспечить безопасность; в интересах местного населения мы-де обязаны позаботиться о спокойствии, снабжении, транспорте и т. д. и т. п. Для этого и вводятся наши порядки. Никто не должен догадываться, что эти порядки — окончательные. Все необходимые меры — расстрелы, выселение и т. д. — мы проведем, несмотря ни на что.

Мы не должны наживать себе врагов преждевременно и без нужды. Мы должны действовать так, как будто осуществляем некий мандат. Однако для нас самих должно быть ясно, что из этих областей мы никогда не уйдем<sup>1</sup>.

Речь идет о следующем:

1. Не мешать окончательному урегулированию, исподтишка готовить его.
2. Подчеркивать, что мы несем свободу.

В частности:

Крым следует очистить от всех инородцев и заселить немцами. Бывшая австро-венгерская Галиция подлежит включению в рейх. Наши отношения с Румынией сейчас хороши, но кто знает, как они сложатся в будущем! Поэтому надо быть готовым ко всему, в том числе быть готовым ко всему и в вопросе о границах. Не надо полагаться на благожелательство других; вот основа для наших отношений с Румынией.

В принципе речь идет о том, чтобы удобно разделить огромный пирог, дабы мы могли им:

- во-первых, овладеть,
- во-вторых, управлять,
- в-третьих, эксплуатировать.

Русские теперь отдали приказ вести партизанскую войну за линией нашего фронта. Эта партизанская война имеет свои преимущества: она дает нам возможность истребить всех, кто идет против нас.

Основные принципы:

Нельзя допустить существования каких-либо вооруженных сил западнее Урала — даже если для достижения этой цели нам пришлось бы вести войну сто лет. Все преемники фюрера должны знать: безопасность рейха обеспечена лишь тогда, когда западнее Урала нет чужеземной военной силы. Охрану этого района от всех возможных угроз берет на себя Германия. Железный принцип на веки веков: никому, кроме немца, не должно быть дозволено носить оружие!

Это особенно важно. На первый взгляд кажется — проще привлечь к военной помощи какие-либо другие, подчиненные нам народы. Но это ошибка! Это рано или поздно обратится против нас самих! Только немец может носить оружие — не славянин, не чех, не казак, не украинец!

Мы не должны вести «политику качелей», как в Эльзасе до 1918 года. Для англичан характерно, что они всегда равномерно преследуют одну цель и проводят одну линию. В этом отношении мы должны обязательно учиться у англичан. Следовательно, мы не должны ставить нашу политику в зависимость от личностей. И в этом смысле поведение англичан в отношении индийских князей дает нам пример. Только солдаты могут обеспечить устойчивость режима!

Из завоеванных восточных областей мы должны сделать райский сад. Они для нас жизненно важны. Колонии играют совершенно второстепенную роль.

Если мы уже сейчас приступим к отделению некоторых областей, то мы должны выступать в роли защитников прав и интересов населения. Соответственно этому надо подыскать формулировки. Мы говорим сейчас не о новой имперской территории, а о задачах, выдвигаемых войной.

<sup>1</sup> Это было сказано 16 июля 1941 года. Последний оккупант был выброшен с советской земли в мае 1945 года (в Прибалтике).

В частности:

В Прибалтике должна быть взята под управление территория до Двины (по согласованию с Кейтелем).

Рейхслейтер Розенберг подчеркивает, что, по его мнению, в каждом комиссариате необходимо различное обращение с населением. На Украине надо обеспечить культурную работу, мы должны пробудить историческое самосознание украинцев, основать университет в Киеве и т. п.<sup>1</sup>

Рейхсмаршал, напротив, считает необходимым в первую очередь позаботиться об обеспечении нашего продовольственного снабжения, обо всем остальном придется думать гораздо позднее. Побочный вопрос: существует ли вообще культурная прослойка среди украинцев или она есть только среди эмигрантов, находящихся вне пределов нынешней России?

Розенберг продолжает, он предлагает поддержать на Украине известные стремления к самостоятельности.

Рейхсмаршал просит фюрера сообщить, какие территориальные обещания он дал другим государствам.

Фюрер отвечает, что Антонеску хочет Одессу и Бессарабию, а также полосу, идущую от Одессы к западу и северо-западу.

На упреки рейхсмаршала и Розенберга фюрер возражает, что новая граница, которую просит Антонеску, мало чем отличается от старой. Затем фюрер подчеркивает, что венграм, туркам и словакам не обещано ничего определенного.

Затем фюрер ставит на обсуждение вопрос — стоит ли бывшую австро-венгерскую часть Галиции включить в генерал-губернаторство. В ответ на возражения фюрер решает, что эта область (Львов) не войдет в генерал-губернаторство, а будет лишь подчинена рейхсминистру Франку.

Рейхсмаршал заявляет, что считает нужным включить в состав Восточной Пруссии некоторые районы Прибалтики (например, Белостокские леса).

Фюрер подчеркивает, что вся Прибалтика должна стать частью рейха; в рейх также следует включить Крым с значительным хинтерландом (районы севернее Крыма). Хинтерланд должен быть значительного размера. Розенберг выражает сомнения, указывая на украинское население. (Кстати: Розенберг часто говорит об украинцах, он хочет значительно увеличить старую Украину.)

Затем фюрер заявляет, что приволжская колония<sup>2</sup> должна стать частью рейха, равно как и район вокруг Баку. Этот район должен быть немецкой концессией (военным поселением).

Финны хотят заполучить Восточную Карелию, однако из-за наличия большого никелевого месторождения на Кольском полуострове последний отойдет к Германии.

Крайне осторожно надо начать подготовку присоединения Финляндии в качестве федерального государства. Финны претендуют на район Ленинграда. Однако фюрер сначала сравнивает Ленинград с землей, а затем отдаст его финнам.

Затем начинается долгая дискуссия о пригодности гаулейтера Лозе<sup>3</sup>, которого Розенберг предлагает на пост губернатора Прибалтики. Розенберг неоднократно повторяет, что он уже столкнулся с Лозе, и будет весьма неудобно, если Лозе не получит

<sup>1</sup> Не следует полагать, что запись Бормана обеляет Альфреда Розенберга. «Культурную работу» рейхслейтер Розенберг понимал весьма своеобразно. Он подробно развивал свои взгляды на эту проблему в секретном меморандуме на имя Гитлера от 15 июня 1939 года, в котором писал: «В период войны для создания нового порядка на всей Восточной территории, помимо чисто военного ее захвата, имеет решающее значение политико-психологическая обработка населения. Она может преследовать такие цели: с одной стороны, облегчить проведение военных операций, с другой стороны — использовать отдельные национальности в немецких интересах» (меморандум за № 4617/39, документ Нюрнбергского процесса № PS-1365).

<sup>2</sup> Имелась в виду АССР Немцев Поволжья.

<sup>3</sup> Лозе — до начала войны депутат рейхстага от нацистской партии, группенфюрер СА, гаулейтер Шлезвиг-Гольштейна. С октября 1941 года являлся рейхскомиссаром Остланд (Прибалтики). Палач народов Литвы, Латвии, Эстонии. Оттуда бежал вместе с немецкими войсками, попал в плен к западным союзникам. Получил 10 лет тюрьмы, однако отсидел лишь 3 года. Сейчас живет в ФРГ и получает пенсию как «отставной чиновник».

этого поста. Западную часть Прибалтики пусть получит Кубе<sup>1</sup>, который будет подчинен Лозе. Для Украины Розенберг предложил Заукеля<sup>2</sup>.

Ему возражает рейхсмаршал. Он снова подчеркивает главные принципы, которые для нас важнее всего: обеспечение снабжения; насколько возможно — функционирование экономики; обеспечение путей сообщения.

Рейхсмаршал заявляет, что для Прибалтики подходит Кох<sup>3</sup>, — он хорошо знает ее. В ином случае Коху надо дать Украину, где он будет хозяйничать наилучшим образом, ибо Кох — личность инициативная и у него есть подготовка.

Фюрер спрашивает: а может быть, Кубе подходит в качестве рейхскомиссара для Московской области? Розенберг и рейхсмаршал отвечают, что он слишком стар.

В ходе дальнейшей дискуссии Розенберг заявляет: он боится, что Кох скоро выйдет у него из повиновения; тот, мол, и сам признавался в этом.

В ответ на это рейхсмаршал замечает: пускай Розенберг не шпигует своих подчиненных с утра до вечера; они должны когда-нибудь работать самостоятельно...

Для Кавказа Розенберг подыскал своего начальника штаба Шкеданца<sup>4</sup>. Он несколько раз повторяет, что тот, безусловно, хорошо справится с этой задачей. Рейхсмаршал сомневается.

Затем Розенберг заявляет, что Лутце<sup>5</sup> предложил ему использовать ряд командиров СА, в том числе: Шеппмана<sup>6</sup> — в Киеве, Мантея, д-ра Беннеке<sup>7</sup>, Лицмана<sup>8</sup> — в Эстонии, бургомистра д-ра Дрекслера<sup>9</sup> — в Латвии.

Фюрер не возражает против использования командиров СА.

Затем Розенберг сообщает, что получил письмо от Риббентропа, который хочет подключить свое ведомство. Однако он (Розенберг) просит фюрера подтвердить, что установление порядков в новых районах не касается министерства иностранных дел. Фюрер согласен. Достаточно того, что министерство пошлет к рейхслейтеру Розенбергу чиновника для связи.

Фюрер подчеркивает, что на ближайшие три года самым важным районом будет, безусловно, Украина. Поэтому лучше послать Коха именно туда. Если искать место для Заукеля, то следует использовать его в Прибалтике.

<sup>1</sup> Кубе — один из «старых борцов» гитлеровской банды. В 1941 году ему было 58 лет. Кубе начал карьеру депутатом прусского государственного совета от НСДАП, затем был депутатом рейхстага, оберпрезидентом в Берлине и Познани, гаулейтером провинции Курмарк. В 1941 году Кубе получил пост генерального комиссара в Белоруссии. За совершенные им зверства был убит нашими партизанами в 1943 году.

<sup>2</sup> Заукель — обергруппенфюрер СС. Назначения на Восток так и не получил, так как с 1942 года стал генеральным уполномоченным по рабочей силе. Главный организатор массового угона миллионов людей из всех оккупированных стран в гитлеровское рабство.

<sup>3</sup> Кох — обергруппенфюрер СС, занимал в «третьем рейхе» важнейшие посты, в том числе был гаулейтером Восточной Пруссии. Был назначен рейхскомиссаром на Украину, где проявил чудовищную жестокость. Любимым изречением Коха было: «Если я найду украинца, достойного сесть со мной за один стол, то и его я велю расстрелять». После краха гитлеризма скрывался под фамилией «Бергер», был сельскохозяйственным рабочим около Гамбурга. Его обнаружили и передали польским властям. На совести Коха — 72 тысячи поляков и 200 тысяч евреев, уничтоженных на польской земле по его приказу. Судебный процесс состоялся в конце 1958 — начале 1959 года.

<sup>4</sup> Шкеданец — выходец из Риги, прибалтийский немец. Ближайший помощник Розенберга по внешнеполитическому бюро. Считался специалистом по вопросам «идеологии». В 1945 году покончил жизнь самоубийством.

<sup>5</sup> Лутце — начальник штаба отрядов СА. Умер в 1943 году.

<sup>6</sup> Шеппман — один из командиров отрядов СА, после смерти Лутце в 1943 году занял его пост начштаба СА. После мая 1945 года скрывался в Западной Германии под чужой фамилией, был арестован, однако «денацифицирован» без особого труда. Начал снова политическую деятельность в ФРГ как депутат окружного собрания представителей от реваншистского «общегерманского блока». Получает пенсию.

<sup>7</sup> Мантей — бывший офицер рейхсвера, обергруппенфюрер СА, д-р Беннеке — чиновник СА.

<sup>8</sup> Лицман — обергруппенфюрер СА, получил в 1941 году пост генерального комиссара в оккупированной Эстонии. Дальнейшая судьба Мантея, Беннеке и Лицмана автору не известна.

<sup>9</sup> Дрекслер — нацистский чиновник. Судьба его неизвестна.

Розенберг заявляет, что хотел бы использовать в Московской области в качестве комиссаров Шмеера, Зельцнера и Мандербаха <sup>1</sup>.

Фюрер изъявляет желание использовать Хольца <sup>2</sup>, а управление Крымом передать бывшему гаулейтеру Фрауэнфельду <sup>3</sup>.

Розенберг объявляет, что хочет найти пост для капитана фон Петерсдорфа <sup>4</sup> — человека заслуженного. Все взмушены; все протестуют. Фюрер и рейхсмаршал заявляют, что фон Петерсдорф, без сомнения, психопат.

Затем Розенберг сообщает, что ему предложили для использования кандидатуру штутгартского обербургомистра Штрелина <sup>5</sup>.

Ввиду того, что, по мнению рейхсмаршала и Розенберга, Кубе слишком стар для Московской области, эту область должен принять Каше <sup>6</sup>.

(Заметка для Клопфера: срочно подготовить данные по организационной структуре и по назначениям.)

Рейхсмаршал заявляет, что хотел бы передать Кольский полуостров для эксплуатации гаулейтеру Тербовену <sup>7</sup>. Фюрер согласен. Фюрер заявляет, что если Лозе чувствует себя в силах, то он должен взять себе Прибалтику, Каше — Москву, Кох — Украину, Фрауэнфельд — Крым, Тербовен — Кольский полуостров и Шикеданц — Кавказ.

Затем рейхсleiter Розенберг поднимает вопрос об охране органов оккупационной администрации.

Фюрер говорит рейхсмаршалу и фельдмаршалу <sup>8</sup>, что всегда настаивал на выделении танков для полицейских полков. Это совершенно необходимо для действий полиции в новых восточных областях. С надлежащим числом танков полицейские полки смогут достичь многого. В остальном же, добавляет фюрер, сеть охранных войск, естественно, очень тонка. Пускай рейхсмаршал перенесет все свои учебные аэродромы в новые области. Тогда в случае волнений самолеты «Ю-52» смогут бросать бомбы. Нам нужно утихомирить этот огромный район возможно быстрее. Лучше всего достичь этой цели следующим образом: расстреливать каждого, кто косо глянул!

Фельдмаршал Кейтель заявляет, что население должно само отвечать за свое поведение. Невозможно поставить охрану у каждого сарая и у каждого вокзала. Население должно знать, что каждый, кто не подчиняется, будет расстрелян и за каждый проступок последует наказание <sup>9</sup>.

На вопрос рейхсleiterа Розенберга фюрер отвечает, что нужно снова выпускать газеты (например, на Украине), чтобы получить возможность влиять на население.

После перерыва фюрер подчеркивает, что нам должно быть ясно следующее: сегодняшняя Европа — это только географическое понятие. В действительности Азия доходит до наших теперешних границ.

Рейхсleiter Розенберг докладывает о намеченных им организационных принципах; он не хочет заранее назначать постоянных заместителей рейхскомиссаров. Наиболее способные генеральные комиссары должны стать заместителями рейхскомиссаров.

При каждом рейхскомиссаре Розенберг наметил создать четыре отдела:

1 — общая администрация,

<sup>1</sup> Шмеер — деятель т. н. «трудового фронта»; Мандербах — близкий сотрудник Гесса. Дальнейшая судьба их неизвестна.

<sup>2</sup> Хольц — друг лидера расистской политики Штрейхера, отравился в апреле 1945 года.

<sup>3</sup> Фрауэнфельд — старинный друг Гитлера, деятель австрийского нацизма, гаулейтер Вены. Его часто именовали «австрийским Квислингом».

<sup>4</sup> Фон Петерсдорф — быв. сотрудник Розенберга. Сейчас живет в ФРГ.

<sup>5</sup> Штрелин — обербургомистр Штутгарта. Его упоминание в списке Розенберга проливает свет на предысторию знаменитого «генеральского путча» против Гитлера 20 июля 1944 года. В этом путче Штрелин играл видную роль. Хорош «бунтарь», который начал с розенберговских милостей!

<sup>6</sup> Каше — видный деятель нацизма, вместо Москвы был послан в Хорватию, где «отличился» расстрелами партизан.

<sup>7</sup> Тербовен — обергруппенфюрер СС, гаулейтер Эссена. Был назначен рейхскомиссаром в Норвегию. После капитуляции покончил жизнь самоубийством.

<sup>8</sup> Кейтелю.

<sup>9</sup> Кейтель в Нюрнберге категорически отрицал свою причастность к расстрелам и заверял, что был «противником» подобных мер.

- 2 — политический отдел,
- 3 — экономический,
- 4 — технико-строительный.

(Заодно фюрер замечает, что нельзя допускать деятельности церкви. Папен передал ему через министерство иностранных дел длинный меморандум, в котором утверждает, что пришел момент для допущения церковной деятельности. Этого ни в коем случае разрешать нельзя<sup>1</sup>.)

Рейхсмаршал откомандирует в ведомство Розенберга министеряльдирикторов Шлотерера и Рике.

Рейхслейтер Розенберг просит о предоставлении ему соответствующего помещения. Он хочет получить дом торгпредства СССР на Литценбургерштрассе. Однако министерство иностранных дел считает здание экстерриториальным. Фюрер замечает, что это вздор. Рейхсминистру д-ру Ламмерсу поручается сообщить министерству, что здание передается Розенбергу без всяких переговоров.

Затем Розенберг предлагает выделить своего постоянного офицера связи к фюреру. Эту задачу должен выполнить адъютант Розенберга Кеппен. Фюрер соглашается и заявляет, что Кеппен будет выполнять ту же роль, что и Хевель<sup>2</sup>.

Рейхсминистр д-р Ламмерс зачитывает проекты директив.

Затем начинается долгая дискуссия о компетенции рейхсфюрера СС. Заметно, что все присутствующие имеют в виду также и компетенцию рейхсмаршала. Фюрер и рейхсмаршал неоднократно заявляют, что Гиммлер не нуждается в особой компетенции по сравнению с его правами в рейхе. Так будет лучше всего. Фюрер повторяет, что на практике очень скоро начнутся споры, однако напоминает о прекрасном взаимодействии армии и ВВС на фронтах.

Под конец принимается решение назвать Прибалтику «Остланд».

### «ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА» И ЕЕ АВТОРЫ

Таков полный текст записи совещания в ставке Гитлера 16 июля 1941 года, сделанной начальником партийной канцелярии фюрера Мартином Борманом, «серым кардиналом» нацистской партии.

Борман делал заметки отнюдь не для истории, а для себя и для своей канцелярии. Он очень мало заботился о стиле. Стиль, правда, оставляет желать много лучшего. Но что можно ожидать от человека, специализировавшегося на составлении приказов о расстрелах? Еще меньше, чем о стиле, Борман заботился о том, чтобы навести благообразный грим на участников совещания. Пожалуй, это единственное, за что можно быть ему благодарным. Фюреры «третьего рейха» предстают перед нами во всей своей отвратительной наготе и правдоподобности. Они не лгут («мы должны знать, чего мы хотим»), не притворяются миротворцами («расстреливать каждого, кто косо глянул»), не сюсюкают со своими сателлитами («кто знает, какими отношения станут в будущем»). Все сентименты отброшены! Благодаря непредусмотрительности Мартина Бормана восемнадцать лет спустя мы застаем фюрера и его ближайших сподвижников при дележке «огромного пирога». Ведь именно так определил Гитлер задачу совещания.

Запись Бормана — это очень серьезный документ. Важнейший документ для понимания планов всех — бывших и настоящих — врагов Советского Союза.

Напомним некоторые даты. Подготовка Гитлера к войне фактически началась в день его прихода к власти, то есть 30 января 1933 года. Но в этой подготовке были свои стадии. Одно время Гитлер был занят внутригерманскими делами; лишь затем он занялся военным планированием. В 1937—1939 годах началась штабная подготовка войны против Советского Союза. Основные указания фюрера для пресловутого плана «Барбаросса» были получены оперативным отделом генштаба в декаб-

<sup>1</sup> Любопытный штрих! В своих мемуарах Папен утверждает, что после своей отставки в 1934 году он не принимал никакого участия в деятельности нацистского правительства. Ан нет, принимал и даже писал «длинные меморандумы» Гитлеру!

<sup>2</sup> Хевель — обергруппенфюрер СС, личный представитель Гиммлера при ставке Гитлера.

ре 1940 года. Сам план «Барбаросса» (директива № 21) носит дату 18 декабря 1940 года. Однако в нем о цели войны сказано с солдафонской краткостью: «разгромить Советскую Россию путем быстрого похода». 13 марта 1941 года ставка верховного командования в одной из инструкций к директиве № 21 разъясняла: «Русская территория, подлежащая оккупации, в ходе операций подлежит разделу на государства с собственными правительствами (поскольку это разрешит боевая обстановка)... В зоне военных операций решение задач, вытекающих из решающего столкновения двух противоположных систем, будет поручено рейхсфюреру СС».

Но заметим, что это были действия ставки. А кроме ставки существовала нацистская партия — та самая партия, которая вдохновляла всю антисоветскую и антикоммунистическую деятельность; партия, взращенная на деньги рурских монополистов, партия Гитлера, Геббельса, Бормана. И в этой партии был «специалист по восточным вопросам» — рейхсleiter доктор Альфред Розенберг.

Послушайте, скажет читатель, зачем ворошить вонючую свалку истории? Увы, это иногда необходимо, ибо слишком быстро некоторые западные историографы начинают изображать свалку благоухающей клумбой. Это тем более необходимо, что профессия «специалиста по восточным вопросам» сейчас необычайно распространена в западном мире. Спрос на нее в Соединенных Штатах, например, не меньше, чем на Альфреда Розенберга в тогдашней Германии...

В 1941 году доктор Альфред Розенберг был в зените славы. Ему было тогда 48 лет; он носил форму рейхсleitера нацистской партии (высший чин) и занимал пост руководителя внешнеполитического бюро НСДАП. Этот пост принадлежал Розенбергу с 1933 года; таким образом, он был признанным авторитетом нацизма в области внешней политики. Однако он не был конкурентом бывшему торговцу вином, министру иностранных дел Иоахиму Риббентропу. фюрер позаботился о строгом разделении обязанностей. Специальностью Розенберга был «Восток»

Как у многих «восточных экспертов», у Альфреда Розенберга были такие строчки в биографии, которые действовали на его шефов, как флейта факира на змей. Да, Розенберг действительно бывал в России. Но его знание России было особого рода: он родился в Таллине, учился в Риге и Москве (до революции), а после 1917 года принимал участие в контрреволюционном движении. В частности, в 1918 году он по поручению белогвардейских групп ездил из Риги в Париж для установления связей с французской разведкой. Вот, собственно говоря, и все его знакомство с Россией.

Став в 1921 году членом нацистской партии, Розенберг возглавил газету «Фелькишер Beobachter», завоевав себе славу «идеолога» партии. Целью Розенберга была концентрация фашистских, антисемитских и антикоммунистических сил по всей Европе. Именно этим он занимался, обосновавшись с 1933 года в доме номер 70-а по Вильгельмштрассе, в так называемом внешнеполитическом бюро НСДАП. Практически это был центр антисоветской деятельности и шпионажа. Розенберг мобилизовал «мощные силы»: на него работали такие столпы русской эмиграции, как Меллер-Закомельский, князь Оболенский; Розенберг привлек к своей «работе» Петлюру и Скоропадского. В Берлине был торжественно создан «немецко-русский штандарт СА».

Основные акты провокационной политики нацистской Германии по отношению к Советскому Союзу неразрывно связаны с именем Розенберга. На юго-востоке Европы под эгидой Розенберга возник союз банд усташей, «пробуждавшихся венгров», и «Лиги хорватских инсургентов», который терроризировал политических деятелей Европы, пытавшихся противостоять коричневой чуме (в числе неофициальных сотрудников Розенберга был и капитан Шпейдель, тогда помощник немецкого военного атташе в Париже, ныне всем известный командующий сухопутными войсками НАТО в Центральной Европе). Особо активен Розенберг был в Прибалтике. В Литве с его участием была организована фашистская партия «железных волков». В Латвии политическую опору Розенберга составила фашистская группа Ульманиса. В Эстонии была организована на нацистский манер «Лига борцов за свободу». Все эти меры были направлены к тому, чтобы превратить прибалтийские государства в плацдарм немецкой агрессии, сделать их врагами Советского Союза.

Одновременно Розенберг поставлял для нацистской партии и государства «информацию о Советском Союзе». Он этим занимался не один. В гитлеровской Германии



«изучение» Советского Союза было поручено множеству научных, полунанучных и вовсе не научных учреждений (я не говорю уже об органах разведки армии, флота, ВВС и СС). Среди подобных учреждений находились: Общество по изучению Восточной Европы (Берлин— Кенигсберг), Восточноевропейский институт (Бреслау), Институт по изучению восточноевропейской экономики (Кенигсберг), Институт по изучению России (Кенигсберг), Восточноевропейский экономический институт (Данциг), полуофициальная организация под наименованием Союз немецкого Востока и многие другие.

Все эти учреждения занимались весьма тщательным исследованием политики и экономики Советского Союза. Часть своей продукции они поставляли на книжный рынок, другая же часть шла на столы чиновников министерства пропаганды, внешнеполитического бюро нацистской партии, министерства иностранных дел, личной канцелярии фюрера под различными грифами: «для сведения», «для служебного пользования», «для личного ознакомления», «конфиденциально» и т. п.

Что за люди сидели в этих «научных институтах», расплодившихся под крылом Альфреда Розенберга? Познакомим вкратце с некоторыми из них.

Профессор, доктор Петер-Гейнц Серафим, как и Розенберг, родился в Прибалтике. С детства он перекочевал в Восточную Пруссию. В 1924 году стал доцентом в Восточноевропейском институте в Бреслау. Антисоветская пропаганда, зоологический антисемитизм и ненависть к польскому народу — вот что помогло ему сделать быструю карьеру. Все эти элементы оказались вполне подходящими для нацистского идеолога. Серафима сразу замечают: он много печатается, читает лекции, а в июне 1941 года сам Розенберг упоминает его в одной из директив.

«Научное» изучение Серафимом вопросов Восточной Европы сводилось к сбору экономико-этнографических сведений о восточных соседях гитлеровской Германии и к «идеологическому» обоснованию необходимости захвата оных соседей. Особое внимание (более восемнадцати толстых томов!) Серафим уделил идейной подготовке и «обоснованию» уничтожения миллионов евреев на оккупированных территориях. За эти старания он был щедро вознагражден. После захвата Польши Серафим был назначен советником генерал-губернатора Франка и стал непосредственным участником злодеяний Освенцима, Тересполя и Майданека. Но деятельность «профессора» опять-таки облекалась в покровы научности. Так, в июне 1940 года Серафим организовал в Кракове «международное научное совещание» по вопросам «организации труда в восточных областях». Сюда явились норвежский заместитель Гитлера Видкун Квислинг, хорватский министр Ковач, глава голландских фашистов Муссерт, «патриарх» румынского антисемитизма Куза. Перед этими господами держали речи палач польского народа Ганс Франк, его «ученый советник» профессор Серафим и еще один «муж науки» — некий доктор Теодор Оберлендер.

Вот мы добрались еще до одного любопытного «специалиста по восточным вопросам» из компании Розенберга.

Теодор Оберлендер, окончив агрономический факультет в Кенигсберге в 1928 году, сразу обнаружил неистребимую страсть к перемене мест. Он завербовался служащим немецкой концессионной фирмы Друзаг и отправился в Советский Союз. Почти целый год Оберлендер путешествовал по нашей стране. Вернувшись в Германию, бродячий агроном недолго сидел на месте и начал серию поездок в Польшу и Литву. В 1932 году он снова собрался в СССР — на этот раз в Сибирь и на Дальний Восток. В 1934 году Оберлендер опять в Советской стране. Его репутация в нацистском рейхе растет: его назначают директором Института по изучению восточноевропейской экономики в Кенигсберге.

Откуда взялась такая неистребимая страсть к путешествиям в Советский Союз, выяснилось позже. Стало, например, известно, что перу профессора-агронома принадлежит... подробный отчет о строительстве Кузнецкого металлургического комбината. Не меньшей рекомендацией для подвигов Оберлендеру явилось его назначение на пост руководителя Союза немецкого Востока — одной из упоминавшихся выше полупришпионских организаций.

В 1940—1941 годах доцент Серафим и профессор Оберлендер часто встречаются. В Кракове создается Институт по работе на Востоке (!), президентом которого стано-

вится сам генерал-губернатор Польши, палач и убийца Ганс Франк. В числе выступавших на «научных конференциях» этого института опять-таки были Франк, статс-секретарь, «кровавая собака немецкой юстиции» Роланд Фрейслер, заместитель Розенберга Вернер Дайтц, доцент Серафим, профессор Оберлендер. Это — выписка из «Ежегодника института за 1941 год», выпущенного в Кракове. (На обложке ежегодника: нацистский орел распростер крылья над древним Вавелем.) Оберлендер приезжал в Краков из Праги, где после захвата Чехословакии получил кафедру государственного права в Карловом университете.

Но науки были отодвинуты прочь, как только началась война на Востоке. Оберлендер распустил свой павлиний хвост. Ему уже не надо было маскироваться. В форме офицера он летом 1941 года приступил к выполнению «специального задания» — ему поручалось формировать «национальные кавказские части» для гитлеровской армии. Базой Оберлендера был баварский городок Миттенвальд. Сюда в его распоряжение пригнали из различных концлагерей советских военнопленных — грузин, азербайджанцев, дагестанцев, — надеясь сколотить из них «национальную армию» (совсем в духе Розенберга!). Для воспитания новообращенных из Парижа были выписаны бывшие полковники белой армии. Увы, Оберлендера ожидало разочарование: среди пленных вспыхнуло восстание.

Тогда Оберлендер захотел попытать счастья на фронте. Летом 1942 года он отправился в район Моздока, где возглавил диверсионную группу «особого назначения»<sup>1</sup>. Снова неудача — немецкий фронт покатился назад. Оберлендер и его диверсионная группа «Бергман» еле-еле уцелели. Профессор занялся сочинением меморандумов в адрес Розенберга и Геббельса с рекомендациями, «как лучше вести оккупационную политику». Его не слушали. министрам и рейхскомиссарам было не до меморандумов — шаталась вся империя. Лишь в марте 1945 года Оберлендер вновь блеснул — в роли руководителя школы пропагандистов... для власовцев. Май 1945 года застал достойного «специалиста по восточным вопросам» в форме военного корреспондента при штабс-полковнике СС «Курт Эггерс». Впереди его ждал американский плен.

...Однако вернемся к Розенбергу. Вооружившись докладами, справками, меморандумами и секретными записками всевозможных институтов, обществ и союзов, Альфред Розенберг взбирался на трибуну съездов нацистской партии. В старинном Нюрнберге, превращенном из славного города Ганса Закса и мастерзингеров в «город партийтагов», под дробь барабанов и рев толпы Розенберг излагал «точку зрения» своего фюрера. Так, например, 10 сентября 1936 года на очередном съезде НСДАП Розенберг произнес многочасовую речь о Советском Союзе. Нет смысла излагать ее содержание — это была заурядная антисоветская брехня, примерно такая же, какая появляется сейчас во многих американских газетах. Так, обвинив Советское государство во всех смертных грехах, Розенберг в заключение воскликнул: «Лозунг Советского Союза о мире во всем мире является огромной и наглой ложью!» Как это похоже на заявления Даллеса или Ноулэнда, до сих пор пытающихся ставить под сомнение миролюбие нашей страны!

И вот этот самый Розенберг весной 1941 года начинает играть особую роль. Гитлер, планируя свой разбойничий поход, находит для Розенберга специальную работу. Ежели, согласно гипотезе фюрера, вермахту надлежало разгромить Советский Союз за четыре недели, то следовало «предусмотреть» судьбу оккупируемой территории в последующее время. 20 апреля 1941 года Розенберг назначается «уполномоченным по централизованной разработке вопросов, касающихся восточноевропейского района». Он приступает к разработке конкретных планов «переустройства» нашей страны.

В послевоенной буржуазной историографии сложилась традиция изображать дело так, будто в гитлеровском рейхе все решал только сам фюрер, а остальные лишь слушали и повиновались. Вермахт и нацизм, мол, не виноваты, виноват только фюрер.

В действительности фюрер орудовал не один. Что касается оккупационной политики, то именно здесь Гитлер наиболее часто действовал по рекомендациям своих

---

<sup>1</sup> К этому времени относится меморандум Оберлендера под выразительным названием: «Украина и военно-психологическая необходимость продолжения войны на Востоке, особенно на Кавказе».

советников. Озабоченный тяжелым положением на фронтах, он предоставлял Розенбергу и его подчиненным большую «свободу действий».

Вот почему следует особо присмотреться к тому, что изрекал «специалист по восточным вопросам», когда ему предоставили столь широкое поле деятельности. В архивах сохранился текст большой речи, которую Розенберг произнес перед узким кругом своих сотрудников 20 июня 1941 года — накануне нападения на Советский Союз. В этой речи Розенберг изложил свои принципы «обращения» с Советским Союзом после победы вермахта. Для него не было никакого сомнения, что это — дело самого ближайшего будущего. Посему он уже 20 июня 1941 года запланировал создание четырех рейхскомиссариатов: Прибалтика (включая Белоруссию), Украина (включая Курскую, Воронежскую, Тамбовскую и Саратовскую области), Кавказ (включая районы восточнее Волги и южнее Ростова) и, наконец, «собственно Россия». Розенберг сообщил своим сотрудникам также и ряд секретов, кои должны были принести любимому фюреру быструю победу. Розенберг назвал следующие главные причины «непрочности» Советского государства:

«Нелюбовь к большевизму» («Вы сможете завоевать население,— поучал Розенберг своих верных паладинов,— если вы освободите его от большевистского ига». Или. «Вы должны им говорить, что, хотя их революция против царизма была вполне понятной, обещания большевиков не выполнены и капитализм не был свергнут ни в одной другой стране мира»).

«Вражда национальностей» («Московиты... являются естественными врагами украинцев. Украина тем самым вынуждена искать защиты у другой великой державы, а этой державой, разумеется, может быть только Германия...» Вообще, разъясняя Розенберг, Украина — страна бедная: «там на перочинные ножички, ручные часы, фотоаппараты и вечные перья смотрят, как на чудеса»).

Ну, а главное. «Мы должны снова и снова проповедовать непобедимость немецких вооруженных сил».

Вот какой скудной пищей снабжал Альфред Розенберг своих подчиненных! Не забудем: это была не пропагандистская речь с трибуны нюрнбергского партийтага, а инструктаж для своих самых близких сотрудников, которые через два дня должны были ринуться «в дело». Им — и не только им, а и Герингу, Кейтелю и Гитлеру — «специалист» Розенберг рассказывал приятно щекочущие самолюбие «сверхчеловеков» басни о несчастных украинцах, никогда не видавших перочинных ножиков, и о бедных русских, ожидающих своих освободителей со свастиками...

Фюрер высоко ценил своего «эксперта»: 16 июля он вызвал его на совещание, протокол которого мы читали, дал ему окончательные директивы, одобрил и откорректировал его основные идеи, советовал не увлекаться «кокетничаньем» с идеями создания самостоятельных государств, назначил основных рейхскомиссаров. 17 июля Альфред Розенберг стал рейхсминистром по делам восточных территорий.

Как хотелось бы многим из нынешних американских «специалистов по восточным вопросам» побывать на посту г-на Розенберга — но без финала его деятельности, разумеется...<sup>1</sup>

## НЕКОТОРЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ

Теперь, после небольшого экскурса в предысторию совещания 16 июля 1941 года, вернемся к меморандуму Мартина Бормана.

Пожалуй, самое главное в нем — это то, что он не смог написать. Главное — в комментариях истории недавних лет. Эти комментарии может дать и каждый из нас, ибо, читая любую фразу, любой абзац из записи, он точно знает, чем все это кончилось, к чему привело.

Драматурги часто используют «острый прием»: они внезапно переносят действие на несколько лет вперед, а потом столь же внезапно возвращают его назад. Мы слушаем героя — и знаем несбыточность его надежд, ибо уже видели его будущее.

В сущности, нечто подобное ощущаем мы, читая запись Бормана. Мы уже загля-

<sup>1</sup> Альфреда Розенберга повесили в Нюрнберге 16 октября 1946 года.

нули с вами в будущее вплоть до 1959 года, а на страницах меморандума декламируют, спорят, лицемерят, фанфаронят «герои» 1941 года. Умствуют, спорят, делают заявления мертвецы. Покончивший самоубийством Геринг спорит с повешенным Розенбергом. Тот апеллирует к самоубийце Гитлеру, который дает указания казненному Кейтелю. Их указания заносит в проект директивы умерший Ламмерс. И все это усердно записывает Борман, убитый танковым снарядом на улицах Берлина<sup>1</sup>.

Но мы с вами уже знаем их будущее. И мы знаем, что никогда и нигде не удастся врагам Советского Союза добиться осуществления своих планов, как бы искусно эти планы ни были составлены. Мы были тверды в этой уверенности с великого дня Октября. Канули в Лету сны претендентов на роль «победителей русской революции». Были стерты с лица земли полчища интервентов Антанты. И такая же судьба постигла немецких нацистов, захотевших полакомиться «русским пирогом».

Теперь мы можем спокойно разглядывать комедию в ставке фюрера: Геринг и Розенберг грызутся из-за поста рейхскомиссара Москвы и Московской области. Сюда хотят посадить Коха или Кубе и лишь после долгой свары сходятся на Каше. А Каше так и не занял своего поста. Как ушей своих не увидел дворца рейхслейтера Кавказа группенфюрер Шикеданц. Да и Тербовену не пришлось поуправлять Кольским полуостровом. Правда, вот с Кубе дело обернулось иначе — свой пост он получил. Но получил его вместе со смертным приговором, вынесенным ему белорусскими партизанами.

Меморандум Бормана (взятый «в контексте» со всей деятельностью Альфреда Розенберга и его ведомства), кроме всего прочего, представляет собой блестящую «авторекомендацию» любого империалистического режима в одном из его основных качеств: в неспособности понять советский народ и его государство.

Рожденные в слепоте буржуазной идеологии, взращенные на дрожжах расизма, боящиеся своего собственного рабочего класса и рабочих других стран, презирающие всех «инородцев», — разве могли что-либо понять нацисты в жизни нашей страны? Тут им не помогла склонность к коллекционированию, систематизированию, подбору и сочетанию сведений. Тысячи людей занимались этим делом в «третьем рейхе» — и впустую. Густой дым человеконенавистнической идеологии настолько застилал глаза «деятелям» «третьего рейха», что они не могли и не хотели понять того, что происходит в нашей стране.

Как и все буржуазные эксперты «по восточным делам», нацисты занимались сбором фактов не для того, чтобы их изучать, а чтобы использовать их в своих грязных целях. Еще в нацистском евангелии «Мейн кампф» — значилось, что социализм в России и Советская власть суть творение «недочеловеков», а народы Советского Союза только и ждут своих освободителей — славных арийцев со свидетельствами о предках в четырех поколениях.

Тот же профессор Оберлендер исправно наведывался в Советский Союз. В годы коллективизации он изучал наш опыт и составил отчет, в котором предсказывал крах Советской власти. Сотни оберлендеров побывали у нас в тридцатых годах. Поездив по нашей стране и посмотрев на нее, они возвращались в свой рейх и писали доклады начальству. Теперь нам известно, что на столе Гитлера, Геринга и Кейтеля лежали донесения самого различного характера, в том числе «тревожные сигналы» разведки о том, что промышленность Советского Союза набирает темпы. О том, что пятилетки дают эффект. О том, что Красная Армия крепнет месяц от месяца. Очевидно, по прусской прямолинейности и чисто военной выучке кое-какие нацистские резиденты видели реальные факты, неприятные Берлину. Видели — и хватались за голову, слыша о берлинских планах. Утверждают, например, что в числе таких был немецкий военный атташе в Москве генерал Кестринг и даже сам посол граф фон дер Шуленбург. Но берлинские фюреры слушали только самих себя.

Для «исследователей», смотревших на Советский Союз сквозь призму нацистской

---

<sup>1</sup> После окончания войны о судьбе Бормана ходили самые фантастические слухи. С ним связывались всевозможные надежды нацистского подполья. Однако сейчас эти надежды померкли. Летом 1958 года в Западном Берлине слушалось дело бывшего руководителя «Гитлер-югенд» Аксмана, который до 30 апреля 1945 года находился вместе с Борманом в имперской канцелярии и вместе с ним попытался вырваться из окружения. Аксман показал, что Борман был убит на его глазах.

идеологии, не было возможности понять объективный ход истории. Для них, скажем, Октябрьская революция была «роковой ошибкой», первая пятилетка — «нелепой фантазией», коллективизация — «насилием над душой русского крестьянина», ликвидация неграмотности — «донкихотством», стремление Советского Союза к миру — «маскировкой планов мировой революции».

Так было до 1941 года, так было в первые дни и месяцы войны.

Эти господа в примечательный день 16 июля 1941 года смотрели на события только через призму сводок верховного командования немецких вооруженных сил. Им казалось, что они точны и объективны: разве не верно, что 16 июля взят Смоленск? Что Лееб вышел к Ленинграду? Что Руншгедт рвется на юг? Что клещи немецких танковых групп в Белоруссии сдавили десятки советских дивизий? Разве не верно?..

Генералы и рейхсминистры не желали помнить старинную мудрость, согласно которой половина правды подчас опаснее лжи. Да, в тот день немецкая сводка, казалось, не ошибалась. Но она обманывала — особенно тех, кто хотел быть обманутым.

Шесть господ в ставке хотели верить только этому обману. Они не хотели понимать того, что знали мы с вами в день 16 июля. Мы знали, что начинается развертывание советских войск. Мы знали, с каким беспримерным героизмом бьются солдаты и офицеры нашей армии с танковыми корпусами Гудериана и Манштейна. Мы знали, что идет грандиозная работа по мобилизации всех сил советского народа. В тот день на Восток шли длинные эшелоны, вывозившие оборудование танковых и авиационных заводов. В тот день на десятках, сотнях строительных площадок вывезенное оборудование выгружалось и монтировалось. И хотя до дня победы еще надо было ждать почти четыре года, дух победы вел советских людей.

За ними стояла великая правда советской жизни, великая правда борьбы за будущее человечества. Как в фокусе светового луча, сконцентрировались в деяниях советских людей величайшие социальные достижения 200-миллионного народа. Великую правду борьбы советского народа понимали в самых далеких уголках земного шара миллионы людей, с верой и надеждой смотревших на битву Советского государства с гитлеровским рейхом.

Но всего этого не было дано понять нацистским лидерам. Они не хотели понять — они за это заплатились. Эту фразу можно было бы написать с легким сердцем, если бы за свои кровавые преступления Гитлер и К° расплатились только своей собственной кровью. Но — в этом трагедия Германии — в течение четырех лет непрерывных сражений Гитлер платил кровью немецкого народа. В этих же сражениях гибли смертью героев сотни тысяч советских воинов, тысячи польских, югославских, итальянских, французских, чешских, албанских партизан, тысячи американских, английских и французских солдат. Цена была слишком, слишком велика!

Гитлеровский рейх не мог победить Советское государство, хотя 16 июля фюрер был уверен в победе. Он и не мог победить, ибо стоял перед лицом превосходящего противника, имя которого — с о ц и а л и з м. И сейчас в длинный список тех коренных пороков, которые разоблачила в империализме гитлеровская война, мы можем вписать еще одну строку: неумение и нежелание составить правильное представление о Советском Союзе.

#### «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ»

Перенесемся в 1957 год. Передо мной «Бюллетень ведомства прессы и информации федерального правительства» № 1437, вышедший в Бонне, столице Федеративной Республики Германии. На первой странице этого «Бюллетеня» — статья под заглавием: «Представление о Советском Союзе». Подзаголовок. «Кто правильно представляет себе Советы? Вопрос, решающий судьбу немецкого народа». Автор — профессор, доктор Теодор Оберлендер, федеральный министр по делам изгнанных, беженцев и пострадавших от войны.

Как, спросите вы, неужели тот самый Оберлендер? Тот самый усердный путешественник, автор шпионских докладов, глава нацистского Союза немецкого Востока, офицер разведки, начальник Миттенвальдского лагеря, руководитель диверсионных групп, советник Власова? Да, именно он. Именно он с 1953 года занимает пост министра в кабинете Конрада Аденауэра, а с 1956 года принадлежит к его партии. Согласитесь,

что уже одна фамилия автора может привлечь внимание к статье, тем более, что и тема ее выглядит столь интригующе.

Оберлендер сразу же берет быка за рога. Он ошарашивает читателей правительственного бюллетеня фразами, которые на первый, боннский, взгляд могут показаться крамолью чистой воды. Вот с чего начинается экс-разведчик, ныне министр:

«Если предпринять исследование внешней политики Германской империи и ее неудач за последние 50 лет, то необходимо констатировать, что эта политика была полна иллюзий». (Браво, профессор!)

Затем: «Одной из иллюзий с наиболее тяжелыми последствиями было неправильное представление о старой России и о Советском Союзе». (Что верно, то верно!)

Более того: «Во второй мировой войне незнание Гитлером мировой обстановки и положения в Советском Союзе привело его к роковому и ложному представлению, что якобы возможно завоевать весь мир за три месяца».

Оберлендеру здесь возразить нечего. Да и не надо: он сам себе будет возражать, когда перейдет от мелодраматизации к делу. В нескольких фразах он пытается объяснить происхождение иллюзии. Оказывается, большевики унаследовали от Чингисхана умение «маскироваться». Оберлендер пишет: «При малом числе иностранцев, посещающих Советский Союз, Москва служит витриной, маскирующей подлинные трудности, которые не так просто разглядеть». Да полно, господин профессор, вы ведь проехали нашу страну вдоль и поперек — не помогло! Затем Оберлендер с серьезным видом заявляет: «Если бы Гитлер прочитал хоть раз книгу Коленкура о Наполеоне и о страшном опыте похода 1812 года, он бы составлял свои планы по-иному». Вслед за этим Оберлендер, как принято, обрушивается на своего любимого фюрера, обвиняя его в том, что он, и только он, привел Германию к катастрофе.

Я умышленно почти полностью пересказал «увертюру» сочинения министра Оберлендера, ибо она весьма типична для стиля выступлений многих нынешних политических деятелей Западной Германии. Нет, они не за Гитлера. Они винят его. Они твердят, что надо учиться истории, что не надо повторять ошибки. А затем...

А затем перейдем к «положительной программе» Оберлендера. Она так же типична для официального Бонна, Бонна «политики силы» в западногерманском варианте. Для такого Бонна все, что от Советского Союза, — от лукавого. Советский Союз заявляет о мире, разоружении, сосуществовании? Не верить! Желает улучшить отношения с ФРГ? Не верить, ничему не верить! В соответствии с этой традицией Оберлендер задает в своей статье риторические вопросы:

«Желает ли Советский Союз мировой революции? Не являются ли разговоры о сосуществовании маскировкой?.. Хочет ли Советский Союз мира и разоружения только как паузы... для позднейшей мировой революции? Или он хочет подлинного сотрудничества во имя мира и разоружения?»

Оберлендер не сразу отвечает на эти вопросы. Ему, видимо, не хочется прямо высказывать ни своего собственного мнения, ни мнения правительства. Поэтому он говорит о точке зрения оппозиции. Он приводит слова лидера социал-демократической партии Германии Эриха Олленхауэра о том, что СССР действительно хочет мира и разоружения (его заявление в Мюнхене на съезде социал-демократической партии осенью 1956 года). И тут министр-разведчик набрасывается на Олленхауэра. Он упрекает его во всех смертных грехах — и в первую очередь в «нечестном представлении о Советском Союзе». И после этих тирад Оберлендер триумфально заявляет: «У нас (!), нет никаких доказательств того, что Советский Союз изменил своим целям мировой революции». Практические выводы: не вести переговоров с СССР, оставаться в «семье свободных народов» (то есть в НАТО). Все.

Хотя статья и не блещет логикой, ей нельзя отказать в одном: она действительно затрагивает один из коренных вопросов немецкой политики сегодняшнего дня — вопрос об отношении к Советскому Союзу. И в этом кардинальном вопросе немцам в 1957 году на страницах официального боннского бюллетеня преподносилась та же розенберговская стряпня!

Сравните. Розенберг, 1936 год: «Лозунг Советского Союза о мире во всем мире является огромной и наглой ложью». Оберлендер, 1957 год: «Хочет ли он (Советский Союз) подлинного сотрудничества во имя мира и разоружения? Для сотрудничества

нет никаких оснований». Оберлендер не исключение. Его боннские коллеги также охотно заимствуют свои аргументы у нацистской пропаганды. Например, Геббельс, 1936 год: «Красный Восток угрожает. Но фюрер начеку. Германия, являющаяся форпостом европейской культуры, полна готовности и решимости отбросить эту опасность от наших границ всеми средствами». Штраус, 1957 год: «Единственная реальная опасность для нас — Советский Союз, и мы должны быть готовы к обороне...»

Скандальный характер выступления Оберлендера в боннском «Бюллетене» поняли и в ФРГ. Орган СДПГ, газета «Форвертс» в следующих выражениях определила смысл его проповеди:

«Действительно, г-н Оберлендер, «горе, если наш народ после опыта 50 лет снова предастся иллюзиям и снова падет жертвой иллюзий». Однако представление о Советском Союзе, которое дает г-н Оберлендер и которое довлеет над его политическими друзьями, появляется не впервые. Это было представление некоего рыцаря холодной войны, который зрил свое счастье в горячей войне против этого представления, против Советского Союза. Это был Гитлер. Мы не говорим, что Аденауэр — это Гитлер, мы только констатируем факты. Оба основываются в своем представлении о Советском Союзе, в своей политике по отношению к Советскому Союзу на той же вымышленной картине. Но эта картина не соответствует действительности».

Но деятельность Теодора Оберлендера не ограничивается теоретизированием. Как министр по делам переселенцев он занимает исключительное положение в Бонне. Известно, что в соответствии с решениями Потсдамской конференции великих держав 1945 года с территорий, возвращенных Польше и Чехословакии, немецкое население было переселено в Германию. Вернулось в Германию и значительное число немцев из Венгрии, Румынии. Около восьми миллионов человек оказалось в ФРГ. И вот эти-то восемь миллионов человек — самый желанный объект для реваншистских сил. Именно среди этих людей ищут массовую базу для будущих авантур: ведь проще всего заставить переселенца из Судет или из Померании поверить в то, что только «дома» он найдет покой. В соответствии с этим простым, но дьявольским замыслом министерство по делам переселенцев должно обеспечить среди своих подопечных соответствующие настроения.

Факты говорят за себя — так же как говорит за себя имя Оберлендера. Если в Германской Демократической Республике за послевоенные годы удалось полностью и безвозвратно решить «проблему переселенцев» — дать всем землю, жилище, работу и навсегда покончить с реваншистскими настроениями, — то в ФРГ до сих пор десятки тысяч переселенцев еще чувствуют себя чужими. В деревне им приходится батрачить. На заводах это самая дешевая рабочая сила. Как же не думать о «возвращении домой»?

Ведомство Оберлендера заботится о том, чтобы эти пассивные настроения переходили в настроения активные. С этой целью под опекой Оберлендера существуют так называемые «землячества» — реваншистские организации, объединяющие переселенцев<sup>1</sup>. Выходцу из Судет не дают забыть о его прошлом, даже если он хочет это сделать. Его зовут на «слеты землячков», напоминают о прошлом, требуют думать о «незабываемой родине», намекают: ты должен, должен вернуться — пусть для этого даже придется взять в руки оружие...

Проблема переселенцев в Западной Германии — тяжелая, трагическая проблема, ибо лучшие человеческие чувства используются в самых грязных целях. На «слетах землячества» немцев пичкают нацистской, реваншистской стряпней.

Когда в мае 1958 года я приехал в Штутгарт, мне сразу бросилось в глаза нарядное убранство города. На флажтоках развевались пестрые полотнища, красовались транспаранты. Я по наивности подумал, что все это в честь съезда социал-демократической партии, заседавшего в Штутгарте. Оказалось иное: пышное убранство было приготовлено для так называемого «Судетско-немецкого дня» — слета землячества судетских немцев, назначенного на троицын день.

<sup>1</sup> Их центр — в Бонне; всего существует 18 отдельных «землячеств»; наиболее крупные — судетское, восточнопрусское, силезское, померанское. Есть и землячества «русских немцев», немцев «прибалтийских».

В этот день в Штутгарт съехалось двести тысяч судетских немцев (как подсчитали газеты, их доставили сюда триста автобусов и сорок специальных поездов). Торжество открылось исполнением «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес» и гимна герцога Лихтенштейнского (этот герцог, оказывается, в середине века владел крупными поместьями в Судетской области). Затем последовали выступления: от боннского правительства выступили министры Зеебом и Линдрат, от судетского землячества — Лоджман фон Ауэн. Из Лондона прибыл в Штутгарт чешский изменник генерал Прхала. Вообще именитых гостей было хоть отбавляй — принц Карл Антон Рохан, принц Франц-Иозеф II фон унд цу Лихтенштейн, принц Макс Эгон цу Фюрстенберг, графиня Элеонора Ледебур. Все эти господа, разумеется, тоже «судетские земляки».

С трибун многочисленных митингов и заседаний в эти дни звучала неприкрытая реваншистская демагогия. Линдрат призывал к «возвращению на родину в ходе создания нового европейского порядка». Зеебом требовал от бундестага торжественного провозглашения «права» судетских немцев на чешские земли. А принц Рохан выразился кратко и убедительно: «Мы должны вернуться». Торжество сопровождалось молебнами, факельными шествиями, массовыми демонстрациями.

Таковы нынешние деяния Теодора Оберлендера.

Кстати, он не только министр по делам переселенцев. Его квалифицированными советами пользуется канцлер Аденауэр, когда заходит речь... о Советском Союзе. С трибуны бундестага один из депутатов оппозиции предал гласности следующую скандальную историю. В 1957 году начались советско-западногерманские переговоры по торговым и иным проблемам. Они шли медленно. Западногерманские представители часто меняли курс, внезапно предъявляли заранее неприемлемые требования. Почему? Оказывается, к ведению переговоров в качестве эксперта был привлечен профессор Оберлендер. В этой функции он почувствовал себя в своей тарелке. Оберлендер рекомендовал немецким представителям «быть твердыми», «не уступать», а заодно подсовывал делегации фальсифицированные цифровые данные.

Оберлендер остается верным себе.

### ОБЕРЛЕНДЕР НЕ ОДИНОК

Скандальное выступление Теодора Оберлендера с открытой проповедью розенберговских теорий на страницах правительственного органа ФРГ и его остальная деятельность — не случайный рецидив застарелой болезни. Это симптом не менее опасного нового заболевания.

Однажды мне пришлось беседовать с западногерманским журналистом, участником так называемого «Грюнвальдского кружка». Так именуется объединение журналистов и писателей, созданное в Мюнхене и поставившее целью борьбу с проявлениями неонацизма, с возрождением гитлеровских традиций в прессе и литературе, с возвратом бывших нацистских деятелей на влиятельные посты. Эта организация ведет нелегкий бой. Как рассказывал мне мой собеседник, «Грюнвальдский кружок» вынужден выдерживать напор десятков неонацистских и милитаристских групп и союзов, за которыми стоит боннское правительство. В частности, основной враг кружка — мюнхенская реваншистская газетка «Дейче зольдатеңейтунг» — открыто похвалится субсидиями, получаемыми от боннского ведомства печати и информации (того самого, что печатало статью Оберлендера).

Мюнхенские публицисты приложили немало усилий, чтобы привлечь внимание западногерманской общественности к фактам возрождения нацистской идеологии, к позорительной деятельности десятков боннских высших чиновников, которые сменили мундиры СА и СС на штатские костюмы. А таких не десятки, а сотни...

Список видных нацистов, занимающих в Бонне официальные посты, можно начать с министров второго аденауэровского кабинета (1953—1957). Среди них были наш знакомый Теодор Оберлендер, затем гауптштурмфюрер СС Вальдемар Крафт (ставший министром без портфеля), референт СС по вопросам расовой политики Прейскер (министр жилищного строительства), сотрудник Высшего правового ведомства НСДАП Меркатц (боннский министр по делам бундесрата), комментатор пресловутых расовых



законов, военный преступник за № 101 по списку Международной комиссии Глобке (статс-секретарь в ведомстве канцлера Аденауэра).

В третьем кабинете Аденауэра (он был сформирован осенью 1957 года) произошли лишь небольшие изменения. Оберлендер сохранил свой портфель (и депутатский мандат). Прейскер сменил свой пост на более почетное место вице-президента бундестага. Ушел из кабинета Крафт. Но зато в нем остался министр внутренних дел Шредер, носивший в гитлеровские времена коричневую рубаху штурмовых отрядов СА. Сохранили свои посты Меркатц и Глобке. Перемены, как видим, были незначительны.

В аппарате западногерманской юстиции до восьмидесяти процентов чиновников занимали высокие посты в юстиции гитлеровской. Как неопровержимо установлено документами, тридцать пять высокопоставленных судебных чиновников ФРГ значатся в списках военных преступников. В аппарате боннского МИДа до шестидесяти процентов чиновников «позаимствовано» от гитлеровского режима. В бундесвер уже официально принято около пятисот офицеров и унтер-офицеров войск СС. И так далее и тому подобное...

А ученый мир, мир «специалистов по восточным вопросам»? В нем мы также найдем «старых знакомых» — например, профессора Петера-Гейнца Серафима. Уже в 1948 году он снова начинает выпускать свои публикации о Польше, о Советском Союзе. Он обосновывается в Мюнхене на кафедре «восточноевропейской экономики», затем — в Бамберге и, наконец, в качестве руководителя учебной части Административно-экономической академии в Бохуме, готовящей кадры новых чиновников боннского государства...

Какая чудовищная насмешка над немецким народом, над памятью миллионов жертв нацизма! Военные преступники — в роли судей, гитлеровские «правоведы» — в роли блюстителей западногерманской законности, эсэсовские офицеры — в роли учителей новобранцев бундесвера; Теодор Оберлендер — поучающий общественность, что есть «правильное представление о Советском Союзе», профессор Серафим — в качестве воспитателя молодых чиновников. Как чудовищно все это звучит!

А ведь только недавно нас заверяли:

«Мое правительство примет драконовские меры против праворадикальных течений. Они не смогут распространиться ни при каких обстоятельствах, ибо встретят наше сопротивление (канцлер Аденауэр, интервью в «Дейли мейл», сентябрь 1949 года).

Затем нас успокаивали:

«В последнее время за границей раздаются голоса сомнения; говорят о возрождении национал-социализма в Германии... Тем важнее оценить факт, что правительству удалось... предохранить массы от радикализации» (Речь Аденауэра на пресс-конференции в Лондоне в декабре 1951 года).

Затем на нас даже покрикивали:

«Теперь малюют призраки на стене и твердят, что в Западной Германии еще существует неонацизм и против него надо бороться. Конечно, нельзя уберечься от того, что единичным «заклинателям» удастся привлечь на свою сторону пару-другую парней» (министр иностранных дел ФРГ Брентано в интервью копенгагенской «Берлингске тиденде» в феврале 1956 года).

Мы не верили утверждениям 1949 года, не поддавались на уговоры 1951 года. Выкрики 1956 года уже просто выдавали самих кричащих с головой. Тем более, что г-н Брентано заседает совместно с г-ном Оберлендером в президиуме так называемой Западной академии (идейный центр сторонников клерикально-монархической реставрации в ФРГ), а в ведомстве самого Брентано на видном посту находится посланник Отто Бройтигам, опять-таки один из гитлеровских «восточных экспертов», сотрудник Розенберга и Риббентропа.

Бройтигам — старый знакомый Оберлендера. Вот страничка из военного дневника Бройтигама за 1942 год: «Встреча с рядом старых приятелей. В Нальчике я встретил профессора доктора Оберлендера, который в чине капитана руководит группой «Бергман», состоящей из специально подобранных людей и предназначенной для выполнения особых задач в горах — например, подстрекательство среди горных племен. Увы, покуда дело дошло до выполнения этих задач, группа была брошена в бой и понесла

большие потери»<sup>1</sup>. Итак, старые знакомые встречаются: сначала в Берлине у Розенберга, затем в Нальчике в штабе немецких войск, теперь в Бонне в министерских кабинетах.

Сейчас в Западной Германии функционирует не меньше институтов и обществ, «изучающих» Советский Союз, чем до 1945 года. На столах министров и чиновников растут кипы докладов о советской экономике, о политических событиях в нашей стране. Работы прибавилось: «восточные эксперты» теперь должны осведомлять своих шефов не об одном социалистическом государстве, а о семи европейских и четырех азиатских странах социалистического лагеря.

Уже поступило немало тревожных сигналов о том, что в этих учреждениях продукция изготовляется по худшим рецептам розенберговской кухни. Например, вступив на министерский пост, Теодор Оберлендер учредил при себе чин «специального уполномоченного по изучению Востока». «Ведомство» этого спецуполномоченного пером своего сотрудника, доктора Лемана, так изображало основы истории «восточных территорий»: «Заселение Востока было делом всей Германии... Немцы были призваны на Восток не как немцы, а как носители лучших способностей... Немцы — учителя славян».

Еще один пример. Журнал «Байерише шуле» (25 октября 1954 года) опубликовал текст инструктивного доклада по «вопросам Востока», прочитанного референтом по этим вопросам доктором Иозефом Гайдеком в Гамбурге. Вот некоторые выдержки:

«Немцы на Востоке — вот кто был бастионом против гуннов, аварцев, мадьяр, турок, против турецких орд, против полчищ большевизма. Только немецкий дух спас Европу от этих смертельных нашествий и спас христианско-западную культуру... Задача изучения Востока — распространить повсюду это понимание истории, сохранить его в немецком народе, направить взор на Восток именно теперь, после последней катастрофы; быть бдительным, готовым познать свою историческую миссию и взять ее на себя... Железный занавес, делящий нашу родину, делит два мира — мир атеистическо-нигилистического коммунизма под знаком серпа и молота и мир христианства под символом креста... Вдохновим же и искупим себя знаком креста, который восторжествует над демонами, подстерегающими нас у наших границ. В этом триумфе зрю я высшую миссию изучения Востока».

Если бы на журнале не стояла дата 25 октября 1954 года и не упоминалась «последняя катастрофа», то какой-нибудь исследователь мог бы по ошибке включить речь доктора Гайдека в сборник образцовых сочинений национал-социалистических пропагандистов.

Доктор Оберлендер может быть доволен: у него в федеративной республике есть ревностные подчиненные, которые в меру своих сил и способностей вколачивают в головы немецкого обывателя оберлендеровско-розенберговское «представление о Советском Союзе» — благо, что запуганный бюргер со вздохом облегчения устанавливает, что это представление лишь немного отличается от представления двенадцати «черных лет». В старую, растоптанную обувь ленивый человек влезает охотнее. Не так ли?

## РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ

Когда в беседах с западногерманскими буржуазными журналистами затрагиваешь тему возрождения нацизма в ФРГ, они, как правило, оказываются очень чувствительными и даже нервными. Только небольшая часть соглашается видеть опасные симптомы нового заболевания, проявляющиеся в политической жизни Западной Германии. Большинство с раздражением уходит от этой темы и переходит в контратаку. Они обвиняют советскую сторону, общественность ГДР и стран народной демократии в односторонности, предвзятости, тенденциозном подборе фактов и так далее.

«Ну как можно говорить о возрождении нацизма в Западной Германии, — так-то бывает примерная контраргументация, — если в ФРГ до сих пор проваливались все попытки создать массовую неонацистскую партию? Если немецкий народ и слышать не хочет имени Гитлера? Если даже в буржуазных кругах выступления неонацистов

<sup>1</sup> Дневник Бройтигама был найден после войны и опубликован в ГДР весной 1956 года. Его подлинность не была опровергнута.

типа генерала Ремера или геббельсовского статс-секретаря Наумана наталкиваются на протест и возмущение? Если в государстве не существует ни одной тоталитарной партии, а происходит «нормальная» политическая борьба?»

В этих рассуждениях есть крупинка истины. Разумеется, ФРГ 1957—1958 годов — это не Германия 1933—1936 годов. Да этого никто и не утверждает! Слишком большие изменения произошли в самой Германии и во всем мире, чтобы нацизм смог возникнуть точно в той же форме, в которой он существовал в 1933—1945 годах. Слишком велик был морально-политический шок 1945 года, чтобы новый Розенберг или новый Геббельс мог взойти четырнадцать лет спустя на трибуну бундестага и начать читать свои старые речи из нацистских архивов. С чаши общегерманских политических весов ни в коем случае нельзя сбрасывать и тех великих перемен, которые произошли на востоке страны. Опыт и пример антифашистского, демократического строя ГДР имеют значение для всей страны. Все это исключает всякие примитивные параллели с 1933 годом.

Но проблема тем самым не снимается. Нацизм грозит немецкому народу в новом, преображенном облике, и симптомы этой угрозы налицо. Кто может отрицать, что за прет коммунистической партии, осуществленный в ФРГ в 1956 году, представляет собой типичнейший симптом нацистской диктатуры? Кто может не заметить поразительного, позорного сходства многих лозунгов партии Аденауэра и партии Гитлера? Кто может перечеркнуть прошлое тех боннских деятелей, которые носили форму штурмовиков? Сто раз был прав автор статьи во франкфуртском журнале «Гегенварт», который в августе 1957 года писал: «Национал-социализм мертв. Но трупный яд может быть очень опасным». Вот почему мы с тревогой и протестом отмечаем, что носители этого трупного яда благополучно существуют в боннской «питательной среде», Их не только не уничтожают, но мешают это делать.

Два раза — в 1956 и 1958 годах — я ездил по городам Западной Германии. Моим оппонентам я могу сказать: да, действительно я ни разу не видел намалеванных на стенах свастик. Я не встречал молодчиков в коричневых рубашках. И хотя я часто слушал звуки «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес», оставшегося гимном федеративной республики, за ними никогда не следовала бравурная мелодия «Хорста Весселя»<sup>1</sup>.

Да, в федеративной республике почти нет или очень мало внешних проявлений того, что называется неонацизмом. Пресловутая «немецкая имперская партия» извещает о своих собраниях не пышными плакатами, а скромными записочками, нацарапанными от руки, — такие я видел в Бонне. Но все это не дает оснований для спокойствия. Пусть наши западногерманские коллеги сочтут нас мнительными, но мы не должны проходить мимо любых симптомов «нацистских заболеваний» в общественной жизни Западной Германии.

Останемся на почве простых, но уже зарегистрированных фактов. Естественно, их очень трудно собирать. Нацистское подполье и неонацистские полуполигальные организации не любят публичности. Эти господа предпочитают оставаться в своем тесном кругу. Мы их часто не знаем, но они знают друг друга отлично.

В самом деле: кому интересно, чем занимается, скажем, госпожа Ильза Гесс, супруга «заместителя фюрера» Рудольфа Гесса, до сих пор коротающего дни в тюремном заточении? Но она существует — и не осталась без дела. В отдаленной баварской деревушке она открыла специальный санаторий, предназначенный для... бывших нацистских деятелей, вышедших из тюрьмы.

Представьте себе: обергруппенфюрера Икс постигла неудача. В 1945 году он под горячую руку попался американскому военному трибуналу. Получил десять лет тюрьмы. Отсидел три года, вел себя благоправно и был амнистирован. Но, вернувшись в родной город, он был отдан под немецкий суд. Его преступления были так велики, что и этот суд вынужден дать ему несколько лет тюремного заключения. Но вот все зло-

<sup>1</sup> В гитлеровские времена официальными гимнами были «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес» и нацистская песня «Хорст Вессель». Оба они исполнялись друг за другом. Один мой знакомый — франкфуртский журналист — в сердцах жаловался, что он не может спокойно слушать нынешний гимн ФРГ. Каждый раз, говорил он, мне кажется, что после паузы еще нельзя садиться, ибо вот-вот заиграют «Хорст Вессель».

ключения позади. Двери тюрьмы распахнулись. Бывший обергруппенфюрер, ныне рядовой гражданин Икс (может быть, он теперь доктор Икс), — на свободе. Он хлопочет о пенсии. Но как поправить подорванное здоровье? И тут-то ему передают любезное приглашение от госпожи Гесс. («Как же, помню, сживал с вашим супругом у Гиммлера...») Приглашение принято, деньги уплачены, и господину доктору Икс обещен чудесный отдых в кругу старых друзей и единомышленников...

Новое амплуа госпожи Гесс стало известно случайно и очень любопытным путем. О пансионе в горах прослышал один мюнхенский журналист, член «Грюнвальдского кружка». Он узнал адрес, однако не поехал туда, а написал госпоже Гесс письмо следующего содержания: он-де «старый боец», недавно вышел из тюрьмы, где отсидел столько-то лет за военные преступления, нельзя ли попасть в пансион? Завязалась оживленная переписка. Госпожа Гесс сообщила ему свои условия, осведомлялась о его личности (точно ли он военный преступник?) и только тогда дала согласие. Журналист в пансион так и не поехал, зато получил в руки ценные сведения за собственноручной подписью Ильзы Гесс.

По крупинкам, по случайным объявлениям и сообщениям немецкие антифашисты собирают сведения о том, что происходит в «потустороннем мире» нацизма. В этой работе активно участвует передовая общественность обоих германских государств. В частности, общественность и печать Германской Демократической Республики оказывает антифашистским кругам в ФРГ большую помощь. Мощный рупор ГДР разносит по всему миру правду о том, что творится на западе страны.

Есть в демократическом Берлине, на тихой Гессише-штрассе, обычный берлинский пятиэтажный дом, в котором помещается интереснейшее учреждение: Немецкий институт современной истории.

Да, институт занимается современностью, сегодняшним днем. Он тщательно собирает, классифицирует, изучает и хранит в сю ежедневную немецкую прессу. В руках сотрудников института современность сразу становится историей.

В одной из публикаций института, именуемой «Документы современности», в 1957 году появился материал, проливающий свет на проблему, которая нас интересует. В «Документах современности» был перепечатан из западногерманской газеты «Ди Тат» тщательно составленный список всех нацистских, неонацистских и полунацистских организаций, существующих ныне в федеративной республике. «Ди Тат» — еженедельная газета, издаваемая во Франкфурте-на-Майне Объединением лиц, преследовавшихся при нацистском режиме. Это маленькая отважная газета, которую с огромным трудом выпускают несколько ветеранов-антифашистов. Они терпят лишения, у них нет денег, их притесняют власти, но они работают. У газеты маленький тираж. Тем ценнее оказалась помощь берлинских друзей, которые на страницах «Документов современности» опубликовали сведения, собранные западногерманскими антифашистами.

Итак, какие же нацистские организации существуют сейчас в ФРГ? Публикация занимает шесть с половиной страниц убористого шрифта, и я передаю ее в сокращенном виде.

#### **Первая группа — политические партии:**

Немецкое восстановительное объединение. Немецкий блок. Немецкое движение за свободу. Немецкое содружество. Немецкая партия сельских хозяев. Немецкая национальная партия. Немецкая имперская партия. Немецкое социальное движение. Немецкая солидарность. Немецкий социальный союз. Европейская партия. Свободный социальный союз. Консервативная партия. Монархическая партия Германии. Национальная рабочая партия. Национальное единение. Национальная солидарность. Партия добрых немцев. Радикально-социальная свободная партия. Республиканская партия Германии. Шлезвиг-гольштейнский блок. Союз немецкого центра. Отечественный союз.

#### **Вторая группа — политические объединения:**

Рабочее содружество друзей европейской нации. Рабочее содружество по изучению жизни (движение Людендорфа). Рабочее содружество гамбургских патриотических организаций. Кружок по изучению военных проблем. Движение «Рейх». Союз пруссаков. Союз верных рейху. Федеральное объединение бывших интернированных и лиц, пострадавших от денацификации. Союз свободных солдат. Союз обновления Гер-

мании. Союз познания бога. Европейское социальное движение. Европейский центр связи. Европейское народное движение. Объединение хранителей нордического культурного наследия. Содружество фронтового поколения. Серый фронт. Национально-политическое объединение. Посседисты. Союз немецких соседей. Народное движение за кайзера и рейх.

**Третья группа — культурные организации:**

Западная академия. Немецкая культурная организация европейского духа. Этно-кратическое общество. Консервативное общество. Липпольдсбергский кружок поэтов (вокруг Г. Гримма).

**Четвертая группа — организации взаимопомощи:**

Объединение немецкого товарищества. Содружество бывших сотрудников имперского сельскохозяйственного сословия. Содружество бывших служащих имперской трудовой повинности. Социальное общество взаимопомощи бывших гражданских интернированных лиц. «Тихая помощь».

**Пятая группа — милитаристские организации:**

Союз фронтовых солдат. «Стальной шлем». Содружество кавалеров рыцарского креста. Содружество взаимопомощи бывших солдат войск СС. Союз «Кифхойзер». Содружество легиона «Кондор». Женский союз королевы Луизы (при «Стальном шлеме») <sup>1</sup>.

**Шестая группа — молодежные организации:**

Бисмарковская молодежь. Союз немецких юношей. Объединение патриотических молодежных союзов. Немецкая автономная молодежь. Союз немецких бойскаутов. Немецкая имперская молодежь. Немецкий юнгштурм. Союз спутников. Союз орла. Молодежный корпус «Шарнгорст». Товарищеское объединение национальных молодежных союзов. Людендорфская молодежь. Национальный студенческий союз. Молодые викинги.

Список на этом не завершается. В нем еще есть шесть организаций антипрофсоюзного характера, до тридцати газет и журналов, почти пятьдесят издательств и двадцать книготорговых фирм. Кроме того, в приведенном выше списке много делалось сокращений за счет самых мелких групп и группок.

Список «Ди Тат» заслуживает комментария. В нем собраны организации, группы, объединения, «содружества» самого различного толка. Размеры некоторых из них довольно значительны (например, федеральное объединение лиц, подвергавшихся денационализации, — 30 тысяч человек, «Стальной шлем» — 30 тысяч, объединение служащих войск СС — 80 тысяч членов). Но большинство — это мелкие и мельчайшие группы, возникающие и исчезающие, сливающиеся и разъединяющиеся, враждующие между собой и блокирующиеся,

До сих пор ни одна из политических неонацистских организаций не имеет массового членства и серьезного влияния. В этом можно видеть отрадные результаты тех больших общественных сдвигов, которые захватили не только восток страны. Было бы глубокой несправедливостью по отношению к массе рабочих, крестьян, интеллигентов федеративной республики, если бы мы не видели той подчас героической борьбы, которую они ведут против носителей трупного яда неонацизма. У всех на памяти события 1955 года, когда протест населения — и в первую очередь деятелей культуры и науки — воспрепятствовал назначению на пост министра культов Нижней Саксонии открытого нациста Шлютера, издателя погромных книг и мемуаров фашистских лидеров. В 1956 году подобная же открытая демонстрация заставила снять стенд неонацистской литературы на Кельнской книжной ярмарке. Протестами и демонстрациями жители многих городов встречают реваншистские сходки «солдатских союзов». Об этих событиях мы узнаем реже, чем они действительно происходят, — буржуазная пресса не любит помещать информацию о деятельности антифашистских сил.

Но все это не снимает вопроса об опасных возможностях неонацистского движения. Сыпь мелка, но она может стать гнойной. Мелкие группки распадаются, но они возникают вновь. Вдобавок в 1958 году произошло событие, которое может заставить

<sup>1</sup> Кроме того, несколько сотен «землячеств» бывших соединений и частей вермахта.

призадуматься каждого. В Федеративной Республике Германии отменен закон, который запрещал существование нацистской партии.

Дело в том, что до сих пор в ФРГ действовал так называемый закон № 5 Контрольного Совета от 1945 года, распустивший НСДАП и запретивший ее возрождение. Однако в конце 1957 года федеральное правительство объявило, что в «ходе замены оккупационного законодательства немецким» оно собирается отменить закон № 5. Это намерение подлежало санкции бундестага.

И вот 12 июня 1958 года в бундестаге разыгралось следующее. На трибуну вошел статс-секретарь министерства юстиции доктор Вальтер Штраус<sup>1</sup> — худой, длинно-головый господин в пенсне — и с хладнокровием юриста стал излагать соображения правительства. Во-первых, заявил Штраус, закон устарел и опасности возрождения нацистской партии не существует. Во-вторых, закон «вреден», ибо он ограничивает возможности немецкого правительства, передавая всех потенциальных неонацистов под юрисдикцию оккупационных властей. В-третьих, для недопущения нацистских партий вполне хватает конституции ФРГ и уголовного законодательства. Посему, заявил Штраус, «я прошу высокое собрание одобрить проект правительства в форме, одобренной юридической комиссией». В зале раздались аплодисменты.

Начались прения. Первым выступил депутат социал-демократической партии доктор Виттрок. Его речь была так же спокойна, как и рассуждения Штрауса. Он начал с того, что полностью согласен с юридическим обоснованием законопроекта. Только после этого он извиняющимся тоном заявил, что хочет высказать некоторые сомнения (на скамьях правящих партий — шум).

— Нельзя отрицать факта, о котором я хочу сказать, — заявил Виттрок. — В федеративной республике существуют заметные тенденции неофашистского характера!

После этого он предложил бундестагу оставить закон № 5 в силе в качестве «символического акта». Ему сразу возразили. От христианско-демократического союза (ХДС) выступила госпожа Шварцхаупт. Она говорила лишь несколько минут и даже не спорила — настолько была уверена в том, что предложение об отмене закона № 5 пройдет. Вслед за ней две-три минуты в пользу законопроекта говорил депутат свободной демократической партии доктор Бухер<sup>2</sup>. Прения окончились. Слово взял председательствующий. Он поставил законопроект на голосование. Машина заработала: у ХДС — абсолютное большинство. Закон был принят. С этого момента в федеративной республике не стало существовать законодательного запрета нацистской партии.

История любит шутки: в этот день на заседании председательствовал вице-президент бундестага Виктор Прейскер — в нацистское время референт штаба СС по вопросам расовой политики!

...Как-то летним вечером 1958 года разговор на эту тему зашел в группе западно-германских журналистов, которые пригласили меня к себе в гости. Хотя большинство моих коллег принадлежало к тем, кого в ФРГ называют «левыми», я не услышал среди них единого мнения. Некоторые считали, что не следует «делать из этого драму» и что конституции ФРГ вместе с уголовным кодексом достаточно для недопущения неонацистских партий. По поводу уголовного кодекса им тотчас же возразили: в Веймарской конституции также запрещались партии, деятельность которых «противоречит уголовному законодательству». Но еще большее сомнение у участников спора вызвала ссылка на конституцию ФРГ.

— Эта ссылка, — заявили они, — означает, что в каждом отдельном случае партия, подозреваемая в нацистской деятельности, предстанет перед лицом федерального конституционного суда в Карлсруэ. Начнется длинная волокита, а ведь как раз западно-германская юстиция особенно заражена духом «третьего рейха». Каждый третий судья — бывший нацист...

<sup>1</sup> Однофамилец министра обороны Франца Йозефа Штрауса.

<sup>2</sup> В гитлеровское время Бухер был нацистским правительственным чиновником, а затем офицером вермахта. После 1945 года суд запретил ему на полтора года занимать административные и судебные должности.

Разговор кончился тем, что все его немецкие участники сошлись на том, что мелкие нацистские партии и группки больше никогда не смогут овладеть душой немецкого народа. Я ушел с этой беседы не столь спокойным. Ведь конституционный суд в Карлсруэ — это тот самый суд, который в 1956 году запретил германскую компартию!

### ВСТРЕЧИ В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ

В чужой стране иногда бывает интересно порыться час-другой на полках книжной лавки. Стоит открыть пеструю обложку (в Германии делают великолепные обложки!) и полистать страницы книги, как можно узнать много интересного. А если учесть, что книжный рынок ФРГ исключительно богат, то можно найти внутреннее оправдание для лишнего визита в книжную лавку в Бонне, Мюнхене, Франкфурте.

С книгами — как с людьми. Можно обрадоваться знакомству, можно удивиться. Но можно и возмутиться до глубины души.

Таким оказалось знакомство с двумя книгами. Одна из них незаметно стояла на полке в длинном ряду мемуарной литературы по вопросам истории и культуры. Издательство Мустершмидт (Геттинген—Франкфурт—Берлин) снабдило восьмой том «Собрания источников по истории культуры» скромной зеленой обложкой. Но кто бы мог подумать, что именно среди «источников по истории культуры» окажется политический дневник... Альфреда Розенберга! Но это так. В предисловии профессор Вильгельм Трейе с серьезным видом заверяет, что идеи Розенберга представляют собой «культурно-исторический документ первого ранга». Затем идет длинный комментарий, в котором нельзя найти ни одного слова осуждения по адресу Розенберга. Автор комментария — доктор Гейнц-Гюнтер Серафим. Знакомая фамилия? Да, он также из семьи Серафимов, с наиболее «видным» представителем которой мы уже знакомы. Доктор Серафим-младший уверяет читателя, что Розенберг был «разочарован» в Гитлере и следовал за ним лишь из «чувства приличия». После чего и преподносятся две страницы писаний Розенберга...

Книжка в зеленой обложке не единственная послевоенная публикация «сочинений» Розенберга. В 1955 году в издательстве Плессе ферлаг вышла книга «Посмертных записей» повешенного рейхслейтера под сенсационным заголовком: «Идеалы и идолы национал-социалистской революции». В 1957 году Друффель ферлаг выпустил еще один вариант «Дневников» Розенберга. Замечу, что розенберговские «сочинения» — лишь небольшая часть того мутного потока нацистских «воспоминаний и дневников», который пролился на книжный рынок ФРГ.

В том же книжном магазине я нашел другую книгу. Она не стояла так скромно, как дневники Розенберга. Это была новинка, специально выставленная на витрине. Ее название — «Немецкие козыри». Автор — Иоганнес Фердинанд Барник. Издательство — Генрих Зеевальд, Штутгарт—Дегерлох. Если издатель Розенберга был очень скромен, то издатель Барника вел себя по-иному. Он рекомендовал Барника как «политического мыслителя редкого масштаба», а его концепцию — «как открытие».

Я не хочу пересказывать содержание всех трехсот страниц, только процитирую несколько важных положений И. Барника, и читателю все станет ясно:

«Третья мировая война, несмотря на необозримость ее последствий, к великому сожалению, является единственным возможным путем» (стр. 27).

«Если дело дойдет до войны, то Германия должна воевать!» (стр. 30).

«Если не случится чуда, то Советский Союз уже побежден в третьей мировой войне» (стр. 40).

«Дадим свободно разыгаться фантазии и перенесемся в конечную стадию похода на Восток, уже выигранного Западной Германией в военном отношении... Немецкие войска уже стоят в Уфе и Курске... Финны вступили в Карелию, турки — на Кавказ, а японцы — в Сибирь... Советское многонациональное государство вступает в стадию распада, от которого оно еле-еле ушло в 1941 году» (стр. 49—50).

Итак, мы с вами вернулись к исходному пункту. Летом 1958 года г-н Барник повторяет то, о чем говорили участники памятного совещания, которое состоялось в гитлеровской ставке 16 июля 1941 года.

\* \* \*

Будем откровенны. Через четырнадцать лет после того, как наконец с немецкого народа спали цепи фашистской диктатуры, после того, как ему предоставилась возможность освободиться от чудовищного груза заблуждений, предрассудков, националистического угара, ложных представлений (в том числе и о Советском Союзе), эта возможность не стала действительностью в Западной Германии. Сейчас существует вполне реальная опасность, что немецкому населению на западе страны снова подступят опаснейшие розенберговские и геббельсовские идеи, ослабят его волю к сопротивлению силам милитаризма, чтобы удержать ФРГ в колеснице НАТО. Эта опасность реальна — тем энергичнее должна быть борьба против нее.

Сейчас — хотя пропущено четырнадцать драгоценных лет — еще не поздно использовать огромные возможности и резервы европейского мира. Между немецким и советским народами ничего не стоит, кроме нежелания Бонна и Вашингтона видеть разрушенным здание антисоветской пропаганды. Пример Германской Демократической Республики показал, что в пределах человеческих возможностей ликвидировать вражду, преодолеть недоверие, найти общий язык, наладить взаимопонимание между Германией и Советским Союзом. Именно этого не хотят те неисправимые, которых, к сожалению, еще слишком много в боннских кабинетах.

Годы Советской власти вознесли нас, советских людей, на невероятную историческую высоту, откуда перед умственным взором миллионов расстилаются необозримые перспективы будущего и не менее отчетливо видна холмистая и изрезанная морщинами окопов земля нашего прошлого. Вот почему сегодня, с полным сознанием своего исторического права видеть лучше и дальше, мы можем сказать западным немцам: берегитесь, с вами хотят повторить чудовищный, еще более чудовищный, чем в 1941 году, эксперимент. Задумайтесь!





---

---

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

*По страницам иностранных литературных журналов*

## ИСКУССТВО... ПОД СЕНЬЮ АТОМНОЙ БОМБЫ

**ФРГ**

«Дас Шёнсте» («Пре-  
красное»), ежемесячник  
по вопросам искусства.  
№№ 9, 10. 1958. Мюнхен.  
Издательство «Киндлер  
унд Ширмайер ферлаг».  
Главный редактор Виль-  
гельм Винкель.  
★

Надо сказать прямо: своим внешним видом журнал «Дас Шёнсте» почти соответствует своему названию и выгодно отличается от прочих западногерманских иллюстрированных изданий. На его обложках мы не увидим разнообразных портретов разнообразных «сексуальных бомб», иными словами, особо модных кинозвезд и манекенш, буквально заполнивших все журналы в ФРГ. Страницы «Дас Шёнсте» украшают великолепные репродукции хороших картин, фотографии больших музыкантов, артистов, писателей. И при беглом чтении даже кажется, что этот журнал действительно занимается только «прекрасным»: в нем публикуются статьи о серьезной литературе и серьезном театре, о серьезной музыке и архитектуре— о Достоевском и о Рейнгардте, о постановке пьесы Горького «На дне» и о творчестве Винченца Ван-Гога. Одним словом, взяв в руки «Дас Шёнсте», так и хочется стать читателем и почитателем этого журнала! (Тем более, что на его обложке значится: «Ежемесячник для всех друзей искусства», а кому не лестно прослыть другом искусства?)

Однако, ознакомившись более внимательно с журналом, приходишь к неутешительным выводам. Читателю нередко приходится глубоко разочаровываться в нем и убеждаться, что у «Дас Шёнсте» весьма своеобразное представление и о прекрасном и о своем собственном назначении. Такое ощущение вызывает, например, его девятый номер (за 1958 год), который открывается двумя статьями о Карле Ясперсе. Как известно, Карл Ясперс не поэт и не музыкант, не архитектор и не художник. В течение почти полувека он занимается философией, а до этого писал труды по психологии, вернее, о психопатологии. Ясперс—один из самых видных представителей модной философии экзистенциализма, да притом еще в самом реакционном ее варианте, философии, стремящейся подорвать доверие к науке, доказать бесполезность нравственности и бесплодность разума. Почему же «Дас Шёнсте» решил спуститься с небес поэзии на брешную землю и заняться Карлом Ясперсом? Дело в том, что заумный философ выпустил недавно сенсационный труд: «Атомная бомба и будущее человечества». Эстеты из «Дас Шёнсте» не устояли против этой земной сенсации.

Какие же идеи проповедует в своей книге Ясперс?

Он утверждает, что «западному миру» — другими словами, капиталистической системе—угрожает, мол, смертельная опасность со стороны большевиков. Поэтому-то странам «абендланда», то есть «странам заката», никак нельзя отказываться от ядерного оружия, а, наоборот, надо всячески запастись его. Перспектива разрушительной атомной войны не очень пугает Ясперса. Согласно его философии, европейцы должны принести себя в жертву (не вполне ясно, кто именно и полностью или частично!), чтобы спасти цивилизацию. Разумеется, это только, так сказать, «костяк» философской концепции Ясперса, обильно украшенной пышными фразами о «внутренней свободе», о «разуме», о «познании себя», о «желательности мира». Но, как бы то ни было, ясно одно: философ Ясперс не только не выступает прогив ядерного оружия и истребительной ядерной войны, а, наоборот, считает, что водородная бомба—это средство разрешения... идеологического спора между капиталистическими странами и странами социализма. Иными словами, он дает философское обоснование планам атомной войны, вынашиваемым американскими и западногерманскими империалистами.

Можно себе представить, как обрадовалась в ФРГ вся реакционная камарилья! Шутка ли сказать, водородная бомба объявлена оружием, которое защищает цивилизацию,— и кем? Не каким-нибудь там бывшим оберштурмбанфюрером СС, ставшим поклонником атомной стратегии НАТО, а ученым мужем, доктором медицинских и философских наук!

Апогеем шумихи вокруг Ясперса и его книги было недавнее присуждение ему «Премии мира немецких книгоиздательств за 1958 год». Вот уж поистине парадокс, возможный только при западном «образе мышления»,— поборник атомной войны увенчивается оливковым венком! Парадокс тем более странный, что многие видные западногерманские ученые и деятели искусства, неоднократно высказывавшиеся против атомного оружия, за мир между народами, такой премии удостоены не были.

Но вернемся к журналу «Дас Шёнсте». Как уже было сказано выше, отодвинув на задний план прекрасное в искусстве, «Дас Шёнсте» посвятил свои первые страницы книге не только далеко не прекрасной, но, прямо скажем, чудовишной. Правда, поскольку «Дас Шёнсте» слывет журналом особым, адресующимся к художественной интеллигенции, он не решился хвалить Ясперса «в лоб», а открыл «дискуссию». В этой «дискуссии» участвовали два писателя. Один—Герман Кестен, которого редакция представила своим читателям как «страстного поборника духовной свободы и политической чистоты», другой — Михаэль Мансфельд. В заключении от редакции подчеркнуто, что в дискуссии участвуют представители двух поколений писателей — «зрелый» Кестен и «молодой» Мансфельд,— что делает спор о Ясперсе, так сказать, спором «отцов и детей».

Что ж, обмен мнениями, творческие споры — вещь полезная. Но существуют вещи, по поводу которых двух мнений быть не может, существуют вопросы совершенно недискутабельные. Именно к ним принадлежит новая книга Ясперса. В самом деле, разве можно всерьез обсуждать, стоит или не стоит европейцам «засесть за штабеля атомных бомб» и хорошо или плохо, если «два миллиона европейцев должны будут в несколько секунд стать мертвецами», чтобы спасти «морально» гибнущий западный мир?!

Но журнал это делает, и делает с серьезным видом, потому что, несмотря на прекрасную вывеску, это все тот же рупор реакционно-милитаристских кругов, которых философия Ясперса вполне устраивает.

В чем смысл «атомной философии» Ясперса? Во-первых, в том, чтобы внушить народам мысль о неизбежности ядерной войны и тщетности всякой борьбы за запрещение атомной бомбы, и, во-вторых, в прославлении атомного и водородного оружия как единственного средства, способного решить «проклятый социальный вопрос» — уничтожить социализм и вновь загнать народы в империалистическую кабалу. Таков, выражаясь философски, *ultima ratio* — последний вывод, к которому пришла ныне реакционная буржуазная философия.

Впрочем, если внимательнее приглядеться к материалам, помещенным в «Дас Шёнсте», нетрудно увидеть, что никакой дискуссии там нет, а есть фикция, видимость обсуждения. Просто-напросто редакция решила рекламировать Ясперса в форме, так сказать, диалога, ибо по существу оба оппонента не спорят, а скорее «подпевают» один другому и тем самым запутывают и обманывают читателей.

Кроме того, они говорят не столько о книге Ясперса, сколько, каждый по-своему, восхваляют самого философа. Немало слов истрачено ими на то, чтобы создать образ такого идеального и неподкупного мыслителя. Так, Кестен начинает с уверения в своем глубочайшем уважении к... «мужеству» и «философской независимости» Ясперса и кончает тем же: «Я восхищаюсь моральным мужеством этого самого знаменитого немецкого философа». Причина столь неумеренных восторгов по поводу «мужества» Ясперса ясна: написав книгу в защиту атомной войны, Ясперс тем самым совершенно цинично показал, что он всего-навсего идеологический оруженосец реакционных империалистических политиков. Более того, он поставил себя вне круга подавляющего большинства западноевропейской интеллигенции, которая подымает свой голос протеста против атомного оружия. Самому Кестену приходится признать, что Ясперс выступает против «тезиса философа Бертрана Рассела и миллионов других», а также против «восемнадцати западногерманских физиков, таких, как Отто Ган, Гейзенберг,

фон Лауэ, и других», которые в апреле 1957 года призвали человечество отказаться от атомного оружия. Правда, такое с Ясперсом происходит не впервые: двадцать семь лет назад, в 1931 году, накануне прихода к власти Гитлера, Ясперс выдвинул тезис о том, что «борьба за или против войны в мирное время» совершенно безнадежна. Иными словами, он уже тогда пытался разоружить западную интеллигенцию, борвшуюся против фашизма и милитаризма. Вскоре после этого «независимый» Ясперс в книге, издательски названной «О правде», выдвинул поистине иезуитскую формулу сущности философии, согласно которой философия может служить любому мракобесию, любой реакции. «Философия всеохватывающего не имеет никакой точки зрения...— писал Ясперс.— Она ищет сближения со всеми возможными точками зрения, способна стать на любую из них, может принять любой облик, надеть любую маску».

Но эти откровения Ясперса, сделанные им четверть века назад, меркнут перед его нынешними рассуждениями. Поэтому-то «Дас Шёнсте» устами Кестена так назойливо пытается восстановить репутацию Ясперса.

То же самое, собственно, делает и его «оппонент» Мансфельд. Правда, он называет Ясперса «опасным романтиком» и человеком, засевшим в «башне из слоновой кости». Но именно это и сбивает окончательно с толку читателя «Дас Шёнсте». Вель назвать Ясперса романтиком— это все равно, что назвать Герострата или Лойолу мечтателем.

Мы уже говорили о том, что основная, с позволения сказать, философская «посылка» Ясперса— это вывод о неизбежности атомной войны. Но и на этом он не останавливается. Он заявляет, что, поскольку «большевики» представляют на сегодняшний день наибольшую опасность для «абендлянда», все остальное, в том числе водородная бомба... суть благо.

Кестен разделяет концепцию Ясперса, пытаюсь, так же как и он, прикрыть ее болтовней о «разуме в высшем смысле этого слова, который должен спасти мир». Да и Мансфельд по существу не возражает атомному философу. Он также считает, что «единственные действительные враги абендлянда»— это большевики. И далее заявляет: «многому в этой книге я говорю «да» и «то, что Ясперс считает хорошим, я тоже считаю хорошим».

Правда, у Мансфельда с Ясперсом обнаруживаются разногласия тактического порядка. Мансфельд, например, заявляет, что, «открыто размахивая атомной бомбой», Ясперс дискредитирует самую идею «абендлянда». «Идея абендлянда,— пишет Мансфельд,— гибнет, если она опирается на силу абсолютного средства уничтожения». В переводе на обиходный язык это значит: если болтаешь о цивилизации, поддержи язык насчет атомной бомбы. Мансфельд считает также, что Ясперс и иже с ним плохо разбираются в современной политической обстановке и в «психологии врага», поскольку черпают свои сведения о мире всего лишь из двух газет: «Нейе цюрхер цейтунг» и «Франкфуртер альгемейне». Зная профиль этих двух почтенных буржуазных газет, мы думаем, что в данном случае Мансфельд прав: Ясперс действительно не имеет ни малейшего представления ни о силе лагеря мира и социализма, ни о размахе движения сторонников мира; не имеет он, видимо, ни малейшего представления и о том, что политика угроз и атомного шантажа не может поколебать свободолюбивые народы, а лишь усиливает их решимость дать отпор апологетам ядерной войны.

Примерно в том же духе, что и Мансфельд, комментирует новую книгу Ясперса и редакция журнала «Дас Шёнсте». Поздравляя Ясперса по поводу вручения ему западногерманской премии мира за 1958 год и расточая похвалы его «мужеству», редакция все же сетует на то, что философия Ясперса довольно-таки мрачна, поскольку она «требует жертв» и к тому же еще «предсказывает, что они будут напрасны».

Однако самая суть глубоко антигуманной, злобной и безысходной философии Ясперса не вызывала ни у одного из участников дискуссии ни возмущения, ни серьезных возражений.

Тем и закончилась «дискуссия» о Ясперсе в девятом номере журнала. На этом можно было бы поставить точку и нам, если бы в следующем, десятом, номере «Дас Шёнсте» не вернулся снова к Ясперсу. В статье о лауреатах пресловутой западногер-

манской премии мира немецких книгоиздательств редакция вдруг заявила, что, присуждая премию Ясперсу, жюри будто бы еще не успело ознакомиться с... новой работой этого философа «Атомная бомба и будущее человечества» (!!!). Вот так-так! А почему же месяцем раньше журнал, поздравляя Ясперса с премией, писал об «актуальности» его последнего философского труда, за который он получил эту премию?!

Нетрудно догадаться, чем вызван новый, весьма неуклюжий маневр «Дас Шёнсте». Видимо, не очень-то восторженно восприняло широкое общественное мнение на Западе решение жюри, и журнал пытается любой ценой обелить «немецкие книгоиздательства», совершившие чудовищный акт присуждения премии мира философскому пособнику поджигателей войны. Но трюк журнала шит белыми нитками. Разумеется, жюри книгоиздательств великолепно знало последнюю работу Ясперса (иначе оно бы и не вспомнило о нем). Кроме того, взгляды Ясперса, изложенные в книге «Атомная бомба и будущее человечества», были отнюдь не новы в Западной Германии. Сам же «Дас Шёнсте» (№ 9) напоминал, что уже в 1956 году Карл Ясперс произнес пространную речь по радио, в которой выдвинул основные тезисы своей будущей работы. Выступая в начале октября 1958 года на торжественной церемонии в Паульскирхе во Франкфурте в присутствии президента ФРГ Хейса и жюри книгоиздательств и благодаря за вручение ему премии, Ясперс повторил многие положения своей агрессивной философии.

Он заявил, во-первых, что нельзя ни под каким видом отказываться от атомного оружия, пока в сердцах людей и на всем земном шаре не воцарится «мир», «свобода» и «истина» (на языке Ясперса эти слова означают не что иное, как... «западный образ жизни»).

Во-вторых, он заявил также, что всякая борьба против «атомной смерти» за «мир любой ценой» есть ложь «сознательная или бессознательная».

В-третьих, он потребовал, чтобы, отказавшись от «национализма» (сиречь, суверенитета и независимости), все «белые нации» образовали конфедерацию западных государств, направленную против «цветных, в которых проснулось расовое самосознание».

И, как явствует из сообщений печати, члены жюри, прослушавшие это недвусмысленное выступление, остались очень довольны своим лауреатом. Действительно, по меньшей мере смешно говорить о каком-то недоразумении, будто бы происшедшем с жюри немецких книгоиздательств. Те, кто присудил премию Ясперсу, хорошо знают этого философа (иначе они не награждали бы его), так же хорошо, как он их (иначе Ясперс не был бы так откровенен). Что касается журнала «Дас Шёнсте», то он, в свою очередь, вполне осведомлен и об Ясперсе и о его покровителях.



Нет ничего удивительного в том, что именно в Западной Германии появляются сейчас труды, подобные последней философской работе Ясперса. Ведь Западная Германия — аванпост военного блока НАТО. Полным ходом идет ныне идеологическое вооружение ФРГ. Немецкие идеологи агрессии от Ницше до Розенберга, от Бисмарка до Геббельса, несмотря на свой крайний национализм, всегда лезли из кожи вон, чтобы получить «мировое признание», иными словами, дать лозунги для реакции во всем мире. Сейчас этим занялся Ясперс. Таким образом, с Ясперсом все ясно. Неясно одно: почему им занялся журнал «Дас Шёнсте»? Ведь ни политика, ни философия, ни атомная проблема не составляют предмета его деятельности! Все дело в том, что «Дас Шёнсте» хоть и прячет свою политическую физиономию под маской сугубо объективного «друга искусств», но часто «срывается»: то похвалит какую-нибудь антисоветскую кинокартину, то выступит с панегириком фашистскому литератору Юнгеру. Не устоял журнал перед соблазном и на этот раз—как не поддержать мракобеса! Хотя, казалось бы, кому-кому, как не журналу, посвященному искусству, следовало бы предостеречь человечество от страшной атомной войны и осудить милитаристов, выступающих в любом облике и всегда враждебных истинной цивилизации и истинному искусству.

Л. ЧЕРНАЯ.



ное в слове — смысл, поэзия должна обращаться прежде всего к разуму читателя», — писали они. В этой сухой рационалистичности была известная ограниченность, точнее — сознательное самоограничение. Но, обнажив основы поэзии, сняв с нее «архитектурные излишества», можно было быстро и безошибочно определить наличие мыслей и чувств, которыми поэт желает поделиться с читателем, или же их блистательное отсутствие. Прикрыться было уже нечем.

На этом пути поэты «нового» направления одержали важные победы. Однако на первых порах нечеткость идейных позиций подчас приводила к тому, что, протестуя против высокопарности, они отрицали романтику вообще, борясь за реализм, иногда скатывались к натурализму, к чисто формальному экспериментаторству.

Поэты «нового» направления работали в чрезвычайно трудных условиях. Никто из них не мог прожить на литературный заработок. Писать им приходилось урывками, после службы или работы. Они подвергались постоянным нападкам шовинистов и реакционеров, преследованиям цензуры. И все же их лучшие стихи дошли до широко читателя, до народа.

Дырявый жилет, дырявый кафтан,  
Дырявый рукав, дырявый карман,  
Дырявый подол, дырявый халат.  
Да разве ты решето, мой брат?!

Эти стихи Орхана Вели хорошо известны в Турции.

«После смерти и мы будем хорошими», — говорил Орхан Вели. И теперь даже буржуазные газеты не в состоянии отрицать, что стихи поэтов «нового» направления вошли в сознание турецкого народа. «Орхан Вели, — писала, например, газета «Акшам», — как бы говорит людям турецкого языка: я знаю, о чем вы думаете. Но вы не умеете этого высказать. Вот вам мои строки, прочтите их, вам станет легче, вам многое сделается яснее».

Общие эстетические установки, общие условия работы обусловили как общие достоинства, так и недостатки «нового» направления. Оно сделало предметом высокой поэзии факты каждодневного быта, примелькавшиеся обыденные подробности жизни самых рядовых людей. Стремясь к запоминаемости своих стихов, поэты этого направления старались быть предельно лаконичными, афористичными. Это были достоинства. Но они же определили и известные слабости, выявившиеся в ходе дальнейшего развития и количественного роста «нового» направления. В силу как внутренних, так и внешних причин связь между частным фактом быта и движением века им удавалось выразить лишь с помощью нескольких немногочисленных приемов — аллегорий, иронии, прямого перечислительного сопоставления и др. Так, Орхан Вели, желая определить свое отношение к международному движению сторонников мира, рисовал окрашенные грустью картины прекрасной природы и, неожиданно противопоставляя им атрибуты фашизма, насилия и войны, умел воздействовать на ум и совесть читателей. Но, повторенный множество раз, этот простой и сильный прием в конце концов исчерпал свои возможности, ибо поэзия — это прежде всего «езда в незнаемое».

Обращаясь в первую очередь к разуму читателей, поэзия «нового» направления была, главным образом, поэзией интеллектуальной. Пафос, обнаженный накал страстей, эпический размах были ей несвойственны. Между тем сама жизнь, как и интересы дальнейшего развития искусства, требовала следующего шага — к поэзии, способной передать весь пафос нашего атомного века, его размах, стремительность, страстность, грандиозность, то есть требовала дальнейшего углубления реализма.

К этому времени Орхана Вели уже не было в живых — он умер в 1950 году. К тому же «новое» направление, одержав победу над умами, превратилось в моду — взяв от него только форму, к нему присоединились поэты совсем иных идейных и общественных устремлений, а также множество молодежи, по существу еще не выработавшей своих взглядов на жизнь.

Одним из первых ощутил необходимость нового поворота в поэзии, жажду пафоса, обращенного не только к уму, но и к сердцу читателей, один из основателей направления — Октай Рифат. Но из верной посылки он сделал ложный вывод: обыден-

ность, быт надоели, примелькались в поэзии, следовательно, нужна новая, «надреальная» поэзия, обращающаяся, подобно музыке, только к эмоциям,— таков был ход его рассуждений. В 1956 году Октай Рифат выпустил книгу «Чубатая улица». Помещенные в ней стихи напоминали шарады: мир в них был разорван на клочки, образы предельно субъективны. Ребусы Октая Рифата и не нуждались в разгадке — ведь поэт хотел только передать свои эмоции.

Так вместо шага вперед был сделан первый шаг назад, к тому самому формализму и эстетству, с которым поэт столько лет боролся вместе со своими товарищами и единомышленниками. Тут сказались и груз непреодоленных формалистических заблуждений, и удушливая общественная атмосфера в стране, и, конечно же, цензурные условия, не позволявшие говорить правду, выражать свои мысли прямо и открыто.

Если сразу после выхода книги Октая Рифата, когда еще было не совсем ясно, что за этим последует, в турецкой печати раздались предостерегающие голоса прогрессивных критиков, то теперь, через три года, уже совершенно ясно, что, вопреки всем добрым намерениям, Октай Рифат нанес первый удар по реализму в новой турецкой поэзии, по ее демократизму.

За ним последовали другие. Поэты крайне субъективистских и идеалистических взглядов на жизнь, поддержанные буржуазной прессой, объявили «новое» направление устаревшим. Но, не решаясь открыто выказать себя его противниками, ибо оно завоевало читательские массы, они старались выдать себя за его продолжателей: «Новое направление на первых порах избавило стих от обязательной рифмы и размера, теперь надо избавить его от обязательного смысла, и это будет величайшей революцией в поэзии».

Так родилось «второе новое» направление. Началась вакханалия бессмыслицы, которая день ото дня все больше компрометирует поэзию в глазах турецких читателей. Об этом недвусмысленно свидетельствуют многочисленные письма, поступающие в редакции литературных газет и журналов. «Я никогда не мог себе представить, что новая поэзия, освободившись от рифмы и размера, освободится и от смысла,— пишет читатель Гюнгер в письме, опубликованном в стамбульском журнале «Варлык» («Бытие»).— Мне кажется, что бессмысленные стихи вряд ли завоеуют читательскую любовь». «Кому нужна такая поэзия?» — спрашивает другой читатель. «Я ничего не принимаю,— пишет третий.— Скажите, пожалуйста, неужели только я?»

«Я публикую стихи, которые мне нравятся,— заявил в ответ Ильхан Берк.— И мне нет никакого дела до того, что нравится другим». Этот ответ, вполне достойный лидера бессмысленной поэзии, вызвал справедливую иронию «Еди тепе»: «Почему же в таком случае вы их публикуете, а не прячете в ящике своего письменного стола?»

Чувствуя, что он подрубает сук, на котором сидит, Ильхан Берк выступил на страницах «Еди тепе» с серией статей, в которых попытался объяснить с читателями. Статьи эти заслуживают того, чтобы на них остановиться, ибо тут, как говорит турецкая пословица, «баклажан выпал у него изо рта», и объективный смысл бессмысленной поэзии стал ясным.

Пытаясь доказать превосходство бессмысленной поэзии, Ильхан Берк бросает общий взгляд на мировую поэзию и, конечно, прежде всего на поэзию американскую. «Я полностью солидарен с Эдгаром По,— пишет он,— и вслед за ним повторяю: поэзия — это ритмическое воплощение красоты, и только». Разделавшись таким образом с красотой, освободив ее от истины, Ильхан Берк выражает свое крайнее неудовольствие демократизмом Уолта Уитмена, гражданским пафосом Виктора Гюго и даже реализмом Гомера. Зато писк любой декадентствующей козявки на современном Западе вызывает неумный восторг этого новатора «национальной» поэзии.

Перейдя от поэзии мировой к поэзии отечественной, Ильхан Берк объявляет, что «со времен Танзимата («Танзимат», или «эпоха реформ», — сороковые—шестидесятые годы прошлого столетия, когда в турецкой литературе стали проявляться патриотические и реалистические тенденции.— Р. Ф.) и до наших дней поэты турецкого языка шли по совершенно ложному пути; они не знали, что такое поэзия». Кто же такие эти неразумные поэты, не знавшие, что такое поэзия? Намык Кемаль, Абдюльхак Хамид, Тевфик Фикрет, чьи имена составляют гордость национальной культуры?!

Откровения Ильхана Берка вызвали отпор передовых литераторов страны. Критик Мемед Фуад выступил на страницах «Еди тепе» с ответом Ильхану Берку. «Он, не смущаясь, возлагает на себя почетный венок лидера национальной поэзии,— пишет критик.— Но лидера в каком деле? В деле пересадки целиком возвращенной на почву Запада бессмысленной поэзии? Это было бы смешно, если бы не было печально!»

Мемед Фуад убедительно показывает в своей статье, что «новаторство» поэтов бессмысленного направления (к счастью, не являющегося единственным течением турецкой поэзии): всего лишь повторение давно известных декадентских задов, а их «вклад в национальную культуру» характеризуется пренебрежением к ее лучшим традициям, что «новаторство» это отдает заокеанским «душком».

Бессмысленная поэзия встает, таким образом, в один ряд с явлениями, характеризующими планомерное наступление реакции на турецкую национальную культуру и принявшими в последние годы форму всеобщей борьбы со смыслом. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прочитать хотя бы последний номер того же «Еди тепе».

На первой полосе его огромная шапка: «Нельзя утверждать, что у нас есть национальный театр, до тех пор пока на сцене нет отечественной драматургии». Действительно, уже много лет подряд немногочисленные турецкие театры ставят одну за другой бессодержательные поделки бродвейских авторов и французские адюльтерные водевили. Давно уже не появлялось на сцене сколько-нибудь значительное произведение турецкого драматурга. Может быть, таких вообще нет? Их мало, но они есть. И в печати упоминались их имена и названия произведений. Все дело, оказывается, в том же «губительном давлении извне», которое театр испытывает, пожалуй, еще в большей мере, чем поэзия. Это давление было наглядно продемонстрировано шумевшим делом бывшего генерального директора государственных театров Эртугрула Мухсина. Крупнейший турецкий режиссер и театральный деятель, чья слава перешагнула границы страны, «отец современного турецкого театра», как его именуют в Турции, отдавший ему около полувека своей жизни, был неожиданно уволен одним росчерком пера министерского чиновника без объяснения причин и без единого слова благодарности. Некоторые газеты писали об этом, как о «печальной бессмыслице, наносящей удар турецкому театру». Но такая ли уж это бессмыслица? Ведь подлинной причиной отставки Эртугрула Мухсина, как это видно из прессы, послужило его несогласие с театральной политикой, нежелание подчиниться модернистским модам, пришедшим из-за океана, его приверженность к реализму и уважение к национальным традициям.

Дальше-больше. В свое время, по инициативе первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемалю Ататюрка, для того чтобы облегчить распространение грамотности и понимание смысла написанного, арабский алфавит, не соответствовавший строю турецкого языка, был заменен латинским. Но сейчас в Турции все чаще слышатся голоса, требующие возврата к старому, ратующие за обучение в школах арабскому алфавиту. Об одном из таких выступлений можно прочесть в том же номере «Еди тепе». «Сейчас говорят,— пишет двухнедельник,— что издание корана на латинском алфавите воздвигнет непроходимую стену между исламом и новыми поколениями, и, дабы разрушить эту стену, требуют, чтобы в школах изучали арабский алфавит. Но мы знаем, что следует дальше. Скоро мы услышим, что латинские буквы — дело гяуров и нужно вернуться к буквам нашей веры». Кто же выступил с этим заявлением, которое газета справедливо расценивает как посягательство на одно из завоеваний национально-освободительной борьбы народа, возглавлявшейся Ататюрком? Не кто иной, как министр нынешнего правительства Эюб Сабри Хаирлюглу.

Вот какие цели преследует генеральное наступление на смысл, предпринятое реакцией при заокеанской помощи. И трудно не согласиться с журналистом Тувчем Ялманом, который все подобные факты ставит в один ряд с такими мероприятиями, как закрытие народных домов, ликвидация университетского самоуправления и новые ограничения свободы печати. «Каждое из них,— писал он в стамбульской газете «Ватан»,— было жестоким ударом по интеллектуальной и культурной жизни турецкой нации». «Второе новое» направление в турецкой поэзии по своему объективному смыслу — один из таких ударов.



В последнем дошедшем до нас номере «Еди тепе» не без сарказма требует включения в турецкий уголовный кодекс закона об охране турецкого языка. Поводом для этого послужило объявление, повешенное богатым турецким купцом в центре крупнейшего турецкого города Измира и написанное на ужасающей смеси английского и турецкого языков: «Сдается. Только американцам. Обращаться к мистеру Хамдиоглу».

«Еди тепе», судя по его выступлениям, отчетливо понимает, какую угрозу представляют для турецкой культуры «мистеры Хамдиоглу» и их хозяева. Хочется верить, что столь же решительно двухнедельник выступит и в защиту турецкой поэзии от бессмыслицы, имеющей весьма отчетливый смысл. И, может быть, этим поможет молодому поэту Гёненчу, со стихотворения которого мы начали наш комментарий, и его товарищам по перу избавиться от «осазанившего их опьянения» и трезво поглядеть вокруг. Ведь в свете фактов, каждодневно сообщаемых газетой, их стенания и жалобы на преждевременную старость также приобретают совершенно ясный смысл.

**Р. ФИШ.**



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ТУРКОВ

★

## НОВЫЕ РАБОТЫ О МАЯКОВСКОМ

**В**о время своих фантастических странствий, описываемых в поэме «Про это», Маяковский несколько раз встречается людей, поразительно похожих на него («по росту, по коже, одеждой, сама походка моя!.. близнецами похожи») и в то же время настолько чуждых и враждебных ему, что само это сходство оскорбляет его и приводит в ужас.

Нечто подобное могло бы приключиться с поэтом и при чтении кое-каких книг и статей из той обильной литературы, которая уже составила о его жизни и творчестве.

В злобных пасквилях врагов он повстречался бы и с чудовищным циником, жадно грабастающим деньги и воцарившимся в каком-то мифическом московском особняке, и с еще более нелепыми сплетнями.

И как бы ни был поэт азартен, сколько ни отдавал бы дани иным человеческим слабостям (недаром он и Некрасова аттестовал с такой шутиливой симпатией: «он и в карты, он и в стих...»), вряд ли он, однако, ожидал увидеть себя в книге своего старого друга Р. Якобсона этаким Германом с «гипнотически непреодолимой, сокрушительной волей... выиграть», человеком, который, подобно герою старинных мелодрам, «жил и погиб игроком» — игроком в жизни, любви и в поэзии. Вот уж поистине:

Врагов имеет в мире всяк,  
Но от друзей спаси нас, боже!  
Уж эти мне друзья, друзья!

Едва ли приятно было бы Маяковскому увидеть себя и в роли «первого ученика», который не вылезает из пятерок и которого постоянно ставят в пример всем остальным, так что это в конце концов начинает вызывать у них даже глухую неприязнь к нему.

Словом, когда поэт до революции писал статью «О разных Маяковских», он еще предполагал сравнительно бедным и однообраз-

ным материалом. Отзывы были по преимуществу ругательные. Теперь же безоговорочные панегирики чередуются со статьями, которые напоминают запоздалое дипломатическое признание уже давно существующего государства. Имя Маяковского то разворачивается, как боевое знамя подлинно новаторского искусства, то съезживается до размеров фигового листика, которым тщатся прикрыть стыд формалисты.

Споры вокруг этого имени не затихают. Поэтому каждая новая книга о Маяковском вызывает к себе самое пристальное внимание, и приверженцы различных точек зрения ревниво изучают собранный в ней материал и приобретают то нового союзника, то еще одного оппонента или даже открытого противника.

1

«Определение Маяковского как лучшего поэта нашей эпохи нередко истолковывалось догматически...— справедливо говорилось в одной из статей «Известий Академии наук СССР» (1957, т. XVI, вып. 5).— На Маяковского стали наводить «хрестоматийный глянец». Лакировка облика Маяковского проявлялась в различных формах: одни доказывали, что он чуть ли не с самого начала был последовательным большевиком (С. Трегуб, А. Колосков). Другие изображали его единственным основоположником всех явлений в советской поэзии...»

В прошлом году в Госполитиздате вышла новая книга А. Колоскова «Маяковский в борьбе за коммунизм». Увы! Автор снова вуалирует реально существовавшие во взглядах и литературной деятельности Маяковского противоречия, опять ему кажется, что будет «недостаточно поэт красив», если не навести на его лицо спасительный грим.

Комментируя строки «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека!», А. Колосков пишет: «В то время, когда были написаны эти строки, недавний участник большевистского подполья Маяковский чувствовал нарастание нового революционного подъема, возникшего в апреле 1912 года после расстрела рабочих на Ленских приисках...»

«И если, прервав партийную работу, Маяковский потерял организационную связь с партией, это не значит, что источник большевизма перестал его питать», — заявляет исследователь далее и называет Маяковского человеком, «прошедшим с революцией весь путь — от черных дней реакции до светлых дней социализма».

Известно, однако, что, выйдя из тюрьмы в начале 1910 года, в черные дни реакции, Маяковский «прервал партийную работу» (см. автобиографию «Я сам»), и вскоре очутился в литературной группе, задачи которой весьма далеко отстояли от прямой революционной борьбы.

Говоря о спаде общественных настроений в 1908—1910 годах, В. И. Ленин писал:

«И эта поразительно резкая смена не была ни случайностью, ни результатом одного только «внешнего» давления. Предыдущая эпоха так глубоко всколыхнула слои населения, в течение поколений, в течение веков, стоявшие в стороне от политических вопросов, чуждые им, что «переоценка всех ценностей». новая работа над основными проблемами, новый интерес к теории, к азбуке, к учению с азов возник естественно и неизбежно. Миллионы, сразу разбуженные от долгого сна, сразу поставленные перед важнейшими проблемами, не могли удержаться долго на этой высоте, не могли обойтись без перерыва, без возврата к элементарным вопросам, без новой подготовки, которая бы помогла «переварить» невиданно богатые уроки и дать возможность массе несравненно более широкой пойти опять вперед, уже гораздо более твердо, более сознательно, более уверенно, более выдержанно»<sup>1</sup>.

Эти ленинские слова, на наш взгляд, дают исследователям ключ в руки, чтобы объяснить многие явления в литературе того времени, когда не только юноша Маяковский, но даже и куда более зрелые и умудренные жизнью люди, например Горь-

кий, поддавались умонастроениям довольно болезненным.

Почти одновременно с книгой «Маяковский в борьбе за коммунизм» вышел в свет очередной, 65-й том «Литературного наследства», носящий название «Новое о Маяковском». В нем опубликовано немало интересных, ценных материалов. И многие из них лишний раз свидетельствуют против А. Колоскова. Не случайно последний и редактор его книги В. Воронцов выступили со статьей, направленной против этого тома «Литературного наследства» («Литература и жизнь», 7 января 1959 г. «Новое и старое о Маяковском»).

А. Колосков пишет в своей книге: «До февральского переворота Маяковский вынужден был скрывать сочувствие, идейную принадлежность к партии большевиков, не мог открыто выражать в стихах политические взгляды. Теперь, когда рабочий класс сверг царизм, он не хотел больше скрывать своей «партийной принадлежности», хотя и не был членом большевистской партии. Он открыто боролся за осуществление политики большевистской партии, открыто называл себя большевиком».

Разумеется, царская цензура представляла огромное препятствие для писательского дела, она искорежила и многие стихи Маяковского, например «Облако в штанах». Глядя на первое издание этой поэмы, страницы которого буквально пестрят цензурными вымарками, невольно вспоминаешь горькие некрасовские строки:

Живого нет местечка!  
И только на строке  
Торчит кой-где словечко,  
Как муха в молоке.

Но, право же, цензура не могла понудить столь искреннего поэта, как Маяковский, к тому, чтобы так тщательно упрячивать свои истинные взгляды, как это предполагает А. Колосков. Разве не является «открытым выражением в стихах политических взглядов» Маяковского и то, что он горячо обличал «золотопалый микроб» — рубль, проникший во все области жизни, не дающий человеку быть человеком, творить, любить, радоваться миру, и то, что поэт страстно искал избавления от этого вездесущего гнета, горя предчувствием грозных социальных взрывов, и то, что он «плюнул рифмами в лицо войне»?!

Цензура ставила рогатки и Чернышевскому, и Щедрину, и Горькому, и Маяков-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 23.

скому, но исказить политический смысл их творчества ей было не под силу. «Цензура — та же паутина, — писал Герцен, — маленьких мух она ловит, а большие ее прорывают».

Эффектная выдумка А. Колоскова о «подпольном большевизме» Маяковского в пору его дореволюционной поэтической деятельности не имеет под собой никакой почвы, кроме пылкого желания «улучшить анкету» поэта.

Опубликованная в «Литературном наследстве» статья Е. Динерштейна «Маяковский в феврале—октябре 1917 г.» показывает, что даже в этот период поэту были свойственны некоторые политические иллюзии, далекие от позиции большевика.

Следует оговориться, что большинство стенографических записей, которые используются и Е. Динерштейном и авторами других статей и публикаций, не выправлено, содержит много пробелов, пропусков, неясностей. «Качество стенографической записи неудовлетворительное», стенограмма «записана не вполне удовлетворительно», «вследствие неудовлетворительности записи в тексте остались неясности, которые не удалось устранить», — сообщают публикаторы.

— Что же вы предлагаете? — могут нас спросить. — Может быть, прикажете выправить стенограммы за Маяковского?

Эти замечания не идут к делу.

Нам кажется, например, слишком смелым утверждение Е. Динерштейна, сделанное на основании речи поэта 12 марта 1917 года, запись которой, по мнению самого автора статьи, страдает значительными дефектами: «...поэт призывает целиком доверить «политическую работу по устройству России» Временному правительству, гарантирующему свободу, которая была заявлена...»

Здесь скомпонованы отрывки из двух соседствовавших (и то судя все по той же записи, которую В. Катанян в своей хронике назвал «крайне несовершенной») и предположительно не цитировать) фраз. Скомпонованы правильно с точки зрения формального синтаксиса: вместо слов «Это дело (мы можем целиком доверить)» исследователь подставил последние слова предшествующей фразы. И все-таки сомнительно: можно ли в таком важном вопросе бестрепетно полагаться на стенографистку?

Вот почему вопрос о качестве стенограмм не есть вопрос формальной придирки. Но

при всем том из статьи Е. Динерштейна ясно, что Маяковский не сразу отрешился от иллюзии революционного оборончества и от требования автономии искусства, свойственного раннему футуризму.

Все это ничуть не умаляет заслуги Маяковского как автора такого, например, яркого антивоенного стихотворения, как «К ответу!». Напротив, это только вселяет уважение к поэту, сумевшему проделать такую быструю идейную эволюцию в той сложной и запутанной политической атмосфере, которая сложилась после февраля 1917 года.

Однако В. Воронцов и А. Колосков в своем высугуплении в «Литературе и жизни» обвиняют Е. Динерштейна в том, что он в своей статье якобы «попросту возвращается к клевете, которую распространяли о Маяковском враги поэта из лагеря врагов социалистической революции, намеренно искажая его облик».

Но ведь не только один Маяковский «не сразу разобрался в истинном характере кадетско-меньшевистской демократии», но и Горький. Последний даже направил Временному правительству приветствие, вызвавшее резкую критику со стороны Ленина.

«Обращаться к этому правительству с предложением заключить демократический мир — все равно, что обращаться к содержателям публичных домов с проповедью добродетели», — саркастически заметил по адресу Горького Владимир Ильич в «Письмах из далека»<sup>1</sup>.

Односторонне оценивает А. Колосков в своей книге и позиции Маяковского в послереволюционной литературной борьбе.

Складывание советской литературы происходило в годы ожесточенных классовых боев, в яростных схватках с буржуазной идеологией, в жарких, порою запальчивых спорах о том, какими художественными путями надо идти.

«Писали мы тогда много, жадно, — вспоминал впоследствии Вс. Иванов. — Хотелось высказаться, утвердить себя. Художественного опыта, естественно, не хватало; к опыту и манере классиков мы относились скептически, каждый из нас хотел непременно найти свою манеру. Кроме того нам казалось, что новый общественный порядок требует и новой манеры выражения его в искусстве. Отсюда много азарта, много сует-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 23, стр. 325.

ни, часто, в сущности, совершенно ненужной».

Разумеется, не надо судить о некоторых дебатах тех лет с таким же видом, с каким иной современный десятиклассник дивится «наивности» древних философов.

Но не следует и утаивать реальные трудности происходившего в двадцатые годы литературного процесса, иначе «суетня» неминуемо окажется на одном пьедестале с подлинными достижениями.

Вот одна из речей, произнесенных Маяковским в 1918 году, которую А. Колосков цитирует с явным одобрением:

«Мы приветствуем призыв докладчика к созданию пролетарского искусства. Но разве можно привлекать к этому делу огульно всех деятелей искусства, как это делается сейчас? Вы говорите: «добро пожаловать». Мы говорим: «предъявите ваши мандаты». Кем вы посланы — сердцем, бьющимся с пролетарской революцией, или жаждой заказов нового хозяина? Сейчас все, кто вчера дебатировал вопрос о неподаче нам руки, наскоро усвоили новые идеи, но нас этим не проведешь. О новом надо говорить и новыми словами. Нужна новая форма искусства. Поставить памятник металлу мало, надо еще, чтобы он отличался от памятника печатнику, поставленного царем. Революция, разделившая на два лагеря всю Россию, провела границу и между правым и левым искусством. Налево — мы, изобретатели нового; направо — они, смотрящие на искусство, как на способ всяческих приобретений. Это великолепно понимают рабочие, радостно принимающие наши выступления. Внеклассового искусства нет. Новое создаст только пролетариат...»

Прежде всего закончим прерванную А. Колосковым фразу: «...и только у нас, футуристов, общая с пролетариатом дорога» («Искусство коммуны», 29 декабря 1918 года).

Итак, новое искусство создаст только пролетариат, с которым по пути только футуристам, которые одни только и могут рассматриваться как бескорыстные приверженцы Советской власти!

Даже одно это процитированное А. Колосковым выступление содержит рядом с верными положениями и такие, которые явно свидетельствуют о футуристически-пролеткультовских заблуждениях Маяковского. Отсюда идет прямая дорога к декларациям Лефа (существование которого автор книги вообще обходит молча-

нсм): «Мы знаем: мы, левые мастера, мы — лучшие работники искусства современности» и т. п. (см. «Леф», 1923, № 1).

Стоит напомнить, что и в «Пощечине общественному вкусу» (1912), в манифесте Д. Бурлюка, А. Крученых, В. Маяковского и В. Хлебникова, тоже говорилось:

«Только мы — лицо нашего времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве».

А. Колосков уверяет, что «было бы неверно и несправедливо делать его (Маяковского.— А. Т.) ответственным за идеологическую линию» футуристической газеты «Искусство коммуны». Но стоит прочесть хотя бы публикацию А. Февральского в «Литературном наследстве» — «Из выступлений Маяковского 1918—1925 гг.», чтобы убедиться в том, что поэт очень активно участвовал в выпуске этого издания, особенно его первого номера. Не стал бы Маяковский подвизаться, по его собственному определению, «в виде совещательной лошади, которая ходила по делам этой газеты», ради издания, в котором он не был бы кровно заинтересован! «Я знаю, как много времени потратил товарищ Маяковский, чтобы выпустить этот номер», — свидетельствует и председательствовавший на заседании коллеги Отдела изобразительных искусств Наркомпроса (см. стенограмму от 5 декабря 1918 года).

Характерна также публикация В. Зельдовича «Первая встреча Луначарского с Маяковским в 1917 г.», где, между прочим, впервые печатается не увидевшая в свое время света часть статьи Анатолия Васильевича «Ложка противоядия» (1918). В ней мы находим жестокую, но во многом справедливую характеристику нигилистических выступлений поэта по адресу классического наследия, сочетавшихся со свойственной футуристам вызывающей самооценкой:

Примечательно, что, охарактеризовав высказывания Луначарского как «раздраженную, неоправданно грубую и неверную по существу характеристику», В. Воронцов и А. Колосков обошли полным молчанием опубликованную в «Литературном наследстве» обстоятельную статью Е. Наумова «Ленин о Маяковском», в которой прокомментированы две недавно напечатанные записки В. И. Ленина по поводу издания поэмы «150 000 000».

В своей содержательной рецензии на книгу «Пережитое» Л. В. Маяковской и «Маяковский в борьбе за коммунизм», по-

явившейся в «Известиях Академии наук СССР» (1958, т. XVII, вып. 6), Г. Черемин уже отметил, что А. Колосков хотя и сообщает о резко отрицательной оценке поэмы Лениным, но одновременно всячески преуменьшает и сглаживает недостатки этого произведения.

Еще бы! Ведь ленинская оценка подрывает краеугольный камень «концепции» Колоскова, напоминая, что и после революции путь Маяковского вовсе не был так ровен и гладок, как тщится это представлять исследователь.

И если раньше он не видел в поэме никаких недостатков, то теперь он делает кое-какие уступки, но при этом старается сохранить всю свою «концепцию» в целостности и представить «150 000 000» случайной неудачей, не пытаясь проанализировать ее характер, ее причины, так как тогда ему пришлось бы серьезно пересмотреть свои взгляды.

Но разве так должен поступать исследователь?!

В «Воспоминаниях о развитии моего ума и характера» Ч. Дарвин, называя различные причины своих успехов в науке, замечает:

«Кроме того, в течение многих лет я придерживался следующего золотого правила: каждый раз, как мне приходилось сталкиваться с каким-либо опубликованным фактом, новым наблюдением или мыслью, которые противоречили моим общим выводам, я обязательно и не откладывая делал краткую запись о них, ибо, как я убедился на опыте, такого рода факты и мысли обычно ускользают из памяти гораздо скорее, чем благоприятные <для тебя>».

Сдается мне, что А. Колосков, а за ним и В. Воронцов поступили как раз наоборот.

А. Колосков говорит в своей книге, что после стихотворения «Той стороне» и выступления Маяковского на митинге «Пролетарият и искусство» 29 декабря 1918 года всякие упреки в неуважении поэта к классическому наследию должны отпасть. В доказательство он цитирует слова Маяковского о том, что он «сам готов возложить хризантемы на могилу Пушкина. Но если из гробов выйдут покойники и захотят влиять на творчество наших дней, то им нужно заявить, что им не может быть места среди живых».

В порыве умиления исследователь, видимо, не задумался над тем, что значит в

устах Маяковского — возложить цветы на могилу Пушкина, да не какие-нибудь, а провонявшие всеми пошленькими романсами хризантемы!

Футуризм готов еще — да и то иронически — снять шляпу перед «мертвым» классиком, но решительно воспрещает ему вход в современность... Чего уж, кажется, яснее, тем более, что и в «Лефе» — спустя четыре года! — можно было прочитать следующую декларацию, почти дословно повторенную затем в одном интервью Маяковского (см. в 65-м томе публикацию С. Кэмрада «Неизвестные интервью и выступление Маяковского на Украине в начале 1924 г.»):

«Что ж, мы даже можем теперь эти книги как книги, не хуже и не лучше других, приветствовать, помогая безграмотным учиться на них...»

Не сбрасывать Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности, а оставить их в качестве... буквы и в то же время «всеми силами... бороться против перенесения методов работы мертвых в сегодняшнее искусство» (разрядка «Лефа») — какой, в самом деле, прогресс!

Много материала для опровержения идеализаторских ухищрений А. Колоскова дает и первый раздел нового тома «Литературного наследства» — «Неизданные выступления Маяковского 1920—1930 гг.».

Отстаивая принципы действенного революционного искусства, остро и верно критикуя некоторые тревожные явления (например, конструктивизм, тенденции плоского натурализма в живописи), Маяковский, однако, порой допускал неоправданные выпады против всего «старенького искусства, в котором нет никаких отзвуков, никакого соприкосновения с той гигантской борьбой, которую поднял рабочий класс», выносил поспешный смертный приговор рисунку, коль скоро появилась фотография. Тут и запальчивые утверждения, будто «не только по своему содержанию, по оборотам своей речи, но и по самой своей форме, по подходу к литературной работе, тоже не нужно брать за образец произведения Л. Н. Толстого», и даже броские «афоризмы» совершенно в духе дореволюционных футуристических выступлений: «...живой Леф лучше, чем мертвый Лев Толстой».

Можно понять ту страстность, с которой полемизировал Луначарский — и полемизировал блистательно — с этими футуристическими заблуждениями Маяковского и вооб-

ще с неизжитым пролеткультовским духом в литературе («...возьмут перо, возьмут чернильницу в руки и задумаются: как же быть? Перо буржуазное, чернильница буржуазная»).

Проявив излишнюю снисходительность к футуризму в 1918—1921 годах, за что его неоднократно критиковал В. И. Ленин, Луначарский в 1925 году говорит о новом видоизменении футуризма — Лефе — с беспощадной трезвостью:

«...Леф вообще уже почти отжившая вещь. Я извиняюсь перед товарищем Маяковским, но пока товарищ Маяковский лефист, он уже отсталый тип».

«Они сидят там в лефовской лаборатории и придумывают новые лефовские пути», — саркастически замечал Луначарский, говоря, что тем временем в литературу пришло новое поколение писателей — реалистов, и, наконец, заключил:

«...Не только Лев Толстой умер, но и Леф ваш умер. Пришло то, чего мы ждали и к чему призывали вас, пока пришло еще только в литературе. В живописи нет, в музыке нет, но в литературе пришло: широкая и глубокая реалистическая литература».

Луначарский преувеличил число покойников: творчески умер только Леф. Ведь именно на заветы бессмертного Толстого, а не на рецепты лефовской лаборатории, не на их «вернейшие чертежи, искуснейшие теоремы, хитроумнейшие формулы» опирался, например, А. Фадеев, работая над «Разгромом», появившимся вскоре после полемики между Маяковским и Луначарским.

И если даже в 1927 году, дискутируя с В. Полонским, Маяковский все еще повторяет: «Лефистом» мы называем каждого человека, который с ненавистью относится к старому искусству», то это свидетельствует лишь об упорстве, с каким замечательный поэт донашивал уже разлезавшиеся на нем по швам футуристические обноски.

«Сложность положения была в том, — справедливо пишет В. Перцов во втором томе своей монографии о Маяковском, — что Маяковский считал футуризм революционным искусством и не только не думал разрывать с ним, но, напротив, видел в нем путь к созданию произведений, достойных великой эпохи».

Эти слова написаны применительно к более раннему периоду (1920—1922). К 1927 году поэт пришел и с большими творческими победами и с большими внутренними противоречиями с лефовской программой

(вспомним хотя бы «Юбилейное» 1924 года). Однако до полного разрыва с «лефистами» дело еще не дошло.

Во многом это объяснялось тем, что Леф в то время отнюдь не был исключением.

«Стремление, говоря от лица определенной школы, говорить в то же время от лица власти», отмеченное А. Луначарским как черта, присущая газете «Искусство коммуны», было свойственно и другим группировкам послереволюционных лет, в частности «напостовцам» и рапповцам. И не кто иной, как Маяковский, зло и метко говорил об этой прискорбной особенности:

Многие  
пользуются  
напостовской тряской,  
с тем,  
чтоб себя  
обозвать получше.  
— Мы, мол, единственные,  
мы пролетарские... —  
А я, по-вашему, что —  
валютчик?

К сожалению, он не всегда замечал ту же тягу к литературному монополизму за своим детищем — Лефом. Однако как поэт Маяковский не засиживался в «лефовской лаборатории». Уже в 1925 году, полемизируя с ним, Луначарский аргументировал свои мысли о несостоятельности Лефа творчеством самого своего оппонента.

Неуклонно утверждая, что в качестве лефовца (лефиста) Маяковский — «отсталый тип», Луначарский славил его как революционного поэта, находя для оценки его поэм такие слова, которых не могли найти соратники Маяковского по группировке, прivityшие видеть в нем свой главный таран в литературных стычках.

И когда, выступая по докладу о политике партии в области художественной литературы, в 1928 году, Маяковский произнес известные слова: «При прикреплении писателя к литературной группировке он становится работником не Советского Союза и социалистического строительства, а становится интриганом своей собственной группы», — за ними стоял суровый опыт предшествовавших лет.

В. Перцов значительно трезвее и глубже разбирает этот вопрос, посвящая ему даже специальную главу — «Маяковский и Леф», насыщенную разнообразным и интересным материалом. Однако и он не удержался от соблазна приискать какое-то оправдание Маяковскому — редактору «Лефа». Так, он высказывает предположение, что «журнал





И надо ли приводить фразу из воспоминаний Н. Подвойского: «Караулы заняли посты» — в связи со строкой:

...бледнели  
звезды небес  
в карауле.

И когда, говоря об одной детали образа Керенского, В. Катанян оговаривается: «Мы не собираемся утверждать, что именно отсюда, из газетки «Новая Русь», этот каламбур попал к Маяковскому», то остается совершенно неясным, почему же, по мнению исследователя, поэт в данном случае мог воспользоваться «запасом деталей десятилетней давности», а описание штурма Зимнего должен был чуть ли не целиком почерпнуть из мемуарных источников.

Недооценивать значение печатных источников для работы поэта, конечно, не стоит. Но неправильно и сводить ее лишь к использованию и расцветиванию выловленных из книг фактов, которым сам поэт являлся современником, если не свидетелем.

И совсем уж порождением одной только литературной стихии выглядит Маяковский в статье Н. Харджиева «Заметки о Маяковском», которую В. Воронцов и А. Колосков оценили совершенно справедливо.

Критикуя одного из футуристов за слишком поспешные выводы, основанные лишь «на чисто внешнем сходстве нескольких слов из последней строфы стихотворения И. Анненского «Тоска припоминания» с начальными строками стихотворения Маяковского», автор «Заметок» сам, однако, сплошь и рядом пользуется таким же «методом» доказательств.

Напомним, например, что в стихотворении «Сергею Есенину» Маяковский полемически перефразировал предсмертные есенинские строки: «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей», Н. Харджиев заявляет:

«Эти строки восходят к заключительной сентенции басни Крылова «Крестьянин и смерть» (1807):

Из басни сей  
Нам видеть можно,  
Что как бывает жить ни тошно,  
А умирать еще тошней».

Таким же путем устанавливается наличие «переклички» между Маяковским и Сашей Черным:

«У Маяковского:

Кудреватые Митрейки,  
мудреватые Кудрейки—  
Кто их, к черту, разберет!

Ср. у С. Черного:

Дипломат, шпион иль повар?  
Но без формы — люди братья —  
Кто их, к черту, различит?..

Последняя строка с незначительным изменением (замена рифмового слова) вошла в поэму Маяковского.

Словом, Маяковский стремительно обзаводится «родственниками» — от Эдгара По и Апухтина до Байрона и маркиза Бьевра, автора «Альманаха каламбуров».

Н. Харджиев занят отыскиванием у Маяковского «параллельных метафор, которые нужно отличать от протекающих (!) образов», он регистрирует «зверинные образы», встречающиеся в стихах поэта, и завершает заметку «Смысловые лейтмотивы» следующим бесценным наблюдением:

«Однажды Маяковский декламировал свои стихи на фоне звучащего оркестра, перекрывая его мелодии. Об этом свидетельствует неопубликованное письмо Д. Бурлюка и Н. В. Николаевой В. Хлебникову, посланное 17 марта 1914 г. из Ростова-на-Дону (во время литературного турне): «...После лекции—кафе. Колючки оркестра. Маяковский что-то декламирует. И музыканты и Маяковский заливаются о чем-то».

Эта статья воспринимается в томе «Новое о Маяковском» как странный пережиток, напоминающий о временах, когда советское литературоведение делало еще только самые первые и не всегда удачные шаги.

Что побудило включить ее в «Литературное наследство» сейчас — неясно. Нам кажется, что в этом сказались некоторая непоследовательность в отборе, проявленная составителями тома, благодаря чему рядом с документами и исследованиями, действительно весьма интересными и поучительными, в книге оказались материалы, не имеющие серьезного научного значения или не являющиеся новостью для многих читателей «Литературного наследства», в особенности для литературоведов.

### 3

Раздел «Письма Маяковского» открывается письмами к Л. Ю. Брик за весьма обширный период — с 1917 по 1930 год (всего 125 писем и телеграмм). «Письма Маяковского к Л. Ю. Брик, — говорится в редакционном предисловии, — замечательный эпистолярный цикл, который охватывает тринадцать лет и представляет не

только биографический, но и литературный интерес».

Вероятно, эта оценка в первую очередь — и вполне справедливо — должна быть отнесена к тем письмам и запискам, которые написаны во время двухмесячного «добровольного заключения» Маяковского в своей комнате и работы над поэмой «Про это». Разумеется, эти письма, одно из которых шуточно помечено «Редингетской тюрьмой», не могут целиком объяснить нам ни поэму, ни историю ее создания, которые значительно переросли историю взаимоотношений автора писем с их адресатом. Но они, бесспорно, приоткрывают перед нами какие-то новые стороны и творческой истории «Про это» и самой личности поэта. В них слышится человеческое горе, о котором почти неудобно читать, словно бы ненароком зашел в чужую комнату, не постучавшись («Если ты почувствуешь от этого письма что-нибудь, кроме боли и отвращения, ответь, ради Христа, ответь сейчас же, я бегу домой, я буду ждать»). В них явственно ощутимы бережность, величайший такт, стремление разрядить возникшую напряженность ласковой шуткой.

Читая переписку с Л. Брик, приходится помнить, что, за исключением периода «добровольного заключения», она относится, главным образом, к поездкам Маяковского и носит на себе неизбежный след дорожной скорописи, беглости. То, что в силу хронологии и «порядковых номеров» при публикации оказывается рядом, в действительности было отделено друг от друга множеством общественных событий, эпизодов литературной жизни, личных переживаний. Вероятно, зачастую «самое интересное» оставалось за рамками письма — в расчете на то, что это будет рассказано в домашней обстановке, по возвращении, с той полнотой, какая по разным причинам невозможна в письмах, особенно из-за границы.

Поэтому, становясь предметом академической публикации, подобные письма в значительной мере обесцвечиваются.

Конечно, они могут послужить материалом для биографа, кропотливо составляющего хронологию жизни и творчества поэта. Но мы привыкли к тому, что публикуемая переписка писателя, будь то Пушкин или Горький, Тургенев или Флобер, обычно в значительно большей мере характеризует его как человека и литератора, чем та, о которой сейчас идет речь. Видно, все дело в том, что значительной части напеча-

танных в «Литературном наследстве» писем сам Маяковский предназначал сугубо скромную роль — уведомить о приезде или отъезде, непредвиденной задержке, сообщить о срочных, не терпящих отлагательства делах (например, о всевозможных расчетах с издательствами и редакциями) и т. д.

Вот телеграмма Л. Брик:

«Здоров. Приехал. Адрес Whip 37 Мехико. Целую.

Щен».

(См. также №№ 72, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 113, 114, 115, 120, 122, 123).

Вот записка опоздавшему на свидание с Маяковским Д. Бурлюку:

«Доля, ты неисправим.

Жду ровно в 5 для поездки в Филадельфию.

В. М.».

Телеграмма О. Брику:

«Телеграфируй Самара гостиница Националь про Кису Леф Федерацию. Четверг еду Саратов. Скучаю целую.

Вол».

Телеграмма в день рождения знакомой поэта — Н. Брюханенко:

«Поздравляю. Жму лапу.

Маяковский».

«До сих пор были известны лишь небольшие отрывки из этих писем (к Л. Брик.— А. Т.) и только шесть писем было напечатано полностью (в сборнике «Маяковский. Материалы и исследования». М. 1940.— А. Т.),— говорится в редакционном предисловии.

Это не совсем точно.

Письмо — а точнее, список поручений — от 25 мая 1925 года уже давно известно читателям из воспоминаний Л. Брик («Знамя», 1941, № 4), где было опущено только обращение и вместо слова «ругать» стояло «пугать».

Что же касается отрывков (кстати, нередко весьма значительных по своим размерам), которые были ранее напечатаны в «хронике» В. Катаяна (см. 15 января, 9 ноября и 6 декабря 1924 года, 2, 9, 19—20 и 22 июня, 3 и «около 15» июля 1925 года, 7 мая 1927 года, 20 октября 1928 года, в «Дополнениях» — 14 февраля 1924 года и 9 апреля 1928 года) и в статье О. Брика, опубликованной в сборнике «Маяковскому» (1940 г.; отрывки из двух писем 1917 и 1918 годов), то в них временами уже содер-

жалось все то, ради чего, собственно, и стоило делать эти письма достоянием читателей.

Почти полностью напечатаны в «Хронике» В. Катаняна телеграммы от 14 сентября и 19 октября 1925 года, 26 августа 1927 года, 29 октября и 10 ноября 1928 года (последняя датирована у В. Катаняна 11 ноября).

Автор публикации «Письма Маяковского к разным лицам (1913—1930)», В. Катанян, пишет: «Для полноты нами включено сюда и несколько писем, ранее опубликованных в различных изданиях (например, К. И. Чуковскому, Р. Я. Райт, В. В. Люцце)». Затем, комментируя вторую телеграмму поэта режиссеру Н. Смоличу, он в скобках замечает: «Впервые опубликовано Сим. Дрейденем в статье «Двадцать пятое». — «Звезда», 1957, № 7, стр. 187».

Точности ради ему следовало бы добавить, что и первая телеграмма Н. Смоличу уже известна читателю (см. В. Катанян. «Маяковский. Литературная хроника», М. 1956, стр. 458). В той же книге опубликованы пространные и весьма существенные выдержки из писем Д. Бурлюку от 15 сентября 1923 года, Н. Асееву, Н. Чужаку (обоим от августа 1921 года), Н. Чужаку от 22 января 1923 года.

Очевидно, при рассмотрении вопроса о публикации переписки поэта отсутствовал четкий критерий отбора.

Могут возразить, что никто не читает «Хронику» В. Катаняна как сборник писем Маяковского, что до сих пор эти письма были разбросаны по разным изданиям и есть смысл собрать их воедино.

Но сборник-то все-таки называется «Новое о Маяковском», и читатель вправе недоумевать, встречая под этим заманчивым переплетом такие документы, которые уже давно вошли в научный и литературный обиход (например, предсмертное письмо поэта).

И если уж публиковать письма к Л. Брик в полном объеме (хотя мы и не скрываем сомнения в необходимости это делать ввиду весьма прозаического характера многих из них), надо было более деловито прокомментировать эту публикацию и не придавать ей значения некоторой сенсации, более осторожно и ограничительно пользуясь такими обязывающими определениями, как «замечательный эпистолярный цикл».

Вслед за книгой «Новое о Маяковском» должен появиться еще один, обещанный в предисловии том, посвященный этому поэту. Надо думать, что и в дальнейшем «Литературное наследство» продолжит свое ценнейшее начинание — будет знакомить читателей с материалами по истории советской литературы. Как это полезно, показывает случай с книгой А. Колоскова, когда «скромные» академические публикации укладываются на обе лопатки исследователя, пренебрегшего исторической правдой. Одновременно, читая некоторые разделы 65-го тома, нельзя не обратить внимания на ряд существенных упущений, которые редакции «Литературного наследства» не надо повторять в следующих томах, посвященных советской литературе.



---

---

ИННА СОЛОВЬЕВА

★

## ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

**В**от уже несколько лет, как Географиздат выпускает серию переводных книг с виньеткой на обложке: маленький земной шар перевит лентой-надписью «Путешествия, приключения, фантастика». Даже если отложить в сторону томики, принадлежащие к жанру научно-фантастическому (как сделаем мы), получится довольно большая стопка книг. Серия имеет успех. Вслед за Географиздатом рассказы о путешествиях публикует и «Молодая гвардия» и «Иностранная литература». Все-таки чаще всего книги, о которых идет речь, появляются в издательствах, не имеющих прямого отношения к художественной литературе.

Даже внешне они больше походят на брошюры популярно-познавательного свойства, чем на «настоящие» книги. Они одеты бедно и пестро; издания этой серии не рассчитаны на то, чтобы их берегли, они претендуют лишь на то, чтобы их однажды прочли. Их в самом деле читают.

Книжки мягкие, их можно засунуть в карман пальто, чтобы вытащить в пригородном вагоне или в метро, коротая минуты дороги. Они позволяют такое фамильярное отношение к себе еще и потому, что дешевы.

Скромные по оформлению и по цене, они скромны и по требованиям, которые обращают к читателям. Они не настаивают даже на непрерывности чтения. Их, если придется, можно открыть на любой странице, присоединившись к описываемой экспедиции не с самого начала, а на стоянке или во время перехода. Можно не опасаться, что не разберешься в сюжетном движении: взамен пересказа пропущенных глав есть маршруты героев на карте, напечатанной на обложке или на титульном листе. Сюжетное движение совпадает с пространственным перемещением героев, плывущих по волнам Атлантики, вырубаящих ступеньки в

гималайских льдах, задыхающихся во влажной духоте джунглей Африки, лавирующих между коралловыми рифами Полинезии. События возникают на страницах в простейшей последовательности, как фактически возникали по мере осуществления того или другого рискованного предприятия. Авторы, рассказывающие о своих морских путешествиях, приносят извинения читателю, если на протяжении долгих дней они бывали застигнуты изнурительным безветрием или, напротив, полосой штормов: приходится затягивать рассказ, повторяться...

Герои книг заняты ловлей редких зверей в бассейне Амазонки, в Камеруне и на Мадагаскаре, они рассказывают о трофеях подводной охоты, они совершают кругосветное путешествие на автомобиле, живут среди племен, прославивших людоедскими, без гроша в кармане добираются до отдаленнейших уголков земного шара, преобразившись в «охотников за головами» — в охотников за натурой для портретных зарисовок лиц исчезающего этнического типа... Здесь много приключений, непритязательного юмора, названий невиданных животных и птиц, непривычно звучащих имен... Книг вышло уже немало; естественно, среди них найдутся лучшие и худшие, может быть, и вовсе неудачные; но в большинстве своем это добротное занимательное и познавательное чтение. Библиотечка школьника, вступающего в тот возраст, когда полагается мечтать о странствиях по свету и не только вздрагивать при названиях южных островов, но и помнить на память измеренное в морских узлах расстояние от порта до порта, высоту Эвереста в метрах и в футах, принципы устройства ракетного двигателя и латинские имена обитателей голубого континента... Обаяние экзотики плюс обаяние честной фактичности — основа популярности этих книг.

Даже если бы оно было только так, географиздатовская серия заслуживала бы доброго слова. Как всякое хорошее человеческое свойство, любознательность надобно воспитывать. Книги, о которых идет разговор, выполняют эту функцию. Но не только ее.

Четыре (по меньшей мере четыре) книги представляют интерес особого характера. Вынем из стопки изданий научно-популярной серии эти четыре томика: «Путешествие на «Кон-Тики» Тора Хейердала, «Десять лет под землей» Норберта Кастере, «Тигр снегов» Норгея Тенцинга, «За бортом по своей воле» Алена Бомбара.

\* \* \*

Хейердал и Кастере, Тенцинг и Бомбар имеют не больше претензий на место в художественной литературе, чем их коллеги, с безыскусной занимательностью рассказывающие о своих приключениях и экзотических встречах. Их труды также снабжены географическими картами и таблицами, навигационными расчетами, комментариями научного характера. Но самый предмет рассказа таков, что в их книгах возникает высокая этическая тема.

Предмет повествования здесь — подвиг. В одном случае это шестидесятипятидневный переход через Атлантику на резиновой надувной лодке, в условиях, в каких оказывается потерпевший кораблекрушение; доктор Бомбар взялся доказать, что человек способен в этих условиях выжить. Бомбар даже не позволял себе пользоваться рыболовными снастями — их может и не быть у тех, кто очутится в спасательной лодке; только после того, как ему удалось убить самодельным гарпуном дораду, Бомбар получил крючок — крепкий изогнутый шип, растущий у этой рыбы позади жаберной щели... Мучась от жестоких нарывов (результат многодневного недоедания), Бомбар отказывал себе в антибиотиках: их обычно не бывает в распоряжении жертв катастроф в океане... Вместо питья — морская вода и сок, отжатый из пойманных рыб; пищей служит каждодневный улов; опыт плавания под парусами — немногим больше, чем у всякого человека; а самый этот парус во всю длину разорван порывом ветра и зашит сызнова; шов грозит разойтись, как шов, наложенный на рану, при первом неосторожном или неудачном движении...

В другом случае это — путешествие по Тихому океану на плоту, сооруженном по образцу древних американских плотов, из девяти бальзовых бревен, связанных растительной веревкой. Плот спущен на воду при дружных уверениях, что веревки перетрутся, а бревна насквозь пропитаются водой и пойдут ко дну как раз посередине задуманного пути...

В третьем случае это — восхождение на Эверест.

В четвертом — фантастические путешествия «к центру земли», спуск в глубь неизведанных трещин, прогулки по подземным лабиринтам в безмолвной темноте, по горло в ледяной воде, по краю провалов, куда мог бы бесследно рухнуть семиэтажный дом, ползком по переходам, где рискуешь застрять, намертво пойманный каменным капканом...

Рассказ о подвиге как о факте неизбежно вызывает размышления о подвиге как об этической категории, об его месте в жизни. И если эти размышления в самих книгах возникают только попутно, то для читателя именно они наиболее существенны, наиболее важны.

Проблема героического, проблема подвига сегодня живо занимает умы; она снова и снова подымается в современном зарубежном искусстве, оказывается предметом ожесточенных споров. И вот книги, написанные, казалось бы, решительно вне интересов этой литературно-философской полемики, неожиданно вторгаются в самую гущу ее.

То или иное понимание героического связуется с основами общественной нравственности.

Современное искусство буржуазных стран испытывает обостренный интерес к азам морали, к ее жизненно важным центрам.

Истоки этого повышенного интереса понятны.

Едва дожив до середины, двадцатый век пережил две мировые войны; нельзя упускать из виду или преуменьшать их разрушительное воздействие на психику народов. Импералистическая агрессия всегда бывает циничной игрой на понижение акций человечности. Не в поработительных войнах, а в вооруженном противодействии им, в справедливой войне против них, в народно-освободительном движении способны раскрыться высокие душевные свойства человека, совершаются подвиги, достойные этого имени.

Империалистические войны готовятся и сопровождаются нападением на первоосновы народной нравственности. Фашизм наиболее откровенно и последовательно выразил эту экспансию аморализма, возглавив поход на нормы демократической морали. Объявить совесть химерой, поставить вне закона понятия сострадания и человеколюбия, оплевывать и практически уничтожать понятия добра, чести, верности, братства — такова эта агрессивная тактика, встречающая противодействие народов.

Среди гуманистических ценностей, за сохранение которых идет борьба, оказывается и понятие подвига, героического поступка. Речь идет не о чисто теоретических истолкованиях проблем героического. Вопрос поставлен грубее, резче, проще. Есть ли смысл в подвиге? Ради чего стоит идти на него? Что он дает совершающему его, людям, ради которых совершается? Героика либо цинично осмеивается или пессимистически квалифицируется как высокая бесполезность, либо утверждается как живая основа народной жизни, как высшая форма деяния.

Известна роль художников-коммунистов в борьбе за нравственное здоровье народов. Именно пролетарская мораль крепит собой жизнестойкость народной этики. Именно люди, связавшие свою жизнь с революционно-освободительным движением, явили в наше время высшие образцы того жизненного поведения, которое достойно названия подвига. Юлиус Фучик не только сумел дать афористически емкое определение существа героики, сказав, что герой — это человек, который в р е ш и т е л ь н ы й момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества; Юлиус Фучик сам, жизнью и смертью, подтвердил простые слова из собственной статьи: «Героизм подлинный существует. Героизм — это не выдумка. Это что-то очень положительное в жизни». «Героизм — это не выдумка» — простейшим и труднейшим личным примером засвидетельствовали перед своими соотечественниками Раймонда Дьен, Джамила Бухиред, Никос Белояннис, сотни людей, которые в решительный момент делали то, что нужно было делать в интересах человеческого общества...

«Героизм — это не выдумка», как не выдумка иные высокие ценности морали. И в

творчестве деятелей культуры, казалось бы, далеких от политических схваток, ощутима и сильна забота о сбережении основ демократической нравственности. Если современная прогрессивная итальянская кинематография, например, стала в центре внимания мира, то как раз потому, что ее произведения объективно отстаивают непреложность созданных народом духовных ценностей. Как ни увлекателен разговор о неореализме как об явлении эстетическом, его историческая роль определяется прежде всего его этической сутью, решительностью «неогуманистической» программы этого течения. Ведь неореализм возник не только из отталкивания от монументальной помпы, от трубной стилистики кино времен муссолиниевской диктатуры; внутренней, подчас скрытой от самих основоположников неореализма причиной его возникновения, залогом его значимости было желание и способность сызнова утвердить ценность человеческой личности — ценность, оспаривавшуюся и разрушавшуюся фашизмом. Неореализм стал свидетельством о простых людях, сохранивших в своей гуще высокую народную культуру морали.

Вся драматургия Эдуардо Де Филиппо (если мы уж заговорили об итальянцах) держится на энергическом и прочувствованном утверждении этических азов. Драматург патетичен в той откровенности, с какой он берет в основу своих пьес простейшие, даже элементарные истины: «дети есть дети», «семья есть семья», мать есть мать, дружба — дружба, любовь — любовь, чистота — чистота... Впрямую связанный с народной итальянской театральной традицией, Де Филиппо — в непосредственной полемике и со стилистикой и, главное, с философией модернистской сцены; если, скажем, обошедшая мировые театры драма Альбера Камю «Калигула» вся строится на том, что белое не белое и черное не черное, палач столь же достоин сострадания, как жертва, что, вспомнив о безвинной гибели своего отца, нужно вслед за тем попытаться понять того, кто его убил, — Де Филиппо относится к подобного рода моральным изыскам с народной брезгливостью. В белом он видит белое, а в черном — черное. Комедия «Моя семья» — что это, как не последовательное возвращение от логики этических парадоксов к естественной логике, к законам народной нравственности. Все действие строится на том, что люди у нас на глазах проделывают «пересмотр

пересмотра». В результате герои осознают необходимость восстановить в действии нравственные нормы, которые они — в раздражении, с горечью, с бравадой — отбросили было с тем, чтобы, истосковавшись по ним, пытаться вернуться к ним же в финале... Нет, это не явка с повинной в лоно мещанских добродетелей, не восславление извечного величия семейного очага буржуа; если такой привкус и угадывается в литературных трудах Де Филиппо, то именно как привкус, как примесь сторонняя. Пусть позиция Эдуардо Де Филиппо, как и позиция многих кинематографистов неореалистического направления, лишена социальной точности; пусть заранее заданная широта, «общечеловечность» их жизненных воззрений оборачивается — парадоксально и закономерно — их ограниченностью, все же в основе их творчества нет мелкобуржуазной пошлости; в основе тут иное: все та же защита элементарных норм народной нравственности. Отсюда пафос этих намеренно простодушных пьес: да, дети есть дети, дом есть дом, любовь есть любовь, чистота — чистота...

Если бы Де Филиппо обратился к героическому репертуару, он, наверно, написал бы о том, что подвиг есть подвиг.

Подвиг есть подвиг — вот об этом и написано в книгах Хейердала, Кастере, Тенцинга, Бомбара.

\* \* \*

Самый материал, с которым имеют дело авторы этих книг, предопределяет некоторую отстраненность от социальной проблематики, некоторую абстрагированность в решении вопроса о смысле героического деяния. Было бы, однако, решительно неверно приписать Бомбару или Кастере бегство от действительности и усматривать в их отважных предприятиях способ укрыться от политики. В равной мере мы могли бы предъявлять те же обвинения врачу, на самом себе испытывающему противочумную прививку, либо геофизикам, исследующим Антарктиду.

Труды Хейердала, Кастере, Тенцинга, Бомбара не нуждаются в извинительном тоне предисловий. Это книги демократические в полном смысле слова — сделать такой вывод велит не одна лишь неизысканность манеры, в какой они написаны, не одно лишь настойчивое желание авторов быть занимательными и доступными рассказчиками. Демократизм книг, подобных «Путе-

шествию на «Кон-Тики», «Тигру снегов», «Десяти годам под землей», «За бортом по своей воле», заложен глубже: в самой постановке этических вопросов, в позициях авторов, так или иначе касающихся споров о современных моральных ценностях, об этическом наследии.

Эти книги исходят из той предпосылки, что человек по своей природе добр, хорош и силен, что он способен и склонен к героическому. Здесь авторы стремятся сказать о подвиге прежде всего как о простом поступке, вернее, как о поступке общедоступном. Цитируем Бомбара, человека, чей подвиг представляется едва ли не труднейшим: «...ни в коем случае нельзя... рассматривать мое путешествие... как нечто исключительное». Весь смысл отважного плавания, предпринятого французским врачом, как раз заключается в доказательстве того, что подобное мужество вслед за ним может проявить всякий: «помните, что один человек уже прошел этот путь».

Героическое — в возможностях людей.

Суть того, о чем повествуется в книжках Бомбара, Хейердала, Кастере, Тенцинга, связана с первоэлементами героического, даже не с азами морали, но с азами ее азав. Подвиг, становящийся здесь предметом рассказа, совершается в условиях древнейшей в истории человечества коллизии: люди и стихии. Сами авторы нередко вспоминают наших далеких пещерных предков и воздают им хвалу. Но тут не запоздалый руссоизм, не бегство от жизненных противоречий к первобытной неусложненности. Если герои-авторы обращают взоры назад, то не для того, чтобы усладить себя воспоминанием о безвозвратно минувшем, а с простой целью: отыскать в прошлом верные свидетельства того, что человек сделан из доброго и крепкого материала, сегодня так же заслуживающего уважения, как и некогда, так же выдерживающего испытание на моральную прочность.

«Мы, потомки доисторического человека, сражавшегося против веков дикости, за титул царя природы, должны изучать его с гордостью и благодарностью», — пишет Норберт Кастере, которому довелось увидеть на полу пещер, на пластической глине, тысячами сохранившейся следы, отпечатки босых ног и чудовищных когтей, памятку борьбы за обладание подземным жилищем. Если человек сумел стать человеком, воюя за жилплощадь с обитателем горных ущелий, пещерным медведем-гигантом, неужто

же он разучится быть человеком в век разложения атома!..

Кастере, конечно, вовсе не зовет нас назад, в пору каменного рубила и красно-желтых росписей Альтамыры, он просто рад привести доказательства исконности человеческих добрых свойств: отваги, чувства общности, жажды познания, энергии...

Итак, подвиг в своей простейшей и старейшей форме: преодоление стихии, преодоление физического страдания, преодоление страха смерти.

Физически трудно и очень страшно сделать то, что сделано Бомбаром, Тенцингом, Хейердалом, Кастере и их товарищами. Физически трудно и очень страшно пуститься в океан на жалких бревнах и пройти на этом примитивном плоту расстояние в 4300 морских миль — вдвое больше, чем прошли каравеллы Колумба... Физически трудно и очень страшно спускаться в полный тьмы провал, куда летит ревуший столп воды, висеть над пропастью, чувствуя, как медленно перетирается об острый выступ спасительная веревка, нырять вслед за уходящим в трещину потоком, рискуя размозжить череп о неожиданно понизившиеся своды... Физически трудно и очень страшно подыматься на вершину, где каждая новая сотня метров подъема отмечена памятью о разбившихся прежде альпинистах, где нечем дышать и не на что рассчитывать, кроме собственного мужества и мужества твоего товарища по связке. Физически трудно и очень страшно обречь себя на муки голода и жажды, плыть в одиночестве через океан, не имея даже радиопередатчика, не имея даже возможности позвать на помощь...

В этой схватке со стихиями (со стихией страха в том числе) человек выходит победителем. Об этом и рассказывается.

Каков реальный смысл этой победы? Шире говоря, каков смысл подвига?

Вот этот вопрос о смысле и ценности подвига оказался предметом дискуссии в современном искусстве Запада, стал вопросом рубежным, пунктом идейного размежевания.

Авторам интересующих нас книг, казалось, нет дела до этой полемики. Читая их рассказы о путешествиях, скорее вспомнишь книги Давида Ливингстона или Фритьофа Нансена, чем прозу экзистенциалистов, трагические фарсы Жана Ануэля, признанного пессимиста салонов, романы юной писательницы Франсуазы Саган, с ее

неподдельным дарованием и с ее разрекламированной опустошенностью... Алену Бомбару, интерну из булонского госпиталя, пустившемуся в плавание на «Еретике» в 1952 году и издавшему рассказ об этом плавании, решительно не интересно, как соотносится его книга со взглядами Саган или с «Антигоной» Ануэля. Между тем такое сопоставление было бы вовсе не произвольно и не натянуто. И «За бортом по своей воле» и ануэлевское переосмысление античной трагедии касается (при прямо противоположных позициях авторов) одной и той же нравственной проблемы: волевого подвига, совершенного не по внешней, а по внутренней необходимости при полной свободе выбора.

Все четыре книги, выбранные нами в качестве примера, повествуют как раз о такого рода героических поступках. Люди, о чьих делах тут говорится, не стояли перед дилеммой: подвиг — или низость, подвиг — или предательство, подвиг — или его антитеза. Обстоятельства не торопили выбора; местом действия было не поле боя, не кабинет следователя гестапо, не тонущий корабль, где у спасательной шлюпки идет схватка эгоизма и самопожертвования. Подвиги, описываемые здесь, — подвиги мирной ситуации, подвиги без видимой внешней необходимости. Напротив, обстоятельства складывались всякий раз так, что было вполне возможно обойтись без героизма. Тор Хейердал не заслужил бы укора, если бы остался при своей прежней профессии зоолога и не пустился бы в трансокеанский переход на плоту под неуклюжим прямым парусом с красным ликом Тики на нем. Тенцинг, когда ему предложили участие в альпинистской группе Ханта, штурмовавшей вершину мира, имел полное моральное право отклонить это предложение, поскольку он только что проделал два труднейших восхождения. Люди, избравшие занятие менее опасное, чем труд исследователя подземного мира — спелеолога, вполне заслуживают уважения. Возможность использования морской воды в случае недостатка пресной Ален Бомбар мог бы исследовать в лаборатории.

Перед нами — подвиги, не вызванные грубой, ближней необходимостью, подвиги, казалось бы, совершаемые лишь по внутреннему велению.

Хотя бы поэтому дозволено сопоставление этих книг с «Антигоной» Ануэля,



\* \* \*

Что побуждает дочь Эдипа жертвовать собственной жизнью, совершая запретный погребальный обряд над телом брата? Ануиль поначалу словно бы соблюдает древнюю мотивировку. По всей видимости, сталкиваются два различных понимания долга: Креон, запретивший хоронить изменника родины, обязан выполнить долг государственности, Антигона, решившаяся похоронить Полиника, обязана выполнить долг человечности.

«— Это мой долг.

— Но ведь я запретил!

— Все равно, я должна была это сделать. Тени непогребенных вечно блуждают, не находя себе покоя. Если бы мой брат был в живых и вернулся усталый после долгой охоты, я бы разула его, дала бы ему поесть, приготовила постель. Последняя охота Полиника окончена... Он имеет право на отдых.

— Ты же знала, что он бунтовщик и предатель!

— Он был моим братом».

Но подобно тому, как к приметам архаики Ануиль примешивает приметы нынешнего быта, заставляя Креона помянуть о сигаретах и придавая стражникам фиванского полиса имена и обличье нынешних обитателей казарм, так и простота древних мотивировок подвига разрушается шаг за шагом. Антигона уже не сошлется больше ни на обычай, ни на сестринский долг, ни на обязанность благочестия.

У Ануиля Антигона делает то, что делает, с единственной целью — стать Антигоной. Стать той, кто жертвует собой и гибнет, совершая подвиг. Героизм не имеет иного смысла, кроме самоутверждения героя. Это подвиг в себе и ради себя.

Неотступные расспросы Креона заставляют Антигону дать себе самой отчет в этом.

Верит ли она, что боги требуют обряда? Нет. Знает ли, что Полиник был лишь жалким гулякой, а Этеокл стоил немногим больше, что даже неизвестно, точно ли труп Полиника или еще что-то растоптанное конницей тело оставлено за городскими воротами смердеть на солнцепеке? Нет, этого она не знала, но все равно. Разве ей самой не бывало стыдно от ханжества и формальности погребальной церемонии? Да.

«— И все же ты сейчас рискуешь жизнью из-за того, что я запретил... разыгрывать шутовскую пантомиму, от которой тебе

первой стало бы и больно и стыдно... Ведь это же глупо!

— Да, глупо.

— Для чего же тогда этот благородный жест? Для других, для тех, кто в это верит? Чтобы восстановить их против меня?

— Нет.

— Ни для них и ни для брата? Для кого же тогда?

— Ни для кого. Для меня».

Креон готов оставить безнаказанным поступок мятежницы, пока никто не прослышал о нем. Но Антигона отвергает милость. Если ее отпустят, она возвратится туда, за городские ворота, чтобы засыпать прахом неизвестно чье обезображенное тело.

«— Антигона была создана, чтобы умереть,— отвечает Креон на мольбы хора пощадить девушку.— Полиник был только предлогом. И если ей пришлось бы отказаться от этого предлога, она тотчас же ухватилась бы за другой. Самым главным для нее было сказать «нет» и умереть».

Антигона умирает, сопровождаемая на смерть общим равнодушием; при ней только стражник, ко всему привычный тупицасверхсрочник, пишущий под диктовку Антигоны ее отчаянное предсмертное письмо возлюбленному. Подвиг совершается словно в пустоте, ему не у кого дожидаться отзвука. Он остается делом безмерно, обреченно личным.

Дает ли героический поступок хотя бы то самоутверждение личности, ради которого был совершен?

Антигона не хочет жизни, купленной ценою торга с самой собой и лжи перед самой собой; она не хочет креоновского низкого благоразумия, полезной подлости. Ее юношеский героизм трогателен и трагичен, и Ануиль не покушается разрушить его обаяние. Ануиль далек от хамского скепсиса по отношению к героике; напротив, он склонен поэтизировать ее. Но трагическое обаяние Антигоны служит здесь для того, чтобы сказать о принципиальной бесполезности, принципиальной нежизненности подвига — о его бесполезности и нежизненности не только в креоновском, подло тривиальном смысле, но и в высоком, «антигоновском», этическом плане.

Героический поступок совершается в трагедии Ануиля единственно для того, чтобы Антигона почувствовала себя Антигоной, чтобы человек почувствовал себя человеком. Но, ощутив себя человеком

сполна, Антигона сполна же погружается в жесточайшее одиночество, самоуничтожается в его молчании. Таков исход. Самоутверждение парадоксально оборачивается самоуничтожением.

Подвиг или жизнь — так стоит вопрос в трагедии Ануэля. Но драматург двусмыслен. Один из поворотов дилеммы привычен: героиня оказывается перед выбором, подвиг будет стоять ей жизни. Но для Ануэля существенней другой смысл выдвинутой им дилеммы: жизнь или подвиг. Жизнь сама по себе противопоставлена подвигу; жизнь сама по себе означает компромисс, отказ от героики. Жизнь, по Ануэлю, это ежедневное маленькое дезертирство, цепь отступничеств, сделок с собою и с миром. Так читается пессимистическая концепция автора. Подвиг не нужен жизни. Подвиг равнозначен уходу из действительности.

Самоутверждение как самоуничтожение — таков парадокс Ануэля, любителя трагических «перевертышей».

Книги Бомбара и Кастере, соотечественников и современников Ануэля, опрокидывают этот парадокс словно бы невзначай и тем более верно.

Это прежде всего книги о счастье, которое дает подвиг. О личном счастье того, кто его совершает. Героические автобиографии оказываются биографиями счастливых людей. Не удачливых, не преуспевших, а именно счастливых.

\* \* \*

«— Я счастливый человек,— так и начинается рассказ о себе Тенцинг, первый восходитель, поднявшийся на Чомолунгму — «Престол великой богини». — Я счастливый человек. У меня была мечта, и она осуществилась, а это не часто случается... Семь раз я принимался за дело; я терпел неудачи и начинал сначала, снова и снова... В один прекрасный день человек должен победить».

В один прекрасный день человек должен победить. Он прекрасен, этот день, застает ли он тебя на вершине Эвереста или близ берегов Барбадоса, когда ты, похудев на полтора пуда, с жестокой анемией, с выпавшими ногтями, с мучительной кожной сыпью, завершаешь более чем двухмесячную голодовку, на собственном примере доказав, что человек, вооружившись мужеством, способен ее вынести. Этот день прекрасен, когда сбывается наконец твое предчувствие чудесного и, блуждая в подземных коридорах, ты вступаешь в подзем-

ное святилище доисторического племени, видишь работы ваятелей, перед которыми злободневными новинками кажутся египетские и ассирийские скульптуры: глиняные фигуры медведя и льва, изрешеченные дротиками первобытных охотников... «Такие впечатления в одно мгновение вознаграждают за все трудности, весь риск и все бесчисленные разочарования того, кто стремится вырвать у ревнивого прошлого его тайны»,— восклицает восторженно Кастере. А ни с чем не сравнимое счастье первооткрывателя! «Задыхаясь, еле переводя дух, погружаясь в грязь, которая, кажется, еще сохраняет влажность от вод потопа, путешественник под землей чувствует сильнее, чем кто бы то ни был, радость открывателя — почти опьяняющее сознание, что он первый ступает там, где не ходил никто с начала мира».

Может быть, он вызовет улыбку, этот смельчак, совершающий немислимые спуски в обществе мамы, брата Мартиала и жены, этот почитатель Жюль Верна, сам находящийся в себе сходство с учеными чудаками из его романов, выбравший свою профессию исследователя пещер под впечатлением детского чтения «Путешествия к центру Земли». Но он вызывает и неподдельное чувство зависти, потому что вслед за Тенцингом он может сказать о себе: «Я счастливый человек».

Подвиг становится источником счастья и самоутверждения, но лишь тогда, когда ни то, ни другое не является его побудительной причиной. Не случайно Бомбар так взволнованно предостерегает тех, кто захочет повторить его подвиг — просто ради самого повторения подвига, ради самоиспытания: их ждет жестокое внутреннее смятение, слом; «ваше смятение будет тем большим, что вы подвергли свою жизнь опасности без всякой пользы. А ведь в мире существует столько прекрасных и благородных целей, ради которых можно рисковать жизнью!»

Пессимистический итог, к которому приводит Ануэль, предопределен изначально постановкой вопроса в его пьесе; когда Антигона отвечает Креону: «Ни для кого. Для меня»,— этим ответом о цели подвига она подсказывает конец трагедии.

Люди не нуждаются в подвиге, пессимистически роняет под занавес Ануэль, заставляя свидетелей гибели Антигоны распивать вино и лениво сражаться в карты. «Их дело — сторона».

Люди нуждаются в подвиге, возражает Ален Бомбар. Они именно практически, если угодно, нуждаются в подвиге. Он им необходим. Во всяком деле должен найтись кто-то, кто фактически засвидетельствует осуществимость, возможность героического поведения. Для того, чтобы жить и действовать, человек должен твердо знать, что он, как всякий человек, способен на подвиг.

Все необыкновенное плавание Бомбара — это и есть как раз единственный в своем роде эксперимент, имеющий целью доказательство прочности человеческой души, доказательство того, что, лишь преодолев страх смерти, человек выигрывает жизнь.

«Если вода важнее пищи, то надежда для человека важнее и нужнее воды. Если жажда убивает быстрее голода, то отчаяние убивает гораздо быстрее жажды». «Жертвы легендарных кораблекрушений, — восклицает Бомбар, — вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха».

Человек не должен умирать от страха.

Врач и исследователь, Ален Бомбар привел точные данные, свидетельствующие, что море может дать терпящим бедствие все необходимое для поддержания жизни. Страдальческий и героический опыт двухмесячного голодного плавания лишь подтвердил все, что Бомбар расчислил в своей лаборатории, что он еще раньше, до переправы через Атлантику, засвидетельствовал авторитетом науки. Но в том-то и дело, что человечество в той же, если не в большей мере нуждается в авторитете героя, в авторитете свершенного подвига. Важно бывает снова и снова подтверждать делом: человек способен выдержать и совершить то, что требует героической мобилизации духа. «Героизм — это не выдумка».

Подвиг (и в этом тоже его великая польза!) свидетельствует возможность подвига; подвиг зовет за собой подвиг, распространяет его. В героическом поступке Бомбара есть высокий расчет: совершивший его считает других людей не хуже себя, он исходит из доброй веры в то, что человек по натуре храбр и силен.

Подвиг, будучи совершен, свидетельствует об его общедоступности. Ты тоже можешь его совершить.

Демократизм книги Бомбара (как и книг его товарищей) сказывается, однако, не только в вере в человека, но и — прежде

всего — в том, что они утверждают критерий общественной осмысленности как первейший критерий героического. Эти книги говорят о подвиге как о трудном и добром деле, совершаемом ради людей, говорят о героях как о людях для людей. Подвиг «сам по себе», «для себя» лишается своих определительных свойств, теряет имя подвига, какого бы мужества и выдержки он ни потребовал. «А ведь в мире существует столько прекрасных и благородных целей, ради которых можно рисковать жизнью», — повторим мы слова Бомбара. И пусть сам он, доктор Ален Бомбар, не назвал этих целей — его читатели не только у нас, но и на родине храброго француза обязательно задумаются о них. Нет, сегодня слова «прекрасные и благородные цели» не звучат абстракцией, не могут быть прочитаны честным человеком и так и этак; они имеют смысл прямой, единый.

\* \* \*

Наиболее трудный спор ведешь с теми, кто уклоняется от спора, кто согласен признать за вами правоту при единственном условии: вы до конца справедливы во всех своих утверждениях, но что мне до того?.. Будьте правы или неправы, говорите о пользе или бессмысленности подвига, о разрушении или нетленности понятий человеколюбия, чести, мужества, но только оставьте меня в покое...

Шестнадцатилетняя героиня романа девятнадцатилетней писательницы Саган, Сесиль, вполне готова принять на веру, что все эти понятия в самом деле для кого-то существуют, что найдутся люди, живущие в верности нравственным нормам; готова с полной охотой признать их моральное превосходство над собою. К этой девушке трудно обратиться слова осуждения: в ней есть обескураживающая готовность признать свою несостоятельность перед лицом общечеловеческих моральных требований. Это душа, согласно и неогорченно принимающая укор в безответственности.

Франсуаза Саган вовсе не воспевает эту безответственность в романе «Здравствуй, грусть». Она только представляет героиню такой, какова она есть. Саган вменяет себе в обязанность прозрачную объективность, документальную точность портрета. Анализируя ультрасовременный, можно бы сказать, злободневный характер буржуазки, Саган совсем не увлечена соблазнами мо-

дернистской манеры, она пишет со старой французской ясностью, добиваясь ее как высшего достоинства. Дневниковая искренность героини согласуется с честной аналитичностью писательницы. Отсюда особый интерес романа.

Сесиль — существо аморальное, если только помнить, что аморализм вовсе не обязательно означает преступления против нравственности, вовсе не обязательно выражается в поступках отвратительных или ужасающих. Это девушка по натуре скорее добрая, чем злая, больше склонная доставлять людям удовольствие, чем мучительствовать. Но у этого создания словно бы не хватает сил для того, чтобы принять на себя какие бы то ни было моральные обязательства. Она бежит от всякого этического требования, обращенного к ней. Она ничего не хочет ни от себя, ни от людей, — только одного: чтобы ее оставили в покое. Единственная добродетель, которой она обладает и которую чтит, — добродетель терпимости.

Сверстница ануйлевской Антигоны, героиня Саган тоже добивается утверждения своей личности. Уклоняется от всякого посягновения на то, что считает своей свободой. Но это всего лишь свобода физического существования по собственному усмотрению. Избранная Сесиль форма самоутверждения — форма чисто телесная, физическая. Его дает ощущение своего тела в свежей морской воде или на пляже, когда перебираешь рукой тонкий нагретый песок и он уходит у тебя сквозь пальцы, точно рассыпающееся тонкой струйкой время. Слушать звон цикад. Загорать и засыпать на солнце. Видеть белое выгоревшее небо над собой, когда проснешься. Валиться в траве, по которой скользят вырезные тени листы. Нравиться. «Что нам еще? Нравиться. Не знаю, чего тут больше, в этом желании пленить — полноты ли жизненных сил, стремления ли подчинять себе или смутной, невысказанной потребности, чтобы тебе помогли поверить в себя».

Жизнь без нравственных усилий, безвольное и живое наслаждение ее естественным течением, настойчивость, проявляемая лишь в самоустранении от всего, что может нарушить ровность этого блаженно-бездельного состояния...

В этой молодой, так полной жизненных сил девушке скрыта вовсе не деланная, искренняя усталость души, какое-то запредельное торможение, когда до тебя уже ни-

что не доходит, ничто не может расшевелить. Тут какая-то разительная моральная нечувствительность — не черствость, не жестокость, а именно потеря чувствительности, явление почти болезненное...

Речь не о том, чтобы «спасать Сесиль». Бог с ней. Это случай безнадежный, и, право, хочется выполнить единственное желание героини Саган: оставить ее в покое. Речь о той страшной опасности, которую составляет для поколения эта сонная болезнь, это притупление способности отзываться на голса мира. Самоустранение, желание отойти, «остаться в покое» угрожающе для морального здоровья личности, как и для морального здоровья народов. Сесиль — трагически запущенный случай, и дело не в ней, а в погубившей ее нравственной болезни.

Саган куда более талантлива и пристальна в распознавании симптомов этого заболевания, чем в рассмотрении его первопричин. Да и форма повествования от первого лица, естественно, предполагает: больше будет сказано о том, что происходит с человеком, чем о том, почему у это с ним происходит. Это, так сказать, анамнез, собственные показания больного, фиксация его душевных ощущений... Одна из «сердитого поколения», Сесиль задета тем же неприятием буржуазной морали, что и «разгневанные», не испытывая, впрочем, свойственного им раздраженного бунтарства. Неприятие норм буржуазной морали перерастает у нее в аморализм тем более глубокий, чем он апатичней и чем меньше он сопровождается демонстрациями.

Повторим, Саган вовсе не воспеваает этот аморализм. Она его исследует и констатирует. Она констатирует, что не голос буржуазной правильности, не приглашения традиционной морали способны вывести душу Сесиль из состояния апатии. В конце концов к какому моральному воскрешению зовет девушку-подростка вторгающаяся в ее жизнь добропорядочная Анна Ларсен? К тому, чтобы исправно готовиться к экзаменам? Чтобы обиход в доме стал регулярней и благопристойней? Чтобы Сесиль меньше встречалась с молодыми людьми?..

Беда Сесиль и ее сверстников в том, что привычка затыкать уши и встречать безразличием все подобные посягательства и увещевания оборачивается привычкой затыкать уши вообще, с чем бы к тебе ни обращались. Это люди, которым слишком много лгали и которые все принимают за

фальшивую монету. Они выработали защитную и мертвящую привычку ни во что не вслушиваться и ни на что не откликаться. Даже на самые громкие и правдивые голоса.

Эта болезнь излечима только на ранних стадиях развития, поэтому так важно распознавать ее симптомы, когда она еще недалеко зашла.

Отзывчивость на голоса мира — вот что еще замечательно в героических биографиях, которые мы сейчас перечитываем. В каждом из героев-авторов живо ощущение, что эти голоса обращены непосредственно к нему лично: если не ты, то кто же?

Вовсе не обязательно голоса мира зовут тебя к героическому свершению. Пусть они зовут хотя бы к тому, чтобы подумать, что-бы узнать.

Вот Тор Хейердал, тогда просто зоолог, изучающий фауну Полинезии, заинтересовывается легендой, монотонно рассказываемой стариком туземцем; воображение задето; вспышка ассоциаций, сопоставлений, догадок... Старик рассказывает о боге Тики, предке его народа, явившемся из-за моря, оттуда, откуда дуют извечные, не меняющиеся в здешних широтах ветры. В памяти встает разительное сходство грандиозных каменных изображений Тики, таинственных колоссов острова Пасхи и гигантских монолитных статуй в горах Перу — памятников исчезнувших цивилизаций...

Наверняка вот такие мгновенные вспышки ассоциаций, волнующие воображение сопоставления, увлекательные в самой своей неаргументированности догадки посещали не одного Тора Хейердала. Это же с каждым бывает: кольнет, взволнует, может быть, даже погрясет мелькнувшая мысль, жадное желание узнать доподлинно, сделать догадку гипотезой, собрать звенья рассыпанной цепи фактов... Почему с волнующим сходством повторяются угловатые завитки меандра среди орнамента на древних китайских сосудах, на горшках, вылепленных четыре тысячи лет назад гончаром в Поднебровье, на кувшинах из ацтекских селений? Почему лица людей, вытканные на полустелвшем ковре из скифского кургана на Алтае, кажутся такими похожими — и по этническому типу и по манере изображения — на лица с древних росписей в Центральной Америке?.. Но чаще всего вознившегося любопытства не достанет даже на

то, чтобы заглянуть в популярную литературу по заинтересовавшему тебя вопросу. Тут и недоверие к себе и разумное сознание своей неподготовленности, — но не примешивается ли к скромности самооценки еще и вульгарная лечь мысли?.. Додумать до конца — это ведь уже труд, дело, небесполезное хотя бы для тебя самого; конечно, легче потешиться мелькнувшей догадкой, как яркой игрушкой, чем взять на себя труд узнать.

Стремление узнать и, тем более, стремление помочь узнать другим — это уже одна из форм общественной активности, противоядие от моральной сонливости.

Воспитание душевной активности начинается, быть может, с воспитания любопытства. Оно рождает желание узнать; разница в ответах — «мне интересно» и «мне не интересно» — зачастую подсказывает разницу в ответах при более широкой постановке вопроса: «меня касается» и «меня не касается».

Человек тем больше достоин этого имени, чем острее живет в нем сознание: «меня это касается». Хотя, конечно, жить без этого чувства собственной ответственности за все происходящее кругом много спокойнее...

Человека касается не только то, что впрямую встает перед ним и не дает уклониться от своих требований. Увидев тонущего человека, вряд ли кто-нибудь спокойно пройдет мимо. Сведения же о том, что ежегодно погибает двести тысяч человек — жертв кораблекрушений, остаются для большинства лишь печальной статистической цифрой. Они не вызывают к непосредственному подвигу, как вызывают к нему ввявь слышимые крики утопающего: отзывчивость наша на впечатления ума обычно бывает ниже, чем на впечатления чисто эмоциональные. Поэтому вдвойне честь человеку, который расслышал в статистических отчетностях живой голос человеческой беды и слыл этот голос обращенным к себе лично. «Меня это касается». И вот на воду был спущен «Еретик», спешивший на помощь разом к десяткам тысяч терпящих бедствие в открытом море...

Может быть, тем и отличается героизм от обыкновенной порядочности (понятие достаточно высокое и требовательное!), что человек подвига сам ищет его, «напрашивается на приказ», в нарушении обыденной мудрости солдатской поговорки. Он отвечает «меня это касается» даже там, где со-

весть останется чиста, и не отзопись он. Герой «напрашивается на приказ», выходит из строя добровольцем, сам вызывается делать трудное дело — для людей.

«Меня это касается» — лозунг людской солидарности. Подвиг обретает смысл высшего выражения этой солидарности.

Желание узнать и желание прийти на помощь человеку в беде — два старых и мощных стимула героики. Ощущение общественных связей, человеческой корпоративности, взаимных людских обязательств — весьма важное положение демократической морали, и, с этой точки зрения, книги Бом-

бара, Кастере, Хейердала, Тенцинга также служат доброму делу укрепления ее основ.

\* \* \*

«Путешествие на «Кон-Тики» и «За бортом по своей воле», «Десять лет под землей» и «Тигр снегов» — это книги, написанные простыми людьми для простых людей. Это книги, так или иначе утверждающие множество простых истин, восславляющие простые и добрые вещи: храбрость и товарищество; желание узнать и желание помочь; преданность честной цели; смысл и радость подвига.



---

И. ШКУНАЕВА

★

## НОВЕЙШАЯ „АЛИТЕРАТУРА“

**В** современной буржуазной, особенно, пожалуй, во французской художественной литературе отмечается одна странная самоубийственная тенденция: появились писатели, казалось, более всего озабоченные тем, чтобы оттолкнуть от себя читателей. Для достижения этой цели писатели, о которых идет речь, стараются уверить читателя, что у него, как и у всех людей, нет ни стыда, ни совести, что вся его жизнь грязна и бессмысленна и никогда не будет иной. В последние десять—пятнадцать лет эта тенденция развилась настолько, что стала уже претендовать на место господствующей, тем более, что она якобы основана на новейших достижениях мысли и ведет к неслыханному углублению искусства.

Конечно, здесь есть нечто удивительное: литература идет, по-видимому, против своих собственных целей. В самом деле, какова бы ни была социальная, политическая, философская позиция писателя, разве он может не пожелать увлечь своей мыслью и чувством других людей, побудить их к желательному для него образу мыслей или определенному поведению, поступкам? Но для этого литература должна говорить сильно и внятно, должна, во всяком случае, иметь в себе нечто привлекательное, заставляющее ей внимать и верить.

Ничего этого в литературе, о которой мы говорим, и в помине нет. Она явно рассчитывает на то, что читатель еще до знакомства с ней приведен в такое состояние, когда разум подавлен, чувство раздрано и болезненно возбуждено — настолько, что человек уже ни во что не способен верить, кроме боли и гибели, но при этом почему-то сохранил желание разбираться в туманной философии, более похожей на темное пророчество. Таким может быть лишь относительно узкий круг людей даже в среде од-

них буржуазных интеллигентов. Тем не менее эта литература заслуживает внимания — хотя бы потому, что буржуазная интеллигенция имеет, прямо или косвенно, общественное влияние, несоразмерное ее численности, и потому, что даже небольшие, но эффектно и широковыступаящие группы оказывают порой на всю эту неустойчивую среду влияние, несоразмерное их реальному значению.

«Новейшее движение» не представляет собой оформленной литературной группы с каким-либо литературным центром или собственным печатным органом; критики более или менее произвольно относят к нему тех или иных писателей. Тем не менее тенденция существует, она определилась достаточно ясно, вокруг нее поднят шум в самой Франции и за границей. Поэтому, оставляя в стороне вопрос о распространенности этой тенденции среди литераторов и таких книг в широкой демократической среде, мы не можем их игнорировать, так же как и философию, с которой они связаны, тем более, что они интересны и сами по себе как симптом определенного состояния буржуазной культуры.

Что вменяет себе в особенную заслугу это «новейшее течение»?

Его представители, снисходительно глядя как на «устарелых» на прогрессивных, демократически настроенных писателей (Армана Лану, Робера Мерля, Пьера Гаскара, Жана Веркора, Жоржа Консона и других) и на таких критиков капитализма с этически-религиозных позиций, как Франсуа Мориак, кичатся своим якобы самым верным пониманием «современного человека» и его «существования», выставляют напоказ свою решимость высказать людям «всю правду» прямо в глаза.

В одной из самых шумевших пьес известного драматурга этого направле-

ния Сэмюэля Беккета (ирландца по происхождению) — всего четыре действующих лица. Двое из них, люди с ампутированными конечностями, лишь изредка появляются перед зрителем; об их постоянном незримом присутствии напоминают два мусорных ящика на сцене: это их жилье; приподняв головами крышки, они время от времени высовываются наружу и произносят свои реплики. Кроме этих обрубков, в пьесе есть парализованный слепой старик, прикованный к своему креслу, и его слуга — единственный «действующий», хотя бы в смысле «движущийся по сцене», персонаж этого невеселого произведения. Автору достаточно этих четырех героев, чтобы в форме фарса изобразить «во всей ее наготe», как пишут французские критики, всю трагедию человеческого существования. Парализованный старик — это Человек, обитатели мусорных ящиков — его Родители. Человек ненавидит своих родителей за то, что они дали ему жизнь — жизнь конечную, неизбежно обрывающуюся и потому трагически бессмысленную. Разлагающийся заживо Человек, весь во власти этой идеи, напрягает последние силы, чтобы уничтожить вокруг себя на земле все живое — люди ли это, блохи или крысы, все равно, ибо всякая жизнь — это источник страдания... Злобное напряжение и предсмертные судороги — единственное, чем проявляет себя «человек» в этой пьесе, намеренно лишенной не только действия, но как бы и воздуха и пространства.

Даже самые благожелательные к Беккету, даже восторженные критики пишут, что никакие художественные, эстетические критерии не применимы к его творчеству. Но это-то и дает славу Беккету и его соговарницам.

Один из них, Мишель Лейрис, в книге «Возраст человека» характеризует себя как «специалиста, маниака исповеди». При этом он разъясняет, что «исповедь стала для него властной необходимостью благодаря тому, что она содержит в себе нечто унижительное, скандальное и эксгибиционистское...» Со страниц каждой из книг Лейриса, будь то «Правило игры» или «Призрачная Африка», встает человек, рассматривающий себя во всей своей действительно скандальной и отвратительной наготe.

Физическая немощность этого человека — материальное воплощение его духовной «недостаточности». Он слаб, труслив, полд («раздавлен» стыдом, сознанием, что все его

существо прогнило-от неизлечимой\* подлости») и, главное, одержим и подавлен страхом смерти. В мире он чувствует себя чужим, он чужой и самому себе, над ним тяготеет сознание его виновности, хотя он не знает и никогда не сможет узнать, в чем его вина. Со всеми своими маниями, комплексами, эротическим садизмом, мазохизмом и прочими, как выражается Лейрис, «недостатками», это и есть, по его мнению, человек, человек как таковой, самая суть человека. Критики, приветствующие писателя, единодушно хвалят его за то, что его произведения находятя за пределами литературы; они называют их «монографией об аномальном», видят заслугу Лейриса в том, что он, маниакально повторяя свою «идею», способен заразить ею читателей. В этом и состоит общечеловеческая значимость его книг. Оказывается, это «анормальное» и есть «новая человеческая норма». «Ничто так не распространено (только об этом никто не говорит), — пишет критик Клод Мориак, не относящийся к безусловным поклонникам «нового» направления, — как эта подавленность перед лицом жизни, эта слабость, паника перед существованием, ужас от сознания, что ты смертен». И Клод Мориак пытается объяснить, почему «безусловно патологическое» поведение героя Лейриса якобы «понятно и близко всем»: душевная болезнь Лейриса, связанная прежде всего с проблемой смерти, страшает «болезнь времени», и, пытаясь зафиксировать, описать ее симптомы, писатель проникает «за оболочку видимого», становится причастным той «страшной тайне реальности», которая и есть тайна смерти.

Такова «метафизическая суть жизни». Легче всего ее постигают душевнобольные. Писатель А. Арто, всю жизнь, с короткими перерывами, проведенный в больнице для умалишенных, автор стихов и прозы, часто почти бессвязных, считает свое безумие концентрированным выражением всеобщего безумия, той голой формулой, к которой в конце концов сводится душевное состояние всякого современного, так называемого нормального, человека. Но и другие — те «новейшие» литераторы, которые принадлежат к числу «так называемых нормальных», — с ним соглашаются. Мало того, они искусственно стараются стать с ним вровень. Так, например, писатель Анри Мишо, приняв большую дозу какого-то мексиканского наркотика, доходит «до по-



следних границ безумия», совершает фантастический опыт «разложения мысли» и, возвратясь к скудной нормальности, записывает те мысли и чувства, которые высвобождены были из его подсознания действием наркотика, — «демоническую» реальность человеческой души, «ночную» ее сторону, ставшую ему явственной. Страх перед смертью, оказывается, связан в человеке с жадной убийства. В одной из книг этого автора мы читаем: «Благодаря постоянно воображаемому убиванию людей он счастливо сохраняет свою активность до глубокой старости... Он либо не сознает своего состояния, либо невинно полагает, что весь мир состоит из таких же убийц».

«Мир ледяного ужаса» и есть то, что кроется за внешней, иногда обманчиво привлекательной оболочкой жизни; мир людей, которых и страшит и влечет к себе смерть: они убийцы и жертвы одновременно. Чем обнаженнее, «голее» выступают черты этого мира, тем лучше, потому что это и есть правда. Не надо заглушать ее музыкой, пением, гуманистическими идеями, доставшимися в наследство от прошлых времен, — потому что все это было и прошло, а может быть, и вовсе никогда этого не было. Итак, надо отбросить все, что заглушает то, что есть в самом человеке, и тогда мы услышим Ничто, Молчание, Незыримое.

«Как бы там ни было, — пишет по поводу этой «философии» Клод Мориак, — когда открываешь для себя Беккета, никак нельзя отрицать силы получаемого впечатления, не смею сказать — обогащения, потому что речь идет об осознании абсолютной нищеты, которое он нам дает. Нищеты, нашего единственного достояния и богатства. Неисчерпаемой, ослепительной нищеты».

Таково содержание, ради которого новейшая французская «алитература» отрекается почти от всего, что было создано предыдущим развитием. В своей родословной она числит не много имен — Шопенгауэра, Киркегора, в двадцатом веке — Франца Кафку, еще кое-кого из писателей-пессимистов разного толка. Ценится в прошлом больше всего та литературная форма, в которой меньше законченности, стройности, которая как бы прорывается и разрывается напором внутреннего содержания. Представители «нового» течения иной раз

вспоминают как предшественника и Верлена — собственно, не его стихи, а его желание изгнать «литературу» из литературы и «свернуть шею красноречию». Однако, как ни двойствен смысл программного выступления Верлена, все же нельзя забывать, что он оставлял поэзии и шелест леса, и пение соловья, всю ту поэзию природы и человеческих отношений, которая говорит прямо сердцу; он брал под подозрение лишь рационалистическое искусство и искусно построенные образы, видя в них опасность фальши, неискренности — того, словом, что мы называем «литературщиной». Не того хотят Арто, Натали Саррот, Лейрис, Миллер, Робб-Гризе и другие. Они хотели бы совсем «освободиться» от эстетики, от литературной формы, даже от логической и грамматической связи в человеческой речи, потому что всякое правило или обыкновение кажется им препятствием к выявлению невыразимой «внутренней сущности человека».

Клод Мориак назвал этих писателей «алитературными». Термин «алитература» принадлежит этому критику; образовав его по типу слова «аморальный», он видит в нем, однако, противоположное оценочное содержание: «аморализм» есть нечто понижающее, «алитературность», напротив, — возвышающее, ибо «алитература» выше «литературы» и исторически развилась параллельно ей. Хотя «алитература» (то есть литература, очищенная от искусственности, которая дала повод придать самому слову «литература» пренебрежительный оттенок) — это «никогда не достижимый полюс, но с тех пор, как существуют люди и пишут честные писатели, есть и тяготение к нему».

Итак, «алитература», по мнению критика, есть нечто большее, чем литература. Она есть «самовыявление человека» и если пользуется по необходимости словами обычной человеческой речи, печатным станком, диалогом, монологом, описаниями и т. д., то лишь разрушая их прежнее употребление, приспособляя и речь и полиграфию к главной задаче: «выразить невыразимое».

Так в конце концов оказывается, что чистый антиэстетизм (или «аэстетизм»), чистая «алитература» попросту невозможны. Волей-неволей и бунтовщикам против всех правил приходится разрабатывать свои приемы и правила. Не только сами «художественные произведения» имеют у них, как во всех буржуазно-декадентских

направлениях, преимущественно теоретический характер, они еще, кроме того, быстро обрастают комментариями, дискуссиями, программами, критикой, философией и т. д. Разрабатываются вопросы о роли фактов, сюжета, образов героев и прочие — словом, все «как у людей», только, конечно, на свой лад.

«Алитературные» критики много пишут о «современной эволюции персонажа» в романе. Натали Саррот утверждает, что «персонажи, как понимал их старый роман» (и весь тот «старый аппарат», который помогал их изображению), не могут более вместить в себя «современную психологическую реальность», затемняют ее. Речь идет не об изменениях, происшедших, скажем, со времен Бальзака, но о сознательном разрушении, как бы окончательной «отмене» образа человека в искусстве. По мнению Натали Саррот, литература должна последовать примеру живописи, в которой «живописный элемент незаметно освобождается от предмета, с которым был слит воедино. Он стремится к тому, чтобы удовлетворяться самим собой и в возможно большей мере обойтись без поддержки». Так и психологический элемент может жить в романе собственной жизнью, не нуждаясь для этого в каком бы то ни было прикреплении к конкретной личности. Сумма различных душевных состояний не может (да и должна ли?) складываться в характеристику внутренней жизни конкретного человека. Не надо ничего изображать из того, что мы видим в повседневной жизни, так как это — поверхность, скорлупа; литература нового «авангарда», самая «передовая» литература, имеет дело лишь с «сущностями»...

Сказано ясно. И действительно, здесь есть нечто новое — новая ступень распада буржуазной идеологии и искусства.

В романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», на который охотно ссылаются сторонники нового течения, главный герой, «рассказчик», воспринимает всю свою жизнь как нереальную — как «утраченное время». Он обретает жизнь, лишь делая ее материалом искусства: предметы, люди, обстановка, которые он «воссоздает» этим способом, начинают жить отраженной, искусственной, но все-таки жизнью — то есть приобретают развитие, движение во времени, черты индивидуальной неповторимости. Образы людей у Пруста — лишь функции различных душевных

состояний «рассказчика»; тем не менее в них есть реальное жизненное содержание. Да и сам «рассказчик», пропуская через себя поток жизни, пусть невероятно замедленный и мутный, все же не окончательно бесформен и статичен, он тоже в известной мере личность, хотя и меньше, чем эпизодические герои. Вот эта-то сторона романа Пруста представляется «алитераторам» устарелой и подлежащей преодолению. Пруст дорог им тем, что он мог воскликнуть: «Ни одного разу ни один из моих персонажей не закрывает окна, не моет рук, не надевает пиджака, не произносит приветственных формул. Если в этой книге есть что-нибудь новое, то именно это...»

Внешний облик человека, его поступки, ощущения, мысли — все это «алитераторы» отвергают как «дешевые средства», создающие лишь видимость жизни, как помехи на пути к созданию образа «абсолютного человека», его «изначальной, вечной и неизменной сущности», освобожденной от всего случайного, что связано с конкретными личностями, и погруженного в «органическую ночь существования». У таких чистокровных «алитераторов», как Сэмюэл Беккет, Лейрис или Мишо, герои взаимозаменяемы: они, с малыми вариациями, переходят из книги в книгу. Ведь «абсолютный человек» в конечном счете всегда один и тот же! По определению Клода Мориака, это — «несуществующее, бесформенное, неосязаемое, но страдающее существо». Поэтому-то и считается, что Беккет нашел наиболее выразительный образ для сценического выражения этого своего героя.

Здесь следует существенный переход к другому вопросу «новой» литературно-эстетической концепции — к вопросу о роли действия в произведении.

Генри Миллер в книге «Тропик Козерога» пишет: «Я заметил, что желанием всей моей жизни было не жить — если можно назвать этим словом то, что делают люди, — а выразить себя. Я осознал, что жизнь никогда не вызывала у меня ни малейшего интереса... Подлинное, реальное почти не интересовало меня...» Анри Мишо еще энергичнее отрекается от участия в какой бы то ни было жизни и ищет средства «избавиться от этой проклятой планеты»; впрочем, он предпочитает окончательному прощанию с ней временные отлучки в то полунебытие, куда его уносят эфир, гашиш, опий. Умереть всерьез, по-настоящему, всё-таки не хочется, и никто так не боялся

смерти, как эти бесстрашные пионеры нового учения...

Еще раз подтверждается давно известная истина: метафизический страх перед смертью — ничто по сравнению с бесконечным страхом перед жизнью. В произведениях некоторых из рассматриваемых здесь писателей есть известное предчувствие этой подлинной проблемы. В сильнейшей степени одержимый страхом смерти Мишель Лейрис пишет: «С горечью, о которой я раньше и не подозревал, я заметил, что... в самом деле, этот мир лишен чего бы то ни было, во имя чего я был бы способен умереть» (роман «Возраст человека»).

«Если нет ничего,— пишет этот же автор,— что я любил бы или что нравилось бы мне настолько, чтобы во имя этого я был бы готов пойти на смерть,— значит я орудную пустотой и все, не исключая и меня самого, уничтожается». Таким образом, смерть абсурдна не сама по себе, а в силу своей «неоправданности», «ненужности», в силу того, что жизнь была пуста. Постановка основной метафизической проблемы, занимающей умы «алитераторов», оказывается у некоторых из них, таким образом, неожиданно шаткой. Но у Мишеля Лейриса, как ни у кого другого, нет и намек на желание очнуться, собрать свои силы, найти дело, которое стоит того, чтобы для него жить и за него умереть. Мы не говорим уже о больших задачах, связанных с освобождением всего человечества от капитализма,— мало ли есть людей, которые, и не будучи героями, живут и умирают достойно, исполнив все, что было им по уму и по силам! Но «алитераторы» ищут спасения в отказе от всякого действия. Мы наблюдаем у них безоговорочную капитуляцию перед жизнью. Капитуляция перед сложностью, противоречиями, трудностями действительной жизни и есть причина отказа этих писателей также от изображения «формы» и «видимости» существования. Заметим, однако, всячески прося прощения за нашу подозрительность, что, поскольку речь идет о профессионалах писателях, в основе такой философии есть и некоторое лукавство: реального человека куда труднее изобразить, чем «абсолютного человека».

По мнению «алитераторов», литература вообще, литературная речь в частности должны погрузиться в «затемненность», сумеречную неопределенность, якобы свой-

ственные «истинной реальности в ее последних глубинах». Жорж Батай (автор псевдофилософских монографий и ряда мистико-порнографических романов) часто пишет совсем бессвязно. Правда, он делает это иногда, заменяя слова многозначием из цензурных соображений. Но в основном чередование бессвязных слов и пробелов в тексте у этого писателя призвано свидетельствовать об органической неспособности человека выговорить главное. «В главном нельзя признаться» — так называется одна из глав книги Батая «Метод медитации». Все это утверждается таким трагическим и глубокомысленным тоном, что мы уже готовы признать эту мысль, при всей ее очевидной нелепости, за серьезное убеждение автора. Однако и здесь дело не обошлось без некоторого надувательства: от издания к изданию Батай перемещает свои многоточия, «раскрывающая» прежде замененные ими слова и зашифровывая новые. При этом автор не может себе отказать в удовольствии подмигнуть читателю: жизнь — это комедия, ложь, игра, а «играть — это прежде всего значит не принимать себя всерьез. И умереть». Как мысль это всего лишь банальнейший перепев «трагической клоунады» декадентов начала века. Но как литературный «прием» и новый «канон» литературного языка у писателей, отрекшихся от всех канонов, это также не новей: можно ли претендовать на открытия в этой области после «заумников» и «ничеговоков»!

Кичливое заявление «алитераторов» о том, что ими преодолевается всякое искусство, равнозначное для них искусственности, оказывается на поверку пустым бахвальством. Они лишь унаследовали обрывки старых формалистических «школ», лишив прежние декадентские взгляды всего, что в них было попыткой создать некую теорию, цельную систему. «Алитераторы» окончательно развязали себе руки, объявив свои произведения чем-то «большим, чем литература». По сути дела, это значит, конечно, что с художественной точки зрения перед нами нечто меньшее, чем литература. Что же касается того, ради чего такая жертва принесена, то читатель может об этом судить по изложенным нами «моральным истинам», пропагандируемым этими писателями. Именно пропагандируемым, а не добытым — ибо и это лишь обрывки удешевленных и потерявших то значение,

которое они имели в эпоху своего возникновения, теорий буржуазного упадка.

Убедясь, что без предков даже таким отчаянным «новаторам» не обойтись, «алитераторы» нашли себе предшественников, среди которых ими особенно ценим их «старший брат» (так они его называют) — Франц Кафка, уроженец Праги, позднее житель Вены, писавший на немецком языке. Франц Кафка умер в 1924 году, сорока лет от роду. Его романы «Процесс» и «Замок», рассказы, обширный дневник (750 страниц в немецком издании) и письма, опубликованные после смерти, дали известность почти безвестному при жизни писателю, но далеко не ту славу, которая окружила его имя в модернистских литературных кругах после войны. При этом наибольшую привлекательность увидели в том, что Кафка — писатель страдания и отчаяния, и хотя, как говорят, его сочинения почти всегда не поддаются пониманию, ясно, что он страдает сверх всякой меры и притом безумен. Это и делает его провозвестником «новой» литературы. Кафке подражают: кто не безумен поневоле, тот старается хотя бы прослыть умалишенным.

Нисколько не восторгаясь Кафкой, мы все же хотели бы взять его под защиту от его поклонников. Для него безумие не было ни идеалом, ни модой. Он по-настоящему страдал, был по-настоящему тяжело болен и знал это. Его дневники полны признаний, из которых ясно, что он, чувствуя реальную искаженность общества, в котором жил, не считал больным весь мир и, излагая свой бред, свои навязчивые идеи, мучительно искал средства от них избавиться. Его писательство, по его же словам, — один из способов, которыми он спасался от терзающих его страхов. Оно как бы выводило его из одиночества, позволяло ему высказать то, что он не решался сказать людям вслух, оно давало ему какую-то щель из аутизма (отъединения), хорошо известного психиатрам, изучавшим шизофрению. На работе (он был бежен и зарабатывал на хлеб в должности мелкого конторского чиновника), общаясь с людьми непосредственно, он лишь еще больше уходил в себя. И в его писании есть та потрясающая сила и точность деталей, та необычайно впечатляющая выразительность, которую можно увидеть и в рисунках на иногда устраиваемых выставках творчества душевнобольных. Замечательно, что содержанием их бредовых видений всегда, до

известной границы, бывает реальность, лишь искаженная, односторонняя, но зато с необычной силой воспринятая реальность. Кто знает, был ли у Кафки литературный талант, не имеющий источником болезнь. За два года до смерти (Кафка умер от туберкулеза) он стал много спокойнее, очевидно здоровее, но и его литературная активность (вплоть до писания дневника) резко упала. Он завещал своему другу уничтожить после своей смерти все неизданные рукописи, в том числе и дневник; друг ослушался его воли, за что его все хвалят. Нас, однако, не интересует, был ли прав или неправ этот друг; нам важно напомнить, что Кафка, хотя бы частично выздоравливая, не хотел обнародовать запечатленное на бумаге прежнее свое видение мира. И в этом смысле он очень далек от своих «передовых» последователей, кокетничающих настоящим или напускным безумием. Мало того, в его романах, в некоторых его рассказах, письмах и записях есть, при наличии обычных для него кошмарных видений, вполне здравые, общепонятные и значительные образы и идеи. За них ценил Кафку такой выдающийся писатель XX века, как Томас Манн.

Кафка писал, что бюрократическое учреждение и чиновничья служба не только подавляют его своей глупостью — хотя и глупость там есть в избытке, — но порождают в нем фантастическое представление о действительности. В рассказе «Превращение» у несчастного юноши, замученного отвратительной ему и бесконечно утомительной службой, вдруг вырывается горячая оправдательная речь с жалкими доказательствами своего служебного рвения и своих достоинств — такая речь, что в пору господину Прохарчину. У Кафки этот чиновничек, проснувшись однажды утром, увидел, что превратился в жука. Беда! Нельзя продолжать службу. И вот — попытки умиловить столоначальника, пришедшего звать его на работу и не понимающего его жалкого жукиного писка, жизнь взаперти, чтобы не навлечь позора на семью, ненависть со стороны отца, разозленного уменьшением дохода семьи и всей скандальностью происшествия, сон на неподметенном полу, питание отбросами, смерть... Ясно, что не надо превратиться в жука, чтобы испытать все это. Достаточно, например, душевно заболеть, и в жестокой и жадной мещанской среде человеку может выпасть на долю почти все то же.

Само собой разумеется, Кафка — клад для фрейдистов. У него можно найти все, что им угодно. Все эти «комплексы», клубки болезненных подсознательных душевных движений, которые подходят под классификацию Фрейда, в нем действительно есть. Но и в рассказах и в так называемых «романах», то есть больших по объему, но бесформенных книгах, Кафки чувствуется фантастическое отражение в больном сознании жалкой зависимости «маленьких людей» от беспощадно давящих сил капиталистического государства.

Несмотря на то, что в произведениях Кафки есть реальные жизненные наблюдения и переживания, врезающиеся в чувство и память, как гипнотически внушаемые, — от Кафки дальнейшего пути нет. И, может быть, это меньше доказывалось тем, что он долго был забыт, чем теперешними многотысячными тиражами изданий на всех языках, провозглашением Кафки гениальным мыслителем и художником, большой критико-панегирической литературой, изданием книг под названием «Теория Кафки» и т. д. — всей этой возней, затеянной вокруг писателя-безумца, чтобы отнять у него и то реальное и здоровое, что ему удалось сохранить.

Да, «новойшая» литература сделала большой шаг вперед за тридцать лет со дня смерти Франца Кафки.

Шагнула «вперед» — к своему неизбежному концу — и современная буржуазная философия. Около сорока лет тому назад буржуазно-реакционный немецкий философ Георг Зиммель еще умел иначе посмотреть на тот «конфликт культуры», на котором паразитирует, в частности, «алитература». Он определял особенность этого современного конфликта тем, что происходит уже не борьба новых жизненных сил против старых, отживших форм, но проявляется «стремление разрушить форму как такую», как вообще «нечто навязанное жизни извне», тем, что «познание, оценки и явления начинают казаться безначальными откровениями» и «бесформенность современной жизни» все растет и растет. Мыслителям и художникам, сделавшим эту бесформенность своим знаменем, мерещится «чистый поток жизни», который они хотят «выразить», «не задаваясь вопросом о содержании жизни, идеях и состояниях, а размышляя исключительно о том, что такое

жизнь... а это значит, что жизни не доступны никакой смысл и цели...» «Быть может, — писал Зиммель, — это только иное выражение того, что в течение последних десятилетий мы живем уже вне всякого объединения какой-либо идеей, которая захватывала бы специалистов той или иной области культуры и определяла бы также их деятельность». Эта безыдейность, которая сказывается в негативном понимании жизни как бесформенной силы, разрушает и форму искусства — не те или другие формы, но художественную форму вообще. Так, например, художник-экспрессионист «убежден в том, что причина и вызванное действие отнюдь не должны выражаться в одинаковых внешних формах, и внутреннее динамическое отношение обоих не обязано иметь никаких внешне родственных черт», и предмет, «претворенный художественной волей, может в конечном результате дать совершенно не похожий на него живописный образ». Уже тогда появились «абстракционисты». Но Зиммель еще мог, не в пример нынешним «экзистенциалистам», «сюрреалистам» и пр., писать о них: «То, что у части современной молодежи чувствуется тяга к совершенно абстрактному искусству, объясняется тем, что жизнь в своем странном стремлении выказать себя непосредственно, легко запутывается в противоречиях». И все эти симптомы Зиммель называет «общим недугом культуры». Замечательно, что этот представитель субъективно-идеалистической «философии жизни» еще способен был, хотя ему и чуждо понимание подлинных законов истории, писать, что наблюдаемое явление есть лишь своеобразное выражение «отмирания традиционных жизненных форм», «но так как весь этот процесс, при своей всеобщности, еще не дошел до той концентрации, при которой начинается новое формотворчество, то этот недостаток обращается в принцип, в борьбу против формы только потому, что она форма. Пожалуй, это возможно только в такую эпоху, когда прежняя форма культуры кажется почвой истощенной...»

Мы прибегли к этому свидетельству с двойной целью. Во-первых, повторяем, сравнивая мысли Зиммеля с утверждениями современных «новойших» литераторов, мы можем объективно измерить, как быстро идет процесс разложения буржуазной идеологии. Во-вторых, нельзя не признать, что Зиммель точно описал специфи-

ческую, интересующую нас в данной статье черту этого распада и даже довольно верно указал на причины этого «недуга культуры».

В самом деле, существование исторически превзойденной «формы» общества — капитализма — приводит к тому, что там, где он еще держится, бесплодность его для культуры выражается в виде «общего недуга» — «распада всякой формы». Как бы ни старались защитники отмирающего строя представить это явление единственно возможной и высшей истиной, их усилия могут дать лишь крайне ограниченный результат, могут распространяться лишь на ту среду, которая, в силу своего социального положения и связей, обречена идти ко

дну с тонущим кораблем старого общества.

Однако на всех нас, имеющих счастье принадлежать к социалистическому миру — к тому миру, где происходит «положительный процесс нового формотворчества», лежит обязанность следить за фазами и разновидностями буржуазного распада, изучать не только его открытые, политически агрессивные реакционные проявления, но также и те якобы бескорыстные, но на самом деле столь же сильно отравленные трупным ядом идеи, которыми живые мертвецы пытаются заразить людей, полных жизни. Мы должны следить за всем, что происходит во вражеском лагере, ибо, во всяком случае в области культуры, знать — значит победить.



## К 150-летию со дня рождения Н. В. Гоголя

С. МАШИНСКИЙ

★

### „ДЕЛО О ВОЛЬНОДУМСТВЕ“ И ТВОРЧЕСТВО ГОГОЛЯ

I

**Н**ежинское «дело о вольнодумстве» возникло в 1827 году. Началось оно с того, что профессор М. В. Билевич донес в конференцию «гимназии высших наук», что он «приметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства», являющегося, по его мнению, прямым результатом преподавания профессором Н. Г. Белоусовым естественного права.

Событиями в Нежине заинтересовался сам Бенкендорф. Министр просвещения Ливен по указанию шефа жандармов направил в гимназию специального чиновника Адеркаса для расследования на месте всех обстоятельств дела.

В III Отделении было заведено на участников нежинского дела специальное досье. Правительство Николая I придавало этому делу большое политическое значение, так как видело в нем характерный отзвук 14 декабря.

По рукам воспитанников гимназии ходили запрещенные стихи Пушкина и Рылеева. Ученики распевали «Марсельезу», сами сочиняли стихи «нехорошего содержания», вели между собой разговоры о предстоящих в России переменах, которые будут «хуже французской революции», говорили, что «все полетит вверх дном». Среди рукописных ученических изданий следует отметить журнал «Северная заря», названный так по явной ассоциации со знаменитым альманахом Рылеева и Бестужева «Полярная звезда». Это косвенно подтверждает И. Д. Халчинский — один из нежинских «однокорытников» Гоголя. Он вспоминал, что воспитанниками гимназии составлялись «периодиче-

ские тетради литературных попыток в подражание альманахам и журналам той поры». Халчинский отмечал также, что издателем «Северной зари» был Гоголь (совместно с Базили).

В ходе расследования обнаружилось, что профессор Белоусов, любимый учитель Гоголя, читал курс естественного права в духе, явно противоречившем догматам церкви и официальной идеологии. Возникло даже подозрение, что профессор не ограничивался изложением только теоретических основ естественного права, что у него иногда прорывались рассуждения, чреватые далеко идущими выводами, — например, о том, что «права верховной власти могут быть нарушены в случае неспособности государя к правлению».

В нежинском деле есть одна тайна, давно обратившая на себя внимание исследователей, но до сих пор не разгаданная: по какому источнику читал свои лекции Белоусов?

Директор гимназии Ясновский и доверенный чиновник министра просвещения Адеркас не щадили усилий, чтобы выяснить этот вопрос. Они многократно допрашивали самого Белоусова, других преподавателей гимназии — его друзей и противников, наконец, учеников, стараясь установить, так сказать, первоисточник политической крамолы, распространяемой Белоусовым.

Д. И. Завалишин рассказывает в своих известных «Записках», что члены следственного комитета задавали арестованным декабристам один и тот же стереотипный вопрос: «В какой книге или из каких сочинений почерпнуты были революционные идеи?» Допрашиваемые отвечали: не из книг, а из

жизни, из «данного положения государства и общества».

Белоусов не имел права на такой ответ. Он обязан был читать свои лекции по определенному источнику, рекомендованному министерством просвещения. С тем большим упорством добивавшимся от него ответа на свой вопрос Ясновский.

Большинство допрошенных учеников показало, что Белоусов, игнорируя книгу Де Мартини, рекомендованную министерством просвещения, читал естественное право по собственным запискам. Гоголь был единственным среди воспитанников гимназии, категорически утверждавшим, что «объяснения о различии права и этики профессор Белоусов делал по книге». Заметим, что Билевич и законоучитель Волынский считали это «объяснение» самым преступным разделом лекций Белоусова.

Гоголь явно стремился выгородить своего учителя. Он был связан с Белоусовым узлами дружбы, часто бывал у него дома, пользовался его библиотекой. Кампания против Белоусова произвела тяжелое впечатление на Гоголя. Юноша воспринял ее как грубую несправедливость и произвол, противоречившие его представлениям о «естественном праве» людей, о «высоком назначении человека».

Вопрос об источнике лекций профессора Белоусова представляет, разумеется, немалый интерес. Сам Белоусов пытался всячески скрыть этот источник и запутать следы. Вероятно, для этого были у него основания.

Д. Иофанов в своей книге «Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы» (Киев, 1951) высказал предположение, что Белоусов пользовался при подготовке своих лекций книгой «Право естественное» А. П. Куницына, того самого профессора Куницына, который был учителем Пушкина и которого так часто и благодарно вспоминал впоследствии поэт.

Это была действительно замечательная книга, написанная серьезным, прогрессивным мыслителем, содержащая множество оригинальных, демократических идей. Изданная в 1818—1820 годах в двух частях, она тотчас же вызвала ярость в официальных кругах России. Министр духовных дел и народного просвещения Голицын заявил, что этот труд содержит в себе «все развратительные правила новейшей философии». Куницына изгнали из Петербургского университета и едва не предали суду.

Был ли знаком Белоусов с книгой Куницына? Видимо, да, хотя, изданная в количестве тысячи экземпляров, она тотчас же была конфискована и сожжена. Очень небольшое количество экземпляров все же сохранилось. Один из них мог попасть в руки Белоусова.

Общее направление труда Куницына несомненно должно было импонировать Белоусову, поскольку это была книга, проникнутая ненавистью к деспотизму и горячо пропагандировавшая тираноборческие идеи.

Однако у нас нет объективных оснований утверждать, что влияние Куницына на Белоусова было несомненным. Конкретные параллели и сопоставления между книгой Куницына и лекциями Белоусова, сделанные в работе Д. Иофанова, носят слишком общий характер и ничего не доказывают.

По какому же источнику читал свои лекции профессор Белоусов?

В рапорте Белоусова от 16 декабря 1827 года содержалось одно любопытное заявление, которое до сих пор не обратило на себя внимания ни одного из исследователей — в том числе и самого Д. Иофанова, опубликовавшего в своей книге этот документ. Вот что мы читаем в рапорте Белоусова:

«Небольшое творение автора, взятого мною за руководство, под названием «Jus naturae», переведено в С. Петербурге ныне публичным ординарным профессором одного из российских университетов и посвящено тому, коего заслуги по учебной части в России для нас [драгоценны, коего сведения употреблены были при воспитании всеавгустейшего монарха нашего, удивля[я] мудростию и правосудием весь образованный мир, и сей перевод, как говорит общее мнение между учеными, предпринят по поручению того, кому оный посвящен. Следовательно, я имел надежного автора при преподавании...»

Кто же этот таинственный автор, из сочинения коего Белоусов заимствовал, по его собственному признанию, «все чистое право»?

В 1820 году в Петербурге вышла небольшая книжечка, на титуле которой было обозначено: «Феодор Шмальц. Право естественное. Пер. с латинского, изд. П. С.». Теодор Шмальц (1760—1831) был известным немецким юристом и публицистом, профессором права Берлинского университета. Изданное в 1820 году в России «Право естественное» представляло собой крат-



кое извлечение из обширного труда Шмальца «Руководство по философии права» (Галле, 1807).

Переводчик Петр Сергеев посвятил свое издание ректору Петербургского университета профессору политических наук и доктору прав Михаилу Андреевичу Балугьянскому, который в 1813—1817 годах преподавал политические науки великим князьям Николаю и Михаилу Павловичам.

Нетрудно догадаться, что именно эту книгу и имел в виду Белоусов, для чего достаточно сопоставить с ней найденные нами записи его лекций. Значительная часть этих записей почти текстуально совпадает с книгой Шмальца.

Но тут естественно возникает вопрос: почему же Белоусов так упорно не желал назвать имя автора этой книги? Почему он отказывался отвечать на прямые вопросы Ясновского и Адеркаса относительно источника своих лекций, явно стараясь запутать и сбить с толку своих обвинителей?

Дело в том, что содержание книги Шмальца, несмотря на то, что переводчик посвятил ее М. А. Балугьянскому, само по себе отнюдь не отличалось ортодоксальностью. Добросовестно излагая основные просветительские идеи в области естественного права, автор книги — при всей умеренности своих политических взглядов — нередко вступал в явное противоречие с официальными догмами феодально-крепостнической идеологии. Белоусов в своих лекциях эту сторону книги Шмальца усиливал, самостоятельно развивал, и таким образом некоторые ее формулировки приобретали у него политическое звучание несравненно более острое.

Теперь становится понятным, почему на следствии Белоусов так упорно отказывался открыто назвать источник, по которому он читал свои лекции. Стоило Ясновскому или Адеркасу сопоставить книгу Шмальца с записями лекций Белоусова, как с полной очевидностью обнаружился бы «вольномудный» образ мысли нежинского профессора.

Кроме Белоусова, к «делу о вольномудстве» был привлечен и ряд других профессоров гимназии: Шапалинский, Ландражин, Зингер. Все они обвинялись в распространении «преступных идей», стремлении сколотить некую тайную «партию». В ходе следствия подтвердилось, что Шапалинский и Ландражин пытались установить связь с привлеченным по делу декабристов В. Л. Лукашевичем. А еще позднее выяснилось, что

нежинские профессора находились в контакте с деятелями польского освободительного движения<sup>1</sup>.

Расследование Адеркаса и его рапорт министру Ливену немедленно увенчались последствиями: с вольномыслящей группой профессоров жестоко расправились, нежинская гимназия была реорганизована.

## 2

«Дело о вольномудстве» интересно для нас как первая жизненная и политическая школа Гоголя, как первый социальный урок, полученный великим социальным писателем. Нет сомнения в том, что след, оставленный в сознании Гоголя нежинским делом, был глубоким и длительным.

В Нежине от Белоусова получил он первый урок свободолюбия. В Нежине на его глазах развернулась долгая мучительная борьба профессора и исполняющего обязанности директора гимназии Шапалинского за живую, светлую мысль в науке. Здесь, в Нежине, видел Гоголь, как преследовали и унижали людей, подобных Шапалинскому. Здесь впервые узнал он, что рядом с благородством живет предательство, что за каждым биением честной мысли в тогдашней России стоят исковерканные жизни, растоптанные биографии, искалеченные души.

Нравственный облик молодого Гоголя чрезвычайный характерен для той части русского общества, которая под влиянием тяжелой политической реакции, наступившей в России после разгрома декабризма, прониклась духом гражданственности, пафосом жертвенного служения родине, народу. Конечно, далеко не все эти люди были способны на героические свершения. Но память о подвиге 14 декабря не оставляла их равнодушными перед великой социальной драмой, переживаемой Россией. Торжествующая реакция не могла подавить голос совести передовой русской общественности, заглушить ее патристические и гуманистические порывы.

Освободительные идеи декабристов, прогрессивные традиции русской литературы — прежде всего Фонвизина, Грибоедова, Пушкина — все это вместе с пережитыми в Нежине событиями раскрыло Гоголю глаза на

<sup>1</sup> Это — новое обстоятельство, еще не привлекавшее к себе внимания исследователей. См. ЦГИА, ф. III Отделения, I экспедиция, 1837, д. № 130, лл. 26—31 об.

мир, дало мощный толчок духовному развитию будущего сатирика.

Сестра декабриста Алексея Капниста Софья Васильевна Скалон, характеризуя в своих «Воспоминаниях» Гоголя, «только что вышедшего из Нежинского лицея», отмечает свойственные ему наблюдательность и серьезность отношения к жизни. Перед отъездом в Петербург, рассказывает она, Гоголь посетил Обуховку и, прощаясь, сказал: «Вы или ничего обо мне не услышите, или услышите что-нибудь очень хорошее».

П. В. Анненков, познакомившись с Гоголем вскоре после его приезда в Петербург, обратил внимание на одну характерную особенность его духовного облика: «Он был весь обращен лицом к будущему». Перечитывая гоголевские письма той поры, мы хорошо ощущаем кипение пылливой юношеской мысли, страстное стремление этого человека подняться над пошлым миром нежинских «существователей». Он весь во власти высоких романтических мечтаний и надежд. Размышления о будущем, о своем месте в жизни, желание посвятить себя служению людям — вот лейтмотив юношеских писем Гоголя.

Меньше всего он думал тогда о писательском поприще. Ему грезился Петербург, а «с ним вместе и служба государству». В своей «Авторской исповеди» Гоголь вспоминал, как мечтал он тогда стать «человеком известным» и сделать «даже что-то для общего добра». Той же мыслью о будущем — своем собственном и будущем своей страны — была проникнута и юношеская романтическая поэма Гоголя «Ганц Кюхельгартен». Не угадывается ли во всех этих мечтах влияние Белоусова?

Отзвуки нежинского дела слышатся и в замечательном письме Гоголя П. П. Косяровскому от 3 октября 1827 года. Он пишет о решимости «сделать жизнь свою нужною для блага государства» и тут же весьма доверительно высказывает своему родственнику «тревожные мысли» по поводу того, что ему, может быть, «преградят дорогу». Из всех областей государственной службы Гоголь склонен выбрать юстицию и дает этому выбору многозначительное обоснование: «Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце». И дальше Гоголь прямо указывает на связь этих своих настроений с идеями, почерпнутыми из лекций профессора Белоусова: «Два года занимался я постоянно изучением прав других народов и естествен-

ных, как основных для всех, законов, теперь занимаюсь отечественными.— Исполнятся ли высокие мои начертания?» (выделено мною.— С. М.).

Это — очень важное признание молодого Гоголя. Законы естественного права, которые излагал Белоусов, представлялись будущему писателю «основными» и, стало быть, обязательными для всех. Но законы надо еще претворять в жизнь. Не в этом ли видит свси «высокие начертания» Гоголь?

Гоголь прощался с Нежином, твердо веруя в то, что он ознаменует свою жизнь важными свершениями. Он думал не о личном преуспевании. 1 марта 1828 года он писал матери: «Как угодно почитайте меня, но только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер, верьте только, что всегда чувства благородные наполняют меня, что никогда не унижался я в душе и что я всю жизнь свою обрек благу».

Воспоминания о событиях юности не угасали в душе Гоголя на протяжении всей его жизни. Эти воспоминания поддерживались многими нежинцами, с которыми Гоголь, будучи уже известным писателем, лично общался или находился в переписке.

Особенно близкими были его отношения с Н. Я. Прокоповичем и А. С. Данилевским. Он встречался в Петербурге также с А. Н. Мокрицким, И. Г. Пашенко, Е. П. Гребенкой, К. М. Базили. Летом 1830 года Гоголь сообщал матери, что его нежинских «однокорытников» здесь, в Петербурге, собралось «до 25 человек». Встречи с этими людьми, естественно, поддерживали в Гоголе воспоминания о прошлом. В мемуарах современников Гоголя мы встречаем упоминания о том, как в самых различных случаях жизни приходила ему на память какая-нибудь любопытная история, случившаяся в гимназические годы, которую он тут же увлекательно рассказывал. Несомненно, воспоминаниями о событиях в Нежине навеяно его письмо от 14 августа 1834 года, в котором он пишет, что «тамошние (то есть нежинские ретроградные.— С. М.) профессора большие бестии», от которых многие «пострадали».

Первые свободолюбивые идеи, впитанные Гоголем в нежинской гимназии, оставили несомненный след в его сознании. Они помогли ему определить свое критическое отношение ко многим явлениям крепостнической России, дали верное направление его

художественной мысли, развившейся позднее под воздействием всей русской действительности, под влиянием Пушкина и Белинского,—мысли, оплодотворившей гениальные обличительные произведения великого русского писателя.

Воспоминания о нежинском «деле» жили в сознании Гоголя сложным психологическим комплексом. Различные мотивы его художественно трансформировались в творчестве писателя.

Известно, какое влияние на нежинских гимназистов, как и на все молодое поколение России, оказали «вольные» стихи Пушкина, а также сочинения Рылеева. В черновой редакции знаменитой статьи Гоголя «Несколько слов о Пушкине» мы находим фразы, имеющие несомненно автобиографический характер, но не попавшие в окончательный текст статьи по цензурным соображениям: «Он был каким-то идеалом молодых людей... Стихи его учились наизусть... И если сказать истину, то его стихи воспитали и образовали истинно-благородные чувства несмотря на то, что старики и богомольные тетюшки старались уверить, что они рассеивают вольнодумство, потому только, что смелое благородство мыслей и выражения и отвага души были слишком противоположны их бездейственной вялой жизни, бесполезной и для них и для государства».

«Старики» являются для Гоголя символом мешанства, косности, тупой ненависти к передовой мысли, ко всему человеческому. Вспомнились писателю эти «старики» и в драматической сцене «Отрывок», созданной на основе одного из фрагментов незаконченной комедии «Владимир третьей степени». Некая взбалмошная светская дама Марья Александровна обвиняет своего сына Мишу в «либерализме» за то, что тот не соглашается на брак по расчету и считает, что «женильба дело сердечное». Отвергая это обвинение, Миша в одной из черновых редакций говорит матери: «Ах, маменька, ради бога не произносите этого слова... Не будьте похожи на тех старичков, которые имеют обычай колоть этим словом в глаза всех, не рассмотревши хорошенько ни человека, ни слова, которым его колют... У кого заметят они только немного шито не так платье, как у другого, как-нибудь иначе прическа, словом что-нибудь не так, как у других,—они тотчас: «Либерал! Либерал! Опасный человек! Революционер!» А в первоначальной редакции «Отрывка»

маменька еще резче порицает сына: «Все это от рылеевских стихов».

Эти строки также по цензурным причинам не попали в печать.

Один из мотивов гоголевского творчества, навеянных «делом о вольнодумстве»,—образ наставника, учителя. Через множество произведений Гоголя проходит этот любимейший его герой, возникновение которого несомненно связано с профессором Белоусовым.

«Пансион наш теперь на самой лучшей степени образования, на степени такой, до какой Орлай (бывший директор гимназии.— С. М.) никогда не мог достигнуть, и этому всему причина— наш нынешний инспектор; ему мы обязаны своим счастьем».

«Писать тебе про пансион? Он у нас теперь в самом лучшем, самом благородном состоянии, и всем этим мы одолжены нашему инспектору Белоусову».

«Все возможные удовольствия, забавы, занятия доставлены нам, и этим всем мы одолжены нашему инспектору. Я не знаю, можно ли достойно выхвалить этого редкого человека. Он обходится со всеми нами совершенно как с друзьями своими, заступает за нас против притязаний конференции нашей и профессоров-школяров. И, признаюсь, ежели бы не он, то у меня не достало бы терпения здесь окончить курс...»

Это цитаты из гимназических писем Гоголя к матери и Г. И. Высоцкому, датированных 1826 и 1827 годами. Профессор Белоусов был для Гоголя образом некоего идеального наставника. И в какой бы связи ни касался впоследствии писатель этой темы, перед ним неизменно возникал все тот же любимый профессор.

XIX век представлялся Гоголю эпохой пошлой «меркантильности» и крушения многих нравственных ценностей. В статье «Скульптура, живопись и музыка» он писал: «Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства». В этих условиях еще более возрастает, по мнению Гоголя, ответственность общества за судьбы молодого поколения, которые во многом зависят от учителя, наставника. К этой же

теме Гоголь обращается в статьях, включенных в цикл «Арабески».

В статье «О преподавании всеобщей истории» он подвергает специальному рассмотрению вопрос, который он называет «образом преподавания». Гоголь говорит о высокой моральной ответственности профессора за воспитание его юных слушателей. Сам профессор, воспитатель, имеет право убеждать других только в том случае, если сам имеет убеждения столь сильные и глубокие, чтобы они казались выведенными «из самой природы», и столь естественные, «чтобы слушатели сами увидели истину еще прежде, нежели он совершенно укажет на нее». Рассказ профессора должен быть ярким и эмоциональным, увлекательным и «дышать энтузиазмом», ибо он должен вызвать энтузиазм у слушателей и направить его «на прекрасное и благородное». Кроме того, замечает далее Гоголь: «Рассказ профессора должен делаться по временам возвышен, должен сыпать и возбуждать высокие мысли, но вместе с тем должен быть прост и понятен для всякого».

Эти строки писались в 1832 или 1833 году, то есть в ту пору, когда воспоминания о нежинской гимназии были еще достаточно свежи в памяти Гоголя. Нет сомнений в том, что прототипом нарисованного здесь идеального наставника был профессор Белоусов.

С образом доброго наставника, обращающего своих воспитанников на путь истины, мы встречаемся и в художественных произведениях Гоголя.

Вспомним молодого Чарткова из «Портрета». Ему многое было отпущено природой. Человек с талантом и способностью тонко чувствовать натуру, он мог стать незаурядным художником. И было кому помочь ему. Профессор Чарткова не раз предостерегал его от шегольства, от избыточной бойкости красок, от увлечения модными картинками в «английском роде», он советовал беречь свой талант и не зариться на легкие деньги... Но не внял молодой художник наставлениям своего учителя и погубил свой талант.

Образ наставника предстает в произведениях Гоголя как образ учителя, советчика, друга, как выразитель высокой нравственной идеи.

Когда на Белоусова было возведено политическое обвинение, он тотчас же понял, какими последствиями это может быть для него чревато, и категорически стал отводить

от себя какие бы то ни было подозрения. «Нет сильнейшего против профессора обвинения,— негодуяще писал он в одном из своих рапортов,— как обвинение в вольнодумстве».

Это обвинение старались опровергнуть и друзья Белоусова — Гоголь был в их числе. Обвинение в вольномыслии представляло в николаевской России самую страшную опасность для человека. И она подстерегала его на каждом шагу.

В «Ревизоре» Гоголь зло посмеялся над этим жуупелом.

Когда перепуганный городничий в ожидании ревизора наставляет своих чиновников, то он между прочим обращает внимание смотрителя училищ Хлопова на непорядки и в его хозяйстве. Городничему показались подозрительными «очень странные поступки» некоторых учителей. Например, того из них, который «не может обойтись, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу». Добро бы еще, рассуждает Антон Антонович, если он ученику сделает «такую рожу», а то ведь делает ее и посетителю, а «это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти».

Это внушение приводит Луку Лукича Хлопова в трепет. Почти в полном отчаянии он отвечает городничему: «Что же мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на-днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видавал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству» (выделено мною.— С. М.).

В самом деле, странный порядок, при котором один рожу строит, а другому за то — выговор. Тем более странный, что эта «рожа» способна повлечь за собой обвинение... в вольнодумстве.

Алогизм такого построения рождал ощущение крайней несуразности, ненормальности порядков в стране, при которых возможны подобного рода явления.

После разгрома декабризма искоренение «вольнодумных мыслей» стало первейшей заповедью государственной политики. Нежинское «дело о вольнодумстве» как раз и явилось одним из практических результатов этой политики.

Когда мы слышим со сцены реплику Луки Лукича: «Не приведи бог служить по

ученой части, всего боишься», то мы знаем теперь, какие первоначальные впечатления Гоголя лежат в ее основе, хотя ее действительный социальный смысл был, конечно, гораздо глубже и шире этих впечатлений. Судьба учителей Гоголя — Белоусова и Шапалинского, Зингера и Ландражина — дала писателю достаточно оснований для того, чтобы судить, сколь опасна служба «по ученой части».

Реплика Луки Лукича вобрала в себя, разумеется, не только далекие нежинские воспоминания Гоголя, но и все многообразие его жизненных впечатлений, и в частности — его собственный опыт работы «по ученой части».

Продолжавшаяся несколько лет педагогическая деятельность Гоголя (вначале в Патриотическом институте, а затем в Петербургском университете) оставила в нем чувство глубочайшего неудовлетворения. Различные неприятности, постигшие писателя на профессорском поприще, вынудили его уйти из университета. Немалую роль сыграла здесь, по-видимому, травля, которой подвергся Гоголь со стороны возглавлявшего кафедру всеобщей истории И. П. Шульгина — человека, известного своими охранительными взглядами. Уже в январе 1835 года Гоголь сообщил Погодину, что у него в университете «завелись какие-то ученые неприятели». Однако еще целый год после этого он продолжал тянуть профессорскую ляжку, пока наконец совсем не «расплевался» с университетом. С грустью писал Гоголь Погодину о своих «высоких, исполненных истины и ужасающего величия мыслях», кои не успел он претворить в жизнь.

Невзгоды, испытанные Гоголем-профессором, были, конечно, полегче тех, которые пережили на ниве отечественного просвещения нежинские профессора и многие другие известные писателю деятели, но эти невзгоды дали ему немало нового материала для размышлений о судьбах российского просвещения.

Две стороны было в «деле о вольнодумстве», как и два лагеря было в самой нежинской гимназии. Вольнолюбивым лекциям Белоусова противостояли казенные проповеди Билевича. Благородные порывы одних воспитанников столкнулись с трусливым, гаденьким наущничеством других. Эта другая сторона нежинского дела, имевшая глубокие корни в характере русской дей-

ствительности того времени, тоже нашла свое выражение в творчестве Гоголя.

Разве не самая злая сатира на наставников определенного типа дана в «Ревизоре»? Разве не высмеян зло и гневно учитель Чичикова, который часто говаривал: «Способности и дарования? Это все вздор... я смотрю только на поведение». Учитель, который больше всего на свете любил мертвую тишину в классе? А стоит ли углубляться в характер наставника сыновей Манилова, когда достаточно и одной меткой гоголевской реплики: «Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и, как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение».

Прогрессивные, свободолюбивые тенденции, проявившиеся в нежинской гимназии, привели к острому политическому конфликту и обернулись пухлым и страшным «делом», заведенным на группу профессоров III Отделением. Быть может, самым страшным после слова «вольнодумство» было в тогдашней России слово «дело». Завести на человека дело значило заподозрить его в политической измене и сбречь на самые тяжкие муки и страдания.

«Дело о вольнодумстве» — дело, заведенное на вольную мысль человека, — жило в сознании Гоголя художественным обобщением, куда более сложным и емким, чем только история в нежинской гимназии. Оно, это обобщение, реализовалось в творчестве писателя отнюдь не в плане идеализации некой абстрактной «добродетели». Нет, именно осмеяние, обличение зла, губящего живую мысль и живую душу, — вот прежде всего с какой стороны нежинское дело представлялось Гоголю наиболее поучительным и типичным для полицейско-бюрократической России.

Царских чиновников вольнодумство Белоусова и нескольких близких к нему профессоров пугало не само по себе. Служив вольнодумствующий Белоусов на каком-либо другом поприще, не соприкасаясь он с молодежью — правительством и III Отделением не испугались бы так отчаянно. Но именно связь Белоусова с юношеством, влияние его на молодые умы особенно встревожили царских чиновников.

Мы не можем не вспомнить об этом, когда прочтем в «Шинели» — повести, казалось бы, совсем далекой от проблем воспи-

тания и формирования юношеских судеб,— реплику «значительного лица», распскающего Акакия Акакиевича: «Что за буйство такое распрстранилось между молодыми людьми против начальников и высших!» Гоголь замечает тут же, что Акакия Акакиевича никак нельзя было назвать молодым человеком, разве что по отношению к семидесятилетнему старцу. И тем ценнее после этого замечания Гоголя фраза «значительного лица» — фраза, снова заставляющая вспомнить «дело о вольнодумстве».

Здесь Гоголь высказывает еще раз свою с юношеских лет затаенную мысль о том, что власть имущие больше всего на свете пугаются сочетания вольнодумства с молодостью, возникновения горячего протеста против существующего строя именно среди юношества. И когда «значительное лицо» распскает Акакия Акакиевича, который, как ему показалось, слишком вольно выразился о начальстве, он первым делом вспоминает о молодежи, среди которой распространилось какое-то «буйство» — слово, которое мы вполне можем прочесть, как «вольнодумство».

Быть может, одна из самых важных мыслей, к которой пришел Гоголь на примере нежинского «дела о вольнодумстве», это мысль о том, что всякий истинный талант, всякий человек, действительно обеспокоенный судьбами молодого поколения, не может быть согласен с порядками несправедливого общественного строя, он не может оставаться действительно творческим человеком, если будет исповедовать официальный образ мыслей, официальные идеи этого строя. Стоило наставнику Гоголя Белоусову всерьез задуматься над некоторыми вопросами преподаваемой им науки естественного права, стоило ему всерьез захотеть быть понятым молодежью, как в лекциях его зазвучали тираноборческие мотивы, как вольнолюбием стало дышать каждое высказанное им на уроках слово.

Это важнейшее наблюдение Гоголя о противоположности живой мысли тогдашним общественным порядкам нашло свое полное и яркое выражение в одной из статей его, включенных в «Арабески». Говоря о своеобразии Шлецера как ученого, историка, Гоголь замечает: «Будучи одним из первых, тревожимых мыслью о величии и истинной цели всеобщей истории, он долженствовал быть непременно гением оппозиционным» (выделено мною.— С. М.).

И сам Гоголь всей своей творческой жизнью подтвердил это высказанное им в «Арабесках» наблюдение: подлинный талант в условиях эксплуататорского общества — непременно «гений оппозиционный». Так смыкалось творчество писателя и, более того, вся его жизненная, художническая программа с впечатлениями юности, с глубоко осмысленными уроками нежинского дсла.

### 3

Учитель, наставник — это слово, это понятие было святым для Гоголя на протяжении всего его творчества. Профессор молодого художника Чарткова, воспитатель Тентетникова, рассуждения Гоголя о постановке образования в современных пансионах — в главе о приезде Чичикова к Манилову, мысли о роли учителя, о воспитании молодого поколения, разбросанные в «Арабесках», — с одной стороны, с другой — губернёр малолетних отпрысков Манилова — Алкида и Фемистоклюса, учитель Чичикова, смотритель училищ Лука Лукич Хлопов, — вряд ли найдем мы такой богатейший материал о добрых и злых наставниках в творчестве любого другого писателя этой или иной эпохи.

Почему же так интересовала Гоголя тема наставничества, тема воспитания?

Было бы, конечно, неверно сводить все богатство его наблюдений и размышлений только к «делу о вольнодумстве», только к фигурам Белоусова или его антагонистов. Ясно, конечно, что писатель, так остро чувствующавший свою великую проповедническую миссию, так глубоко понимавший роль свою как роль искоренителя зла и воспитателя общества, не мог пройти мимо темы воспитания, не мог не заинтересоваться идеей наставничества, идеей добрых и злых пастырей, в чьих руках — судьбы юношества, то есть судьбы будущего, судьбы России.

Проницательный исследователь быта и нравов современного общества, Гоголь глубоко видел его пороки. Беспощадно обличая их, он не переставал мечтать об ином, более совершенном общественном устройстве, при котором не было бы уродств и безобразий, повсеместно творившихся в крепостнической России. Но какие же пути ведут к историческому обновлению страны — этого Гоголь не знал. Ему казалось, что оздоровлению общества многим могла бы содействовать правильная и

хорошо поставленная система воспитания. Такого рода убеждения не были новостью. Они были широко распространены в XVIII веке на Западе, да и в России. Их горячо пропагандировали просветители.

Отголоски просветительных взглядов можно услышать и у Гоголя. Он страстно верил в магическую силу морального воздействия на человека и общество, в могущество воспитания. Именно этим объясняется его неустанный интерес к образу наставника и воспитателя. Во втором томе «Мертвых душ» он создал этому образу своего рода апофеоз.

И другое. Автор «Мертвых душ» хорошо понимал зависимость человека от общественной среды. Сатирически обличая героев «Мертвых душ», Гоголь не делает ответственными за их поступки только их самих. Виновны прежде всего условия общественной жизни, создающие возможность существования подобного рода людей. Предметом сатиры Гоголя были не личности, а пороки целого сословия. Такое изображение человеческого характера явилось величайшим завоеванием гоголевского реализма и огромным шагом вперед сравнительно, скажем, с сатирой XVIII века.

Но, не зная реальных путей, которые могли бы привести к искоренению общественных язв, Гоголь продолжал уповать на хорошего наставника, верить в чудодейственную силу правильно поставленной системы воспитания. Беспощадный сатирик и зркий художник-реалист в изображении отрицательных явлений крепостнической действительности, Гоголь становился наивным моралистом и мечтателем, когда пытался играть роль учителя жизни и провозвестника некой положительной программы оздоровления общества.

В этой связи интересны те немногие строки, которые посвящены воспитанию Тентетникова.

Двенадцатилетним мальчиком попал он в учебное заведение, начальником коего был в то время «человек необыкновенный». Его звали Александром Петровичем. Это был тонкий психолог, сердцевед, одаренный способностью проникать в самую душу человеческую, отлично знавший «науку жизни» и стремившийся из каждого своего ученика воспитать «гражданина земли своей».

Характеризуя Александра Петровича как талантливого педагога и искуснейшего воспитателя, Гоголь пишет: «Без педантских терминов, напыщенных воззрений и взгля-

дов, умел он передать самую душу науки, так что и малолетнему было видно, на что она ему нужна. Из наук была избрана только та, что способна образовать из человека гражданина земли своей. Большая часть лекций состояла в рассказах о том, что ожидает юношу впереди, и весь горизонт его поприща умел он очертить [так], что юноша, еще находясь на лавке, мыслями и душой жил уже там на службе... Оттого ли, что сильно уже развилось честолюбие, оттого ли, что в самых глазах необыкновенного наставника было что-то говорящее юноше: в п е р е д! — это слово, знакомое русскому человеку, производящее такие чудеса над его чуткой природой, — но юноша с самого начала искал только трудностей, алка действовать только там, где трудно, где больше препятствий, где нужно было показать большую силу души».

Эта вдохновенная патетическая тирада тоже в какой-то степени несла на себе отсвет автобиографических воспоминаний.

В литературе уже было высказано справедливое предположение относительно того, что прототипом Александра Петровича был не кто иной, как профессор Белоусов. Внимательное сопоставление материалов не оставляет на этот счет никаких сомнений.

Александр Петрович сочетал в себе строгость и доброту, он умел взыскивать и быть справедливым. Своими душевными качествами, благородством и умом он нашел доступ к сердцу каждого из своих воспитанников. Словом, он был «идол юношей». И еще добавляет Гоголь: «Как любили его все мальчишки! Нет, никогда не бывает такой привязанности у детей к своим родителям».

Как все это действительно похоже на ту атмосферу, которая царяла в отношениях между Белоусовым и его воспитанниками!

В ранней редакции (первоначальном слое) этой первой главы второго тома «Мертвых душ» есть удивительное сравнение атмосферы, царившей в учебном заведении Александра Петровича, с «вольницей». В той же первой главе второго тома поэмы Гоголь рассказывает и о «скоропостижной» смерти учителя (не так ли «скоропостижно» оборвалась деятельность Белоусова как педагога и воспитателя?), и о том, каким ударом явилась для молодого Тентетникова эта «страшная первая потеря», и о том, с какой грустью вспоминал позднее герой своего Александра Петровича. Затем образ необыкновенного наставника вырастает в обобщенный поэтический символ. Слишком

рано умер Александр Петрович. И не было больше человека, который мог бы крикнуть это бодрящее слово «вперед».

Отголоски автобиографических воспоминаний ощущаются в образе не только Александра Петровича, но и в образе ученика его — юного Тентетникова — в тот момент его жизни, когда биография его еще не была «сломана» и он еще не превратился в небокоптителя.

В самом деле, и в том, с каким благоговением относился Тентетников к своему наставнику, и в том, как «вспоминал он часто» о нем, и в том, с каким возмущением мечтал он о службе и с каким нетерпением «понесся он в Петербург», и в том, как скоро разочаровался он в службе, изменил свои недавние представления о чиновниках и принял решение выйти в отставку, — во всем этом мы словно узнаем хорошо известные факты биографии самого Гоголя.

Не следует забывать, что в окончательной редакции рукопись второго тома «Мертвых душ» была сожжена автором, а обе редакции случайно сохранившихся глав — черновые. В процессе последующей работы над текстом Гоголь вносил в него какие-то дополнения. Д. А. Оболенский, например, рассказывает в своих воспоминаниях, что причина выхода Тентетникова в отставку «была гораздо более развита, чем в тех вариантах, которые до нас дошли». Но зато, по его словам, рассказ о воспитании Тентетникова читан был Гоголем в том виде, в каком он появился в печати уже после смерти писателя.

С людьми, подобными Александру Петровичу, связывал Гоголь надежды на будущее своей родины. Автор «Мертвых душ» принадлежал к тому поколению русских людей, общественные идеалы которых формировались на основе исторического опыта декабризма, движения, далекого от народных масс. Отсюда свойственное этим людям преувеличенное представление о роли отдельной личности, способной силой своего ума и таланта воспитать в обществе благородные порывы. Стремление к иной, более совершенной действительности приобретало, таким образом, характер романтических, «идеальных» мечтаний.

Образ Александра Петровича как раз и был выражением романтической мечты Гоголя — возвышенной и страстной, но вместе с тем недостаточно «заземленной». Не зная истинных путей преобразования жизни, писатель уповал на некую сильную личность,

которая поведет за собой русское общество «вперед».

«Где же тот, — восклицает Гоголь, — кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: в п е р е д? Кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить нас на высокую жизнь? Какими слезами, какою любовью заплатил бы ему благодарный русской человек».

События, современником которых был в юношеские годы Гоголь, впервые пробудили в нем мысль о том, что Россия в дороге и что великие усилия человеческие должны помочь ей прийти к цели. С какой неотразимой силой этот мотив дороги, вихрем несущейся птицы-тройки, всепобеждающего движения вперед выражен в первом томе «Мертвых душ»!

Во время работы над вторым томом поэмы Гоголь претерпел сложную духовную эволюцию. Следы ее сохранились в дошедших до нас нескольких главах. Об их содержании можно сказать словами Чернышевского, что оно представляет собой «смесь правды и фальши». Но существенно то, что рядом с реакционной утопией, выраженной в образах Костанжогло, Муразова и генерал-губернатора, призывающего воров-чиновников заняться нравственным самоусовершенствованием, прорывалась большая и горькая правда жизни, видны были поиски выхода из трагических противоречий действительности.

К светлым страницам этой книги относится и образ Александра Петровича, одушевленный юношескими воспоминаниями писателя и отразивший его пусть незрелую, но благородную, светлую мечту о будущем России.

#### 4

Из тех же далеких воспоминаний юности вынес, думается нам, Гоголь и мысль о крепком, нерушимом товариществе, как одной из ярчайших радостей жизни, и о фискальстве, как тяжелейшем человеческом преступлении.

Молодой Гоголь мужественно защищал наставника своего Белоусова. Но не все вели себя так же, как Гоголь. Мы знаем, что не выстоял Кукольник и, озабоченный своей будущностью, предал своего учителя, что растерялись, не помогли Белоусову и некоторые другие воспитанники.



Живая переключка с этой историей — первые страницы биографии Чичикова, повествующие о годах его учения.

Не любил учитель Чичикова остроловов и насмешников, больше привечал он тихих, послушных, искательных. На них и положиться можно и довериться им не грех. Это свои, эти не предадут.

Но вот попал в беду старый учитель. Узнав, что он бедствует, насмешники да остроловы собрали деньги, отдавая последние гроши, и помогли учителю. А Чичиков — тихий, послушный Чичиков, надежда учителя, всегда ставившего его в пример насмешникам, — дал, и то с ужимками, с неудовольствием... всего лишь пятак серебром.

«Закрыв лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших учеников своих: слезы градом полились из погасавших очей...»

Как претворилась здесь на высокой трагикомической ноте история с учителем Белоусовым, которого тоже не выдали насмешники и остроловы! А ведь одним из них, и, быть может, наиболее насмешливым, острым, колючим, был сам Николай Гоголь-Яновский.

Но еще более важно другое. В этом небольшом эпизоде, быть может, в какой-то мере навеянном воспоминаниями о событиях в нежинской гимназии, таится мысль, проливающая свет на все творчество писателя, на судьбы и цели сатиры вообще. В условиях царской России гуманизм, душевная щедрость — не в послушании, не в подлаживании, не в искательстве и добреньких словечках, а, напротив, в злом смехе, в гневной шутке, в обличительной насмешке, в остром, убивающем слове. «Добрый» исторически, философски, а не только в смысле бытовом был именно тот, кто с обывательской точки зрения казался недобрый. «Недоброта», злая сатира на общественные порядки оборачивалась великой добротой, подлинной гуманистической любовью к народу. Острое, гневное слово зачастую соединяло с собой легко ранимую, нежную, отзывчивую душу. Убивая словом, сатирик сам обливался слезами над несчастьями любимой России.

Так небольшой эпизод со школьным учителем Чичикова, которого не выдали насмешники и остроловы, но предали добренькие тихони, этот небольшой эпизод, в какой-то, пусть очень отдаленной, степени переключкающийся с событиями в Нежине,

подводит нас к более широкому выводу, касающемуся самых основ гоголевского творчества.

Страстное желание помочь Белоусову, объединившее Гоголя с другими товарищами по нежинской гимназии, не могло стать для Гоголя — как ничто не становилось для него в жизни — обычным, бытовым фактом, проходным, частным случаем. Молодежь не спасла Белоусова от царского гнева, но первые зародыши товарищества, первые зачатки дружбы, одухотворенной одной благородной целью, не забылись художником, не затерялись в его душе, которая так широко была открыта жизненным впечатлениям.

Да, конечно, было бы неправильно сводить все мысли Гоголя о дружбе и товариществе к одному только эпизоду в нежинской гимназии. Но, разбираясь в истоках гоголевских тем и образов и ни в коем случае не сводя их к одному какому-либо жизненному факту, мы не можем не сопоставить юношеских лет писателя, когда великая мысль о товариществе зародилась и выявилась в белоусовской истории, с порой зрелости художника, когда мысль эта воплотилась в живые, бессмертные образы, в одну из самых гуманистических идей русской классической литературы.

И последнее, о чем хотелось бы сказать в связи с отзвуками «дела о вольнодумстве» в гоголевском творчестве.

Белоусов читал лекции о «естественном праве», о том юридическом естественном праве, которое, если трактовать его шире, окажется естественным правом человека на свободу личности, на свободу от тирании и духовного рабства, — иными словами, естественным правом человека быть человеком.

И чему, как не этой всеобъемлющей теме посвятил все свое творчество Гоголь! Дело опять-таки не в том, чтобы свести всю идейную и художническую программу Гоголя к лекциям Белоусова об «естественном праве». Ясно, конечно, что идейная и художническая программа гениального писателя неизмеримо богаче, активнее, ярче и содержательнее, чем любые самые талантливые и самые вольнолюбивые мысли его наставников.

Хорошо известна выдающаяся роль А. П. Куницына в истории духовного развития Пушкина, посвятившего своему любимому учителю восторженные строки:

Куницыну дань сердца и вина!  
Он создал нас, он воспитал наш пламень,  
Поставлен им краеугольный камень,  
Им чистая лампада возжена...

Но можно ли спорить о том, кто сыграл большую роль в истории народа—Пушкин или профессор Куницын? Никак не отождествляя творчества гениальных литераторов с политическими и эстетическими позициями их передовых наставников, мы не можем не заметить, что так же, как когда-то Куницын пробудил в юном Пушкине любовь к добру, к родной литературе, к борьбе за человеческое в человеке, так и Белоусов сыграл немаловажную роль в формировании гоголевского взгляда на жизнь, в его свободном отношении к действительности.

Естественное право человека на человеческую жизнь Гоголь доказывает средствами сатиры, что значило для него показать самое полное, трагически полное, отсутствие этого права у своих героев. Естественное человеческое право на свободу духа сильнее всего утверждается художником в «Петербургских повестях», герои которых наиболее тесно, наиболее непосредственно соприкасаются с мертвой бюрократической машиной, олицетворявшейся тогда в самом облике равнодушного, чиновного Петербурга.

Чем более унижен, оскорблен и растоптан был Акакий Акакиевич, тем сильнее и активнее звучала мысль Гоголя о естественном праве человека на жизнь, о загубленных судьбах, о калечащем души моральном рабстве и угнетении.

Что парадоксальнее и выразительнее в этом смысле найдем мы в русской литературе, чем вторая жизнь маленького чиновника Башмачкина, после смерти ставшего грозой для всех богатых и значительных лиц? В крепостнической России, где неестественно, трагически строилась биография простого, маленького человека, только смерть давала ему эти самые обычные, естественные права.

Какая поразительная, какая невероятная сатира на тогдашний общественный строй, какое могучее утверждение естественного в неестественности, нормального в фантастическом!

А не эта ли тема прозвучит и в «Мертвых душах», когда забытые, никем не признанные, замечательные русские самородки кре-

пстные — каретник Михеев, плотник Степан Пробка, кирпичник Милушкин, сапожник Максим Телятников — вдруг обретут новую жизнь уже после смерти, в купчих крепостях, в панегириках Собакевича и философствованиях Чичикова. Вдруг все заметят эти мертвые души, никем не замеченные в живых, заметят тогда, когда нужно будет совершить невероятную, фантастическую, но выгодную, а значит — возможную сделку с Чичиковым. Естественное право этих людей, попранное при жизни, вдруг трагикомически обретает свою силу после их смерти, как бы повторяя, развивая мотивы «Шинели».

Наиболее полное сатирическое выражение получает эта тема в «Записках сумасшедшего», когда выясняется, что отнять у человека его естественное право быть человеком — значит отнять у него рассудок.

Сумасшествие Поприщина, жалкая, бессмысленная жизнь его — это, быть может, самый активный и самый сильный протест великого художника против губительного насилия над личностью.

Но даже в сумасшествии Поприщина больше логики, естественности и здравого смысла, чем в реальном душевном здоровье многих и многих значительных лиц тогдашней России. Богатство за счет других, мертвящий душевный холод, растление человеческих сердец — разве все это не менее естественно, чем прямое сумасшествие Поприщина!

Так великой силой искусства боролся художник за естественные права человека, против ложной, неестественной, бесчеловечной действительности.

Мы пытались проследить отголоски нежинских событий в произведениях Гоголя не для того, чтобы механически пристегнуть биографию к творчеству и свести всю широту этого творчества к узким биографическим истокам. Мы хотели найти отзвуки нежинского дела в творчестве Гоголя для того, чтобы яснее понять, как формировался великий писатель, чтобы еще раз показать, как тесно связаны между собой искусство и жизнь, как даже самые ранние впечатления жизни могут долго сопровождать истинного художника и быть полезными для его творчества, если во впечатлениях этих было зерно общественной значимости и политического интереса.



# МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

## ГОРЬКИЙ 9 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА

В 1917 году, когда широкая волна освободительной революцией политических хлынула на Петроград и Москву, я впервые встретилась с Ириной Константиновной Каховской, только что вернувшейся с казачьей. Запомнились ее ярко-синие глаза, вдумчивый взгляд.

Вторая встреча произошла через сорок лет, в 1957 году. Теперь передо мною была седая, усталая женщина. Она рассказала мне о себе.

Окончив институт «благородных девиц» в Петербурге, она поступила на исторический факультет Высших женских курсов.

В день 9 января 1905 года в читальном зале Петербургской Публичной библиотеки она слышала выступление Горького о кровавых событиях этого дня.

Ирина Константиновна знала Горького по открыткам, которые были в ходу у молодежи того времени. Его речь потрясла ее и заставила задуматься о настоящей жизни народа.

\* \* \*

Среди материалов о жизни Горького, тщательно собираемых его биографами, имеется один мало освещенный эпизод, относящийся к 1905 году. Это его выступление 9 января в Петербургской Публичной библиотеке и вечером того же дня в Вольно-экономическом обществе.

Впечатления шестнадцатилетней девушки-студентки, рассказанные мной, теперь уже семидесятилетней старухой, возможно, представят некоторый интерес.

В день Кровавого воскресенья я увидела Горького впервые, и на фоне ужасных событий этого дня его облик, слова и призывы казались особенно значительными и врезались в память на всю жизнь.

Как сейчас, вижу я взволнованное, бледное лицо писателя, который в те годы был для нас, студенческой молодежи, величайшим авторитетом и нежной любовью.

В это морозное солнечное утро я направилась с Сергиевской улицы, где жила тогда с матерью, в Публичную библиотеку готовиться к реферату по истории. Мне

День 9 января, собрание в Вольно-экономическом обществе раскрыли ей глаза и привели к участию в революционном движении, которому она целиком посвятила свою жизнь.

Я упросила Ирину Константиновну написать свои воспоминания об этом дне. Вскоре она мне их принесла.

В Архиве А. М. Горького хранится много воспоминаний о встречах с Алексеем Максимовичем. О выступлении М. Горького 9 января в Публичной библиотеке есть только одно воспоминание — И. И. Лазаревского. Воспоминания И. К. Каховской, в которых она говорит не только о выступлении Горького в Публичной библиотеке в день 9 января 1905 года, но и о выступлении Горького в Вольно-экономическом обществе, заполняют эту брешь.

Весною 1905 года я слышала рассказ об этом дне от Алексея Максимовича, тогда его рассказ дополнил его письмо ко мне, написанное в несколько приемов поздно вечером 9 января 1905 года. Оно опубликовано в пятом томе Архива А. М. Горького за № 181. Теперь, читая воспоминания И. К. Каховской, я порадовалась достоверности ее изложения.

Думаю, что ее правдивый рассказ об этом дне будет интересно прочесть всем.

Ек. Пешкова.

предстояло подобрать материалы о «Земских соборах». Тема эта была нам преподаана профессором русской истории особенно любовно, в духе идиллического единения царя со своим народом. В трудные для отечества дни, говорилось нам на лекциях, царь призывал для совета и помощи лучших людей Земли Русской от бояр до земских, и народ с полным доверием и готовностью шел на жертвы имуществом и жизнью по зову монарха. Эти взаимоотношения между царем и народом, внушалось нам, исконно русские, сложившиеся в ходе истории: доверие царя к своему народу и уважение к его решениям и сейчас лежат в основе нашей государственности... «Царь и народ» — вот над какой темой мне предстояло работать в этот день.

Я спешила. Хотелось скорее вернуться, так как дома третий день лежала больная мать; в доме не было керосина — не доставали, уже накануне не горело электричество на улицах и ходили тревожные слухи, что забастует водоканал. Для обывателей центральной части города все это были досадные бытовые помехи.

Много говорили о Гапоне; одни — как о мятежнике, другие — как о примирителе; о готовящейся петиции к царю отзывались одобрительно. Рабочие подадут свою жалобу царю и успокоятся, жизнь войдет в нормальную колею.

В редкое для Петербурга ослепительно яркое утро на улице былолюдно. По Литейному двигались густые массы прохожих по направлению к Невскому, а на Невском трудно было протолкаться. Много праздничной публики — зрителей, ожидающих прохождения небывалой процессии. Поглядывали в сторону Невской заставы: оттуда ждали рабочих.

Около Думы пришлось остановиться. Послышалось пение молитв, гимна; над движущейся в торжественном порядке процессией — церковные хоругви, иконы, поднятые на высоких древках, царские портреты, — не то крестный ход, не то патриотическая манифестация, какие были в начале Японской войны. Я долго смотрела на празднично одетых людей, с серьезными, сосредоточенными лицами шагавших к Дворцовой площади. Ни улыбок, ни разговоров. В толпе зрителей многие снимали шапки.

Рабочие всё шли и шли...

В это же время тяжелые двери Публичной библиотеки то и дело раскрывались, впуская безучастных к происходящему людей — молодых и старых, мужчин и женщин, с книгами, тетрадками, портфелями в руках.

Полнейшая тишина и покой охватывали сразу за захлопнувшейся дверью: огромный двухсветный читальный зал с белыми стенами, украшенными свисающим с верхних окон плющом, бесшумные двери, бесшумно отодвигаемые стулья с резиновыми прокладками на ножках, легкий шелест перелистываемых страниц — все это сразу создавало особенное, сосредоточенное настроение, наглухо отделяя от улицы, от ее волнений.

Передо мной стопка полученных книг; быстро бегает перо по бумаге. Толпа на Невском совсем забыта.

Неожиданно внизу и на лестнице раздаются громкие требовательные голоса. Читающие с недоумением прислушиваются к шуму. Он всё ближе; стеклянные двери распахиваются — и стремительной походкой входят в зал несколько человек в шубах, с заиндевевшими бородами, прямо с мороза. Среди них ряд лиц, известных по портретам, по публичным лекциям, журнальным статьям, — представителей тогдашней либе-

ральной интеллигенции. Называют имена Анненского, Мельшина и других.

Общий гул, ропот голосов; все встают, толпятся.

В беспорядке сдвинуты с ближайших столов бумага и книги. Один за другим входят на эту трибуну возбужденные ораторы. Торопливо, задыхаясь от волнения, от быстрой ходьбы, отрывистыми, горячими словами они рисуют картину происходящей на улице расправы с рабочими: говорят о стрельбе у Александровского сада, об убитых детях, о десятках и сотнях жертв; об обманутом доверии, об убийстве безоружных людей. С улицы вбегают новые очевидцы, и картина дополняется новыми ужасными подробностями...

«Горький, Горький идет!» Люди расступаются. Вбегают Горький — шуба распахнута, шапка в руке, бледный, хотя с мороза...

Я, конечно, не могу восстановить в памяти текста его речи. Да это и не была связная речь. Это был град острых, горячих слов, проникнутых жестокой болью и негодованием, а также упреков нам, спокойно читающим умные книги в белом тихом зале, когда под окнами рекой льется человеческая кровь. Ярko запечатлелись в памяти отдельные, полные страстной выразительности фразы:

— Молодежь, студенты! Разве тут ваше место? Идите к ним, к тем, кого убивают, боритесь за их дело!

— Только что я видел, как грузили на дровни тела убитых, одно на другое, одно на другое, мертвые тела! Их уже сотни! Их уже сотни, тысячи — а вы здесь сидите, читаете! А рабочих убивают, убивают, убивают! А к бастующим уже вплотную придвинулся голод! Там ружейные залпы, а тут шелестят страницы!..

— Они верили, искали защиты — их расстреляли. Но уж больше их никто не обманет! Раскрылись глаза!..

Все сгрудились вокруг, ловя каждое слово, заражаясь негодованием, ненавистью, загораясь...

Острое, пронзившее душу чувство стыда — я думаю, не у меня одной — рождали эти гневные упреки. Ведь я прошла мимо, я даже не поинтересовалась, чего хотели эти доверчивые труженики. Оказывается, они несли свое горе царю, а он...

«Земские соборы», царь и народ — я ведь сегодня утром еще верила в это... А вот как оно бывает в действительности. Вот оно — единение...

Да, и у меня раскрылись глаза.

— Долой подлое, гнусное самодержавие! — кричит Якубович, а вслед за этим визгливый женский голос:

— Вы и не русский и не православный!

Все смешалось.

— Будущая русская интеллигенция! Студенты, курсистки! — презрительно бросает Горький и, соскочив со стола, один быстро исчезает за дверью.

С его уходом все задвигалось, зашумело.

— Товарищи, на улицу! — кричит кто-то.

Летят в окошко библиотекарей славаемые кое-как книги. Надо скорее идти туда, что-то делать, как-то помешать этим зверствам, нас много...

Шум покрывает голос Анненского. Крупная внушительная фигура и властная речь.

— Стойте! Нельзя идти под пули! Не к чему увеличивать число бесполезных жертв! Кто хочет помочь рабочим, кто действительно хочет бороться с самодержавием — пусть приходит сегодня к восьми часам вечера на собрание в Вольно-экономическое общество. Там обсудим, что делать! Не ходите под пули!

Должно быть, немногие послушались этого совета, но адрес вечернего собрания запомнили.

В вестибюле спешно расхватывается одежда у оторопевшего швейцара, и тяжелые двери библиотеки выбрасывают на улицу людской поток — группы юных студентов и седовласых ученых, охваченных одним и тем же чувством. Завсегдаги читального зала растворились в уличной толпе.

Однако состав ее резко изменился с утра. Теперь это частью оттесненные с мостовой на тротуары уцелевшие участники процессии — рабочие Невской заставы, частью же привлеченные сюда властным чувством протеста и солидарности возмущенные и бесстрашные люди.

По мостовой проносятся ряды конных полицейских, казаки; раненых кладут на извозничьи сани, на дровни и увозят.

Но тут и там среди толпы на тротуарах вдруг мелькнет красный лоскуток и сразу скроется; и все чаще и чаще проносится гулом:

— Долой самодержавие! Доло-ой!

Пытаюсь пробраться к Дворцовой площади — удерживает плотная неподвижная людская стена. Стреляют вверх голов, со стен падают куски штукатурки. Прижима-

ясь к домам, возвращаюсь к Казанскому собору. На памятники Кутузову и Барклаю забрались любопытные мальчишки.

— Убьют, слезайте, чертенята! — кричат из толпы.

По опустевшей мостовой опять цепью проносятся казаки с шашками наголо; лошади на тротуарах. Толпа шарахается. На моих глазах падает женщина с рассеченным лицом...

— Долой самодержавие, долой, долой, долой! — несетя вслед умчавшимся казакам.

Трупы сносят в Казанский собор, кладут между колоннами и в храме. На снегу везде кровь. Кровь была на ступенях собора и на следующий день — несмытая, необрунная.

Темнеет, толпа редет. Фонари не горят. Где-то звон стекла. Какие-то люди разбирают газетные киоски. Улица мало-помалу пустеет, и, как бывало всегда, на поле сражения ищут поживы мародеры. Становится жутко.

Уже стемнело, когда я пришла домой. Зимний день в Петербурге короткий. Горит лампадка вместо лампы; тревожные вопросы матери, до которой от соседей дошли смутные слухи о стрельбе на Невском.

Стараясь быть спокойной, обедаю вместе с мамой и вновь собираюсь уходить.

— Куда ты на ночь глядя? Ведь в городе неспокойно!..

— Студенческое собрание; меня проводят товарищи; не беспокойся, если поздно вернусь.

Я опять на улице. Фонари не горят. Иду вдоль Литейной — никого. Изредка проезжает казачий патруль. В книжных магазинах на витринах поставлены керосиновые лампы — единственное освещение.

Пересекаю темный Невский — словно черный туннель по обе стороны. Горят звезды. Людей — ни души. На Владимирском спытаюсь обо что-то мягкое. На тротуарах, на снегу мостовой валяются шапки из разбитого шапочного магазина. Их никто не подобрал. Все глуше и темнее. Не похоже на Петербург.

Подхожу к знакомому зданию Вольно-экономического общества. Входная дверь открыта, но в окнах всюду полный мрак. Обхожу почти ощупью весь нижний коридор — тихо, темно, мертво. Поднимаюсь на второй этаж и начинаю в темноте тот же круговой путь.

И вдруг слабый свет из-под двери. Нажимаю — дверь чуть-чуть подается и снова захлопывается. Очевидно, напирают изнутри. Нажимаю изо всех сил и втискиваю в комнату.

Большой зал с хорами переполнен до отказа. Все стоят, тесно прижавшись друг к другу. В конце зала длинный стол и за ним несколько человек — те же, что были утром в Публичной библиотеке, и еще другие. Зал освещен двумя свечами, они горят в каком-то тусклом красном сиянии. Очень жарко и душно.

Горького здесь нет. Звучат обличительные речи. Теперь это связанное изложение, объяснение событий сегодняшнего дня. Разворачивается перед слушателями, в большинстве студенческой молодежи, вся длинная цепь преступлений самодержавной власти, бесправия народных масс, нищета деревни, тяжелое положение рабочих... И новые трагические подробности столкновения рабочих с войсками в разных концах года.

За этот день, за этот вечер я узнала то, о чем раньше не имела ни малейшего представления. Со мной рядом молодые взволнованные слушатели, горящие глаза на взмокших, распаренных страшной духотой лицах. Уже ночь...

Вот наконец и Горький. В руках у него бумага. Сначала он стоит на хорах и хочет что-то прочесть оттуда. Ему делают знаки спуститься — и он, уже за столом, про-

читывает только что составленное им воззвание к офицерству с призывом не давать команды стрелять в народ. Под этим воззванием должны подписаться все присутствующие. И вот оно уже ходит по рукам в какой-то папке, и химическим карандашом все ставят свои подписи.

Теперь уже Горький не тот, что утром. Он спокоен, деловит, но, видимо, очень утомлен. Он, должно быть, пришел сюда ненадолго — и опять исчез, так же как утром пришел в Публичную библиотеку один — и ушел один.

— Сегодня в России началась великая революция, и ничто уже остановить ее не в силах.

Кто именно за длинным столом произнес эти слова, громко, отчетливо и уверенно, я не знаю, но зал ответил восторженным одобрением: «Да! Да! Ура!» Нас быстро одернули: кричать нельзя, собрание конспиративное, нужно расходиться поодиночке, и теперь часто будут происходить подобные митинги.

...Домой я шла в четыре часа утра по безлюдным улицам в полном мраке, не испытывая страха.

Мне было тогда шестнадцать лет; и мне кажется, что в то время первым решающим толчком в выборе жизненной цели была для меня коротенькая жгучая речь Горького, произнесенная со стола читального зала Публичной библиотеки.

**И. КАХОВСКАЯ.**

## ЕЩЕ О „ДЕЛЕ“ М. ГОРЬКОГО В 1905 ГОДУ

«Проездом 317487616513047524841 губернию 7 выехал Москву 4987549398446408157 557091714546»... Что за странность, подумает, вероятно, читатель, по чьему-то недосмотру попали сюда, на страницу литературного журнала, эти странные цифры, образующие колоссальное число.

Это один из многочисленных документов подобного рода, собранных в полицейских делах об А. М. Горьком. Поток цифр скрывал от непосвященного взгляда простое телеграфное сообщение из одного жандармского управления в другое: «Проездом Таврическую губернию седьмого выехал Москву Максим Горький».

«Под надзором полиции», «секретное наблюдение», «подвергнут обыску», «привлечен к дознанию», «доставлен под кон-

воем», «сдан под расписку», «заключен в тюрьму» — то и дело пестрят в документах о Горьком эти характерные фразы из обычного полицейского жаргона. Можно подумать, что речь идет не о великом писателе, чье главное дело — создание литературно-художественных ценностей и чья жизнь протекает на виду у всех, а о каком-то искусном таинственнейшем заговорщике.

Даже в издававшейся истории русской литературы полицейское дело о Горьком — явление в своем роде выдающееся. И один из наиболее ярких эпизодов здесь — арест писателя в 1905 году в связи с событиями 9 января.

Основные черты этого пятого по счету ареста Горького в литературе известны, поэтому в своей статье я коснусь лишь

некоторых новых материалов, весьма существенно дополняющих наше знание этой страницы из биографии великого писателя.

Накануне 9 января Горький в составе депутации общественных деятелей, избранной на собрании петербургской интеллигенции, был у председателя Комитета Министров Витте и у товарища министра внутренних дел Рыздзевского («сам» министр Святополк-Мирский не принял депутацию). Целью депутации было предотвратить столкновение войск и полиции с рабочими, решившими идти с петицией к царю. В день 9 января Горький, потрясенный происшедшими кровавыми событиями в Петербурге, написал обращение ко «Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств», в котором рассказал о посещении министров депутацией и о зверском расстреле рабочих-демонстрантов у Нарвских ворот, на Васильевском острове, у Троицкого моста, на Петербургской стороне, на Невском проспекте.

Спустя два дня Горький, как и другие члены «депутации 8 января», был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.

До сих пор этот визит к министрам часто трактуется в литературе чуть ли не как революционная доблесть — это решительно лишено оснований. Как можно было догадываться, Горький и остальные члены депутации шли к министрам, так сказать, по-разному, с разными чувствами и выводы из переговоров сделали глубоко различные. Теперь, основываясь на новых материалах, мы можем утверждать это вполне документально.

До последнего времени (да и сейчас еще нередко) в литературе о Горьком первопричиной ареста писателя в январе 1905 года считалось и считается его авторство обращения ко «Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств». И это тоже не так, что опять же можно утверждать теперь документально.

Кроме А. М. Горького, в депутацию к министрам 8 января входили: либеральный адвокат, вскоре депутат Государственной думы Е. И. Кедрин, видный историк и публицист профессор Н. И. Кареев, известный русский историк-народник профессор В. И. Семевский, редактор газеты «Право», впоследствии деятель кадетской партии И. В. Гессен, известный литератор Н. Ф. Анненский, либеральный публицист и общественный деятель К. К. Арсеньев, публицист-народник А. В. Пешехонов, исто-

рик и публицист-народник В. А. Мякотин и другие. Всё известные в то время в стране лица. Спустя два дня все участники депутации (за исключением престарелого Арсеньева) были арестованы. Полицейские власти сразу же предъявили им обвинение в «государственном преступлении», утверждая, что эта депутация — якобы «революционный комитет», «составленный из представителей всех действующих в империи противоправительственных фракций», претендующий быть «временным правительством России». Отголоски этой версии мы находим во многих документах тех дней: в печати, в дневниках и письмах (часто неопубликованных) начиная, например, от записей президента Академии наук великого князя К. К. Романова и вплоть до дневников ряда писателей.

В. И. Ленин, находясь в те дни еще в эмиграции в Женеве, сразу по достоинству оценил слухи и толки в печати и в обществе, «в публике», как тогда говорили, об этом «революционном комитете» и «временном правительстве». Иронически отметил Ленин также сообщение корреспондента английской газеты «Дейли телеграф», наименовавшего собрание интеллигенции 8 января «якобинским клубом». Ленин назвал этот «якобинский клуб» собранием либералов, просивших царские власти не проливать крови. Предъявленное членам депутации к министрам обвинение в намерении организовать временное правительство Ленин называет «нелепейшим»: «это обвинение падает само собой».

Обращение Горького ко «Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств» обвиняло царские власти и самого царя в предумышленном избии рабочих 9 января, «бессмысленном убийстве множества русских граждан» и призывало к «немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием». Это обращение Горький написал днем 9 января, когда на улицах и площадях Петербурга еще лилась кровь расстреливаемых рабочих. Вечером, на собрании в Вольно-экономическом обществе, он передал рукопись одному из участников посещения министров для подписания документа всеми, кто участвовал в депутации.

В литературе о Горьком до сих пор нередко указывается, что члены депутации «не успели» подписать обращение, так как были арестованы в ночь на 11 января. Нет, они и не подписали бы этот горьковский до-

кумент, в котором говорилось о намерении рабочих «вызвать к себе государя», о цели депутации — потребовать от министров мер предотвращения столкновения с войсками, документ, обвинявший царя и министров в убийстве мирных людей, призывавший к решительной борьбе против самодержавия.

Горький признал на жандармском допросе свое авторство обращения, смело повторил слова о «призыве к борьбе с самодержавием», заявил, что написал воззвание под впечатлением ужаснувших его событий, имея намерение разослать его в редакции газет в надежде, что оно где-либо будет напечатано. «Я предполагал распространить эту записку, — заявил Горький, — лишь в том случае, если б эти лица (то есть входившие вместе с ним в депутацию к министрам. — *И. Н.*) одобрили ее содержание».

Е. Кедрин, у которого при аресте была найдена рукопись обращения, показал на допросе в жандармском управлении, что вечером 9 января, на сходке в Вольно-экономическом обществе, ему кто-то дал эту рукопись, сказав: «Посмотрите и исправьте». Кедрин счел первую часть возвания совершенно неудовлетворительной «с фактической точки зрения». Сделав несколько попыток исправить рукопись, будучи недоволен ими, он оставил ее, по его словам, даже не дочитав до конца, и вскоре забыл о ней. «Вся рукопись, — заявил Кедрин на допросе, — содержит изложение мыслей, впечатлений и убеждений автора, т. е. г. Горького, а вовсе не моих... почему же предполагается, что... я буду совсем солидарен с Горьким?.. Если г. Горький задавшись (целью? — *И. Н.*) составить протокол (посещения к министрам. — *И. Н.*), пишет воззвание, то отсюда еще не следует, что и Кедрин вместо объективного изложения фактов напишет прокламацию...» «...Я никогда не подписал бы документа, составленного в таких выражениях, как найденный у меня при обыске»<sup>1</sup>.

На втором допросе Кедрин снова заявил, что, когда он получил на собрании в Вольно-экономическом обществе рукопись обращения, он, дочитав до того места, где речь идет о событиях 9 января, прекратил чтение, так как считал, что документ должен быть лишь протоколом посещения министров 8 января и надо было отделить изложение

от самих событий 9 января. «Мне вовсе не было известно, — заявил Кедрин, — что рукопись оканчивается приглашением всех граждан к немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием».

В отличие от Е. Кедрина, считавшего, что рассказ автора обращения ко «Всемирным русским гражданам...» о посещении министров депутацией общественных деятелей изложен «совершенно неудовлетворительно», профессор Н. Кареев указал на допросе, что рассказ этот «в общем верен». «Но только, — заявил Кареев, — я не представлял себе, что наша миссия заключалась в том, чтобы «требовать», как сказано в документе. (У Горького: «отправились к министру внутренних дел с целью потребовать от него, чтобы он — во избежание кровавых событий — сделал распоряжение не выводить на улицу войска в день 9 января...» — *И. Н.*) ...Лично я понимал свою задачу (да и другие, полагаю) в том, чтобы просить, скажу даже умолять о предотвращении грозившего столкновения». «Я думаю, что составитель документа писал, однако, с чужих слов: в нем, например, сказано, что мы от товарища министра генерала Рыдзевского пошли к председателю Комитета Министров, на самом деле мы ездили попарно на санях». Указывая, что он был якобы случайным членом депутации, профессор Кареев далее заявил, что он не только никогда не подписал бы такого обращения, «но и не обещал кому-либо подписать что-либо подобное». «Я... — добавил профессор либерал — ...торжественно заявляю свой протест против недобросовестного включения меня да и других тоже членов упомянутой депутации в число «нижеподписавшихся» предъявленного мне документа»<sup>1</sup>. На втором допросе Кареев снова заявил: то, что говорилось депутацией «на беседе» у Витте, «отнюдь не имело характера угрозы; это было выражение опасения».

Нетрудно представить себе, какое тяжелое чувство испытал бы Горький, ходивший вместе с Кедриним и Кареевым к министрам и писавший свое обращение ко «Всемирным русским гражданам...» в надежде, что все депутаты подпишут его, если бы он был знаком с этими коварными заявлениями своих сотоварищей по депутации в жандармском управлении!

В сущности говоря, здесь разыгрался один из тех эпизодов буржуазно-либераль-

<sup>1</sup> Центральный Государственный исторический архив в Москве (ЦГИАМ), ф. ДП VII, 1905, д. 882, лл. 31—34.

<sup>1</sup> ЦГИАМ, ф. ДП VII, 1905, д. 882, лл. 25—26.



ного угодничества перед властями, о котором в те дни не раз негодуяще писал Ленин и которое Горький с такой силой художественно-сатирического изображения высмеял в своем антилиберальном памфлете времени революции 1905 года «Письмо в редакцию». В этом памфлете либерал — статский советник Антином Исходящий возражает против «преувеличений», допущенных редакцией газеты при описании полицейского обыска. Писатель обличает либерала, напуганного революционной бурей и пресмыкающегося перед «урядником».

Н. Ф. Анненский, И. В. Гессен, А. В. Пешехонов на допросе ограничились непризнанием себя виновными в составлении обращения<sup>1</sup>. В. А. Мякотин же вовсе отказался давать показания, как он заявил, зная, что дознание, «проводимое чинами жандармского корпуса, не имеет ничего общего с настоящим следствием»<sup>2</sup>.

В. И. Семевский («доктор русской истории», — так подписал он свои показания), как и остальные допрашиваемые, указав, что видит рукопись обращения впервые, заявил: «Это, очевидно, черновой набросок... За составление его... автор его не может подлежать никакой ответственности, иначе пришлось бы преследовать писателей за те страницы, которые цензура вырезает из их книг, или которые... вычеркивает в корректуре... В данном случае мы имеем дело лишь с неосуществленным предположением коллективного заявления». Рассказывая далее о депутации 8 января, Семевский сообщил: Вите заявил депутации, что «ничего не может сделать», «ехать с экстренным докладом к государю не считает себя вправе». По словам Семевского на допросе. Вите сказал также депутации, что «и во Франции президент республики, быть может, отказался бы выйти к столь многочисленному собранию рабочих».

Указывая, что считает для себя большой честью участие в депутации, Семевский особо говорит о Горьком как одном «из самых популярных наших беллетристов... удостоенных чести быть избранными в почетные академики... Горький, — добавляет Семевский, — известен не только в России, но и во всем Старом свете от Испании до Японии, да вероятно не менее и в Америке». Заканчивая свои показания, Семевский указывал: «При размышлении о грядущих со-

бытиях невольно приходит в голову, неужели в России не найдется государственного человека, который, считаясь... с благом русского народа и хотя бы рискуя своим... служебным положением, объяснил бы Государю всю серьезность переживаемого нами момента»<sup>1</sup>.

Эти не известные доселе примечательные подробности истории «депутации к министрам», в которую входил А. М. Горький, и истории его обращения ко «Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств» представляют немалый интерес, так же как и некоторые новые материалы, непосредственно касающиеся причин ареста Горького в 1905 году.

До сих пор в литературе о Горьком его арест 11 января часто связывается прежде всего с принадлежностью писателю обращения ко «Всем русским гражданам...». На самом же деле вопрос об обращении возник лишь после ареста, когда оно и было отобрано у Е. Кедрина. До того властям об этом обращении ничего не было известно.

Департамент полиции уже с конца 1904 года готовил нелепое дело о некоем «революционном комитете» «из представителей всех действующих в империи противоправительственных фракций», в который якобы входил и Горький. Об этом ясно свидетельствуют такие документы, как «совершенно доверительная» записка директора департамента полиции А. А. Лопухина начальникам охранных отделений «О революционном движении в России» (от 20 января 1905 года).

В справке же министерства юстиции по делу о «депутации к министрам» (от 26 января 1905 года) указывается: «По совершенно секретным сведениям, полученным в департаменте полиции, в начале минувшей осени в Париже состоялся конгресс революционных деятелей, на котором было... решено предпринять усиленную агитацию в России с целью возбуждения... политических волнений... Для руководства этим движением должен был быть сформирован особый «комитет»... По тем же негласным сведениям, упомянутый комитет действительно составил... в него вошли: Анненский, Пешков, Пешехонов, Мякотин и Кедрин»<sup>2</sup>. Этот «революционный комитет» называется в справке «Конвентом»... Всем арестованным

<sup>1</sup> ЦГИАМ, ф. ДП VII, 1905, д. 882, лл. 3, 22, 28.

<sup>2</sup> Там же, л. 28.

<sup>1</sup> ЦГИАМ, ф. ДП VII, 1905, д. 882, лл. 15—20.

<sup>2</sup> ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905, д. 1738, л. 5.

по делу о депутатии к министрам и был на следствии прежде всего задан вопрос о «комитете».

Горький, естественно, утверждал, что о «революционном комитете» ему ничего не известно. Так же заявили и остальные обвиняемые — Анненский, Кареев, Кедрин, Семевский, Пешехонов и другие. Уже приведенных у нас показаний некоторых из этих лиц на допросах в жандармском управлении и в Петропавловской крепости вполне достаточно, чтобы видеть, сколь нелепа версия, повествующая об этом «революционном комитете», «Конвенте» и т. п. Такой ко-

митет, состоявший, за исключением Горького, из одних буржуазных либералов, — это, конечно, была шитая белыми нитками полицейская выдумка. Однако это нелепейшее обвинение и служило царским властям поводом к аресту Горького и других. По-видимому, власти надеялись разыграть в связи с предполагавшимся судом над Горьким громкую провокационную историю. Но волна поднявшегося и все нараставшего в стране революционно-освободительного движения народа властно смела эти надежды.

И. НОВИЧ,

## ГОРЬКИЙ И ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

В ноябре 1904 года, будучи в Петербурге, Шолом-Алейхем посетил М. Горького в его квартире на Знаменской улице (ныне улица Восстания). Встреча произвела неизгладимое впечатление на Шолом-Алейхема. Он рассказал об этом в письме к своей семье, с любовью воспроизведя в нем облик своего собеседника.

Взаимный интерес писателей друг к другу возник задолго до их личного знакомства. А. Д. Гриневицкая, жена издателя «Нижегородского листка», в неопубликованных мемуарах «Восходящий Горький» сообщает: «Однажды он (Горький. — А. Р.) принес Гриневицкому для помещения в «Нижегородском листке» переводы рассказов с еврейского, сделанные высланным студентом Л. Куниным. Когда переводы появились на страницах «Листка», А. М. радовался им и тут же загорелся желанием издать их отдельным сборником.

— Я первый раз сталкиваюсь с еврейской литературой, — говорил он. — Прекрасные вещи. Проклятое правительство... черта оседлости — это такой несмыслаемый позор для нас, а еврейские погромы — жутко думать о них...

Из помещенных рассказов А. М. отмечал рассказы Переца и особенно Шолом-Алейхема<sup>1</sup>.

Горький прилагал немалые усилия, чтобы познакомить русское общество с народами России через книги их лучших писателей. Изданию произведений национальных литератур он придавал и поли-

тическое значение. В 1901 году, в июне, К. П. Пятницкий приехал в Нижний к Горькому, чтобы обсудить планы издательства «Знание». Вспоминая об этом, он пишет: «Первоначальный план был очень широк. Мы говорили о сериях русской, грузинской, армянской, татарской, польской, латышской, финской и еврейской»<sup>1</sup>.

В этом же году Горький приступил к изданию сборника еврейской литературы на русском языке. В октябре 1901 года он пишет В. А. Поссе: «Издаю сборник «Рассказы еврейских беллетристов»... Какие чудесные ребята есть среди писателей-евреев! Талантливые, черти!»

В числе привлеченных Горьким к участию в сборнике был и Шолом-Алейхем. В Архиве Горького при Институте мировой литературы сохранилось несколько еще не опубликованных писем Шолом-Алейхема, связанных с работой над этим сборником. Первое из них, от 12 ноября 1901 года, адресовано одному из участников сборника, О. Б. Гольдовскому:

«...Для Вашего сборника я имею новую серию очерков, под общим заглавием «Маленькие люди с маленькими вождениями», которые печатаются в газете «Der Jude» с 1 декабря с. г. Этими именно рассказами я хотел бы дебютировать перед новой русской публикой и через их посредство я бы хотел завязать знакомство с Максимом Горьким.

...Впрочем, я постараюсь на днях сам перевести пару очерков и пошлю Вам для

<sup>1</sup> Предисловие К. П. Пятницкого к каталогу книг, выпущенных «Знанием», ЦГАЛИ, ф. 612, оп. 2, ед. хр. 22.

<sup>1</sup> Архив А. М. Горького при ИМЛИ.

Максима Горького, т. е. для Сборника. С чувством понятного смущения я выступаю с ними перед такой художественной силой, как М. Горький, и поэтому я еще раз должен оговориться, что вещицы эти не исчерпывают моего литературного ампула.

...Не имея права на «постоянное» жительство в святом граде Киеве, ни постоянных определенных занятий и будучи обременен к тому еще многочисленной семьей, не знаешь, о чем раньше подумать: о праве ли на жительство или о новом произведении, которое просится на бумагу?..

На прощание прошу передать мой глубочайший привет высокодаровитому моему брату славянину, произведения которого я теперь сызнова прочитываю и поражаюсь их мощности и необыкновенной талантливости<sup>1</sup>.

Днем позже (13 ноября) О. Гольдовский сообщает из Москвы Горькому: «...Известный жаргонный<sup>2</sup> беллетрист Шолом-Алейхем (Соломон Наумович Рабинович — Киев, Б. Васильковская, 5), посвятивший Вам один из последних своих рассказов, очень желает с Вами познакомиться. Не напишете ли ему свой адрес; он уже давно просит об этом. Из его рассказов некоторые очень подходящи для сборника, и притом он лучший знаток жаргонной литературы и лучший переводчик. Если Вы ему напишете, мы приобретем в нем лучшего сотрудника»<sup>3</sup>.

Стремясь привлечь Шолом-Алейхема к участию в сборнике, А. М. Горький обратился к нему с письмом, опубликованным в 28-м томе собрания сочинений Горького. Из ответного письма еврейского писателя видно, как дорого было для него приглашение Алексея Максимовича:

«...Я считаю для себя великой честью переписываться с властителем дум нашего времени, к которому, признаться, давно стремилась душа моя», — пишет Шолом-Алейхем 31 декабря 1901 года М. Горькому<sup>4</sup>.

Шолом-Алейхем становится активным помощником Алексея Максимовича. Он не только отбирает материалы, но и пе-

реводит их на русский язык, редактирует и представляет Горькому. «С еврейским сборником — движется, — сообщал Горький Пятницкому в январе 1902 года. — Получил письмо от Рабиновича — звезды современной литературы на жаргоне, он берется редактировать сборник... 12 листов избранных рассказов — есть уже».

Среди бумаг Горького хранится план художественного отдела задуманного издания, составленный Шолом-Алейхемом. Помимо своих рассказов («Будь я Ротшильдом», «Ханука-гельд», «Город Касриловка» и др.), Шолом-Алейхем включил в план сборника ряд произведений классика еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорима («Путешествие Вениамина Третьего», «Фишка-Хромой», «Волшебное кольцо»), рассказы Л. Переца, М. Спектора и других.

Сборник был близок к завершению. Рассказы, намеченные для него, Горький просмотрел и одобрил. Л. М. Кунин, близко знавший в ту пору Горького, вспоминает: «Особенно восторженно отозвался он о рассказе Шолом-Алейхема «Ханука-гельд», изумительный юмор которого был оценен им в должной мере. Чрезвычайно понравились ему также рассказы Л. Переца, Спектора и др.».

К сожалению, попытка издать сборник не увенчалась успехом: в мае 1902 года Горький был выслан в Арзамас, попали в ссылку в связи со студенческими волнениями молодые участники сборника<sup>1</sup>.

Но важно отметить, что Горький стремился популяризировать творчество Шолом-Алейхема среди русских читателей.

Имена Горького, Толстого, Чехова, Короленко олицетворяли для Шолом-Алейхема живительные силы русской литературы, влияние которой он несомненно испытывал. Как отмечал А. Фадеев в своем выступлении, посвященном 80-летию со дня рождения писателя, Шолом-Алейхем развивал не только традицию еврейских классиков (Менделе Мойхер-Сфорима, Линецкого, Гольдфадена), но и великую традицию русской литературы и «всегда призывал учиться у Толстого, Чехова, Горь-

<sup>1</sup> Архив А. М. Горького при ИМЛИ.

<sup>2</sup> В отличие от древнееврейского языка современный еврейский («идиш») в разговорной речи часто именовался жаргоном.

<sup>3</sup> Архив А. М. Горького при ИМЛИ.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>1</sup> Р. Рубина в предисловии к книге Шолом-Алейхема «С ярмарки. Рассказы» (М. 1957) ошибочно утверждает: «Шолом-Алейхем взялся энергично за составление этого сборника, но разразившийся в 1903 году кишиневский погром... помешал осуществлению этого плана».

кого правде и простоте». Характерны в этом отношении следующие факты.

В 1914 году в одной из варшавских гостиниц Шолом-Алейхем встретился с писателем Динезоном. Речь зашла о произведениях последнего. Существенным недостатком его рассказов Шолом-Алейхем считал их общий мрачный тон и слезливость («...улыбка никогда не озаряет ваши произведения; вы плачете, плачете, плачете так, что сердце чуть ли не разрывается»). «Учитесь у Максима Горького,— советовал он Динезону.— Горький пишет горькую правду, но, когда читаете его произведения, слезы не льются,— наоборот, становится светло на душе»<sup>1</sup>.

В 1910 году московское издательство «Современные проблемы» приступило к изданию восьмитомного собрания сочинений Шолом-Алейхема в русском переводе Ю. Пинуса. В отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинского дома) сохранилось 138 писем творца «Тевье-Молочника» к Ю. Пинусу, которые содержат многочисленные авторские замечания, положенные в основу работы переводчика. В одном из писем Шолом-Алейхем советует Пинусу, чтобы он в своих рассказах о скучном, безотрадном быте еврейского местечка следовал примеру повести Горького «Городок Окуров», ее стилю.

По мере того как «Современные проблемы» выпускали отдельные тома его сочинений, Шолом-Алейхем посылал их с дарственными надписями Горькому на Капри. По поводу первого тома, в котором были напечатаны «Записки одного мальчика» (ныне эта повесть известна под названием «Мальчик Мотл»), «Флаг», «Ножик», «На скрипке», Горький писал Шолом-Алейхему: «Искренне уважаемый собрат! Книгу Вашу получил, прочитал, смеялся и плакал — чудесная книга! Вся она искрится такой славной, добротной и мудрой любовью к народу, а это чувство так редко в наши дни».

Проникнутое сердечностью и искренним участием, письмо Горького окрылило Шолом-Алейхема, придало ему силы и мужества. В Архиве А. М. Горького сохранилось неопубликованное ответное письмо еврейского писателя. Тяжело больной, Шолом-Алейхем диктует своей дочери ответ Алексею Максимовичу, в ко-

тором благодарит его «за короткое, но выразительное и прочувствованное письмо», подействовавшее на него «лучше всяких велемудрых профессоров и хитропридуманных лекарств»<sup>1</sup>.

В 1911 году в Петербурге стал издаваться новый журнал «Современник». Горький, входивший одно время в редакцию журнала, задумал в нем «областной отдел» для ознакомления русского читателя с культурой народов России. По инициативе Горького журнал помещает статьи по польскому, армянскому, еврейскому вопросам, переводы из разных национальных литератур. Знаменательно, что в 1912 году, когда Горький редактировал художественный и критический отделы «Современника», журнал из номера в номер публиковал роман Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды» в переводе А. Нежданова.

Журнал, в котором участвовал Горький, был желанной трибуной для Шолом-Алейхема. Это подтверждается неопубликованным письмом Шолом-Алейхема к Ю. Пинусу, написанным в октябре 1910 года:

«...Ко мне обратился видный русский литератор с предложением принять участие в имеющем выходить в Петербурге толстом журнале «Современник»... Из числа сотрудников мне назвали Максима Горького и др. И вот что мне пишут далее: «Мне и моим товарищам было бы в высшей степени приятно, если бы Вы приняли участие в нашем журнале». Я ответил согласием...»<sup>2</sup>.

В 1911—1912 годах переписка Горького и Шолом-Алейхема стала более интенсивной, контакт между писателями — теснее. В письмах Горького каприйского периода имя Шолом-Алейхема упоминается не раз и с неизменной симпатией. Добрую память о Шолом-Алейхеме Горький сохранил до конца своих дней. На Первом съезде Союза советских писателей рядом с именами Г. Ибсена, Эйно-Лейно, Я. Райниса он отметил и Шолом-Алейхема — «исключительно талантливого сатирика и юмориста».

Творчество Шолом-Алейхема высоко ценили и такие крупнейшие советские писатели, как А. Толстой, А. Фадеев. Среди

<sup>1</sup> В. Рабинович. Мой брат Шолом-Алейхем. Воспоминания. Киев, 1939. (На евр. яз.).

<sup>1</sup> Архив А. М. Горького при ИМЛИ.

<sup>2</sup> Отдел рукописей ИРЛИ (Пушкинского дома) АН СССР, ф. РШ, оп. № 1, ед. хр. 2420,

бумаг А. Толстого сохранился неизданный текст его предполагаемого выступления на вечере, посвященном 80-летию со дня рождения Шолом-Алейхема.

«...Мудрый, добрый, иронически-горький писатель любил свой народ за его страдания, за его верность, за его горькую нищету, за его вечный юмор, за его утонченную человечность,— писал Алексей Толстой.— Вот где лежат глубокие истоки высокого гуманизма Шолом-Алейхема, вот что поднимает его в ряды великих писателей. Он отдавал своему народу свой юмор, чтобы этим тонким и умным оружием, которое нельзя ни отнять, ни уничтожить, народ боролся в нечеловеческих условиях за право быть и чувствовать себя человеком.

В этом также была его огромная революционная заслуга. Он писал для народа, угнетаемого и царской властью и своей

же еврейской буржуазией. И угнетаемые массы еврейского народа понимали и ценили и ответили ему за его любовь огромной любовью. Они понимали, что... классовая борьба, революция даст им свободу и бичующий и любовный юмор Шолом-Алейхема, как огонек, озарял темные и глухие жилища угнетенного народа»<sup>1</sup>.

Отношение Горького и других советских писателей к Шолом-Алейхему — интересная страница в истории межнациональных литературных связей нашей страны. Особенно уместно вспомнить об этом сейчас, когда отмечается столетие со дня рождения классика еврейской литературы.

**А. РУБИНШТЕЙН.**

<sup>1</sup> Отдел рукописей при ИМЛИ. Фонд А. Толстого.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Е. Добин.** Кодекс героя.— **М. Иофьев.** Писатель в пути.— **Т. Трифонова.** Талант и мастерство.— **В. Швейцер.** Ребячьи будни.— **Б. Гольдберг.** Васюковы и Рыжкин.— **Анна Илупина.** Дыхание революции.— **А. Старцев.** Радищев и его гарвардский комментатор.— **Скина Бафа.** Поэт испанской земли.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**М. Дмитриева.** Славные большевички.— **Н. Мар.** Биография одного завода.— Кандидат исторических наук **Ю. Шарапов.** О времени и о себе.— Доктор исторических наук профессор **В. Мавродин.** У истоков отечественной науки.— Член-корреспондент ВАСХНИЛ **Н. Щербиновский.** Книга о муравьях.— **Е. Шведов.** Западный Берлин — оплот реакции.— **А. Мельников.** США без прикрас.— **Ю. Арбатов.** Буржуазная «элита» и ее апологеты.

## Литература и искусство

### Кодекс героя

**М**олодой, только что окончивший врач Володя Устименко послан работать в Азию, в некую сопредельную с СССР страну. Там он лицом к лицу встречается с «черной смертью».

Черная смерть, тарабаганья болезнь — так называют легочную чуму. Нет, кажется, более ужасного слова в медицинском лексиконе. Еще существует в некоторых странах статут, по которому район, где появились симптомы этого молниеносно заразного заболевания, немедленно и наглухо окружается войсками. Пулеметы неумолимо косят всех пытающихся вырваться из оцепления. Все в этом кругу обречены на смерть.

И Володя Устименко собственными глазами видит, как за находящейся рядом границей некие императорские войска (дело происходит накануне Отечественной вой-

ны) выжигают огнеметами поселок, где появилась чума. В упор расстреливаются бегущие оттуда люди.

«Разумеется, эта картина производит тягостное впечатление», — с лицемерным вздохом говорит элегантный врач из императорской армии. «Но что поделаешь, если смертность при легочной форме чумы достигает ста процентов? Разумеется, самое рациональное и гуманное (!!!) — выжигать пораженные эпидемией местности».

Но советские врачи самоотверженно (быть может, это слово недостаточно выразительно для данной ситуации) лечат больных чумой. И, ожидая каждый миг появления у себя симптомов страшной болезни, они спасают сотни людей от неминуемой гибели.

Страницы эти читаются с огромным волнением. Но читатель, возможно, спросит: обязательна ли такая экзотика? Обязательно ли обращение к ультраредкому явлению, чтобы провскрыть характер героя?

**Юрий Герман.** Дело, которому ты служишь. Роман. Редактор Вс. Воеводин. 412 стр. «Советский писатель». Л. 1958.

Ответим сразу же, что необычайные события в последних главах романа Юрия Германа лишь оттеняют атмосферу повседневности, господствующую в остальных частях повествования. Больше того, главная тема романа именно в повседневности получает свой смысл, именно в ней и коренится.

Новый роман Ю. Германа, кажется, самое проблемное из его произведений. Стоящая в центре романа проблема касается миллионов юношей и девушек нашей страны. «Дело, которому ты служишь» остро ставит вопросы, которые (в связи с назревшей необходимостью перестройки школы—средней и высшей) занимают сейчас умы и сердца отцов и детей, руководителей партии и самые широкие массы.

О жизненном пути советской молодежи написано много произведений. «Дело, которому ты служишь» — роман о выборе жизненного пути. Не о том, как он сложился, а как он был отыскан и найден...

Не нужно только думать, что тема романа ограничена узкопрактической, профессиональной, что ли, плоскостью. В романе все время идет речь о профессии, о пафосе профессии, и все время читатель настойчиво выводится за пределы этих рамок. Главное в образе Володи Устименко — поиски путеводной звезды, идейного самоутверждения, направляющих заповедей, цельного морального кодекса.

— Как? — воскликнет с недоумением читатель. — Путеводная звезда, моральный кодекс, идеи, заповеди... Ведь это дано в учении марксизма-ленинизма, в великой практике Коммунистической партии! Что же Володя Устименко должен искать?

— Совершенно верно. В сокровищнице идей и дел коммунизма все это дано. И тем не менее искать нужно! — говорит художник образом Володи Устименко — своего героя. В этой мысли — пафос романа, его нерв, его стержень. С изумительными ценностями коммунистического мировоззрения недостаточно познакомиться, недостаточно узнать их и заучить. Нужно их сделать своими, родными, глубоко личными. Нужно их по-своему открыть, увлечься и проникнуться этими открытиями, гореть ими и горение это внести во все, что ты делаешь.

Этой чертой герой романа Ю. Германа становится нам по-особому дорог и близок. Все, что связано с этой темой, написано в романе с подъемом и волнением, передающим и читателю.

Когда-то Брандес писал про одно из характернейших произведений реализма XIX века: «Поэт выводит на сцену молодого человека, похожего на большинство молодых людей, и показывает... как мелко и жалко протекает его жизнь, как разочарования градом сыплются на него, не большие и редкие разочарования — он, вообще, ничего великого или редкого не переживает, — нет, все это мелкие разочарования, доставляемые жизнью». Это написано о «Сентиментальном воспитании». Мелочная и жалкая жизнь, мелкие разочарования... В русском реализме существовала иная линия молодого героя, иная тема — недовольство действительностью, желание изменить ее. Герои Флобера терпят свою судьбу. Герои Чернышевского ломают ее. У Флобера: что происходит? У Чернышевского: что делать?

Этот вопрос — что делать? — поминутно ставит себе и герой романа Ю. Германа. Все, кажется, решено, и все нужно решать вновь и вновь. Все как будто ясно. Но сколько мучительно неясного! И все время нужно пробиваться, завоевывать, вновь отыскивать найденную дорогу.

В Володе Устименко есть что-то от рахметовского склада характера: суровость, юный ригоризм, пытливость, упорство. Судьба Володи не складывается, не образуется, не протекает. Судьба формируется поставленной им самим целью. Для человека такого склада немисливо отступить, отказаться от выбранной цели, от выработанного жизненного кодекса.

Как же сложился этот характер?

Юность Володи падает на тридцатые годы. Любопытно, что в эти годы Ю. Германом была написана пьеса, сюжет которой поразительно напоминает «Дело, которому ты служишь». Пьеса называлась «Сын народа».

Это очень характерно для Ю. Германа. Он любит «кружиться» над раз избранными темами, возвращаться к ним, углубляться, разворачивать старые сюжеты. Так, сценарий «Белое море» вырос в обширный роман «Россия молодая». Нечто подобное произошло и с сюжетом «Сына народа».

Герой пьесы Калюжный — молодой одаренный врач. Подобно Устименко, его оставляют при кафедре. Так же, как последний, он упрямо отказывается от лестного предложения и едет на периферию.

Была в пьесе девушка, любимая Калюжным, с которой он резко рвал перед самым

отъездом: она не отваживалась разделить с ним тяготы жизни в глухом углу страны. Фигурировал в пьесе старый профессор, любимцем которого был герой. Доктор Калюжный совершил научный подвиг: он возвратил зрение безнадежно больной, обреченной на слепоту.

Сходные персонажи и коллизии мы встречаем в романе «Дело, которому ты служишь». Но пьеса — лишь черновой набросок, схематичный эскиз романа. Ситуации, по сути дела, очень драматичные, были странным образом неподвижны и как-то оголены.

В пьесе были колоритные жанровые фигуры, написанные с живым, искрящимся юмором: обленившийся и наглый лекпом, сонная санитарка, малолетний «брат милосердия» Тимофейч. Но образы девушки, с которой рвал Калюжный, профессора и самого Калюжного были прочерчены сухим пунктиром. Главному герою была дана заявка на твердый, неуклонно стремящийся к цели характер, на безжалостность к себе, а характера не было.

Однако самый облик героя, хоть и незрелого, не обретшего полной жизни, был дорог Ю. Герману. И он вернулся к нему. По прошествии многих лет в образе Володи Устименко он пристально и любовно проследил путь становления героя, этапы складывания характера человека, не ищущего легких путей, страстно одержимого любовью к своему труду.

По «Нашим знакомым», по «Лапшину» мы уже знаем, как любит Ю. Герман «залезать» в быт, как зорко подмечает его глаз подробности текущей жизни, черты людей, стоящих рядом с нами, попадающих на каждом шагу. В «Деле, которому ты служишь» быт дан такими же густыми красками, такими же плотными мазками, как и в «Наших знакомых». Достаточно напомнить красочную фигуру Алевтины Андреевны, в дореволюционные годы служившей горничной у богатого адвоката Гоголева. Теперь она уже не Алевтина, а Валентина Андреевна (так интеллигентнее!), приобрела лоск, мечтает быть «ведущей портнихой» в городе и ведет изысканные разговоры: «Шарм в мужчине — это все. Я сейчас читаю Достоевского. Князь Мышкин ведь идиот, а какой шарм...»

Бытовые краски у Германа не имеют ничего общего с вялым, рыхлым, водянистым «бытовизмом». Они выпуклы, резки, подчас злы. Злыми красками обрисовано все окру-

жение Валентины Андреевны — матери Вари, девушки, играющей огромную роль в жизни Володи. Люси Михайловна, ведущая самозабвенную борьбу с преждевременным увяданием «путем поколачивания складок, морщин и дряблостей на коже». Наглый Макавеевко, работник торговой сети, где, по его словам, «царствует закон джунглей». Любовник Валентины Андреевны Додик «с прямой, английской трубкой в зубах, с ямочкой на подбородке, до того чистоплотный и порядочный, что могло прийти в голову, будто он международный вор». Все они очерчены острым, беспощадным штрихом, так же как и бездарный хирург, но умелый и дошлый карьерист Жовтяк, который, знакомясь, называет себя «профессор Жовтяк», чтобы никто, не дай бог, не забыл его звания.

Плотью от плоти этой среды является и сын Валентины Андреевны, сверстник Володи, Евгений, о котором мы подробнее будем говорить дальше.

Так вот в «Наших знакомых» героиня романа, Тоня Старосельская, мучительно барахталась в тине застоявшегося быта городского уголка нэповских времен. Она опустилась и привыкла к нему. И только помощь со стороны помогла ей вырваться из болота будней и стать настоящим человеком. В «Деле, которому ты служишь» Ю. Герман показывает, как в советской повседневности, в обыкновенных обстоятельствах вырастают характеры крепчайшего закала, мужественной верности делу, идее, Родине.

Героика и повседневность, пожалуй, узловая тема творчества Ю. Германа. С различных концов и сторон подходил он к этой теме. «Наши знакомые» повернуты буднями, почти целиком погружены в быт. «Семеро смелых» — героика: Арктика, опасности, приключения. «Дело, которому ты служишь» — героика, с необходимостью вырастающая из обыденной советской жизни. Не случайно она заканчивается героическими картинами борьбы врачей со смертоносной эпидемией. Объект, материал эпизода мог бы быть совсем иным. Но героика обязательно вытекает из характера центрального персонажа, из пути, которым он шел.

Характер не образуется в изоляции от обстоятельств, от воздуха, которым дышит герой, от наследия отцов. Последнее играет важнейшую роль в идейном формировании Володи. «Принять эстафету» — красной



нитью проходит сквозь роман этот завет. Передача идеала, следование образцу, стремление идти по следам лучших из лучших — собственно говоря, этот комплекс и определяет «воспитание чувств» героя.

Эстафета, которую подхватывает Володя, никак не исчерпывается профессией. Володя становится хирургом по склонности, по призванию. Склонность и призвание (а следовательно, и профессия) могли бы быть иными. Эстафета — мужества, идейности, долга — осталась бы той же самой. Судьба отца Володи, летчика, погибшего в Испании в борьбе за республику, — важнейшее звено этой эстафеты.

Образ отца Володи в романе — фигура эпизодическая и, прямо скажем, не удавшаяся автору. Некоторые черточки даже раздражают («сынуха», «на подъем наш род поднимается» и т. п.). Но сцена, где Володя узнает о смерти отца, оставляет сильное впечатление. Володя дает себе клятву быть похожим на отца. И отблеск прошедшей «за кадром» героической гибели летчика Афанасия Петровича Устименко, отблеск самоотверженного служения революции ляжет на всем пути комсомольца Володи, формируя душу, воспитывая совесть.

С этого момента у Володи все более и более крепнет дух воинствующей непримиримости, нетерпимости не только к явным карьеристам вроде Езягия, но и к слабодушным, к людям-иждивенцам, которые ценят только личное благополучие.

«Теперь Володя больше не трунил над ленивыми разгильдяями-студентами, не поддразнивал модницу Светлану, не отмахивался от мелких подлостей Евгения. Ему и в голову не приходило жалеть заваливающихся у экзаменаторов студентов, на какие бы причины ни ссылались эти бедолаги.

— Гнать в шею! — говорил он на комсомольских собраниях института. — Гнать, чтобы не позорили звание врача, которое им предстоит получить... Именно из них, из тех, которых мы так старательно тянем, и образуются потом целые дружины нежелающих ехать в деревню. Это они пробиваются... с записками, со справками о нездоровье; это они просиживают штаны в... научных заведениях, только чтобы не делать дело...

Он стоял на трибуне в актовом зале института — худой, с мальчишескими еще вихрами на висках, с горящими зрачками, гневно и остро блещущими из-под бровей».

Калюжного из пьесы «Сын народа» оставляли при кафедре для научной работы. Он отказывался и уезжал в Грецишки. Почему? Какие мотивы двигали Калюжным? Мы этого не знали. С Володей Устименко происходит то же самое. Но нам понятна его угрюмая настойчивость: ему хочется быть чем-то похожим на доблестно погибшего отца. С восторгом и упоением читает он Варе ответы Маркса на вопросы дочерей: «Ваша отличительная черта? — Единство цели. — Ваше представление о счастье? — Борьба».

Верность революционным традициям, революционному долгу в деле, которое избрал себе профессией Володя, выступает (может быть, сильнее, чем где бы то ни было) как самоотверженное служение человеку, безоглядное, бескомпромиссное стремление к истине. И здесь у Володи есть свои имена-светочи, имена-образцы. Это Пирогов, Боткин, Спасокукоцкий, Заболотный и другие светила русской науки.

В романе Ю. Германа нет трафаретного описания студенческой жизни с неизбежными вечеринками, сдачей зачетов, лыжными вылазками и культпоходами в музей. Зато не без удивления отмечаешь, что пространно изложенные профессорские лекции об Иноземцеве, Захарьине, диагностическом гении Боткина принадлежат к самым интересным, даже захватывающим страницам романа. Вновь подтвердилась просящая истина: читатель верит до конца увлечению героя, когда художник способен этим делом увлечь самого читателя.

Горячие, подчас вдохновенные речи профессоров Ганичева и Полунина — то живое звено, которое соединяет юнцов студентов со святыми традициями Пироговых и Спасокукоцких.

Не только заучивать, но и размышлять! Таков смысл этих лекций. Медицина не сумма незыблемых догм. На тернистом пути исканий триумфальные достижения переплетались и с заблуждениями, и aberrациями, и ошибками. Но только в исканиях рождались открытия. А самодовольство и вера в собственную непогрешимость ослепляли даже талантливых людей.

На одном курсе с Володей учится сын Валентины Андреевны, Евгений. Это чистенький благополучный юнец, изображенный Ю. Германом безжалостно и точно. Ю. Герману так же ненавистна эта категория людей, как дороги ему люди типа Володи, Лапшина, Левина («Подполковник медицинской службы»). Еще не сев на сту-

депческую скамью, Евгений уже решает, что будет не лечащим врачом, а врачом-администратором. Меньше забот и риска, больше шансов сделать карьеру. Он и женится предусмотрительно на дочери декана, Ираиде, обвешанной цепочками, медальонами и брелоками.

Евгений высказывает и справедливые мысли. «Но от Женькиных поучений у Володи было такое чувство, будто он объелся тянучек. Конечно, Евгений был прав, но как-то не так, как-то вбок и как-то бесстыдно прав». Потому что эти «правильные» слова идут не от души, а от стремления приспособиться, подладиться, внешне походить на «своего», хорошего советского человека. «Цепочек бы надо поменьше,— замечает Евгений Ираиде,— зачем обращать на себя внимание, мы же простые ребята, советское студенчество...» В этой мимикрии весь Евгений. И даже взгляд себе Евгений выработал «открытый, прямой».

Речи Полунина и Ганичева Евгению, конечно, не по душе. Наука ему совершенно не нужна: ему бы зачеты как-нибудь спихнуть. И Евгений пытается пустить против профессоров в ход спасительные и неотразимые, на его взгляд, формулы: «Ганичев, Полунин... не наши это люди, вот что! Не наши! Такова моя точка зрения!.. А вообще, душок какой-то исходит от рассуждений вашего Гслунина, эдакое что-то...» — исочает яд Евгений.

Может показаться, что Ю. Герман рисует путь становления Устименко прямолинейным и простым. Но как все на самом деле не просто! Призыв талантливых профессоров к исканиям, к сомнению в шаблонах, к пониманию несовершенства медицины в какой-то момент нарушает равновесие юной и неокрепшей мысли Володи. Появляется опасный крен в скептицизм, бесплодный и иссушающий душу.

«Вы еще полужизняки, и не вам, чертям полосатым, глумиться над веками трагических исканий истины. Мы с профессором Полуниным будоражим вашу мысль, а не призываем вас к насмешечкам по поводу современного состояния науки», — обрушивается Ганичев на «отвратительную и постыдную» болезнь нигилизма. Володя быстро излечивается от этой болезни. Спасительную роль тут играет его друг коммунист Пыч, а еще больше — дело, практика, работа. Тут мы переходим еще к одной линии эстафеты,

Имена таких гениев, как Пирогов и Боткин,— вехи в истории медицины. Но, как и любая другая отрасль человеческой деятельности, медицина двигалась не только гениями. Она развивалась и усилиями многих тысяч безвестных тружеников.

На пути ученичества Володя сталкивается с рядом таких тружеников медицины. Тут и с любовью обрисованный Микешин, скромный лекарь скорой помощи, с которым Володя ездит в качестве санитаря; Богословский, врач необыкновенно широкого размаха; старый большевик и замечательный хирург Постников, чем-то похожий на Левина из «Подполковника медицинской службы».

Страницы, где Володя помогает Микешину вытаскивать людей из объятий смерти, где Полунин виртуозно выслушивает больных, где Володя делает первую операцию под наблюдением Богословского, захватывают читателя своей страстностью и душевным подъемом.

Драматизм здесь не усилен тем, что искусные операции делает человек, обреченный на скорую смерть, отдающий на спасение людей свои последние силы, как это было в «Подполковнике медицинской службы». Здесь поэзия, величие, красота самого обыденного труда, если только к этому труду относятся не как к отбыванию службы, а со всем вдохновением, страстностью и железной верностью делу.

Идейная непримиримость, железная верность делу, моральному кодексу... Как легко сформулировать эти задания для героя! И как трудно воплотить их с непрекращаемой художественной убедительностью и полнотой, чтобы читатель верил их естественности, чтобы они органически вытекали из всего склада характера. В отличие от давней пьесы, в романе это Ю. Герману удалось. В его Володю веришь.

Некоторым может показаться, что Володя принадлежит к категории так называемых «идеальных героев». Но спор со сторонниками теории «идеального героя» шел вовсе не о положительных качествах героя нашего искусства и не о том, должен ли наш положительный герой быть идеалом, образцом для советского читателя и зрителя. Павел Корчагин, Чапаев, Максим, молодоговардейцы стали немеркнущим воплощением идеала коммуниста-борца для миллионов людей. Спор шел о том, можно ли создать такого героя по уставным параграфам. Не ведет ли этот рецепт неизбежно к

идеально-безукоризненной, но столь же безжизненной схеме? Доктор Калюжный, несомненно, был «идеальным героем». Но пьеса (и фильм, поставленный по пьесе «Доктор Калюжный») быстро — и не случайно — оказались забытыми, хотя симпатичный доктор на сцене (и на экране) воочию совершал чудеса.

Разумеется, Ю. Герман вовсе не следовал рецептам тогда еще не существовавшей теории. Но ведь сама теория возникла на основании некой практики — практики поспешной выпечки созданных по абстрактным рецептам героев. Замысел «Сына народа», если его рассматривать как первичную схему (а на начальном этапе творчества схема неизбежна и необходима), был вовсе не ложен и не искусствен. Схема соответствовала несомненной жизненной правде. Но беда была в том, что герой не обрел еще жизненной полнокровности, не вобрал в себя богатства наблюдений над жизнью, художественно не созрел.

Теория «идеального героя» ориентируется прямо на результат. Она игнорирует сложность конкретного и в особенности сложность роста и развития человека. В «Сыне народа» приходила к Калюжному перед самым отъездом Лена и заявляла, что не уедет с ним. «Я не хочу быть врачом в амбулатории, в заштатном городке, в паршивой запущенной больнице. Не надо мне ни деятельности этой, ни тоски этой, ни удовлетворения этого, ничего!» Отвратительные слова! Отвратительная девица! Калюжному остается только коротко и сухо порвать с Леной. В сцене все просто и наглядно. Но ведь такие слова не могли выскочить совершенно неожиданно. И читатель оставался в недоумении: как мог Калюжный — по рекомендации автора, юноша очень умный — так-таки ничего не заметить в Лене раньше?

А у Володи Устименко с Варей все не просто. «Варвара понимала решительно все, хоть и не занималась медициной. Удивительно она умела слушать и улавливать все самое главное для него, то, чем он жил, что мешало ему спать, что радовало его и печалило. Не зная Полунина и Ганичева, она считала их великими людьми... А в своем техникуме постоянно делалась сведениями об успехах вообще медицины и, в частности, оперативной хирургии». Высокой целью, одержимостью, страстной требовательностью к себе, одаренностью Володя ведет Варю за собой. Но есть ми-

нуты, когда Володя должен выслушать жесткие Варины упреки, и ему нечем оправдаться.

Жизненный опыт Володи еще мал, и характер его еще не отстоялся. В нем огромный заряд кипучей, здоровой злости против приспособленчества Евгения, пошлости Валентины Андреевны, бездарности профессора Жовтяка и ловкости, с какой он устраивает свои делишки. Но напряженная одержимость целью спаяна еще с юношеским эгоцентризмом. Как ни странно, Володя с его человеколюбивым идеалом врача-гуманиста может быть нечуток, невнимателен к самым близким. Варя, с ее тонко угадывающим сердцем, говорит Володе горькую истину: «Там, в институте, ты, наверное, все не эгоист, но тут — это даже страшно». Погруженный в свои интересы, Володя не заметил, например, как тетка Аглая волновалась перед выступлением на конференции педагогов, как ей, одинокой, хотелось поделиться с единственно близким ей человеком, Володей.

А Варя заметила. И хотя подавленный Володя кается, что он «скотина», и обещает быть чутким, Варя договаривает до конца: «Конечно, все твое интереснее и важнее. А вот тебе все, что происходит со мной, совершенно неважно и совсем неинтересно». И какая-то глубокая душевная правда на стороне Вари.

Но ведь увлечение Вари театральной учебой у напыщенной халтурщицы Эсфирь-Евдокии Мещеряковой-Прусской действительно заслуживает насмешек. Володя сурово судит увлечение Вари, за которым ему чудятся пошлые мечтания о каких-то особых «красивых», «изящных» профессиях, выделяющих человека из окружающей среды. Варя никогда этого не говорит, но у Володи острый глаз, беспощадный к самонадеянности тяге к легкой жизни.

Происходит разрыв: Володя не может остаться при кафедре, ибо, как он говорит, «смысл человеческого существования состоит в самой высокой требовательности к самому себе, в такой, какой обладал мой отец, когда вылетел один против семерых «юнkersов». А Варя не может решиться ехать в глушь, где нет спектаклей и драматического кружка. Да Володя, по правде говоря, и не интересовался ее мнением, когда принял решение отправиться в Затирухи.

И суровость, и беспощадные Володины речи, и непреклонность разрыва — все это

продиктовано самым возвышенным, самым драгоценным в душе Володи. И все же мы не можем отнести к разрыву с тем спокойным ощущением справедливо наказанного порока, с каким мы читали соответствующую сцену в «Сыне народа». Характер Вари еще в брожении. Немало суетного в этом брожении. Мускулатура мысли и воли еще не окрепла. И постоянное общение с Женей и Валентиной Андреевной тоже не проходит без следа. Но душа у Вари добрая, чуткая, отзывчивая. И отец Вари, Родион Мефодиевич Степанов, моряк, сражавшийся вместе с Володиным отцом в Испании, говорит Володе, что он зря так категорически осудил Варю: «требовать с человека требуй, но по-человечески».

«— Я требую от каждого, как от моего погибшего отца,— внезапно бледнея, произнес Володя.— От себя в первую очередь. И от всех. Иначе мне не подходит».

Мы знаем, что Володе «иначе не подходит». И за эту твердость и неукротимость мы его и полюбили. Но Варя — не «одна шайка» с Женей, Додиком и Валентиной Андреевной, как выразился однажды в гневе Володя.

Володя Устименко раскрыт нам изнутри, с его юношеской угловатостью, колючестью, эгоцентризмом и с задатками чистой и доблестной души. Таким он стал близок нам.

Но Ю. Герман, мне кажется, не совсем доверяет читателю. Очень любя своего героя, он как будто боится, что читатель не до конца его полюбит. И Ю. Герман вдруг начинает от себя, голосом автора, расхваливать Володю. «Этим человеком теперь гордился весь институт, о нем говорили как о будущем светиле...» Володя весь в устремлении — к этому времени он еще ничего не сделал такого, чем можно было гордиться

институту. К чему эти комплименты? Для них еще нет оснований.

«Он всегда думал, Володя Устименко, всегда решал какие-то одному ему ведомые задачи, непременно трудные, почти мучительные». Мы уже знаем это из самого рассказа, из действия. Слова — лишние и потому расхолаживающие. Отсюда кое-где и чересчур восторженные интонации. «Поеду! — решительно и твердо, благодарно и радостно сказал Володя» (речь идет о сопряженной с трудностями и опасностями поездке в сопредельную страну).

И в сцене, где счастливые тетка Аглая и Родион Мефодиевич расппевают солдатскую песенку, и в обрисовке отца Володи мы замечаем штришки умиленности: «Володя вдруг покраснел, чувствуя, как он сам гордится Афанасием Петровичем, вот этой его всегдашней внешней обыкновенностью и простотой, его смешливыми морщинками возле глаз, его кроткой, словно припрятанной силой, широтой его души...» Образ отца Володи — самая слабая сторона романа. Он нарисован бегло и бледно. Восторженная характеристика не может скрыть, что характера, собственно говоря, и нет.

Роман Ю. Германа, по-видимому, будет продолжен, и можно надеяться, что в дальнейшей работе слащавые нотки, столь противоречащие мужественной тональности романа, исчезнут.

Мы вовсе не хотим рекомендовать автору перейти на бесстрастно-объективный тон. Роман Ю. Германа написан горячо и страстно, и в этом его сила. «Дело, которому ты служишь» пронизано воинствующим духом борьбы со всем гнилым и эгоистичным, двудушным и мелким.

Героический облик людей советской повседневности — в этом пафос романа.

**Е. ДОБИН.**

★

## Писатель в пути

**Ю**рий Нагибин выпустил немало сборников рассказов, и каждый из них, разумеется, чем-то отличался от предыдущего. Но последняя книга писателя во многом кажется непохожей на остальные. Прежние сборники Нагибина выстраивались в ряд,

«Человек и дорога» стоит несколько особняком.

Конечно, цельность книги, объединяющей одиннадцать самостоятельных новелл, отнесительна, условна. В книге есть рассказы, которые и по смыслу и по мастерству уступают ранее опубликованным произведениям Нагибина; то, что открывает «Человек и дорога» в его творчестве — творчестве, казалось бы, достаточно определенном, усто-

Ю. Нагибин. Человек и дорога. Рассказы. Редактор В. Вилксва. 252 стр. «Советский писатель». М. 1958.

явшемся,— демонстрируют не все рассказы, включенные в книгу. И все же сборник вносит новые черты в знакомый портрет писателя.

В рассказах Нагибина, написанных как будто просто и легко, не сразу угадывается та борьба, какую пришлось вести автору с непокорным материалом. Она развернулась не в области стиля: непринужденность и меткость слова пришли к Нагибину сравнительно рано. Подлинную, не условную поэтическую выразительность он искал напряженно и долго. Он ищет ее до сих пор.

Он начинал, как многие, с безыскусного воспроизведения событий, свидетелем которых его сделала жизнь. Казалось, события эти сами по себе настолько замечательны, что не требуют творческой активности художника. Нагибин писал о нелегком счастье воинов и тружеников, о делах и чувствах обыкновенных людей — «неудобных», горячих, скромных и щедрых. Писатель не относил свои рассказы к очеркам, но и не скрывал их очерковой природы. Говорят, нет строгой границы между этими двумя жанрами. Однако рассказы Нагибина, тяготеющие к очерку, не создавали возможностей для художественного обобщения. Их сюжеты могли быть и достоверными и острыми, но они оставались все же недостаточно емкими, а значит, и герои их были недостаточно внутренне богатыми, не могли претендовать на звание и роль типических характеров.

Порой Нагибин создавал заведомо увлекательные ситуации, рассказывал о необычных происшествиях—значительных встречах, непредвиденных изменениях в судьбах героев. Такие новеллы окрашивались некоторой чувствительностью или мелодраматичностью, но в них по-прежнему господствовал метод очеркиста. Поиски сюжетной занимательности и позднее не слишком обогащали творчество Нагибина. Приемы Джека Лондона или О. Генри, которые он стремился развивать, по существу остались для него чужими. Так, в рассказах, посвященных спорту (в «Победителе», например), внимательно зарисованы внешние подробности, но нет живого ощущения азарта, риска, подъема; эти рассказы — не более чем аккуратная проба пера, вежливая дань почтенной традиции, но тема их не допускает равнодушия. Так, и в известной «Трубке» эффектный якобы финал нарушает поэтическую правду сказа, вводит в него банальную сюжетную механику. Лишь пси-

хологическая пронизательность и чуткость позволили писателю позднее противопоставить очерковым нормам своеобразный облик своей новеллы.

Пафос зрелых произведений Нагибина, предшествующих сборнику «Человек и дорога»,— в исследовании человеческой личности, ее скрытых возможностей, ее жизненной роли. Слово «пафос» кажется неточным по отношению к Нагибину, писателю намеренно сдержанному. Можно сказать иначе—интерес, волнение. Ко многим мотивам Нагибин довольно безразличен: ни драматические или смешные превратности жизни, ни влияния, определившие характер героя, ни положения, в каких он проявляется, не становятся предметом раздумий писателя. Все это как будто присутствует в его рассказах, без этого они стали бы отвлеченными, но центральная тема Нагибина — внутренняя ценность человека, независимая от обстоятельств его сил, ценность абсолютная и неизменная. Многие рассказы Нагибина — портреты. Портреты возвышенные — изображения людей, которые радостно отдают свои силы, талант, волю другим людям, любимому делу. Портреты сатирические — себялюбцев, духовных скупцов. Увидеть за случайными или фальшивыми личинами истинное лицо человека, прославить героя или осудить его — так понимает свою задачу писатель.

Сюжеты многих нагибинских новелл рисуют не историю человека, а историю познания его характера. Постепенно, исподволь открываются различные грани образа, из мелочей, подробностей складываются суждения, наконец последний завершающий поворот освещает героя и подводит читателя к окончательному непреложному выводу. О том, что биолог Катя Свиридова («Скалистый порог») «осталась одна со своими яблоньками, опытным участком, лабораторией, ветром-афганцем и ночными заморозками», автор услышал от чабанов. Когда он познакомился с Катей — «худенькой, стройной, очень городской»,— воображаемый образ «одинокой горной жительницы... развеялся без остатка»: Катя оказалась автору юной школьницей, легкомысленной, даже бездумной. Но некоторые штрихи в ее поведении убеждают автора, что он неправ: Катя — «сильный человек», а затем случайное признание Кати открывает стойкость ее души, тяжесть перенесенного ею испытания. «Скалистый порог» — рассказ

о том, как перед автором прояснялся характер героини.

Иногда новелла ведется не от первого лица, в этих случаях автора подменяет персонаж, роль которого — несамостоятельная. Читатель рассказа «Молодожен» мало узнает об охотнике Воронове: Нагибин ограничивается тем, что довольно декларативно противопоставляет его главному герою. Но зато подробно передан процесс постепенного «узнавания» егеря Василия: Воронов с удовольствием следит за его недолгими сборами, ловкой греблей, он удивлен чистотой его чувства к жене, Воронова поражает, что восьмичасовой трудный путь ночью по реке Василий совершил ради встречи с женщиной, на которой он женат уже шесть лет. Финал рассказа открывает Воронову богатство души скромного парня. В новеллах Нагибина ведется своего рода расследование — бессознательное или обдуманное. Оно намеренно ведется с «ошибками» — ведь существо личности порой скрывается за обманчивой внешностью, — но в конце концов рассказ устанавливает прекрасную или низкую истину. Так, Четуннов — герой «Пустыни» — заблуждался в своих способностях, силе, уме, пока не пережил внутреннего потрясения и со стыдом не узнал подлинного себя.

Вдумчивое, требовательное отношение к человеку, художественный рисунок рассказа, где детали поведения героев красноречивы, выразительны, где даже заурядному придается облик значительного, — так определились достижения Ю. Нагибина. Все же трудно не заметить, что постоянная тема писателя — не очень широкая, что она продиктовала Нагибину привычные приемы, привычный тон повествования.

Встретив у Нагибина героя, который представлялся поначалу властным, опытным, уверенным, можно безошибочно угадать, что он разоблачит себя как человек бездушный, мелкий («Подсадная утка»). Сюжеты Нагибина, лишённые взрывчатой силы — драматической или комедийной, — кажутся порой иллюстративными. Они не открывают глубоких противоречий жизни, не создают ее поэтического образа, они существуют только для исследования характеров, хотя внутренний мир некоторых героев может быть постигнут сравнительно легко: ведь не все персонажи Нагибина — загадочные, сложные натуры. Ограничивая себя исключительно моральной проблематикой, автор проходит мимо множества конфлик-

тов действительности. Новелле Нагибина не хватает непосредственности, а с другой стороны — философичности, целостного взгляда на жизнь и творчество. В рассказах его неожиданно обнаруживается дидактичность.

Правда, Нагибин скрывает ее умело и тщательно. Он стремится писать не как ригорист, а как осторожный, тактичный лирик. Однообразную композицию он «остраивает» различным жизненным материалом: действие новелл проходит на сменяющемся фоне, где быт, атмосфера, природа переданы достоверно и свежо. Но поскольку мысль и конструкция сюжета часто остаются неизменными, действие и фон недостаточно слиты: Нагибин, например, проникновенно рисует природу, но его пейзажи порой безразличны к событиям и авторским идеям. Рассказы Нагибина скорее подчиняются внешней, повествовательной логике, нежели внутренней, образной.

Творческая система писателя обнаружила, таким образом, не только сильные, но и слабые стороны. Установился некоторый канон изложения, хотя Нагибин бесконечно варьирует тематические мотивы: пишет о мире и о войне, о детях и о взрослых, о колхозниках и об иностранцах. Чувствовалась необходимость в переменах, если не в революции, то в реформах — более глубоко, разностороннем восприятии жизни и более масштабном, поэтически образном воссоздании ее.

В это время появились новеллы, объединенные сборником «Человек и дорога».

Повторяю, они не равноценны. Некоторые как будто принадлежат не будущему писателя, а его прошлому. В рассказе «Костыли» Нагибин стремился создать портрет женщины богатой, цельной души. Автор узнает ее в ночном автобусе, куда она села, как показалось ему, вместе с мужем-инвалидом, немного хмельным, задиристым, слабым. У женщины грудной спокойный голос, простое широкое лицо, ее обращение с мужем «бесконечно милое, женственное и материнское». Когда же утром она сходила с автобуса, автор увидел: у нее, а не у мужа медаль «За отвагу» на почерневшей ленточке, она, а не муж опирается на костыли. Женщина казалась сердечной и самоотверженной, но она еще и стойкая, сильная. Совершается ли здесь открытие? Если бы в автобусе горел свет, рассказ не мог бы быть написан: вся доступная автору правда ясна была бы сразу, иных же впечатлений, кроме чисто внешних, у рассказчика

нет. Портрет героини — лишь мимолетная зарисовка, искусно растянутая на несколько страниц. Вообще, едва ли судьба и характер могут быть угаданы случайными спутниками. Распространенное мнение (его придерживается и Нагибин), что в дороге или на рыбалке человек открывается полнее, чем, например, в работе или в семье, не слишком справедливо: люди познаются не вдруг, не в мелочах. Во всяком случае, кроме интонации и выражения глаз героини, автор ничего о ней не ведаёт, он приберег для конца сообщение о том, что героиня — инвалид войны, и все же, конечно, не создал образа, передал лишь поверхностное впечатление.

В этом рассказе есть лирическое рассуждение о дороге, о пассажирах, в нем и забавные и точные наблюдения. Частности, как это нередко бывает у Нагибина, интереснее и убедительнее целого. В экономном и простом языке рассказа — долголетняя писательская школа, но странно: рассказ заставляет вспомнить о совсем раннем Нагибине, о тех его произведениях, где зоркость очеркиста соединялась с наивной литературной выдумкой.

Как бы ни стремился Нагибин утончить свое восприятие и стиль, все же, очевидно, и по отношению к его творчеству остается верным известное положение: человек открывается в борьбе, в труде, в сильном переживании, словом, в конфликте. Поэтому другой рассказ сборника — «В апрельском лесу» — жизненнее и богаче, чем «Костыли», хотя исходная точка одна и та же: автор мельком наблюдает незнакомых ему людей. Когда люди захвачены сильным чувством, как солдат и девушка в апрельском лесу, даже сторонний прохожий может узнать их характеры, отношения, если он и не слышит слов, видит, как в пантомиме, лишь взгляды и жесты.

Чем больше связаны герои Нагибина с жизнью во всей полноте ее интересов, чем более тесно сплетаются их судьбы, тем полновеснее выражены облики героев. В рассказе «Ранней весной» не один, а несколько портретов, можно сказать, групповой портрет, но индивидуальности выступают рельефно. Каждый пассажир в теплушке 1943 года, следующей из Сталинграда в Москву, выделяется «характерностью своего особого существования», потому что все испытываются тяжелыми условиями, у всех за плечами много пережитого, у всех воспоминания и надежды. Люди эти раз-

ные, но вместе они составляют дружный коллектив, который едва не распался, когда в вагоне оказался жадный «страшноватый» старичок, и все же выстоял, справился и с голодом и с губительным влиянием «старичка». Рассказ насыщен конфликтами — бытовыми, моральными и даже идеологическими. За группой случайных спутников встает образ страны, переживающей «раннюю весну», только что выигравшей великое сражение, израненной, но сильной единством и человечностью своего народа.

«Ранней весной» чем-то напоминает один из прежних рассказов Нагибина — «Ночной гость»: и там простым, искренним, благожелательным людям, случайно встретившимся на рыбалке, противопоставлен паразит, только разгадать его было труднее, чем откровенного кулака-«старичка». Но «Ранней весной» значительнее и острее по содержанию. Этническая тема в этом рассказе проникнута воздухом истории. Рассказ подготовлен прежним творчеством Нагибина, но он вносит в его творчество новое звучание — непривычную широту и свободную образность.

В этом, как и в других лучших рассказах из сборника «Человек и дорога», — новое, свежее отношение к жизни. Конечно, оно возникло не вдруг и не на пустом месте. Но здесь оно проявилось осознанно и отчетливо. Вместо сопоставления характеров — столкновения героев. Вместо несколько абстрактного морализирования — жизненная человеческая сложность. Вместо ровного лиризма и скромного юмора — взволнованный эмоциональный строй. Так графика соотносится с живописью.

Наиболее интересны в сборнике не рассказы-портреты, а, условно говоря, рассказы-поединки. К этой форме Нагибин обращался и раньше. Спор Анны Васильевны и мальчика Савушкина («Зимний дуб»): тонко раскрывал поэтическую правду ребенка, влюбленного в природу, бессилье формальных истин учительницы. В одном из самых значительных рассказов прежних книг — «Слезай, приехали...» — писатель построил простой и жизненный сюжет, где исподволь развертывался нешуточный конфликт между душевной широтой и душевной скудостью, между грубым с виду инвалидом-возчиком с его любовным и горделивым отношением к приезжей девушке, к родной природе, к землякам-колхозникам — и москвичкой-агрономом, черствой, заносчивой, лишенной поэзии и чувства долга. Но в новеллах по-

следнего сборника Нагибина поединки героев более драматичны и более многозначительны.

Капитан Шатерников был кумиром Ракитина («Бой за высоту»), и действительно среди политрабтников Волховского фронта он выделялся смелостью, сноровкой, ловкостью, его обаянию подчинялись и начальники и официантки. Совместная поездка Ракитина и Шатерникова на передний край подтвердила все достоинства Шатерникова, отважного, умного командира, и, увы, подтвердила неумение Ракитина разбираться в боевой обстановке. Но вот возник спор из-за листовки, составленной Шатерниковым, спор, в котором прояснилось, что Шатерников плохой политрабтник, склонный к авантюре, честолюбивый и легкомысленный. В конфликте с ним Ракитин нашел в себе мужество и энергию. Роли переменялись, изменились и отношения. Но рассказ не ограничен обычной нагибинской мыслью о достойных и недостойных людях. Рассказ непринужденный и многогранный, в нем шумная, пестрая картина фронтовой жизни. Персонажи существуют не сами по себе, а в десятках разнообразных связей, они открываются все время по-разному и, естественно, их характеры не могут быть исчерпаны одним прямолинейным итогом. Рассказ вызывает самые различные мысли: и о том, что каждый — герой по своему, и о месте каждого в общем деле, и о том, как зреет, формируется человек, и о том, как человек изменяет себе, но за всеми мотивами звучит в новелле напряженная горячая мелодия — мелодия «боя за высоту» в прямом и метафорическом смысле. Масштабность новеллы определяется музыкой эпохи. В последних произведениях Нагибина она звучит энергичнее, чем раньше: конфликты укрупнились и вбирают в себя большее содержание, образные средства стали интенсивнее, ярче.

«Школа для взрослых» — по-видимому, камерная новелла о любви неудачной, неравной, нелепой. На первый взгляд кажется, что «Школа для взрослых» мало отличается от прежних рассказов Нагибина, например, от того, который назван был «Любовь». Однако, это только кажется. «Любовь» — история маловероятная и чересчур нравоучительная. «Ты и работаешь то не по-настоящему, просто крутишься возле людей», «Ты же видишь, нельзя ухватить счастье с черного хода», «Я всегда водил тебя хорошими дорогами, Настя», —

так разговаривает Егор с любимой, которую не видел три года. И это производит впечатление на «балованную, самовольную» грешную девушку; «слабая, неразумная Настя» не останется одна «на суровом ветру жизни», благо Егор случайно, но как нельзя более вовремя подслушал ее откровенный разговор с подругой. В «Школе для взрослых» нет скучных наставлений, нет традиционных трогательных воспоминаний о детской дружбе, нет необоснованного счастливого конца. Есть правда образов — мещерского парня, ставшего токарем-универсалом, уверенного человека «на самом разлете своих жизненных успехов», и невидной учительницы с ее особой «домашней прелестью». Есть правда подробностей — уроков, вечеров танцев, свиданий Анны Сергеевны и Улесова. И есть их несходные ощущения поэзии жизни, их чувства, которые, увы, не считаются с шаблоном доброго и дурного, и «борьба неравная двух сердец», где неизвестно, кто же вышел победителем: Улесов ли, предавший Анну Сергеевну и ликующий оттого, что она не приняла его жертвы, или Анна Сергеевна, потерявшая работу и любимого, но оставившая в его душе «острую, незатихающую боль»? Главное же — не в пустом пространстве совершается этот извечный поединок, а в своеобразной обстановке школы для взрослых, где учительнице не положено любить ученика, где предрассудок или заблуждение богатыря токаря да вызывающее словцо отчаянной Муси Лопатиной, сказанное по поводу контрольной работы, быстро и непоправимо оборвали отношения двух людей, созданных друг для друга, а к стати, и надежды Анны Сергеевны на скорое окончание аспирантуры. Среда в этом рассказе не фон для моральной коллизии, а основное действующее лицо. Рассказ — действительно «школа для взрослых», а не прописи для детей.

В последних новеллах Нагибина иное, чем раньше, понимание многообразных влияний, какими связаны люди друг с другом и с действительностью, влияний далеко не однозначных, не ущемляющихся в формулу его прежнего творчества (например, рассказ «Путь на передний край» — это именно цепь взаимодействий). Но вместе с обогащением содержания перед писателем встали и сложные формальные задачи. Конечно, он не может решить их на ходу, ему опять, как в ранние годы, пришлось стать учеником, только в ином, более высоком



смысле слова. Ученик неизбежно оступает. В «Школе для взрослых», например, ясно чувствуется, что Нагибин внимательно прочел Бунина. Поскольку это касается композиции новеллы, атмосферы ее, можно говорить лишь о необходимом и плодотворном усвоении опыта прошлого. Но в стилистике рассказа слышится уже интонация Бунина. «Неужто и впрямь все это было? Да, было, было такое, чего уж никогда потом не было: маленькая комната, тихий свет лампы... теснота узкой кровати, ночное тепло нежного и сильного тела...» — здесь ритм и обороты речи цитатны, а значит, неорганичны. В другой новелле, именем которой не совсем справедливо назван сборник, — «Человек и дорога» — необычный для Нагибина образ пятитонного грузовика, несущегося с «ревом, воем и скрежетом» к «далекой цели», постороннего, чужого всему окружающему, — образ, сам по себе выпуклый и тревожный, — никак не соотносится с сюжетом рассказа и тем более с demonstra-

тивной концовкой. Трудно поверить в неожиданное преобразование шофера — пьяницы и циника, так же, кстати, как и в мотивировку его пьянства — горечь от давней измены невесты. Пристрастие к «литературным» ситуациям и непременно счастливым финалам обедняет правду жизни во многих рассказах сборника. Сегодняшние находки Нагибина еще не всегда складываются в законченное целое. Но они — эти находки — указывают на движение, на искания.

Одно время в творчестве Нагибина не ощущалось развития, в нем появилось нечто даже слишком опытное. Писатель словно обрадовался тому, что отвоевал себе собственную тему и умело ею распоряжается. Сейчас он пустился в новые поиски, а значит, опять «им овладело беспокойство». В этом обаянии последнего сборника, в этом залог будущего Ю. Нагибина. Автор книги «Человек и дорога», к счастью, и сам находится в пути.

**М. ИОФЬЕВ,**

★

## Талант и мастерство

**У** критика, как и у всякого писателя, не только может, но и должна быть своя творческая позиция. От критика читатель ждет страстного, убежденного слова о жизни и литературе, в его статьях читатель ищет поддержки близких данному критику художественных явлений и аргументированного литературного спора против явлений, которые ему, критику, не по душе. Справедливость и объективность критики ничего общего не имеют с бесстрастностью и объективизмом, с этакой критической всеядностью.

Из каждой статьи Марка Щеглова видно, что литература была для него делом жизни, глубоких раздумий, большой любви, непримиримой борьбы. Как жаль, что многие вопросы, волнующие нас сегодня, он не успел охватить своей свежей и смелой мыслью — хотя бы для того, чтобы вызвать на интересный и плодотворный спор! Но если уже нельзя ничего сказать автору сборника, чей творческий путь оборвался, едва начавшись, то можно горячо порекомендовать читателям его умную, живую книгу, написанную с тонким проникновени-

ем в художественную ткань разбираемых произведений, с глубоким постижением их идейного смысла. Эта книга будет с интересом прочитана каждым, кто любит литературу и ждет от нее ответа на животрепещущие вопросы жизни.

Для Марка Щеглова критика была не узколитературным делом, а боевым участием общественной борьбы. В его статьях публицистически остро выражена ненависть к обывательской узости и ограниченности, к узколобой догматике и карьеризму, к бюрократическому равнодушию и духовной бедности мещанина. Страстно, темпераментно отстаивал критик высокие принципы социалистической морали, поддерживал в жизни и литературе человека внутренне цельного, честного и смелого, исполненного чувства собственного достоинства и сознательно борющегося за коммунизм.

Творческие позиции Марка Щеглова отчетливо проявлялись и в его суждениях и в выборе произведений, о которых он успел написать. Ему сродни молодая романтическая приподнятость «Зеленого луча» Леонида Соболева (статья «Море зовет»), он глубоко и верно разобрался в творчестве своеобразного художника Александра Грина (статья «Корабли Александра Грина»), он с большим сочувствием рассказал о

**М. Щеглов.** Литературно-критические статьи. Составитель В. Лакшин. Редактор Е. Старинова. 370 стр. «Советский писатель», М. 1958.

превосходных страницах прошлого, нарисованных В. Смирновым в повести «Открытие мира» (статья «Страницы детства»), он отметил поэтическую прелесть такого тонкого знатока природы, как Виталий Бианки (статья «Перо вальдшнепа»). Во всех этих статьях, написанных с подъемом, продиктованных действительно заинтересованностью, искренним пристрастием критика, отчетливо видна его направленность: он отмечает те явления, в которых повседневность жизни и природы поднята «до уровня всемирности», в которых будни не опускаются до обывательской будничности, в которых повседневность выступает в своем активном, а потому и романтическом, даже героическом облике. И в каждой статье остро и определенно проявляется высокая требовательность к слову, к образу, к художественному вкусу писателя, а нарушение художественной гармонии рассматривается как проявление иногда нелегко обнаруживаемых недостатков в понимании жизни, в осмыслении человеческих дел и характеров.

Связь всей работы Марка Щеглова с современными литературными проблемами отчетливо выступает и в его статьях о новых, только что появившихся произведениях и в разносторонних его историко-литературных интересах. Он обращается и к поэзии Александра Блока, и к творчеству Сергея Есенина, и к творческому пути Всеволода Иванова, которому посвящает большую статью, написанную в жанре литературного портрета и содержащую обстоятельный анализ своеобразия этого художника.

В творчестве Марка Щеглова самый пристальный анализ мастерства неизменно сочетался с глубоким рассмотрением идейного содержания тех произведений, о которых он писал, и с постановкой острых общественных проблем в открытой, страстной публицистической форме. И прежде, чем привести примеры этой работы критика, хотелось бы отметить еще одно важное качество его статей: их высокую справедливость, умение нелицеприятно говорить о сильных и слабых сторонах творчества писателя.

Вот статья о рассказах молодого чинского новеллиста И. Лаврова. Критик с искренней радостью отмечает все проявления талантности, зоркости, художественной чуткости писателя. Видно, что М. Щеглову по душе свойственное И. Лаврову

внимание к повседневной жизни советских людей, что критику сродни бережная любовь писателя к людям, что ему, так тщательно изучавшему непревзойденное мастерство детали у Льва Толстого, радостно отмечать верные и характерные подробности жизни, найденные молодым прозаиком. Критик защищает писателя от упреков в излишнем пристрастии к трудным судьбам, и он с горячностью восклицает: «Мы оптимисты, но не будем же становиться ханжами! Еще в окружении «равнодушной природы» умирают дорогие нам люди, рушатся семьи, есть еще одиночество и необеспеченность... еще бывает — приходит к человеку неожиданное-негаданное горе, и он не знает, как с ним справиться, еще счастье в жизни идет в очередь с несчастьем... Все это говорится не для того, чтобы специально останавливать внимание на тягостных впечатлениях бытия, но только во имя того элементарного утверждения, что писатель вправе думать и о тяжелых горестях и о сложных жизненных случаях».

С большим одобрением говорит критик о том, как непримиримо осуждает И. Лавров мешанство, как резко обличает фразерство и верхоглядство преуспевающих обывателей.

Но критик не позволяет талантливости рассказчика заслонить от своего пристального взора недостатки его произведений — и недостатки не мелкие, не сводимые к тому, что стало привычным называть «художественными просчетами», а принципиальные, в которых, по выражению Марка Щеглова, «нельзя не увидеть... недостаточную воспитанность идеала...».

Эту «невоспитанность идеала» критик видит в том, что, отстаивая «маленькое счастье» обыкновенного человека, писатель чрезмерно ограничивает свои представления о том, чего ждет человек от жизни. По существу, сопротивляясь пошлости, своекорыстию, сребролюбию «счастливчиков» мешан, автор принимает без обдумывания именно их нравственный план, их понятия о счастливом и несчастливом. Во многих рассказах И. Лаврова, как ни странно, слышно презрение не к уровню Светозаровых и Звездоглядовых, а только к данному отрицательному персонажу в данных обстоятельствах. Потому и своих положительных героев автор иногда утешает мейтой или сожалением о точно таком же «общем счастье». В этой связи критик ведет большой и интересный разговор о мировоз-

зрении писателя — разговор поразительно конкретный и точный.

Конкретность анализа мировоззренческих позиций писателя — еще одно важнейшее достоинство не только данной статьи, но и всей работы Марка Щеглова. Ему были чужды слишком общие, а потому часто беспредметные декларации об идейности искусства: молодой литератор стремился обнаружить мировоззренческие основы произведения не в каких-то вне текста, вне образной системы находящихся общефилософских категориях, а в том, как эти категории проявляются в самой художественной ткани произведения. Такой подход позволил критику обнаружить идейную слабость И. Лаврова и в отборе материала («И. Лавров... задерживает взгляд в основном лишь на одном часто встречающемся жизненном и будничном противопоставлении»); и в слишком примитивном понимании существующих в жизни противоречий («мещанин, характеризующийся только через традиционные, очевидные черты скупости, мелочности, пошлости облика и обстановки, лживости,— и не мещанин, человек непременно плохо обеспеченный, не мелочный, прямой, великодушный, добрый»); и в довольно бедных бесперспективных выводах («И. Лавров беснелен предлагает своим положительным, но находящимся часто в жизненном пассиве героям что-нибудь взамен того, чем их обидела судьба»); и в том, что гуманистическая направленность рассказов И. Лаврова часто выражена в форме пассивного соболезнования героям («безмерное сострадание, апология беззащитности, сочувствие»).

Выдвинув такие серьезные упреки писателю, чью талантливость и чьи удачи он так радостно отмечал, Марк Щеглов не отказывается от веры в дальнейший рост писателя и с воодушевлением намечает тот путь, на котором И. Лавров может добиться серьезного творческого успеха. Это путь более глубокого «осознания вещей», путь более четкого определения «места героев в бесконечной цепи современных жизненных общественных связей», путь осмысления «общественного значения будничных происшествий и драм». Это путь к таким характеристикам, в которых автору удалось бы «устранить некоторую духовную элементарность, которая делает их в ряде случаев лишь объектом авторского заступничества и читательского сочувствия, а не субъектом действия в рассказах».

Выдвинув перед молодым писателем (и не только перед ним — разговор этот имеет принципиальное значение) такие задачи, критик высказывает свое понимание современности и современника: «Это ведь будет только правдиво! За пределами книги герои... живут в эпоху, полную исторического значения; они — современники великих всемирных сдвигов, и каждый день нынешних будней полон иных отзвуков... Человек нашего века стал обо всем думать, всего касаться... Герои сегодняшних дней, обыкновенные люди, не просят заступничества, они сами требуют слова, и надо честно, поэтично рассказать об этой обыкновенной трудной жизни людей, о том, как в повседневности отражается многостороннее значение нашего времени. Сегодня жизнь обыкновенного человека приравнивается к самой действительности, к жизни борющейся за счастье личности, и во всю силу звучит поэзия обыкновенного...»

...Некоторые думают, что поскольку устной и письменной речью владеет всякий грамотный человек, то и критические статьи о литературе может писать каждый. В этом кроется одна из причин низкого уровня многих рецензий, лишенных и прочного фундамента профессиональных знаний, и той жизненной непосредственности, которая так ценна в откликах читателей. Между тем литературному критику необходимы и знание жизни, и наличие хорошего вкуса и живого стиля, и знание богатств, созданных русской и мировой литературой.

Творчество Марка Щеглова — яркий пример того, как помогают критику современной литературы серьезные профессиональные знания, серьезная научная подготовка. В сборнике мы находим прямые свидетельства научных занятий молодого критика — четыре его статьи о Льве Толстом. О том, что еще в университете Щеглов проявил недюжинные способности исследователя, говорит в предисловии к сборнику такой авторитетный ученый, как Н. К. Гудзий, который пишет: «В толстовский семинар Щеглов пришел... не как ученик, а как созревший уже исследователь и критик, много знавший и многое продумавший из того, что относится к искусству вообще и в особенности к искусству художественного слова. Чаще всего научный руководитель был лишь его советчиком и собеседником и сам черпал из его суждений о литературе немало для себя ценного, свежего и оригинального по мысли».

Но не только в статьях, посвященных Льву Толстому, не только в работах об особенностях толстовской сатиры или о художественном своеобразии повести «Смерть Ивана Ильича», но и в статьях о современной литературе мы видим, что для критика освоение классического наследия не осталось втуне. В интересной статье «Верность деталей», говоря о значении чуть заметных реалистических штрихов, нередко помогающих писателю выявить самые важные черты характера или обстоятельств, Марк Щеглов писал о достоинствах и недостатках произведений Леонида Леонова и Веры Пановой, В. Тендрякова и А. Софронова, А. Фадеева и Виктора Некрасова, К. Федина и Э. Казакевича. Но тут же он щедро пользовался примерами и высказываниями Чехова, Тургенева, Герцена и, конечно, Льва Толстого. Это не был ложный академизм, стремящийся «ученость показать»: это было естественное, живое соотнесение работ наших современников, наследников великого классического богатства, с тем, что сделано до них большими мастерами нашей литературы.

И в статье «Очерк и его особенности», полемизируя с некоторыми высказываниями Е. Журбиной, со статьями Б. Полевого и Б. Агапова, критик не ограничивается разбором очерков В. Полторацкого, А. Колосова, Т. Тэсс, В. Овечкина, Г. Троепольского, И. Рябова, К. Буковского, В. Ардаматского, Е. Кригера, Л. Кудреватых, Г. Николаевой и других современных писателей, но и обращается к наследию Глеба Успенского и Льва Толстого, к Тургеневу и Герцену...

Широкая научная основа статей Марка Щеглова придает весомость и доказательность его суждениям. И если с ним иногда хотелось спорить, то спор надо было вести во всеоружии не меньших, чем у него, знаний. Впрочем, только такая дискуссия и может быть плодотворной для развития теории и практики литературы социалистического реализма!

И еще одна черта творчества Марка Щеглова достойна внимания: его интерес к другим искусствам, в особенности к музыке. Критик нередко обращается к музыке в своих рассуждениях и специально посвящает статьи книге М. Ильина и Е. Сегал о Бородине и роману А. Новикова о Глинке. Дело не только в том, что в этих статьях со знанием дела говорится о важных страницах истории русской музыки:

главное в том, что широта художественных интересов и познаний, несомненно, помогла критику в его литературной работе. Подобно тому, как филологические исследования позволили ему говорить о современной литературе с более высоких позиций, так и общая эстетическая культура дала ему возможность глубже проникать в звучание слова как «первоэлемента литературы».

Часто забывают, что критику точно так же, как романисту и поэту, как новеллисту и драматургу, как скульптору и ученому, как архитектору и изобретателю, нужен талант. Как и всякий иной талант, талант критика вырастает вместе с его идейной зрелостью, с его знанием жизни, с его кропотливым изучением своей профессии, с его теоретическим кругозором, с его опытом и неустанным трудом. Но без таланта ни труд, ни знания, ни усидчивость не приводят ни к открытиям в науке и технике, ни к открытиям в искусстве, ни к созданию значительных произведений в области критики. В статьях Марка Щеглова, написанных всегда свежо и оригинально, с той свободой и силой выразительности, которая сопутствует подлинной убежденности, видно большое и зрелое мастерство. Мысль критика выражалась непринужденно и ярко, в его суждениях логика облекалась в убедительную, часто образную форму, придавая его статьям не только доказательность, но и эмоциональность.

Марк Щеглов был очень талантлив — тем щедрым талантом, который страстно вторгается в жизнь, спеша высказать свою острую и смелую мысль, спеша отдать себя любимому делу. Первая статья Щеглова появилась в «Новом мире» в сентябре 1953 года. Через три года, в сентябре 1956 года, тяжелая болезнь, мучившая его с детства, прервала его жизнь. К сожалению, в сборник, выпущенный издательством «Советский писатель», вошли далеко не все из опубликованных статей М. Щеглова, хотя они — пусть в чем-то спорные — умны, содержательны и вызывают самый живой интерес. Но и эта далеко не полная книга статей Марка Щеглова (которая при переиздании может и должна быть значительно расширена) является поучительным и ценным вкладом в нашу критику, борющуюся за высокую идейность и художественное совершенство советской литературы.

**Т. ТРИФОНОВА.**

## Ребятчи будни

Проблема воспитания волнует всех. Ее обсуждают на ученых заседаниях и в трамваях, на страницах газет и за семейным столом. Ей посвящено много книг.

«Кирпичные острова» Р. Погодина не научный трактат, а книжка в яркой обложке «для младшего возраста». И речь в ней, на первый взгляд, идет совсем не о воспитании. Это незатейливые, иногда смешные, иногда немного грустные рассказы о ребятах одного двора.

Их четверо, основных героев книги: Кешка, Мишка, Круглый Толик и Сима из четвертого номера. Простые хорошие мальчишки, они живут обычной жизнью, как и вся наша детвора: ходят в школу, собирают утиль, играют, мечтают, иногда дерутся. Они не ловят шпионов, не спасают поезда от крушения, не бегут в Братск или Каховку, но и без того жизнь их заполнена интересными делами и событиями. В этом — принципиальная позиция Р. Погодина. Он против того, чтобы изображать жизнь детей, как это нередко бывает у нас в литературе, сплошным лагерным отдыхом или превращать ее в розовый туман мальчишеских подвигов и приключений. Р. Погодин пишет о ребятчих буднях, в которых, конечно же, радости перемешаны с огорчениями, а проявления прекрасных черт будущего характера уживаются с самыми «беспринципными» драками. Мишка, который, не задумываясь, спасает тонущего друга и не считает это подвигом, может беззащитно хвастать царапиной, выдавая ее за «славную» рану. А романтичный мечтатель Сима из четвертого номера, который «все на свете видел в хороших тонах», неумело, но решительно дерется «на всю силу». Автор как бы хочет сказать: вот жизнь, самая обыкновенная, без исключительных дел и необычных происшествий, но каждое — и более и менее значительное — событие наложит отпечаток на характер растущего человека.

Погодин не обходит трудных тем. Нужен ли, например, в детской книге рассказ о семейной драме, можно ли говорить об этом, поймут ли такой рассказ ребята? Можно и нужно, и поймут все, что должны понять, надо только правильно написать об этом. Трудно, конечно, девятилетне-

му Кешке понять, «как это можно бросить двух живых людей», как сделал его отец, и почему его мама не хочет выйти замуж за полюбившегося ему Ивана Николаевича — ведь он же полковник, герой («Последний рассказ»). Кешка решает сам уехать с полковником, он предполагает, что тогда мама обязательно к ним придет. Но Иван Николаевич не хочет действовать против мамы «запрещенным приемом», и Кешка возвращается домой. А вскоре мама выходит замуж за соседа по квартире, отца девчонки Анечки. Почему? Никто не отвечает на это Кешке. Но вместе с читателем он понимает, что любовь — это что-то очень значительное и серьезное. И хотя слово «любовь» ни разу не встречается в рассказе, он воспитывает уважение к этому чувству, а это очень важно, потому что не такие уважительные и целомудренные разговоры ребята часто слышат на улице.

Главная заслуга Погодина в том, что серьезные темы он решает в книге, по-настоящему детской. Проблемы не «выпирают» из рассказов. Это как будто «просто истории», автор ничего не объясняет и не навязывает. Дети живут, занимаются своими делами по-детски просто. Но, прочтя книгу, юный читатель поймет, что подарок учительнице не обязательно «подхалимство», что застенчивый человек совсем не трус, что мужеству можно научиться...

Все детские образы: честный Кешка, бестрашный и решительный Мишка, толстый и добродушный Круглый Толик, задира и плакса Людямила и играющая роль взрослой Анечка — удались писателю. Но один из самых интересных — Сима из четвертого номера. Сима — это прозвище. Когда он появился во дворе, длинный, худой, с опущенной головой, ребята прозвали его Семафором. Но потом они решили, что это слишком хорошая кличка для такого хлюпика, и стали звать его просто Сима, для верности прибавляя «из четвертого номера». Сима немножко смешон и трогателен со своими непомерно длинными руками и большими чистыми глазами. Он не знает «законов рыцарской чести» и на вызов может ответить: «Так ведь грязно очень... Обождем, а... когда солнце будет?» Но Сима умеет мечтать. Болезненный, застенчивый, он думает о кораблях и дальних странствиях. Фантазер и мечтатель, он может лужу на заднем дворе представить себе океаном, самодельные ко-

раблики с парусами из тетрадки по арифметике — флотилией, а стружку из ящика с яблоками — гигантским кальмаром. Он убежденно верит в реальность своих фантазий. И когда в рассказе «Кирпичные острова» появляется второй такой же фантазер и мечтатель, старый пенсионер-моряк, и так естественно включается в Симину игру, начинаешь верить в Симины мечты — он станет настоящим моряком. Недаром даже скептически настроенному Кешке лужа вдруг тоже кажется океаном. «В луже отражались облака. Они бежали по опрокинутому небу. Кешке казалось, что он медленно плывет по волнам... Мелькают острова, потрескавшиеся от солнца. Над водой дерутся поморники и альбатросы. В морской пене хищно шныряют единороги. Что-то щекотливое и теплое подступало к Кешкиному горлу, как подступают слезы, когда смотришь хороший кинофильм с хорошим концом». «Кирпичные острова» — лучший рассказ книги. Он полон светлой романтики; в ничем не примечательном ленинградском дворе автор нашел замечательных людей большой глубины и чистоты.

Но, радуясь каждой встрече с хорошим человеком, Погодин не проходит мимо тех, кто дурным влиянием или просто безразличием может искалечить душу ребенка.

Двадцать лет назад А. С. Макаренко писал: «Такие распространенные типы характеров, как «тихони», «инсусики», накопители, приспособленцы, шляпы, разини, кокеты, приживалы, мизантропы, мечтатели, зубрилы, проходят мимо нашей педагогической заботы... Иногда мы замечаем их существование, но, во-первых, они нам не мешают, а во-вторых, мы все равно не знаем, что с ними делать. А на самом деле именно эти характеры вырастают в людей вредоносных...»

Конечно, Макаренко иронизировал над горе-педагогами, увлеченными исключительно «высшими» задачами и за ними не видящими живых детей, говоря, что им «не мешают» такие типы. Но и на самом деле в первые годы Советской власти у нашей педагогики и детской литературы было слишком много открытых, явных врагов, и борьба с теми, кто «не мешает», отходила поэтому на второй план. Теперь же, как никогда, настало время покончить со всем отжившим, но живучим, со всеми пережитками старого в психологии людей.

Кажется, что страшного в том, что на столе Круглого Толика появилась приве-

зенная тетей Раей фаянсовая собака-копилка («Копилка»)? И началось все совсем безобидно: мальчик перестал пить молоко в школе, складывая сбереженные деньги в копилку. Но дальше-больше. Толик уже бежит с поручениями какого-то парня, передавая пакеты, в которых оказался краденый мех. Собирая для школы утиль, он несет туда только бумагу, а бутылки и медь, как более «ценные», сдает для себя. «Сбережения» его растут, а вместе с ними растет и жадность. Сначала Толик экономит деньги, скупились угостить товарища; потом превращается в настоящего стяжателя, торгует, «зарабатывает». Озлобленный Толик теряет друзей, а ведь еще совсем недавно все любили его за доброту и покладистый характер. Внешне же жизнь его идет самым благополучным образом. Он старается лучше учиться и вести себя, чтобы тетя Рая в виде поощрения чаще опускала в копилку деньги. И в школе тоже ничего не замечают; его даже похвалили — в классной газете написали о том, что он собрал больше всех бумаги. Так вот, очевидно, и бывает: недосмотрели, не уследили, поручили мальчика заботам мешанки тети Раи и едва не испортили ему жизнь. Этот рассказ заставит каждого осмотреться вокруг — нет ли и рядом с ним такого Толика, которому надо помочь?

Той же проблеме исковерканной детской души посвятил свой рассказ «Бешеный мальчишка» В. Дудинцев («Комсомольская правда» от 2 декабря 1958 года). Но случай, о котором он рассказал, гораздо сложнее. Если к Круглому Толику беда пришла извне, духом стяжательства «заразила» его приезжая тетя Рая, то все плохое в герое В. Дудинцева воспитано в нем с раннего детства и идет к нему от отца. Если у Толика есть друзья, которые пусть самым примитивным способом — дракой, но все же попытаются вернуть его к честной жизни, то Алик у Дудинцева одинок, потому что он ставит себя выше всех и отталкивает всякие попытки помочь ему. Да и сама «болезнь» героя В. Дудинцева куда страшнее стяжательства Круглого Толика.

Алик как будто тихий, примерный мальчик. Он не носится с мальчишками по двору в «салочки» и «казаки-разбойники», не дерется, не бьет стеклом. Возможно, что он отличник в школе. Но за этой кажущейся «приличностью» скрывается равнодушный, высокомерный и трусливый человек. Алик с

методичной жестокостью, «забавы ради», преследует «общественного пса» Тобика. Спокойно выслушивает он замечания лифтерши и шофера дяди Саша, пытающихся вступить за собаку. Нет, Алик не возражает, не «огрызается», он просто обводит всех пристальным взглядом, от которого даже взрослым становится не по себе, и уходит, улыбаясь и не отвечая. И в этой молчаливой улыбке, в этом ясном, пристальном взгляде столько высокомерного презрения к простым людям, что невольно возникает вопрос: кто его воспитывает, этого Алика?

Отец Алика изображен В. Дудинцевым скупно, но достаточно выразительно. «Ходил отец Алика всегда четким шагом, голову держал высоко, как будто смотрел на второй этаж». Мы не знаем, каков он на службе, со своим начальством и подчиненными. Но вот деталь: разговаривая с шофером дядей Сашей, отец Алика смотрит на него ясным взглядом и, не дослушав, поворачивается и уходит. Так вот откуда у Алика его высокомерное презрение к людям. Образы Алика и его отца дополняют друг друга. Очевидно, у Алика есть и папино неуважение к «простому труду». И если Алик — трус, боится мальчишек, которые могут отомстить за Тобика, то, наверно, его папа боится начальства, тех, кто выше его по служебной лестнице.

Знаменательно, что незначительная, казалось бы, история с Тобиком сплывает жильцов нового дома, из которых многие едва знакомы друг с другом. В. Дудинцев показывает, что даже во дворе среди простых хороших людей существует общественное мнение, которое выше самой высоко поднятой головы и любого раздувшегося самомнения.

Несправедливость отца Алика к «общей» собаке вызывает дружный отпор. Соседи идут свидетелями против Алика, кто-то берет Тобика жить к себе, и в конце концов дядя Саша увозит его в Харьковскую область к своим родителям. Может быть, такая сплоченность всех живущих в доме людей, их презрение и заставят Алика задуматься над причинами своего одиночества и правильностью своего отношения к окружающим.

В нашей литературе, как и в жизни, уже были ситуации, когда дети всякого рода негодяев, взяточников, воров выступали против отцов, становились самыми яростными их врагами. Но ведь встречаются и

такие Алики и Толики, которых портит влияние взрослых. Кем может стать герой В. Дудинцева? Бездельником, бюрократам, подлецом? У него есть задатки для любого из этих «предназначений». Но Алику только одиннадцать лет, его еще можно освободить от вьезшихся в него папиных «принципов». Хорошо, что Р. Погодин и В. Дудинцев, каждый по-своему, обратились к этой сложной, требующей внимания теме.

Р. Погодин — молодой детский писатель. «Кирпичные острова» только вторая его книга. Поэтому особенно важно отметить, что он владеет трудным даром естественности повествования. Все поступки его героев органично вытекают из их характеров. Кешка по самым трудным вопросам (почему у него нет отца, выйдет ли мама замуж за Ивана Николаевича, можно ли ему самому уехать с Иваном Николаевичем) бежит советоваться с друзьями — и это нас не удивляет. Кешка так и должен поступить. У него открытый и очень общительный характер.

В своих рассказах Погодин нашел интересные детали ребячьей жизни, подслушал многие словечки мальчишечьего лексикона, и это наполнило книгу живой человеческой теплотой. Вот Мишка, Кешка и Толик попали в милицию. Мишка и Кешка могут идти домой, а Толик, которого задержали с выдровыми шкурками, должен остаться. И хотя Мишка и Кешка поссорились с Толиком, они волнуются за него. «— А с Толиком что будет? — спросил Кешка. — Неужели его... — Да если хотите, мы его во дворе на сто процентов отлупим. Он же ведь не гад какой... — пробасил Мишка. — Да мы ему!..» И в этой Мишкиной фразе выражено так много детского: и волнение за товарища, совершившего проступок, и стремление как-то оправдать его, и сознание его вины и даже необходимости возмездия.

Хотелось бы похвалить все в этой хорошей книге. Но один рассказ в ней вызывает возражения. Это «День рождения». Что вынесут из него ребята? Только пожалуют себя: вот, мол, какие мы несчастные; приходят на наш день рождения взрослые дяди и тети, сами играют в детскую игру, веселятся, а бедных детей (и даже виновника торжества!) выставляют на кухню. Бывает, конечно, и такое, но рассказ этот более поучителен для взрослых и не нужен в детской книге. И еще одна претензия — уже к издательству. «Для младшего возраста» — это, очевидно, для дошкольников. Книга

Р. Погодина в таком случае направлена не по адресу: она — для ребят постарше.

Может быть, кому-нибудь из строгих ревнителей непрерывного «педагогического воздействия» книга Р. Погодина и не понравится — ведь в ней нет ни одного рассказа о школе или пионерлагере, не «освящена роль» учителей и пионервожатых; детей никто как будто не воспитывает, они целые дни бегают по двору, предоставленные самим себе. Но это неверно. Автор достаточно ярко показал, как влияют на детей и ограниченные мешане вроде тети Раи, и прямые преступники вроде парня из рассказа «Жопилка». Но в воспитании детей, к счастью, участвуют и многие хорошие люди: и полковник Иван Николаевич, научивший Кешку петь, а не плакать, когда ему больно («Как я с ним познакомился», «По-

следний рассказ»), и учительница-пенсионерка Мария Алексеевна, два месяца бесплатно занимавшаяся с больным Симой («Сима из четвертого номера»), и шофер Василий Михайлович, совсем просто и необидно разоблачивший Мишкино хвастовство («Взрыв»), и Кешкина мама, выпустившая птиц «не по правилам» («Чпжи»), и старик моряк из рассказа «Кирпичные острова». Своей книгой автор словно говорит ребятам: посмотрите, сколько хороших взрослых людей вокруг, присмотритесь к ним, и вы многое поймете и многому научитесь. А взрослым он подсказывает: будьте внимательны, на вас смотрят десятки детских глаз, и каждый ваш поступок, каждое слово влияют на формирование человеческого характера.

В. ШВЕЙЦЕР.

★

### Васюковы и Рыжкин

Книжка, о которой пойдет речь, называется: «Кое-что о Васюковых». Васюковы... Васюкинцы... Васюки... Что-то очень знакомо. Ну, конечно, ведь это в Васюках Остап Бендер собирался провести межпланетный шахматный турнир. Помните, как он второй раз в жизни играл в шахматы, давал сеанс одновременной игры, как, сделав на всех двадцати досках классический ход e2—e4, гроссмейстер задумался в поисках следующего хода.

Один из рассказов рецензируемой книги так и называется: «Мы ищем ход...» Герои книжки, и особенно главный из них — папа, все время ищут ход в жизни, «но не такой ход, где все ходят, а такой, где мало ходят». Папа, как и Остап Бендер, — комбинатор, конечно, не Великий, но и не так чтоб уж очень мелкий. Папа все время что-то комбинирует, все время пытается кого-то перехитрить, но в результате всех своих хитроумных комбинаций он почему-то, как правило, оказывается в дураках. Это «почему-то», не всегда понятное маленькому Пете, от имени которого ведется повествование, создает один из главных комических эффектов.

Рассказы С. Шатрова по-настоящему комичны. Их нельзя читать без улыбки, без смеха, а иногда и без хохота. Этим, между прочим, они выгодно отличаются от

тех «юмористических» рассказов, в которых есть все, кроме юмора, и читая которые испытываешь неодолимую потребность зевать.

Итак, мы смеемся, слушая простодушные и лукавые рассказы Пети, устами которого говорит остроумный и умный автор.

Но образ Пети имеет не только служебное значение. Он нужен автору не только для того, чтобы читатель смеялся над его недоуменными вопросами, порой выводящими из себя вспыльчивого папу. Этот образ важен сам по себе. Читателю далеко не безынтересна судьба Пети: куда он пойдет? Каким путем пойдет? И папа, и мама, и тетя Настя хотят, чтобы Петя, так же как и они, искал в жизни «ход». Но очень часто мальчик поступает как раз наоборот. Родители хотят «устроить» его в музыкальную школу, а когда им говорят, что у мальчика нет никаких музыкальных способностей, они заявляют, что это козни учителя музыки. По-иному воспринимаем это Петя. «Вот это здорово! Я не одаренный!» — кричит он и чуть не начинает танцевать от радости. Ему хочется играть во дворе с мальчишками, прыгать и бегать, а его заставляют заниматься нелюбимым делом. И все это лишь потому, что, просматривая «Вечерку», папа прочел о том, как победителей конкурса музыкантов принимала бельгийская королева...

А вот папа и Петя перед Новым годом покупают в магазине игрушек Жар-птицу. Папа первым делом начал ругаться с про-

С. Шатров. Кое-что о Васюковых. Редактор В. Раковская. 144 стр. «Советский писатель». М. 1958.



давщицей Снегурочкой, обвинять ее в том, в чем она не виновна. «Ну идем, папочка, очень прошу тебя, идем, ну идем!..» — просит Петя и тянет отца из магазина.

Нет, Петя не пойдет папиной дорогой! С какой-то свойственной ему детской интуицией он лучше отца разбирается в том, «что такое хорошо и что такое плохо».

В отличие от него Васюковы-старшие обладают удивительной способностью принимать честных людей за бесчестных, а бесчестных — за честных. И дело здесь не только в том, что, как говорит поговорка, ожегшись на молоке, дуют на воду. Просто мыслительный аппарат Васюковых так устроен, что они не представляют, не могут представить себе людей искренних, бескорыстных. В каждом человеке они склонны видеть мошенника, они готовы залезть в чужую душу, лишь бы докопаться, почему он совершил добрый поступок, нет ли здесь какого-нибудь подвоха. Один из рассказов носит характерное название: «Мы залезаем в чужую душу...» Какой-то молодой человек помог папе донести со станции на дачу радиоприемник и отказался взять за это деньги. По сему поводу строятся разные догадки; тетя Настя в спешном порядке рассказывает очередную историю о каком-то жулике, и все сходятся на мысли, что странный молодой человек — вор. Правда, в ходе дискуссии сосед Васюковых, Рыжкин, высказывает предположение: «Может быть, он в самом деле без всяких задних мыслей хотел помочь вам?» Но этот аргумент тотчас отвергается дальновидным папой.

«— А кто он такой, чтобы помогать мне: сестра, брат или подчиненный подхалим?»

— Ну, просто так, — пытается возразить Рыжкин.

— Просто так и муха не садится на варенье, — нравоучительно заявляет папа, — просто так на свете ничего не бывает».

Больше всего не понимают Васюковы людей, которые действуют «просто так». Они готовы усмотреть в таком человеке проходимца, мошенника, жулика, совершающего какую-то хитроумную аферу, но допустить мысль, что человек делает что-нибудь «просто так», без всякой личной выгоды, — это уж извините! — сего Васюковы не понимают и понять не могут.

Интересен в этом отношении рассказ «Ах, этот тихоня Рыжкин...» Он и прост и сложен одновременно, как проста и сложна сама жизнь.

В этом рассказе продолжается спор между Васюковым и Рыжкиным. В беседе со своими ближними папа иронизирует над Рыжкиным: «Раньше он был инженером. А теперь стал конструктором игрушек. Он говорит, что на прежней работе он получал вдвое больше денег. А теперь решил бескорыстно отдать свой конструкторский талант детям, чтобы доставлять им радость!.. Ох, не верю я в это дело. Не верю я в этих Рыжкиных, которые ради чужих детей готовы ходить в бумажных брюках и тапочках на резиновом ходу. Не верю я в этих бессребреников!»

Опровергая это заявление, автор разоблачает Васюковых и утверждает правду Рыжкиных. Но делает он это не прямо, не в лоб, а как-то походя, незаметно подводит читателя к пониманию Васюковых и васюковщины.

Здесь, как почти и во всех остальных рассказах С. Шатрова, речь идет «как бы не о том». Автор, столкнув в своем произведении два диаметрально противоположных, два непримиримых характера, словно забывает о первоначальном намерении — проследить их борьбу. Непонятно, для чего он говорит о каких-то мелочах, каких-то пустяках, казалось бы совершенно не относящихся к делу: например, о том, что Пете очень хотелось иметь щенка, и о том, что щенок укусил почтальоншу и что пришел участковый, который потребовал с владельца собаки штраф. Папа заявил, что это не его собака! А Рыжкин, больше всех претерпевший от щенка, заплатил за него штраф.

Но какое отношение имеет эта собака и еще очень много, казалось бы, ненужных вещей к разрешению главного конфликта? Оказывается, имеют — и самое непосредственное.

«Собака — друг человека», — несколько раз повторяет Петя. И сам собою напрашивается вопрос: а человек, тот же папа, например, — друг собаки? Он, называющий себя гуманистом, кичащийся своим гуманизмом, на деле оказывается не только недругом собаки, но и недругом людей, ибо собственническая мораль, мораль, проповедующая личное благополучие за счет ближнего, — антигуманна, бесчеловечна! Но ничего этого папа не понял, не захотел понять.

«— Просто смех меня разбирает, — сказал папа, — когда я вспомню про этого тихоню Рыжкина. Здорово он напоролся на штраф».

И здесь мы подходим к проблеме положительного героя в нашей юмористике. Зачастую в сатирической литературе этот герой существует не сам по себе, а как нечто приданное отрицательному персонажу. Таков, кстати, старик Бедросов, такова учительница Пети, таков директор музыкальной школы. Они лишь возмущаются выходками Васюковых или смеются над ними. Ничего больше они не делают. Поэтому характеры их не выявлены, поэтому-то бледны их образы.

Иной Рыжкин. Этот тихий человек «в бумажных штанах и тапочках на резиновом ходу» немало страдает от соседства Васюковых. Ему пришлось не спать всю ночь, потому что Васюковы устроили своего щенка под его верандой. Он вынужден выслушивать бестактные сентенции папы о гуманизме. И его же, заступившегося за щенка, взявшего на себя чужую вину, упрекает участковый.

Пускай не всегда при чтении этого смешного рассказа хочется смеяться, пусть звучат здесь порой и грустные нотки, но оптимистичен главный вывод: «Как хорошо, что с нами на даче живет этот тихоня Рыжкин!» Это говорит Васюков-младший, Петя, которого отец, мать и тетя Настя всячески пытались настроить против Рыжкина.

...Не имея возможности разобрать все рассказы в отдельности, хочется только упомянуть лучшие из них: «Мы достаем «Темп». «Папа пишет прямо...», «Я начал врать», «Как мы хоронили Ляльку...». Читая эти рассказы, чувствуешь, что автор ведет постоянную, непримиримую борьбу со своими отрицательными героями. Излюб-

ленное его оружие не тяжелые сатирические заряды, а тонкая шпага, которой он очень искусно владеет. Мы уподобили бы его фехтовальщику, который, совершая легкие изящные выпады, то и дело наносит своим противникам меткие, точно рассчитанные уколы.

К сожалению, не все рассказы могут соперничать с названными выше по своим художественным достоинствам. Взять, к примеру, рассказ «К нам приходят гости...» Он построен по избитой «крокодильской» схеме. К Васюковым приходит в гости начальник папы — Ваганьков. Для него уставляют весь стол пирогами, все стараются угодить ему, подхалимничают перед ним. Но потом выясняется, что Ваганьков больше не начальник папы, что его переводят в другое место. Когда в следующий раз Ваганьков приходит к Васюковым, его встречают очень недружелюбно. Но оказывается, что Ваганькова не понизили, а повысили, и он стал еще большим начальником. Так дважды был посрамлен папа.

Но ведь все это было, обо всем этом мы читали уже не раз! И лишь стоило автору обратиться к пройденному, начать перепевы с чужого голоса, как ему тотчас изменяет и вкус и талант и из страстного борца против пошлости и мешанства он превращается в мелкого обличителя, к тому же не всегда очень остроумного.

Только постоянные поиски новых ситуаций, новых конфликтов, новых героев могут привести к творческим находкам. Об этом еще раз свидетельствуют достоинства и недостатки талантливой книги С. Шатрова.

Б. ГОЛЬДБЕРГ,

★

## Дыхание революции

Время действия — годы становления первого социалистического государства, годы героической борьбы народов за укрепление Советской власти. Место действия — Петроград, Дон, Украина, Поволжье. Там, где схватка с контрреволюцией была особенно остра; там, где лилась кровь коммунистов, рабочих, крестьян за землю, за волю, за свободный труд, — там и происходит действие тех восьми драм, революционных хроник, народных трагедий, которые составляют содержание сборника «Первые

советские пьесы». И если спросить, в чем сила этих произведений, то, пожалуй, самым кратким и правильным будет ответ: «В связи с жизнью».

Да, пьесы, написанные в далекие для большинства нынешних читателей годы, волнуют и захватывают именно тем, что в них бьется пульс тревожной и боевой жизни, тем, что их авторы не просто знали то, о чем они писали, а жили и сражались рука об руку со своими героями. Не только идеалы, но и дела были общие у тех, кто воевал за революцию, и у тех, кто писал о том, как в грохоте боев, в дыму пожарищ, под пытками белогвардейцев защитники

**Первые советские пьесы. Составитель и редактор В. Пименов. 498 стр. «Искусство». М. 1958.**

республики рабочих и крестьян побеждали в своем святом и правом деле.

Опубликованные ныне пьесы, давно ставшие библиографической редкостью, неравноценны по своим художественным качествам, но даже маленькая агитка «За красные Советы», написанная солдатом, участником штурма Зимнего дворца, Павлом Арским, несет большую идею народной правды и справедливости. Одноактная миниатюра — не безделка. При всей ее наивности, при всей плакатной прямолинейности ее языка и событий, она полна пафоса борьбы за коммунизм, зовет к мщению и ненависти во имя гуманизма, во имя любви к трудовому человеку.

Пьеса жива театром. Художественное и воспитательное значение драматического произведения тем выше, чем непосредственнее и сильнее воздействует оно на аудиторию, на массы зрителей. Революционный театр, рождавшийся в огне гражданской войны, широко использовал самые прогрессивные творения классической литературы. Но этого было мало, жизнь требовала сегодняшнего, злободневного, прямо отвечающего актуальнейшим задачам строительства новой жизни, создания регулярных частей Красной Армии, искоренения предрассудков и суеверий. И тогдашняя драматургия — быть может, порой в ущерб эстетическим качествам, но всегда честно и своевременно — откликалась на требования жизни. Зритель тех лет многое прощал автору за то, что тот пусть еще в несовершенной форме, но отвечал на самые главные вопросы его бытия и его мышления.

Среди первых советских пьес «Марьяна» А. Серафимовича по праву занимает главное место. Этой четырехактной пьесой и открывается сборник. Героиня выписана автором с большой любовью и знанием души простой и сильной русской женщины. Она немногословна и сдержанна. Свекровь готова растерзать ее за то, что не видит слез Марьяны по муже, пропавшем без вести на германском фронте. Но когда этот муж появляется, когда перед Марьяной оказывается красивый человек с кулацкой душонкой, вот тогда понимает она, что любовь ее к храброму и человечному Павлу, красноармейцу, — настоящая, на всю жизнь. И она — забитая, унижаемая, неграмотная крестьянка, лишь чутьем угадывающая, где правда, — уходит из своего дома искать свою любовь, искать новую

жизнь. И она найдет ее во что бы то ни стало! В этом смысл пьесы Серафимовича, и можно себе представить, как заразителен и нагляден был пример Марьяны для многих и многих ее подруг, сидевших в зрительных залах, подруг из сотен русских деревень. Суровое и мужественное искусство автора «Железного потока», сочный язык его придали «Марьяне» живые черты, характерные для того времени. Потому эта вещь и сегодня дорога нам и поучительна.

Пьеса «Красная правда» написана старым революционером, бывшим командиром Красной Армии А. Вермишевым. Огромная организационная деятельность революционного народа, руководимого Коммунистической партией, работа по созданию дисциплинированной и могучей армии — защитницы завоеваний Октября, по созданию кадров советских командиров, владеющих практикой и теорией военного искусства, — показана на одном, но необыкновенно ярком примере борьбы маленького отряда красных за Советскую власть осенью 1919 года...

Мысль о необходимости учебы, высказанная в «Красной правде», не раз впоследствии поднималась в советской литературе. Вспомним хотя бы «Фронт» Корнейчука. Ведь и в годы Великой Отечественной войны некоторые думали, что в наше время можно воевать по старинке, не зная новейших достижений науки, «выезжая» на одном энтузиазме... И эта преемственность идей и целей драматургии двух войн — победных войн советского народа — чрезвычайно показательна.

Напряженное развитие фабулы драмы «Подполье», автором которой является И. Козлов — старый партийный работник, прославившийся впоследствии книгой «В крымском подполье», и революционной хроники драматурга С. Минина «Город в кольце» заставляет читателя залпом проглотить эти пьесы. Они захватывают не только тем, что в них точно и ярко передана обстановка того времени (1918—1919 годы), но и бесстрашием, изобретательностью, верностью героев своему долгу. Извечная коллизия — «любовь и долг» — находит в «Подполье» простое и ясное разрешение, убедительное в своей жизненной правдивости: герои, полюбившие друг друга в пылу битвы, не могли и не хотели оставить поле боя ради личного счастья; они бы и не испытали его, уйдя от революции в сторонку. Любовь возможна как

высшее счастье лишь при сознании честно и до конца выполненного долга. Она неотделима от любви к Родине, к народу.

Такой любовью к Родине, к народу проникнуты и страницы пьесы «Город в кольце» Минина. Достаточно прочесть монолог члена Реввоенсовета Отдельной Красной Армии Снегова (думается, что он очень хорошо прозвучал бы со сцены и в наши дни), чтобы понять, как глубоко и сильно может быть чувство человека, который всю свою жизнь отдает на службу революции.

Благодатное, очищающее дыхание революции пронизывает весь сборник «Первые советские пьесы». Оно ощущается и в такой сугубо «деревенской» драме Александра Неверова, как «Захарова смерть», и в «театральном представлении в пяти действиях» Вячеслава Голичникова «Товарищ Семивзводный».

Революция призывает интеллигенцию служить народу, и «Товарищ Семивзводный» рассказывает нам об этом в форме необыкновенно увлекательной: читателю (а может, и зрителю, если эту пьесу поставит сейчас какой-нибудь режиссер) все время интересно знать, «что будет дальше» с ге-

роем, симпатичным нам всем своим внутренним обликом. Книжник, ученый, историк древней китайской культуры, посвятивший себя старым фолиантам и манускриптам, он «нечаянно» оказывается среди красноармейцев и, как человек честный, мыслящий и справедливый, очень скоро убеждается, что правда — здесь. И тогда он, глубоко штатский человек, путающий понятия «семизарядный» и «семивзводный» (отсюда и его странное, в насмешку данное прозвище), начинает воевать. Он становится командиром огромной военной храбрости, дерзости и целеустремленности. И его обаяние так велико и понятно, что даже несколько неожиданный и не совсем мотивированный «счастливый конец» — герой выходит живым из почти безвыходной ситуации — радуется, ибо от души желаешь всяческого счастья полюбившемуся герою...

Сила воли, жизненная достоверность характеров народных героев, их моральная высота придают этой и другим пьесам сборника ту идейную общность и цельность, которые и позволили объединить их в одном издании.

Анна ИЛУПИНА.

★

## Радищев и его гарвардский комментатор

В издании Гарвардского университета (США) вышло «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Это первый полный перевод «Путешествия» на английский язык. Читатели в США и в Англии сумеют теперь ознакомиться с наиболее выдающимся памятником русской литературы и русской революционной мысли XVIII века. Адекватная передача сложного по содержанию и языковой структуре произведения Радищева средствами другого языка — всегда трудная задача. Достижения и неудачи английского переводчика должны, очевидно, стать темой специального рассмотрения наших филологов.

Этот вклад в дело международных куль-

турных связей следовало бы приветствовать, если бы комментарии, которыми американские слависты сопроводили свой перевод «Путешествия», не вызвали резкого протеста у каждого, кто занимается русской культурой XVIII века и Радищевым. Претендующее на научное значение издание американского университета открывается утверждением, что Радищев не революционер.

В предисловии, принадлежащем перу профессора Р. П. Талера, читаем: «Радищев... равно осуждал деспотизм царя, тиранию помещиков и насилия крестьян. Он не хотел революции. Он хотел сделать революцию ненужной. Он хотел реформ и хотел, чтобы они были произведены своевременно».

Комментатор, который задается целью внушить читателю ложное представление о комментируемом тексте, всегда рискует попасть в просак. Читатель может не поверить на слово, обратиться сам к тексту и «прокомментировать комментатора».

В самом деле, как относится автор «Путешествия из Петербурга в Москву» к «насилиям крестьян», иными словами — к

**Radishchev Aleksandr Nikolaevich. A Journey from St. Petersburg to Moscow. Translation by Leo Wiener. Edited with an Introduction and Notes by Roderick Page Thaler. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. 1958. 286 pp. (Радищев Александр Николаевич. Путешествие из Петербурга в Москву. Перевод Лео Винера. Редакция, вступление и комментарии Родерика Пейдж Талера. Гарвард Юниверсити Пресс. Кембридж. Массачузетс. 1958. 286 стр.).**

применению крепостными крестьянами силы против своих угнетателей?

В главе «Зайцово» Радищев описывает и подробно анализирует убийство крестьянами четырех помещиков (ассессора и троих его взрослых сыновей), жестоко угнетавших своих крепостных.

Послушаем Радищева (рассуждение дано от имени близкого друга автора, пользующегося полным его сочувствием):

«Рассматривая сие дело, я не находил достаточной и убедительной причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего, были смертоубийцы. Но смертоубийство сие не было ли принужденно? Не причиной ли оногo сам убитый ассессор? Если в арифметике из двух данных чисел третье следует непрекословно, то и в сем происшествии следствие было необходимо. Невинность убийц, для меня по крайней мере, была математическая ясность. Если, идущу мне, нападет на меня злодей и, вознесши над головою моею кинжал, воззовет меня им пронзить, — убийцею ли я почтуса, если я предупреджу его в его злодеянии и бездыханного его к ногам моим повергну?.. Крестьяне, убившие зверского ассессора, в законе обвинения не имеют. Сердце мое их оправдает, опираясь на доводах рассудка, и смерть ассессора, хотя насильственная, есть правильна».

Радищев решает вопрос о юридической и моральной ответственности взявшихся за оружие крестьян с позиции «естественного права», характерной для него как для социолога-просветителя. Мысль свою он выражает с предельной ясностью. Он рассматривает гнет эксплуатирующего класса как преступное насилие; сопротивление же угнетенного и эксплуатируемого класса — как действия в состоянии обороны, не подлежащие осуждению.

Так обстоит дело с утверждением профессора Талера, что Радищев «равно осуждал тиранию помещиков и насилия крестьян».

На следующее утверждение комментатора, что Радищев «не хотел революции», отвечает ода Радищева «Вольность», введенная им, как известно, в сокращенном виде в состав «Путешествия» в главе «Тверь». В этой оде Радищев с нескрываемым энтузиазмом рисует антимонархическую народную революцию, в ходе которой царя лишают престола и затем казнят по приговору народного судилища. Профессор Талер спешит пояснить, что

Радищев в «Вольности» изобразил «дурного царя, который злоупотреблял своей властью». Это пояснение, однако, нисколько не выручает гарвардского комментатора. Всякий внимательный читатель «Путешествия» знает, что в книге речь идет об абсолютной монархии, где злоупотребление властью со стороны монарха и правящей дворянско-помещичьей верхушки составляет основу и главный принцип их господства. Злоупотребления казенного монарха в «Вольности» ни в чем не превышают злоупотреблений монарха из сатирического сна в «Спасской Полести» — другой главе «Путешествия», — в лице которого Радищев вывел Екатерину II. Что касается теоретической стороны вопроса, то Радищев, как революционер-просветитель XVIII века, стоит на почве договорной теории государства и считает, что нарушение договора со стороны монарха дает народу право на сопротивление вплоть до насильственного ниспровержения монархической власти, то есть на революцию. Радищев не стремится во что бы то ни стало к кровопролитию. Он не пренебрегает тем, чтобы воззвать к разуму и гуманным чувствам помещиков, он уговаривает их ослабить крепостной гнет. В главе «Хотиллов» он набрасывает план реформы, имеющей целью уничтожение крепостного права. Однако Радищев не скрывает от читателя, что не видит реальной силы, которая могла бы претворить в жизнь подобную реформу, что эксплуататоры закоснели в классовом эгоизме и тиранинстве. Таким образом остается в силе революционная установка книги, гласящая, что свободы крестьян следует ожидать «от самой тяжести порабощения».

Радищев считает, что накаленная вражда народа к помещикам и царским чиновникам может привести к полному физическому истреблению дворянства восставшими крестьянами. Но и такая перспектива не мешает ему быть уверенным в закономерности и созидательных целях революции. В главе «Городня» он пишет:

«О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровию нашу обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены».

Вот как в действительности обстоит дело с взглядом Радищева на революцию.

Страх современной буржуазной мысли перед идеей революции так велик, что капиталистические ученые, вопреки логике и фактам, стараются обрядить в реформистов даже деятелей антифеодальной революции, положивших начало буржуазному обществу. Профессор Талер не останавливается перед тем, чтобы выразить сожаление, что автор «Путешествия» «не смягчает свою сатиру разумной добротой, не проявляет готовности отнестись терпимо к недостаткам других людей». Нужно думать, что гнет Георга III и кабинета лорда Норса причинял американским колонистам меньше страданий, чем гнет самодержавно-помещичьей империи Екатерины II русскому крестьянству. Однако Вашингтон, Франклин и Джефферсон призвали американский народ подняться на революционную войну. Если бы они следовали рецептам профессора Талера, вероятно, американцы, включая преподавательский состав Гарвардского университета, оставались бы по сей день под властью английской короны.

Ту же цель умаления революционной роли «Путешествия» преследует заявление Талера, что книга Радищева «в известной мере антиклерикальна, но ни в коей мере не антирелигиозна».

Радищев деист, это ясно из содержания «Путешествия», но он последовательно и целеустремленно ведет в книге борьбу с церковью и религией как духовной опорой и союзником старого, феодального порядка. Достаточно сослаться на девятую строфу «Вольности» в той форме, в какой она вошла в «Путешествие»:

«...Суеверие священное и политическое,  
подкрепляя друг друга,

Союзно общество гнетут.  
Одно сковать рассудок тщится,  
Другое волю стертъ стремится;  
«На пользу общую», — рекут.

Некоторые высказывания комментатора заставляют серьезно задуматься над тем, насколько он вообще ориентируется в фактах русской культуры и литературы XVIII века, о которых столь смело берется

судить. Так, сравнивая Радищева с Державиным, он пишет: «Подобно Державину, он (Радищев.— А. С.) любит писать оды. Так же, как и у Державина, в нем нет придворного низкопоклонства...» Любой школьник в Советском Союзе может разъяснить профессору Талеру, что проводимое им отождествление ни на чем не основано, что в «Фелице» Державина содержится льстивая похвала Екатерине II, а в «Вольности» Радищева — призыв к антимонархической революции.

Несколько слов об издательском оформлении этого американского издания «Путешествия». На корешке книги значится: «Талер. Путешествие Радищева в Москву (?!). Гарвард». В отдельных, не столь частых случаях, когда исследователь вносит особо важный вклад в прочтение или истолкование публикуемого текста, его имя тесно связывается с этим текстом. Однако никакого текстологического значения это американское издание «Путешествия» не имеет. В нем не учтены даже разработанные советскими учеными основные варианты текста Радищева. Что до истолкования книги Радищева, то, как показано выше, оно ложно и способно лишь внести путаницу в умы читателей. Так что «талеровским» это издание может называться лишь в порядке резкого осуждения. И еще одно замечание. Вслед за титульным листом книги идет чистый лист с посвящением: «Моему отцу и моей матери». Поскольку Радищев, как известно, посвятил «Путешествие» своему другу Алексею Михайловичу Кутузову, это посвящение, очевидно, сделано комментатором. Нельзя не указать, что даже при самом либеральном взгляде на порядок издания литературных памятников, посвящение «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева родителям профессора Талера — нелепо и смехотворно.

В заключение следует выразить надежду, что вдумчивый читатель в США и в Англии, серьезно интересующийся русской культурой, сумеет извлечь пользу и удовольствие из великой книги Радищева, невзирая на неуклюжую возню комментаторов.

А. СТАРЦЕВ.

## Поэт испанской земли

Уже много лет идут ожесточенные споры вокруг проблемы назначения художника, влияния общественной жизни и общественной борьбы на его творчество. В последние годы споры эти — особенно за рубежом — вспыхнули с новой силой. Эстетствующие критики, сторонники «чистого искусства», вновь и вновь пытаются уверить читателей, что поэт черпает свое вдохновение лишь в своем внутреннем мире, что он «независим» от социальной борьбы своего народа. Однако реальный литературный процесс, реальная история литературы наглядно свидетельствует о том, что только те художники, которые в своем творчестве наиболее полно отразили черты своего времени и социальной борьбы, кипевшей вокруг них, находят отклик в сердцах современников и остаются жить в памяти последующих поколений. Именно таким поэтом и был Антонио Мачадо.

Поэзия Антонио Мачадо неразрывно связана с жизнью народа. Поэт и гражданин, Мачадо черпал вдохновение в народе, в великом прошлом своей родины. Умный и задушевный, гневный и добрый, великий и вместе с тем простой, как сама душа испанского народа, он отдал свою жизнь за лучшее будущее отчизны, и даже в самые тяжелые минуты пресловутая «башня из слоновой кости» не была его убежищем.

Советский читатель благодаря выходу в свет сборника стихов А. Мачадо сможет ознакомиться теперь с творчеством этого замечательного испанского поэта.

Переводчики Ф. Кельин, И. Тынянова, О. Савич, М. Самаева бережно и любовно отнеслись к творчеству А. Мачадо. И это помогло им тонко, проникновенно передать лирическую задушевность и гражданский пафос его поэзии, всю непосредственность и своеобразие его песенного стиха.

Антонио Мачадо принадлежал к тому поколению испанских литераторов, которые явились современниками и очевидцами бурных политических событий, гражданская биография которых началась колониальной катастрофой 1898 года. Поражение в испано-американской войне у одних вызвало страх, заставило уйти от действительности, замкнуться в себе, сделало мотив

обреченности и безнадежности главным в их творчестве, другие — в ком силен был дух критики, кто любил Испанию и ее народ — искали выхода. Искал его и Мачадо. Но совсем не легко и далеко не сразу удалось ему определить свой путь в литературе.

«Одиночество» — так поэт назвал свой первый сборник, где он сумел с большой силой и искренностью рассказать о трагедии человека, который видит «мертвые города среди развалин», упадок и нищету своей страны, но не знает еще, как спасти отечество. Поэтому стихи его проникнуты грустью, тоской по лучшей жизни.

Неправда, боль, тебя я понимаю:  
ты вся — тоска души по жизни лучшей  
и одинокость сумрачного сердца,  
слепого корабля без звезд и бури.

(Перевод М. Самаева)

Но Мачадо не замыкается в себе, не ищет уединения, он страдает вместе со своим народом. Грусть поэта озарена светом надежды, певцом которой его называли уже в ту пору.

Жизнелюб и гуманист, он не мог поддаться отчаянию. Он хотел видеть людей счастливыми, мечтал о том времени, когда будет «под солнцем безоблачных дней прекрасна земля Испании».

Очень скоро поэт понял, что возрождения страны нужно ждать только от народа, что ему не по пути с «тупыми брезгливцами, заражающими землю собственной скверною». Он не может примириться с пессимистической, безысходной и себялюбивой поэзией испанских модернистов.

Стремление ближе узнать народ, понять его мысли, чаяния, надежды, быть ближе к природе побудило Мачадо покинуть Мадрид и поселиться в провинции Сория. «Пять лет, проведенных мною в Сории, — писал поэт, — для меня священны... они открыли моим глазам и моему сердцу «настоящее лицо Кастилии».

...Теперь другую родину нашел я  
В краю, где извивается Дуэро,  
Меж серых скал и призрачно-далеких  
Дубовых рощ, в Кастилии прекрасной,  
Кастилии мистической и гордой,  
Кастилии заносчивой и смелой.

(Перевод И. Тыняновой)

**Антонио Мачадо. Избранное. Перевод с испанского. Составитель и редактор А. Големба. 216 стр. Гослитиздат. М. 1958.**

Так рождается второй сборник Мачадо — «Поля Кастилии».

Стихотворение «Портрет», которым открывается цикл,— как бы «сердечный монолог» поэта, в котором он продолжает поиски своего литературного «я», ищет «свой голос» в поэзии, ставит на первое место вопрос о содержании и общественном звучании произведения.

Романтик, классик я? не знаю: мне лишь важно,  
Чтоб стих остался мой, как меч вождя, бойца,  
Прославленный рукой, владевшей им  
отважно,  
Не только мастерством артиста-кузнеца.

(Перевод Ф. Кельина)

Желание сделать свой стих оружием в борьбе за справедливость — вот что характерно для творчества зрелого Мачадо. Мачадо уже не размышляет в одиночестве, он мысленно разговаривает с людьми, «в беседе превратил сердечный монолог». Поэт все чаще обращается к простому человеку-труженику, к своему «не случайному спутнику», его трудам и заботам.

Безрадостная жизнь народа вызывает в душе Мачадо возмущение, протест. Поэт понимает, что необходимы перемены, иначе жизни нет.

О, Родина! Ты ждешь уже давно,  
Чтоб лемех по тебе прошелся бороздою.  
(Перевод Ф. Кельина)

Но Мачадо понимает, что лучшее «завтра» Испании можно завоевать только в борьбе. Об этом он говорит в «Переходящем завтра»:

Но другая Испания к нам приближается,  
Грозной палицы и резаца,  
Вечно юной Испания эта рождается  
Из былого величия народа-творца.  
(Перевод Ф. Кельина)

и в стихотворении «Из моего угла»:

Наступила пора искупить вековые грехи,  
Взять огонь и топор и войти в новый день,  
как в сраженье:  
Чуть заря уж близка, возвещают ее петухи!  
(Перевод Ф. Кельина)

и во многих других.

Мачадо обрушивается на тех, кто мешает возродиться былому величию родины. Стихотворение «Плач по добродетелям и строфы на смерть дона Гидо» — блестящая сатира на чудовищную пустоту и безнравственность испанского дворянства, отжившего свой век и уходящего в прошлое.

О, конец испанской знати!  
Вот дон Гидо на кровати  
с жидкой бороденкой,  
грубый саван — тоже спесь;  
кукла куклой, чином чин,  
вот он весь —  
андалузский дворянин.

(Перевод О. Савича)

Но если для того, чтобы расправиться с умирающим дворянством достаточно было сатирической эпиграфии на его могиле, то в борьбе с кровавым божеством капиталистического стяжательства, жадности и корыстолюбия Мачадо пользуется трагическими красками. Он с возмущением пишет о том, как калечит человека погоня за богатством, как глетворно воздействие денег, способных убить в человеке самые священные чувства. Этой теме посвящено одно из его лучших произведений — эпический романс «Земля Альваргонсалеса». Романс, глубоко народный по форме и содержанию, явился примером того, как поэт должен использовать и развивать лучшие фольклорные традиции.

Мачадо все чаще и чаще обращается к песенным сокровищам Испании, к ее поэтическому творчеству. Он стремится овладеть новыми фольклорными формами: от эпического романса переходит к песне («Песни верховьев Дуэро», «Песни», «Старые песни» и т. д.). Его творчество проникнуто духом народной поэзии: романсов и коллас. Он проявляется в свободе и естественности, в богатстве и проникновенности интонаций, в частом использовании ассонансов вместо рифм, в специфических размерах и ритмах.

Автор рисует картины природы своей нищей, суровой, гордой родины. И если в ранний период в его поэзии преобладают яркие краски андалузских пейзажей, как бы подернутых дымкой светлой печали непонятого человека, одинокого и оскорбленного, то в сборнике «Поля Кастилии» перед нами проходят образы простых и мужественных тружеников, не теряющих веру в лучшее будущее, встают картины суровой кастильской природы, картины, полные трагизма.

Успехи народного движения в начале двадцатых годов в Испании вызывают прилив творческих сил у поэта, наполняют его желанием «помочь рождению нового дня». Мачадо уже видит новую Испанию, ту,

что желает  
Встать, воскреснуть. Испания эта подняться  
спешит.  
Нет, не ей леденеть с той Испанией, что  
умирает.



Нет, не ей задыхаться с Испанией той, что  
зевает да спит.  
(Перевод Ф. Кельина)

После переворота в 1923 году, приведшего к диктатуре Примо де Ривера, прогрессивные деятели подвергаются репрессиям, революционные выступления жестоко подавляются. Узнав о кровавой расправе над горняками Астурии в 1934 году, Мачадо публикует открытое письмо, обличающее правительство. Так поэт включается в активную политическую борьбу.

Мачадо, который ненавидел и проклинал войну, для которого «война — позор и зло», приветствует справедливую борьбу своего народа с угнетателями. Во время боев с фашистами поэт-патриот вместе с другими республиканцами остается в осажденном Мадриде. В 1936—1939 годах он создает ряд стихотворений, образующих особый цикл.

Стихи военных лет — это гимн свободе, это страстный протест против злодеяний фашистских варваров, которые несут смерть и страдания простому испанцу, издеваются над испанской культурой, уничтожают лучших ее представителей. Взволнованно приветствует поэт борцов с фалангистами, стремится вдохновить защитников республики. В сонете «Листеру», обращаясь к легендарному генералу-антифашисту, он пишет:

О, если враг перо мое сравнит  
С твоею саблей, я умру довольный...  
(Перевод О. Румера)

В годы гражданской войны Мачадо с особым вниманием следит за событиями, происходящими в СССР, ибо видит в стране социализма осуществление своих давнишних идеалов. В стихотворении «Россия, благородная Россия» с чувством глубокой признательности он говорит о Советском Союзе, протянувшем в тяжелое время руку помощи испанскому народу.

От гор к горе и от реки к реке  
Испании ты слышишь голос.

Раскат грозы военной покрывая,  
Гремя от моря и до моря,  
Он говорит тебе:

Сестра!

(Перевод Ф. Кельина)

В борьбе с фашизмом Мачадо до конца остается вместе со своим народом. Лишь с последними частями республиканской армии он покинул родину. Но недолго прожил поэт на чужбине: в феврале 1939 года он скончался.

Антонио Мачадо оказал огромное влияние на испанскую литературу и воспитал целую плеяду поэтов. Великолепный художник-реалист, борец против фашизма, против реакции и войны, поэт-гуманист, Антонио Мачадо — вместе с нами в нашей сегодняшней борьбе за светлое будущее человечества.

Скина ВАФ.

★

## Политика и наука

### Славные большевички

Читаешь эту книгу, и далекое, но забываемое яркое революционное прошлое встает перед глазами. Книга повествует о жизненном пути лучших дочерей нашей Родины, которые отдали весь пламень своего большого сердца, а подчас и жизнь, великому делу освобождения народа.

В сборник включены биографии двадцати славных революционерок. Имена одних давно и широко известны и почитаемы в нашей стране, имена других известны зна-

чительно менее. Но и они внесли свой вклад в благородное дело освобождения рабочего класса. Читатель получает о них ряд новых сведений, бережно собранных в архивах, а также основанных на воспоминаниях старых большевиков. В этом мы видим особую ценность сборника.

Книга открывается очерками об Анне Ильиничне и Марии Ильиничне Ульяновых, о ближайшем друге, соратнике и жене В. И. Ленина — Надежде Константиновне Крупской.

Целая плеяда большевичек, таких, как Р. С. Землячка, Л. Н. Сталь, М. М. Эссен, Инеса Арманд, К. Н. Самойлова и другие,

**Славные большевички.** Сборник подготовлен Е. Д. Стасовой, Ц. С. Бобровской (Зелинсон) и А. М. Иткиной. Редактор В. Игнатьева. 323 стр. Госполитиздат. М. 1958.

первые шаги по революционному пути делала под непосредственным руководством Ленина. Это было в те годы, когда начала складываться партия большевиков. «Беседы с Лениным,— вспоминает М. М. Эссен,— его исключительно внимательное отношение к членам партии, его умение всесторонне исчерпать весь круг вопросов, связанных как с теорией марксизма, так и практикой революционной борьбы, крепко нас вооружили. Эти беседы для нас, рядовых членов партии, были настоящей марксистской школой».

Целясь своими воспоминаниями о замечательной большевичке Прасковье Францевне Куделли, М. Эссен, между прочим, пишет: «Здесь, в школе, произошли первые встречи Прасковьи Францевны с Надеждой Константиновной Крупской и с Лидией Михайловной Книпович, работавшими там же. Однажды Надежда Константиновна Крупская предупредила Куделли о том, что ее занятия хочет посетить один товарищ, который намерен у нее «поучиться». Фамилию товарища Надежда Константиновна не назвала. И действительно, на занятия пришел какой-то человек среднего роста с лысиной. Он побыл минут двадцать. Позже Прасковья Францевна спросила Крупскую, какое мнение о ее занятиях вынес товарищ и кто он такой. Надежда Константиновна сказала ей, что это был Владимир Ильич Ульянов, а о занятиях ее он отозвался так: «Начало правильно, экономика была, и классы были, а затем как ударились в эпизоды революции, то забыла о марксистском анализе событий». Эту оценку занятий, данную Владимиром Ильичем, П. Ф. Куделли запомнила на всю жизнь».

В книге приводятся выдержки из писем Ленина к Землячке. Они относятся к периоду подготовки III съезда партии: «На днях получил также протоколы северной конференции. Ура! Вы работали великолепно, и Вас... можно поздравить с громадным успехом»... «Вашу громадную работу по завоеванию 15 комитетов и организации трех конференций мы ценим чрезвычайно».

Ленинское слово окрыляло молодых большевичек, звало на новые подвиги.

Мужественные женщины-революционерки доставляли немало хлопот царской охранке.

«Варенцова Ольга Афанасьевна,— говорилось в донесении департамента полиции,—...выдержанная, уравновешенная натура; заядлая социал-демократка искровско-

го толка. Переселившись в Ярославль и вступив в местный социал-демократический комитет, она явилась агентом «Северного Союза», участвуя на съездах деятелей оно-го, а равно в выработке программы и устава его. Лично ведет постоянную пропаганду среди рабочих...»

Замечательным подпольщиком была Лидия Михайловна Книпович. Особенно ценным было ее знание людей и конспиративная выдержка в годы реакции. Охранное отделение так характеризовало Книпович после ее ареста в 1911 году: «Уполномоченная от ЦК партии, ведет переписку с ЦК и большевистской группой. Хранит деньги, присылаемые от ЦК партии для профессиональных работников партии. Крайне активный работник партии. Исполняет все крайне конспиративные поручения».

С 1905 года со страниц полицейского архива не сходит имя Клавдии Ивановны Кирсановой. Когда ей было семнадцать лет, она стала помощницей Я. М. Свердловва по руководству Военной организацией Пермского комитета. Она сумела установить связь с солдатами гарнизона, охранявшего тюрьму, организовала несколько войсковых ячеек, изыскивала средства на покупку литературы, выполняла и другие партийные поручения. Вот как характеризует Кирсанову товарищ Одинокоев, арестованный вместе с ней: «Кирсанова пришла в тюрьму уже не первый раз. Она была очень молода, да не по летам серьезна. А главное — боевая и энергичная. Она обладала необыкновенными организаторскими способностями и была неизменным исполнителем всех тюремных комбинаций: через нее шла передача всех новостей с воли и сообщений внутри, из старого и нового корпусов на башню, в больницу и обратно. Все важные письма и записки шли через Кирсанову, и никогда не было случая провала. Это знала вся тюрьма, знала и администрация. Поэтому за Кирсановой особенно строго следили. Однако ее ничто не могло остановить и помешать ей».

Нелегко был путь стойкой большевички Людмилы Николаевны Сталь — видного деятеля международного рабочего движения. Тюрьмы, заключение в Петропавловской крепости, ссылки, побег... Спасаясь от каторги, Людмила Сталь вынуждена была уехать за границу. В Париже она работала как организатор и пропагандист в русской секции большевиков и во фран-

цузской социалистической партии, много делала для укрепления международного женского движения. Когда началась первая мировая война, Людмила Сталь создала из французских социалисток «Группу борьбы за мир и против шовинизма». Вспоминая о нелегальных собраниях и прокламациях против империалистической войны, Л. Сталь писала: «Мы распространяли эти прокламации совсем на русский манер. В окрестностях Парижа, ночью, мы шли по темным улочкам рабочих кварталов и опускали листовки в почтовые ящики, расклеивали их по заборам... Несмотря на преследования, запрещение собраний и митингов, мы с каждым днем становились сильнее, завоевывали все больше сторонников среди членов профсоюзов... Усилилось движение против войны». В 1915 году Людмила Сталь вместе с Кларой Цеткин, Н. К. Крупской и Инесой Арманд участвовала в подготовке и проведении Международной женской конференции в Берне.

Русские большевички, находившиеся за границей, наряду с другими делами осуществляли важнейшую и хлопотливейшую работу по налаживанию связи с революционерами в России, в частности по пересылке нелегальных изданий. Немалую роль в этом деле играла Вера Михайловна Величкина (переводчица на русский язык «Критики Готской программы» К. Маркса и целого ряда других произведений). Часто партийная литература отправлялась заделанной во всевозможные альбомы, картины и всякого рода художественные изделия. Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (муж Веры Михайловны) вспоминает: «Объезжая в начале 1905 года Россию в качестве нелегального по поручению нашей партии, я в Харькове, в одной сочувствовавшей семье, где мне устроили приют, узнал, что только несколько дней тому на-

зад получены из-за границы изящно сделанные, наклеенные на богатые паспарту картины Беклина, изображенные трехцветной прекрасной печатью.

Хозяин и хозяйка терялись в догадках, не зная, кто прислал им такой прекрасный подарок. Я попросил посмотреть эти картины... и тотчас же догадался, что это из Женевы из нашего транспортного отделения... Запер двери кабинета, безжалостно взрезал паспарту, по возможности очистил верхний слой бумаги и погрузил всю эту массу в воду. Минут через пятнадцать вся масса пропиталась водой, и я легко стал снимать лист за листом и раскладывать эти книжные новинки по всему пространству обширного кабинета. Хозяин стоял в каком-то оцепенении и, видимо, не верил своим глазам. Прекрасные картины Беклина родили из себя последние номера нашей газеты «Вперед», брошюры, различные листки и пр. и пр.»

После победы Великой Октябрьской социалистической революции В. М. Величкина стала членом коллегии Народного комиссариата здравоохранения.

Навеки связала свое имя с русским революционным движением видный деятель большевистской партии Александра Михайловна Коллонтай — первая женщина, вошедшая в состав правительства Советской страны.

Наша замечательная молодежь, пользующаяся всеми благами социализма, не должна забывать тех, кто «отдал свою жизнь за светлое будущее Советской страны и всего человечества. Много высоких мыслей пробудит в юношах и девушках книга «Славные большевички» — правдивый рассказ о замечательных дочерях советского народа.

**М. ДМИТРИЕВА,**  
член КПСС с 1920 года.

★

## Биография одного завода

Список книг, посвященных истории заводов и фабрик нашей страны, пополнился еще одним названием. Это книга о борьбе московских металлургов за торжество дела партии, за победу коммунизма. В ней излагается история одного из старейших и крупнейших предприятий столицы — завода

«Серп и молот», рассказывается о его славном революционном прошлом.

Отрадно отметить, что в последние два-три года заметно оживилась важная работа по созданию историй фабрик и заводов. «Истории» сейчас пишут и издают в Москве и Ленинграде, Анжеро-Судженске и Сталинграде, Запорожье и Минске, Кемерове и Калининe, в Сатке, Туле, Ижевске, Катав-

Свет над заставой. Редактор Н. Гудкова, 424 стр. «Московский рабочий». 1959.

Ивановском районе... Среди этих изданий — крупные монографии, сборники статей и очерков, чисто мемуарные книги, красочные фотоальбомы (например, посвященные Уралмашу и Ленинградскому заводу имени Сталина).

В разных городах, на разных заводах и фабриках по-разному подходят к решению этой большой творческой задачи. По-своему к ней подошли и московские металлурги. Коллектив рабочих, мастеров, инженеров «Серпа и молота» решил проследить зарождение своего завода и его развитие на протяжении трех четвертей века. При этом авторы книги не собирались создавать строго документальную летопись. Перед нами публицистическая хроника, в которой соединены различные жанры и формы подачи материала.

История завода должна быть написана самими работниками! Этот завет А. М. Горького лег в основу книги о «Серпе и молоте». Дело облегчалось тем, что на заводе существует одно из старейших в стране литературных объединений — «Вальцовка».

Выход книг, посвященных истории фабрик и заводов, стал заметным фактом нашей литературной жизни. Произведения такого рода дают читателю чрезвычайно ценный материал.

Это качество присуще и сборнику «Свет над заставой», любовно изданному «Московским рабочим» (издательство это, кстати говоря, не в пример иным, проявляет живой и настойчивый интерес к истории фабрик и заводов).

Нет нужды здесь излагать содержание всей книги. Но на некоторых из приведенных в ней материалах хочется остановиться.

Любое новое, пусть даже небольшое свидетельство о великом Ленине безмерно дорого советскому человеку. С особым интересом читаешь в сборнике воспоминания старых рабочих о встречах с Владимиром Ильичем. Вот один из эпизодов.

«...Когда Владимир Ильич возвращался с митинга, у Рогожской заставы застрял его автомобиль. Вместе с шофером Ленин толкал буксующую машину.

В это время с работы шли трое заводских рабочих, среди которых был В. Е. Обьедков.

— Ленин! — сразу вырвалось из груди у троих. — Ленин!

— Садитесь, Владимир Ильич, мы мигом справимся, — закричали они».

Но Ленин, как вспоминает В. Обьедков, и слушать ни о чем не хотел: он работал

вместе со всеми, пока машину не вытолкнули из грязи.

В трудную весну 1918 года, следуя призыву партии, рабочие завода решили пополнить ряды Красной Армии и вступили в 38-й Рогожско-Симоновский полк. Славно сражался с врагами Советской власти этот полк. Вот как об этом писал Климент Ефремович Ворошилов:

«С радостью могу констатировать, что, наблюдая за действиями полка, я видел умелое руководство начальников, бесстрашие молодых солдат и сознательность всего полка вообще. Надеюсь, что новый Московский 38-й Рогожско-Симоновский Советский полк будет с каждым днем крепнуть и закаляться в боях и в ближайшие дни покроет себя славой, которая и будет славой матушки-Москвы».

В сборнике «Свет над заставой» материал строится на широком историческом фоне. Читатель узнает, как в годы гражданской войны сталевары прямо из цехов отправлялись на фронт; как в 1920 году они отработали субботник в пользу венгров, испытывавших в ту пору ужасы белого террора; как рабочие с «Серпа и молота» давали новые марки стали для Магнитки и Днепрогэса, воевали в Отечественную войну...

Все это, разумеется, интересно и хорошо. Но не кажется ли авторам и составителям сборника, что ими допущены некоторые просчеты? В книге не рассказано достаточно подробно о лучших людях «Серпа и молота». Пусть нас не поймут ложно: на страницах сборника названо много имен — печник Иван Михайлов, который в годы гражданской войны до последней пули бился за Советскую власть; сталевар Филипп Иванович Свешников, сорок лет плавивший сталь и подготовивший замечательную смену; инженер Владимир Павлович Тунков, который поразил своих индийских коллег заявлением о том, что от друзей у него нет производственных секретов; Григорий Маркелович Ильин, бывший печник, а затем рабочий-директор, за гробом которого шел весь завод...

И не потому ли вскоре после чтения книги забываются многие фамилии, что они, по сути, только названы, упомянуты по ходу изложения. Жаль, что в сборнике не нашлось места для более детального освещения трудовых подвигов многих замечательных металлургов. А ведь именно материал такого рода — весьма существенная частица заводской истории.

Другим, с нашей точки зрения, недостатком является следующий. Существует странное мнение, что в биографии завода непременно должны быть отражены все стороны его жизни, вплоть до общественного питания и заводской кассы взаимопомощи. К сожалению, именно так частично сконструирована и книга о «Серпе и молоте». Вряд ли можно одобрить подобный подход к истории завода, которая, по определению Горького, должна быть историей его как двигателя промышленности, школы техников и революционеров, воспитателя классового революционного самосознания рабочих, наконец, организатора социалистического сознания и социалистического производства.

Нарушив этот принцип, авторы книги невольно «оскучили» некоторые главы, интересные, видимо, лишь узкому кругу людей, но отнюдь не широкому читателю.

Наконец, о языке книги. Скажем прямо: литераторы «Серпа и молота» как следует не поработали над последними главами, где речь идет о ведущей роли коммунистов, технической реконструкции завода, современных задачах коллектива. Главы эти могли быть написаны ярче, эмоциональнее.

Отмеченные недостатки не лишают книгу главного: она интересна и поучительна. Выход ее явился хорошим подарком к исполнившемуся в феврале 75-летию завода «Серп и молот».

Н. МАР.

★

## О времени и о себе

Слово очевидца, личный рассказ непосредственного участника исторических событий, мемуары — повествование, по выражению Маяковского, «о времени и о себе» — всегда считались заслуживающими внимания историческими источниками. И хотя многие из этого рода работ требуют поправки на авторский субъективизм, воспоминания всегда привлекали исследователей дыханием эпохи, ее колоритом, ускользающими из других материалов деталями.

Дореволюционная русская мемуаристика знает немало настоящих шедевров художественного слова, значительной исторической ценности. Но есть у нее существенный пробел. Не до мемуаров было тогда рабочему человеку, пролетарию, хлеборобу, интеллигенту, выбившемуся из низов. Тем ценнее для нас записки русского рабочего-революционера, народного героя И. В. Бабушкина, которые он написал по инициативе В. И. Ленина, автобиография Т. Шевченко и другие книги этого толка. Но они, к сожалению, были единичным явлением.

Недавно в свет вышел интересный справочник. Называется он «История советского общества в воспоминаниях современников». Это — аннотированный указатель мемуар-

ной литературы, подготовленный Московским университетом и Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина. В книге учтено около полутора тысяч воспоминаний, вышедших отдельными изданиями.

Впервые в мировой мемуарной литературе появился новый тип автора — трудового человека, с достоинством обзирающего пройденный им путь, повествующего о годах и заводах, созданных его волей и неустанным трудом, о нивах, возделанных его руками. Простой человек, строитель коммунистического общества, стал автором книг, волнующих и прекрасных.

Плодотворная горьковская мысль о том, что каждый советский человек, не зря проживший свою жизнь, внесший полезный вклад в общее дело, имеет право на то, чтобы рассказать современникам и потомкам о своей жизни, эта мысль вдохновила и вдохновляет десятки и сотни новых мемуаристов. Не пустое копание в никому не нужных мелочах минувших дней, не самолюбование, а свежий ветер Октябрьской революции веет на нас со страниц советских мемуаров, посвящены ли они непосредственно Октябрьскому штурму или грозным годам Великой Отечественной войны, борьбе с кулачеством, борьбе за хлеб или становлению советской культуры.

Конечно, далеко не все воспоминания равноценны. Некоторые давно забыты, другие известны только специалистам. Но, чтобы разобраться в них, пользоваться ими, нужно быть с ними знакомым. С этой

---

**История советского общества в воспоминаниях современников. 1917—1957. Аннотированный указатель мемуарной литературы. Редакторы-составители: кандидаты исторических наук В. З. Дробижев, В. А. Дунаевский, Ю. С. Кукушкин. 408 стр. Издательство Московского университета. 1958.**

целью и выпущен рецензируемый указатель. Составители разбили его на восемь разделов. Открывается указатель воспоминаниями о деятельности В. И. Ленина, ленинского ЦК партии, руководителей партии и правительства. Затем в хронологическом порядке собраны воспоминания по периодам истории советского общества: октябрь 1917 года, гражданская война, строительство социализма, Великая Отечественная война, СССР в период постепенного перехода к коммунизму. В заключение даны материалы о развитии науки, искусства. В каждом разделе мемуары расположены в алфавитном порядке.

Достоинство указателя в том, что в нем собрана воедино богатая мемуарная литература за сорок лет Советской власти, что он является наиболее полным перечнем воспоминаний, вышедших отдельными изданиями. Составители отчетливо сознавали, что подготовка такого указателя — дело трудоемкое и ответственное. «Указатель,— пишут они в предисловии,— представляет собой попытку создания общей научной библиографии мемуарной литературы по истории советского общества за период 1917—1957 гг.» Историки и литературоведы, писатели и журналисты, библиотекари, пропагандисты и редакционные работники бесспорно будут благодарны составителям за эту полезную попытку. Хочется особо подчеркнуть наличие в указателе аннотаций, что отличает его от многих подобных изданий. Этот материал содержит полезные сведения о книгах и их авторах.

О значении этого указателя хорошо сказано в предисловии к нему, которое написал генерал-лейтенант запаса Александр Иванович Тодорский. Это предисловие — живое, взволнованное слово старого коммуниста, ветерана революции, обращенное к читателям справочника.

Составители разыскали забытые воспоминания, учли все, что печаталось за последние годы, когда жанр этот достиг нового расцвета. Особенно важно, что в книге представлено то, что в свое время читалось и пользовалось успехом, а ныне не известно новому, молодому читателю.

В указателе широко представлены воспоминания старых большевиков о Владимире Ильиче Ленине. Те, кому довелось работать с вождем революции, видеть и слышать его, рассказывают об этом с неподдельным волнением, вспоминая каждую подробность, каждое слово Ильича. Пере-

чень свыше ста книг о В. И. Ленине найдет читатель в указателе воспоминаний современников

В 1940 году вышли в свет «Записки сталевара» Макара Мазаля. Автор их — сталевар-комсомолец, смело опрокинувший старые нормы сталеварения. Простым крестьянским пареньком пришел он на Мариупольский завод «Азовсталь». А через несколько лет с трибуны Чрезвычайного VIII съезда Советов на весь мир прозвучал голос молодого сталевара, предупреждавшего гитлеровский фашизм, что советские люди зальют статью глотку ненасытного агрессора. «Записки» М. Мазаля — полезное чтение для нашей молодежи.

Представляют интерес два сборника воспоминаний, посвященных гражданской войне, — «Штурм Перекопа» и «Женщина в гражданской войне». По горячим следам завоевания Арктики писал свои воспоминания корреспондент «Известий» Л. Бронтман, назвав их «На вершине мира».

Таких примеров много, страницы указателя насыщены ими. Если, имея в виду следующие аналогичные работы, говорить о недочетах книги, то следует в первую очередь упомянуть о пропущенном. Досадно, что в поле зрения составителей не попали сборники архивных документов, в которых наряду с документами печатались воспоминания. Заметно чувствуется также, что в составлении указателя принимало участие много людей, работа которых не унифицирована в должной мере единой редакторской рукой. Это относится в первую очередь к аннотациям. Здесь встречаются и прямые погрешности и неточности (№№ 272, 575, 1062, 1202 и другие), неясные формулировки. В самом деле, почему Александр Блок аттестован как просто «русский поэт», а Лев Кассиль — как «известный советский писатель»? В то же время В. Д. Бонч-Бруевич даже не назван ученым, хотя в аннотации говорится о его причастности к науке. В одних случаях составители указывают, что тот или иной автор воспоминаний является Героем Социалистического Труда, в других нет. В. П. Ставский известен составителям лишь как «военный корреспондент»! Знаменитый оружейник В. А. Дегтярев, оказывается, только «конструктор пулеметов».

В подразделе «Воспоминания о деятелях партии и правительства» следовало бы дать подзаголовки. Раздел III организован, на наш взгляд, неточно. Стоило бы выделить

материалы об Октябрьской революции в Петрограде в качестве самостоятельного подраздела, а следом за ним дать такой же тематический подраздел материалов по центральному промышленному району России. Тогда бы не утонули в общем алфавитные книги о Туле, Ярославле, Иваново-Вознесенске.

«...Фонд мемуарной литературы,— пишет в предисловии к указателю А. Тодорский,— воспоминаний советских людей за все периоды советской истории, а главное, за военный и послевоенный периоды, никак нельзя признать достаточным. О серьезных и важных событиях нашего времени, о своем творческом труде на любом поприще общественной деятельности не сказали своего слова еще многие и многие здравствующие современники. Они находятся в долгу перед народом...»

Это верное замечание убедительно иллюстрируется указателем. Около двухсот книг воспоминаний посвящено периоду Великой Отечественной войны. Считанное количество, буквально три-четыре десятка, мемуаров рассказывает о послевоенных годах. Всего лишь две сотни названий насчитывает раздел науки, литературы и искусства. Этого, конечно, мало. Правда, сюда не входят воспоминания, напечатанные в журналах и газетах. Но речь идет о недостаточном внимании к этому важному воспитательному жанру со стороны наших издательств.

Библиографический указатель — чтение особого рода. Обычно оно привлекает прежде всего специалистов. И они, кстати сказать, уже обсудили этот указатель и дали ему положительную оценку.

*Кандидат исторических наук*  
**Ю. ШАРАПОВ.**

★

## У истоков отечественной науки

В развитии отечественной науки огромная роль принадлежит Академии наук СССР, объединяющей и направляющей усилия виднейших наших ученых. Истории этого высшего научного учреждения Советской страны посвящено капитальное трехтомное исследование. Вышедший в свет первый том охватывает период деятельности Академии от ее основания (1724 год) до 1803 года.

История Академии — это летопись крупнейших открытий и изобретений во всех отраслях знания. Имена таких гениальных ученых, ставших действительными членами Академии, как М. В. Ломоносов, Леонард Эйлер, К. М. Бэр, М. В. Остроградский, В. Я. Струве, П. Л. Чебышев, А. М. Ляпунов, А. А. Марков, А. М. Бутлеров, А. П. Карпинский, И. П. Павлов, Ф. А. Бредихин, А. А. Шахматов и многие другие, известны всему миру. Величие подвига, совершенного передовыми русскими учеными в дореволюционное время, становится особенно ясным, если принять во внимание крайне неблагоприятные условия, в которых они жили и работали.

Книгу открывает очерк члена-корреспондента АН СССР Д. С. Лихачева о положении науки и просвещения в России до

XVIII века. В нем рассказывается о возникновении в Петербурге Академии наук, основанной Петром I. Ее появление было подготовлено не только энергичной деятельностью бесчисленных русских умельцев — шкиперов и бомбардиров, рудознатцев и литейщиков, оружейников и строителей, не только трудами старшего поколения «птенцов гнезда Петрова» — Магницкого, Скорнякова-Писарева, Брюса, Прокоповича, Татищева, Соймонова и других, но и всем предшествующим развитием научных знаний в России, особенно в новый период русской истории, начавшийся в XVII веке.

«Арифметике» Магницкого и «Науке статической или механике» Скорнякова-Писарева предшествовал «Устав ратных дел» Анисима Михайлова; картам Соймонова и Великой Северной экспедиции — «Книга Большому чертежу»; историческим трудам Шафирова и Татищева — «История» дьяка Грибоедова и «Синописис» Иннокентия Гизеля.

И все же развитие науки в допетровской России шло медленно, оставаясь почти всецело под эгидой церкви. Преодолеть отсталость страны, хотя бы в рамках старой, феодальной системы, стало государственной необходимостью. Одной из действенных мер и явилось учреждение Петербургской Академии наук.

В краткой рецензии нет возможности пересказать содержание всех трех частей

**История Академии наук СССР. Том I (1724—1803).** Главный редактор академик К. В. Островитянов. 484 стр. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1958.

рецензируемой книги. Отметим поэтому наиболее важные и заслуживающие внимания ее особенности.

«История Академии наук» написана большим коллективом ученых, специалистов в различных областях науки. Редакционную коллегию возглавил академик К. В. Островитянов.

Разделив первый том на три части (1725—1741, 1742—1765 и 1766—1802 гг.), редакционная коллегия поступила совершенно правильно. При таком делении части книги можно было бы озаглавить так: Академия наук до Ломоносова, во времена Ломоносова и после Ломоносова. Такой принцип периодизации не может вызвать никаких сомнений, ибо роль Ломоносова в развитии русской науки и, в частности, истории Академии наук безгранично велика.

«Ломоносовский период» в истории Академии наук показан достаточно подробно и разносторонне. И хотя нельзя свести историю Академии к деятельности одного Ломоносова, но его боренье за «науки российские» проложило путь не одному русскому ученому и определило собой «ход и течение наук» на много десятилетий вперед.

Удачны вводные очерки к каждой части книги (автор А. Предтеченский). Они рисуют решающую роль Академии в развитии отдельных отраслей науки — математики, механики, физики, астрономии, химии, биологии, физиологии, истории.

Особенный интерес представляет вводный очерк к «ломоносовскому периоду». Борьба великого русского ученого с невеждой и бюрократом Шумахером, безраздельно правившим Академией в мрачные годы бирюшщины, борьба за пересмотр устава, открывавшего дорогу в науку, по сути дела, только иностранцам, за укрепление академического университета и широкий доступ в его стены одаренных русских юношей («тот студент почтеннее, кто больше научился, а чей он сын — в том нет нужды») сочеталась у Ломоносова с поистине титанической научной деятельностью.

Выступая против «недоброхотов», обрушиваясь на «противоборников наук российских», Ломоносов уделял очень большое внимание основанным при Академии наук гимназии и университету, видя в них почти единственное средство решить важнейшую задачу — подготовить национальные кадры ученых.

В представлении Ломоносова наука толь-

ко тогда становилась подлинной, когда она служила родине. Немудрено, что такой противник распространения знаний среди народа, как историк и библиотекарь Академии Иоган-Каспар Тауберт, подчеркивая свое отрицательное отношение к русским студентам, говорил: «Разве-де нам десять Ломоносовых надобно, и один-де нам в тягость».

Но далеко не все ученые-иностранцы были единомышленниками Шумахера, Тауберта и иже с ними. Среди привлеченных в Академию наук зарубежных ученых было немало таких, которые принесли большую пользу России. Они откликнулись на призыв поехать в далекую северную столицу, руководствуясь не меркантильными соображениями, а сознанием того, что в России создаются условия, более благоприятные для прогресса науки, чем в их странах. Для многих из них Россия стала второй родиной.

Почетный член Академии наук физик Г. Бюльфингер писал в 1725 году: «Кто хочет основательно научиться естественным и математическим наукам, тот отправляется в Париж, Лондон, Петербург. Там ученые мужи по всякой части и запас инструментов. Петр, сведущий в этих науках, сумел собрать все, что для них необходимо».

Работа в Академии наук таких выдающихся ученых-математиков, как Л. Эйлер и Д. Бернулли, сделала Петербург на некоторое время математической столицей мира. Немало потрудились для развития науки в России И. Гмелин, Г. Крафт, Ж. Делиль, друг Ломоносова Г. Рихман.

Лондонское Королевское общество, Лиссабонская, Парижская, Болонская, Шведская академии и научные учреждения других стран поддерживали тесную связь с Академией наук в Петербурге. Почетными членами Академии были избраны выдающиеся иностранные ученые К. Линней, Х. Вольф, Р. Реомюр, Ж. Д'Аламбер, Д. Бернулли и другие.

К сожалению, не все контакты ученых Академии с их зарубежными коллегами представлены в книге. В ней отсутствует, например, ссылка на прослеженную Г. Блоком интересную переписку, связанную с описанием восстания Пугачева, между первым членом-корреспондентом Академии наук П. Рычковым (Оренбург) и академиком Г. Миллером, а этого последнего — с А. Бюшингом, выпустившим в Германии первый труд по истории пугачевского восстания.



Книга дает достаточно полное представление о процессе развития русской науки. Авторы ввели в научный оборот ряд новых архивных материалов, а также широко использовали малоизвестные источники.

Из отдельных ошибок и промахов книги укажем на следующие.

Не всегда на одинаково высоком уровне находятся главы, посвященные истории отдельных отраслей науки. Мало сказано о их взаимном влиянии.

Авторы постарались возможно более полно показать связи Академии в период, которому посвящен первый том, с другими научными учреждениями страны — Москов-

ским университетом, коллегиями. Однако они прошли мимо некоторых немаловажных материалов. Например, в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде имеется много интересных источников, характеризующих связи с Академией Вольного экономического общества.

Хорошо оформленный, снабженный удачно составленными приложениями, первый том «Истории Академии наук СССР» явится, несомненно, ценным вкладом в литературу об отечественной науке.

*Доктор исторических наук  
профессор В. МАВРОДИН.*

Ленинград.

★

## Книга о муравьях

Название новой книги И. Халифмана — «Пароль скрещенных антенн» — довольно интригующее. Подавляющее большинство людей хорошо знает торчащие над крышами домов антенны телевизоров и радиоприемников или многометровые проволочные и другие комнатные антенны для той же аппаратуры, но вряд ли многие, кроме юннатов и биологов, знают, что древнеримский термин «антенна», обозначавший вначале райну, или рею, на парусной лодке, а позднее на корабле, спустя столетия был взят натуралистами для обозначения усиков, находящихся на голове у насекомых. Радиотехника нашего времени «отняла» у насекомых название их усиков, и даже С. Ожегов в «Словаре русского языка» говорит, что антенна — это «система проводников для передачи или улавливания радиоволн».

Вот почему может показаться, что эта книга скорее вышла в «Библиотечке приключений» шпиона, как-то скрещивая антенны своих аппаратов, передает тайный пароль. И только энциклопедические словари откроют второе значение слова «антенна». Правда, и на обложке изображен крупным планом буро-красный муравей, который тащит что-то белое, напоминающее рисовое зерно, и два других, скрестивших усики-антенны. Так рисунок раскрывает смысл названия книги — она рассказывает о жизни муравьев, в частности о том, как они через

прикосновение антеннами общаются друг с другом.

Имя автора знакомо не только советским читателям — его «Пчелы», удостоенные Сталинской премии, облетели весь земной шар; их читают на испанском, японском и почти двух десятках других языков.

Прекрасным, образным и сочным языком написана рецензируемая повесть о муравьях, этих маленьких, почти вездесущих насекомых, законы жизни которых на разных материках издавна интересуют не только специалистов, но и простых людей.

Наша детвора с октябрюского возраста знакомится с муравьишкой Виталия Бианки; любит его, жалеет, когда он с большой ножкой рискует не вернуться в свой домик до захода солнца. Для среднего возраста недавно создал живые очерки об исследовании жизни муравьев в горах Тянь-Шаня П. Мариковский.

Книга И. Халифмана, написанная для детей старшего возраста, представляет первый опыт систематизированного рассказа о мире муравьев, увиденном глазами советского человека середины XX века. В книге показано значение познания законов живой природы.

Автор говорит о муравьях всего мира. Помимо муравьев Советского Союза, встречающихся и на сфагновых болотах Севера и на песчаных барханах Каракумов, в книге идет речь о жизни муравьев в Африке, тропической Азии, Южной Америке, Австралии, в их джунглях, степях, пустынях.

В процессе эволюционных невзгод вымерли не только древнейшие ящеры—гиган-

ты животного мира, но и современные первобытному человеку мамонты и мастодонты, саблезубые тигры и другие чудовища, а крохотные муравьи, существовавшие за десятки миллионов лет до появления на Земле человека, не только сохранили свой древний облик, но увеличили свой видовой состав до уже известных науке пятнадцати тысяч видов.

А сколько еще неведомых, не описанных и не получивших своих имен и «фамилий» скрывается в неисследованных дебрях экваториальной зоны!

И. Халифман начинает знакомить читателя с муравьями, вводя его в Зоологический музей Академии наук у Дворцового моста через Неву в Ленинграде.

Мимо скелетов почти тридцатиметрового кита, мимо «немой стаи неподвижно плывущих над паркетом белух, акул, кашалотов, нарвалов... шакалов, барсов, тигров... райских птиц с Новой Гвинеи... сбежавшихся, слетевшихся, приползших и приплывших со всех концов мира птиц, зверей, рыб и гадов — им же нет числа», — автор вводит читателя в сокровищницу насекомых, собиравшихся в течение трехсот лет тысячами натуралистов. Свыше семи миллионов шестиногих обитателей Земли находится в тридцати тысячах энтомологических ящиков музея.

Но мы идем мимо «выстроившихся в смертном параде насекомых, демонстрирующих блеск, формы и опушение своих хитиновых мундиров, узоров, красок и жилкование крыльев», — действительно сверкающих золотом, серебром, отливающих перламутром и той переливающей синевой, какой обладают бабочки тропической Америки и Индонезии, — «в район перепончатокрылых, в квартал жалоносных», где в сотне ящиков наколоты скромные, невзрачные муравьи.

Автор талантливо оживил и развернул красочные, захватывающие картины жизни этих крохотных существ, создающих сложные архитектурные надземные и подземные города, в которых одна семья занимает иногда площадь до двадцати пяти квадратных метров, с колоссальными подземными лабиринтами, в центре которых помещается матка. В этом же гнезде скрыты своего рода «шампиньонницы» — камеры, где рабочие муравьи выращивают запасную ими грибницу нескольких видов питательных грибов.

Другие виды муравьев сооружают «скотные дворы с принесенными тлями, сладкими выделениями которых любят лакомиться обитатели». В гнездах обнаруживаются и настоящие сладены, бочками с медом для которых служат живые муравьи. Их брюшки наполнены таким количеством сладкого сиропа, который в десятки раз превышает их первоначальный вес. Они уже не способны ходить и неподвижно висят, вцепившись лапками в потолок специально для них вырытой камеры. В некоторых странах жители откапывают такие подземные запасы и лакомятся, поедая брюшки медовых муравьев, напоминающих по виду ягоды смородины.

Мы не ставим своей целью изложить все содержание книги, ее просто необходимо прочитать — и тогда откроется весь многообразный, интереснейший мир муравьев. Издавна удивляющая наблюдателей целесообразность поведения, слаженность их жизни получает в книге научное объяснение, и это сделано так, что рассказ о муравьях отвечает и завету К. А. Тимирязева, напоминавшего о том, как важно научить молодежь видеть, и завету А. М. Горького, который писал М. Ильину о том, что научно-популярная, научно-художественная книга должна помочь молодому читателю построить мировоззрение.

Особенно содержательны в этом отношении главы, в которых речь идет о взаимоотношениях муравьев с сотнями видов других живых существ. В разделах «Сладкие дожди и мучнистая роса», «Тли и прочая живность муравейников», «Внешние враги» и в других автор отводит рассказу об этих связях почти сорок страниц. Тут читатель открывает для себя очень много нового, неожиданного, еще не ставшего докучным шаблоном, переходящим из одной популярной книги в другую.

В качестве иллюстрации приведем рассказ о недавнем открытии австралийского биолога.

Давно известны факты сооружения муравьями земляных построек на веточке дерева, где поселились червецы, сладкими выделениями которых любят лакомиться муравьи. Такие архитектурные постройки возводились муравьями и в Сухуми над скоплениями австралийских червецов-ицирий.

Австралийские муравьи у себя на родине сооружают для бабочек-голубянок более оригинальное укрытие. Когда бабочка от-

ложит около черешка листа акации яички, сразу же сюда спешат муравьи-строители, выкладывая над ними довольно обширный, сцементированный из песчинок свод. Небольшой вход закрывает своей головой муравей-страж. Вылупившихся гусеничек муравьи выпускают наружу, чтобы они могли погрызть прилистники, а к вечеру загоняют всех обратно. Когда гусенички подрастут и уже не могут выползти через узенькое отверстие, муравьи отгрызают наиболее питательные частички листа, таскают их к замурованным пленицам и кормят их, а сами питаются сладкими выделениями гусениц. Даже окуклившихся гусениц, уже не приносящих никакой пользы, муравьи охраняют от многочисленных истребителей до вылета бабочек.

Об этих вновь разведанных наукой подробностях жизни муравьев увлекательно рассказывает И. Халифман.

Книга знакомит с поведением рабочих муравьев, «захваченных в рабство» другими видами, повествует о деятельности муравьев, охраняющих потомство и кормящих молодь и матку, рисует вылеты целых роев крылатых самок и самцов, их «свадебные путешествия», походы кочевых муравьев, являющихся грозой для многих обитателей экваториальных лесов...

Все это читается с неослабевающим интересом. Особо надо отметить главу, в которой говорится о значении лесных муравьев для защиты леса. Эта глава увлекательно рисует возможности управления живой природой, открываемые мичуринским путем.

Однако наряду с бесспорными достоинствами этой великолепной книги, к тому же если не богато, то щедро иллюстрированной (в ней почти 250 рисунков и фотографий, в том числе много впервые публикуемых у нас), хочется отметить и ряд недостатков.

К первому из них отнесем местами излишнюю серьезность раскрытия темы и тона изложения. Откроем страницу 34. Перед нами двадцать каких-то отпрепарированных «черепов», голов различных видов муравьев. А вот подписи под номерами «черепов», лишенных даже тех антенн, о которых говорит заглавие книги: Лацетон армигерум, Септомирмекс эритроцефалус, Хелиомирмекс нортони, Долиходерус атталаболдес, Тауматомирмекс мутилатус... Даже от этих пяти названий читателю становится не по себе. А таких названий еще пятнадцать!

На странице 43 автор сам пишет: «Пере-

числим эти странно звучащие для непривычного уха, неуклюжие и громоздкие, а иногда и совсем неудобовыговариваемые названия подсемейств и главных родов, относящихся к ним». Не будем подражать автору и опустим все эти ненужные в данном случае названия.

Мне кажется, детская книга выиграла бы, увидев свет без упоминания о том, что «на первом перед жгутиком членике, который называется ножкой, у многих насекомых находится так называемый джонстонов орган» (нигде, к слову, не показанный на рисунках). Местами так же сухо поданы справки о морфологических деталях. Зачем, например, на странице 217 приведены антенны, отделенные от голов, на которых им положено быть самой природой? И чьи же это усики? Рабочих муравьев: экваторского — Цилиндромирмекс, бирманского — Мистриум, суданских — Мелис-сотарзус и Плагюлепис, американских — Гарпагоксенус, Еребомирмекс лонги и других.

В книге так много прекрасно поданных, важных для воспитания, умных, захватывающе интересных материалов, что приведенные выше выдержки и примеры звучат обидным диссонансом к захватывающе интересному в целом повествованию.

Книга И. Халифмана вышла в Детгизе. Но — таково уже неотъемлемое свойство по-настоящему хорошей детской книги — она обязательно заинтересует и взрослого читателя (для которого, к сожалению, обстоятельная, находящаяся на современном научном уровне книга о муравьях еще не написана).

Автор проделал трудоемкую работу, собрав и систематизировав накопившуюся в последнее время обширную информацию о муравьях, разбросанную в различных изданиях на многих языках. Ряд важнейших сведений включен в книгу.

Важным ее достоинством является то, что автор достаточно подробно осветил проблему, привлекающую к себе в последнее время все больше внимания. Речь идет о значении, которое могут иметь различные биологические устройства (в данном случае у муравьев) для развития физики и химии, а в конечном счете для совершенствования техники. Вспомним, что немалую роль в создании летательных аппаратов тяжелее воздуха сыграло тщательное изучение крыла птицы.

Очень обидно, что наша критика проходит мимо таких книг, имеющих назначение,

как писал Белинский, «провести детей по трем царствам природы». Белинский находил время следить за такими книгами; к слову сказать, он специально отметил «Анекдоты о муравьях» Одоевского. Это произведение, указал он, ценно тем, что способно развивать в детях любознательность, наблюдательность и любовь к природе.

О книге «Пароль скрещенных антенн» можно сказать больше: она развивает в детях также и тот творческий, действенный подход в изучении природы, который отличает естествоиспытателей, воодушевленных идеей преобразования природы на пользу человеку.

*Член-корреспондент ВАСХНИЛ  
Н. ЩЕРБИНОВСКИЙ.*

★

## Западный Берлин — оплот реакции

Предложение Советского правительства о том, чтобы ликвидировать остатки оккупационного режима в Берлине и провозгласить Западный Берлин демилитаризованным вольным городом, встретило сочувственный отклик со стороны широких слоев общественности всех стран.

Иную реакцию мирная инициатива Советского правительства вызвала у правящих кругов западных держав. Это и не удивительно: они, как откровенно сказал в свое время американский верховный комиссар в Германии Коннэнт, видят в Западном Берлине «острие, направленное против Востока». Признать Западный Берлин демилитаризованным вольным городом — это значит для империалистов лишиться центра шпионажа, центра «холодной войны», «передового передового укрепления», откуда удобно организовывать различные диверсии против ГДР и других стран социалистического лагеря. Вот почему политические деятели Запада из кожи лезут вон, чтобы доказать свои давно уже не существующие «права» на пребывание в Западном Берлине, на сохранение там оккупационного режима. При этом буржуазная пресса всячески стремится ввести в заблуждение читателей и заставить их поверить, что в Западном Берлине якобы процветает «настоящая демократия и свобода», что население живет там чуть ли не как в раю.

Разоблачению этих вымыслов посвящен сборник документов о политике западноберлинского сената, опубликованный Комитетом по единству Германии. Богатый фактический материал сборника позволяет полнее и глубже понять политическую обстановку в Западном Берлине. Книга начисто разоб-

лачает фальшь и лицемерие широковетельных заявлений западных держав, в которых они пытаются изобразить себя «защитниками» Западного Берлина, ставшего подлинным оплотом сил реакции и фашизма, источником постоянного беспокойства, усиливающего международную напряженность.

Документальные материалы неопровержимо доказывают, что около двадцати тысяч бывших нацистов, верой и правдой служивших Гитлеру, вновь заняли ключевые позиции в органах управления, в частности в аппарате юстиции и полиции. В Западном Берлине издан даже специальный закон, обязывающий предоставлять не менее двадцати процентов всех служебных постов прежним чиновникам и служащим фашистского государства. Характерная деталь: если какая-либо организация не выполняет этой нормы, то она обязана произвести крупные отчисления в фонд выплаты пособий для указанной категории лиц, то есть по существу подвергается штрафу. Всего за время с 1 октября 1955 года до 31 марта 1956 года таких штрафов было уплачено более шестисот тысяч западных марок. Набор сверх указанной нормы поощряется; во многих ведомствах сената находится до тридцати и более процентов бывших гитлеровцев.

Чтобы как-то сохранить демократический фасад учреждений и избежать возмущения населения, руководители западноберлинского сената иногда предпринимают «расследования» прошлой деятельности некоторых фашистов, которые уже особенно сильно запятнали себя преступлениями. Но само собой разумеется, что это делается для обмана общественного мнения: результаты «расследований» не публикуются.

Вот некоторые факты, приводимые в сборнике. Ганс фон Малкомес был офи-

*Westberlin — Hort der Reaktion. Berlin. 1953 (Западный Берлин — оплот реакции. Берлин. 1958).*

циальным эсэсовским юрисконсульту в ранге хауптштурмфюрера СС. В настоящее время он советник сената. Бывший штурмфюрер СС Салейна ныне чиновник сената. Ульрих Кантхак был заместителем правительственного комиссара обороны Берлина, членом фашистской партии. Сейчас он правительственный директор в сенате по внутренним делам.

Фашистский дух царит в западноберлинской полиции, возглавляемой Штуммом. Она укомплектована в основном офицерами и рядовым составом гитлеровской полиции и армии, являясь пристанищем для бывших эсэсовцев, гестаповцев и других фашистских преступников. В сборнике приведена знаменательная выдержка из западноберлинской газеты «Телеграф»: «Что должно думать население о полиции, в которой высокие посты занимают чиновники, работавшие в наводившей ужас национал-социалистской службе безопасности, в организации, которая силой оружия подавляла в крови любую оппозицию против Гитлера».

Руководителем первого отделения президиума полиции является Ганс Ютеборг. Прежде он был офицером СД и входил в личную охрану семьи Гиммлера.

Хейнц Мюллер и Бруно Рейхерт занимают руководящие должности в криминальной полиции Западного Берлина. В прошлом оба они хауптштурмфюреры СС.

Западноберлинский аппарат юстиции также находится по большей части в руках бывших активных сторонников нацистского режима. Предусмотренные решениями четырех держав удаление всех бывших нацистских судей и прокуроров с государственной службы саботировалось с самого начала. Двадцать три судьи гитлеровского толка ныне снова орудут в западноберлинской юстиции. Сборник подчеркивает, что это те самые судьи, которые с хладнокровием профессиональных убийц посылали на эшафот антифашистов. Среди судей находится, в частности, президент западноберлинского социального земельного суда Артур Нейман, избалованный в многочисленных преступлениях, которые он совершил, будучи советником верховного военного суда. Он чинил расправу не только над немцами, но и над польскими и французскими гражданами.

Значительное место в книге уделено рассказу о деятельности различных милитаристских организаций в Западном Берлине. В настоящее время там действуют семьдесят

четыре солдатских и других милитаристских союза. Ориентация подавляющего большинства их — неофашизм. Это, как указывает сборник, полностью «соответствует политическим задачам, которые ставятся перед «фронтовым городом».

Милитаристской, реваншистской организацией «Стальной шлем» («Союз фронтовиков») руководит Альфред Гурт — капитан гитлеровской армии. Одной из главных задач этой организации с ее ярко выраженными монархистско-фашистскими тенденциями является борьба против рабочего класса.

Милитаристский союз «Кифхойзербунд» (председатель — бывший генерал-лейтенант Макензен) выступает за принцип «фюрерства». Девиз союза — «показать красным из СДП, СЕПГ и профсоюзов кулак еще более решительно, чем до сих пор».

ХИАГ (Общество родственников бывших солдат войск СС по оказанию взаимной помощи) является замаскированным союзом бывших эсэсовцев, гестаповцев, сотрудников концентрационных лагерей и прочих преступников.

Милитаристско-реваншистские организации (в сборнике назван и ряд других) пользуются в Западном Берлине полной свободой: они проводят съезды, слеты, митинги, издают свои газеты и журналы. Агрессивные круги используют эти организации для «идеологической обработки» западноберлинского населения, для пропаганды новой войны.

Из документов сборника видно также, что западные державы и руководители западноберлинского сената не только насаждают в органах управления Западного Берлина бывших нацистов, но и проявляют о них особую заботу, оказывая им крупную материальную помощь. Многие из военных преступников (обвинения против которых были слишком тяжелыми, чтобы их можно было реабилитировать) находятся в резерве, получая солидные пенсии. Достаточно сказать, что генеральская пенсия значительно превышает тысячу марок в месяц. В то же время люди, особенно жестоко пострадавшие от фашизма, получают в среднем от ста семидесяти до ста восьмидесяти марок. Эти цифры как нельзя лучше говорят о подлинном характере «демократии и свободы» в Западном Берлине.

Последовательные борцы за демократию подвергаются в Западном Берлине постоян-

ным преследованиям. Принадлежность к партиям или организациям, которые выступают за мир и взаимопонимание между народами, влечет за собой политические и материальные репрессии. В сборнике приводится цитата из социал-демократического пресс-бюллетеня, которая убедительно рисует политическую атмосферу в Западном Берлине: «Те, кто в третьей империи преследовался и попирался, кто подвергался

нечеловеческим мучениям в концентрационных лагерях, а также родственники тех, кто был убит или повешен, должны снова стать первыми жертвами пагубной политики».

Таковы факты, разоблачающие политику западноберлинского сената. Ответственность за нее в немалой степени несут и западные державы, по вине которых Западный Берлин стал пороховой бочкой.

Е. ШВЕДОВ.

★

## США без прикрас

На фотографии — грязная узкая улочка большого американского города. Раннее утро. Одинокий прохожий... На холодных каменных ступенях дома под вывеской «Агентство по найму рабочей силы. Перл-стрит, 467» спят люди...

Это не трюк фоторепортера. Снимок сделан в Чикаго и помещен в книге известного польского публициста Мариана Подковинского «США сквозь обычные очки».

Автор не раз бывал в США, хорошо знает историю и экономику страны, знаком с жизнью простого американца, с американской действительностью. Создавая книгу очерков о современной Америке, Подковинский ставил своей целью прежде всего показать США такими, каковы они есть: «В описаниях многих людей Америку и стоящие перед ней проблемы часто пытаются рассматривать сквозь розовые или же сквозь черные очки. Попробуем на этот раз посмотреть попросту сквозь обычные очки».

Кто не помнит книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Одноэтажная Америка»? Большой популярностью у советского читателя пользуются и американские впечатления чешского писателя Людвика Ашке-нази «Бабье лето», опубликованные недавно в журнале «Иностранная литература». Именно эти боевые, содержательные книги приходят на память, когда с помощью Подковинского «смотришь» на США «сквозь обычные очки».

«...Только профану может казаться, — читаем мы во вступлении к книге, — что Америка — средоточие высокой производительности труда, еще более высокого жиз-

ненного уровня и самого высокого потребления. Короче: что Америка — рай, отражение которого — Голливуд, а джаз и джиттербаг — формы товарищеского общения. Эти предположения, складывающиеся главным образом на основе кинофильмов и телевизионной рекламы, глубоко ошибочны. За фасадом пропагандируемой счастливейшей жизни кроется упорный труд десятков миллионов людей, предки которых более 300 лет назад прибыли в Америку; спасаясь от преследований и нужды. Плоды этих общих усилий, предпринятых в наиболее благоприятных условиях, не были справедливо распределены между наследниками Американской революции. Это видит каждый, кто познал эту страну».

Последовательно, опираясь на цифровые и фактические данные, анализируя их, делая исторические экскурсы, Подковинский раскрывает тезисы своего вступления к книге. Рассказывая о жизни тружеников Америки — рабочих и фермеров, об их трудностях, бешеном ритме жизни, шуме и грязи американских городов и о многих других неприглядных сторонах заокеанской действительности, Подковинский развенчивает «американский образ жизни».

Первые главы книги посвящены «фотоамериканцу». «Каков же этот почти легендарный американец, портрет которого пытались нарисовать и Синклер Льюис в «Баббите», и Джон Дос Пассос в «Манхэттене», и, наконец, Эрнст Хемингуэй в своих многочисленных новеллах?.. Что это за человек, каковы его обычаи и склонности, что его печалит и что веселит? Действительно ли он живет всегда в погоне за долларом и читает только комиксы? Пьет «кока-кола» и заедает мороженым, а в перерыве между сигаретами «Кэмел» и виски жует резинку? Правда ли, что он слышит филантропом, хотя равнодушен к судьбе

Mařian Podkowiński. USA przez zwykłe okulary. Warszawa. 1957 (Мариан Подковинский. США сквозь обычные очки. Варшава. 1957).

своих родственников? Что он целые годы может быть в приятельских отношениях с людьми, имени которых не знает? Что наиболее ценной книжкой он продолжает считать чековую?..»

Нет, в отличие от героев американских кинобоевиков, реальный американец — прежде всего труженик. Никто уже в США не верит наивной легенде о том, что у всех «равные возможности» разбогатеть. Поэтому рядовой американец расчетлив и экономен: приходится думать о «черном дне». Фотоснимок, о котором речь шла выше,— наглядное свидетельство того, что такой день может наступить и для него, как уже наступил для миллионов его земляков.

Советским людям хорошо известно название штата Айова. Это один из наиболее развитых сельскохозяйственных штатов Америки. Примечательно, что именно в главе «На примере штата Айова» Подковинский рассказывает о бедственном положении американских фермеров, которое приняло размеры национальной катастрофы. Однако о фермерах вспоминают только перед президентскими выборами. Тогда и республиканцы и демократы не скупятся на обещания: ведь от Фарм Белт (сельскохозяйственный пояс) нередко зависит победа в борьбе за власть. Характерна реплика фермера из штата Айова, приводимая автором: «Я молочник и знаю, как доить коров. Но республиканцы умнее меня. Они знают, как доить фермеров».

А вот другая сторона американской действительности. Общеизвестно, что стараниями мотокоролей США, стремящихся к извлечению сверхприбылей, автомобиль вошел в быт среднего американца. Подковинский обращает при этом внимание читателя на другую сторону медали: в каких ужасающих жилищных условиях находится этот «счастливый» обладатель автомашины! Автор невольно вспоминает о трагической судьбе героя пьесы Артура Миллера «Смерть коммивояжера». В главе «В тисках Молоха» читаем: «Представьте себе человека, сидящего в маленькой комнатке где-то на тридцатом этаже, в клетушке, которая в зависимости от времени года искусственно охлаждается либо подогревается. Мебель скромная. Единственной связью с миром является телевидение. Уличный шум, словно ливень, весь день стучится в стекло. Сквозь небольшое, закрытое сеткой окно человек видит только черную челюсть соседнего окна, покрытого

пылью и грязью. Он не знает, день сейчас или ночь, идет ли дождь или светит солнце. Свет в комнате горит в течение круглых суток... Коридоры, ведущие к лифту, низкие и душные. Не знаю, как это выдерживают американцы, но я каждый раз бывал близок к обмороку...»

За несколько месяцев своего последнего пребывания в Соединенных Штатах польский публицист утвердился во мнении, что культурный уровень американцев продолжает оставаться чрезвычайно низким. Если в СССР, Польше и других социалистических странах искусство доступно широким массам трудящихся, то в США это удел «избранных». Театральные представления, концерты доступны немногим из-за высоких цен на билеты.

Определяющими здесь являются, конечно, другие факторы. В стране, накопившей огромные национальные богатства, общественность из года в год вынуждена собирать пожертвования (по 10 центов!) на нужды школьного образования. В государственном бюджете 1958 года из 72 миллиардов долларов на школы было ассигновано только 14 — меньше, чем тратится в стране в течение года на папиросы и алкогольные напитки! По официальным данным, в США не хватает 120—150 тысяч учителей.

Несколько глав книги посвящено одной из самых больных проблем Соединенных Штатов — национальной. Подковинский посетил некоторые южные штаты, побывал на Гавайских островах, наблюдал жизнь американских индейцев в резервациях. Автор с горечью констатирует, что в таком штате, как Миссисипи, где половина населения — негры, по-прежнему силен дух плантатора-расиста Джима Кроу. В штате самый низкий жизненный уровень в пределах США. Белые расисты, как и прежде, не признают за неграми человеческого достоинства. «Когда я наконец уезжал из Лонгвуда,— пишет автор,— то мне казалось, что самая сложная проблема Юга заключается не столько в необходимости образования для негров, сколько для белого населения».

В главе «Последние из могикиан» автор рассказывает о судьбе американских индейцев: «Единственное неудовольствие американских расистов вызывает тот факт, что именно эти кочующие индейцы не вымирают в таком быстром темпе, на какой расисты надеялись».

Такова сегодняшняя действительность США, подмеченная на месте внимательным

наблюдателем. Книга дополняет и углубляет наши знания о хваленном заокеанском «рае». Естественным будет вывод, который делает любой объективный человек по прочтении книги Мариана Подковинского: сегодня всё в мире говорит в пользу социализма. В этом смысле многозначительно название заключительной главы — «Америка смотрит на Европу». Теперь монополии США уже не могут безнаказанно устанав-

ливать свое неограниченное господство на всех материках. Влияние социалистического лагеря на судьбы мира, будущее человечества все более возрастает. С этим империалисты не могут не считаться.

«Америка смотрит на Европу — с беспокойством о собственной судьбе», — эти заключительные слова автора можно было бы поставить эпиграфом к книге.

**А. МЕЛЬНИКОВ.**

★

## Буржуазная „элита“ и ее апологеты

**Х**арактерная черта эксплуататорского общества — раскол его на горстку «избранных» и бесправное большинство, которым эти «избранные» управляют и помыкают по своему разумению и произволу. Обосновать положение, при котором одним уготована судьба попасть в число привилегированных, а другие всю жизнь должны работать на них, — в этом видят свою главную задачу уже на протяжении многих сотен лет идеологи угнетателей.

В наш век для такой защиты реакционной практики все чаще используют различные теории «элиты». Перед нами один из наиболее свежих трудов, посвященных этому вопросу, — книга западногерманского социолога Иоахима Кнолла «Отбор руководителей в условиях либерализма и демократии». Автор излагает не только свои собственные идеи, но и взгляды других буржуазных теоретиков. Материалы книги свидетельствуют о том, что теоретические оправдания классового неравенства сейчас нужны буржуазии больше, чем когда-либо. Почему?

Частичный ответ на этот вопрос дает сам Кнолл, указывая, что «элитой» стали особенно усиленно интересоваться после того, как пала монархия, а вслед за ней «естественная и органическая государственная пирамида». Действительно, раньше задача идеологов эксплуататорских классов решалась проще. Источником всякой власти считали бога. Его «помазанники» — цари, короли и императоры — безраздельно правили

на земле. А от них — прямо или косвенно — получали власть, положение и привилегии все представители «элиты»: родовая аристократия, высшие чиновники, военная знать и так далее. В этих условиях «богом данной» могла считаться каждая власть и каждая привилегия, что долгое время избавляло от необходимости отвечать на разнообразные каверзные вопросы. Пока стояла монархия и непоколебленной оставалась вера, такие вопросы не могли и возникнуть.

Все эти соображения, однако, не исчерпывают сути дела. Здесь Кнолла приходится несколько дополнить. Возросшая нужда буржуазии в обосновании господства ее руководителей в обществе связана с пробуждением к активной политической жизни огромных масс трудящихся.

Ведь это действительно один из наиболее примечательных фактов современности. Миллионы людей проснулись, пришли в движение, стали бороться не только за формальное право, но и за реальную возможность активно участвовать в общественно-политической жизни. Ясно, что в этих условиях начался очень основательный и глубокий пересмотр старых представлений и мифов, с помощью которых людей удерживали в слепом повиновении. И одними из первых зашаталась мифы связанные с обоснованием господства, привилегий и преимущественных прав буржуазной «элиты».

Во-первых, оказалось, что в буржуазном обществе, вопреки прежним демократическим декларациям и постановлениям, вопреки лозунгам братства и равенства, под которыми пришла к власти буржуазия, такая «элита» действительно существует. Не «слуги общества», не «уполномоченный» корпус избирателей, а именно привилегированная ка-

Joachim Knoll. Führungsauslese in Liberalismus und Demokratie. Stuttgart, 1957 (Иоахим Кнолл. Отбор руководителей в условиях либерализма и демократии. Штутгарт. 1957).



ста — в таком виде буржуазные руководители все больше и больше представляли перед миллионами руководимых.

Во-вторых, обнаружив над собой «элиты», управляемые вскоре поняли и убедились в том, что вершители судеб народа вовсе не представляют собой отборную, лучшую часть общества, выдвинувшуюся в силу каких-то особых талантов и добродетелей. Этому пониманию способствовал не только рост культуры простых людей труда, но и то гнилое разложение, которое на закате капитализма охватило верхи общества, — рост коррупции и взяточничества, ужасающий упадок нравов, связь власть имущих с темными, нередко просто преступными элементами.

И, наконец, в-третьих, трудящиеся на опыте целого ряда стран познали ту истину, что руководство экономикой, политикой, общественными делами и культурой вовсе не требует существования оторванной от народа узкой группки буржуазных «избранных». Сначала в Советской России, а потом в Китае и других странах, порвавших с капитализмом, те функции, которые раньше были монополией «элиты», стали с успехом выполняться вчерашними слесарями и хлебопашцами, шахтерами, плотниками и пастухами. Оказалось, что из их среды не хуже, чем из любой другой, могут вырасти мудрые государственные деятели, талантливые полководцы, искусные инженеры, блестящие ученые и писатели.

Дело шло к тому, что привилегии «элиты» начали все чаще и больше ставиться под сомнение. Это потребовало со стороны идеологических прислужников буржуазии поистине нечеловеческих усилий для обоснования своих позиций. Этими усилиями и была рождена новая процветающая отрасль социологии — «наука» об «элите».

С поклона основоположникам сей «науки» и начинает свою книжку Кнолл. Первым среди них упоминается итальянец Гаэтано Моска. Это он «открыл» «вечный закон» истории, который якобы состоит в том, что в любом обществе существует «два класса: один, который господствует, второй — над которым господствуют». Указав, провозгласив естественным и неиз-

бежным положение, существующее в эксплуататорском обществе, Моска обосновывал право буржуазных лидеров, вопреки интересам народа, вершить судьбы нации. Он цинично писал, что политическая «элита» не должна отбираться по интеллектуальным и тем более этическим признакам, а лишь по способности «править себе подобными».

Но Моска еще слыл «демократом» среди теоретиков «элиты». Один из его последователей, Вильфредо Парето, открыто призывал «сильных» к кровавым путчам, захвату власти шайкой громил, что вежливо именовалось «коллективным насилием меньшинства».

За такое же кулачное право горстки «избранных» ратовал и немец Отто Аммон, попытавшийся опереться в своих теоретических изысканиях на Дарвина. По Аммону, в обществе, как и в природе, идет непримиримая борьба за существование. Поэтому и право здесь на стороне наиболее сильных, жестоких, не стесняющихся в выборе средств. Их нельзя судить обычным людским судом, ибо эта, как он ее называл, «социальная аристократия» предназначена к господству самой природой.

Подробно рассказывает Кнолл в своей книге и о взглядах французского социолога Гюстава Лебона. В труде «Психология масс», сделавшем его знаменитым, он одним из первых грозил жупелом «толпы», утверждая, что без «сильных» вождей, способных обуздать толпу с помощью демагогии и террора, массы, руководимые одними только разрушительными животными инстинктами, разнесут вдребезги хрупкое здание общества и цивилизации. А испанский философ Ортега-и-Гассет (почему-то причисленный Кноллом к «либеральным» мыслителям), обрушившись против «неверно понятой идеи равенства», увидел «назначенные массы... в том, чтобы подчиняться «элите» и передать руководство в руки лучших».

Уже этот краткий обзор дает представление об общем направлении мысли крупнейших буржуазных теоретиков «элиты». Огостельные нападки на либеральные и демократические идеи, еще недавно поддерживавшиеся буржуазией, открытое прославление политики силы — все это сделало такие тео-

рии духовным оружием самой крайней реакции. В самом деле, ведь Парето был любимым учителем Муссолини, у Аммона многое позаимствовали гитлеровцы, а Лебон и сегодня остается общепризнанным авторитетом среди реакционных американских «психосоциологов», высказывающихся за ликвидацию последних остатков демократии.

В книге Кнолла приводятся слова Муссолини: «Девятнадцатый век был наполнен словом «все» — боевым кличем демократии. Настало время сказать: немногие и избранные». Псевдонаучную основу для этой замены и призваны были представить теории «элиты».

Взятые в целом, как одно из направлений современной буржуазной общественной мысли, эти теории представляют собой идейное оружие наиболее воинственных реакционных сил капитализма. Автор книги, видимо, сообразил, что такой вывод может прийти в голову и его читателям, а это может лишь скомпрометировать всю концепцию «элиты». Вот почему он предпринял попытку отмежеваться от разного рода «крайностей» и, в частности, от фашизма, посвятив критике его воззрений на проблему «элиты» даже особую главу.

Но с каких позиций ведется эта критика? Только с одних: нацисты ошибались в своем биологическом подходе к проблеме «элиты». «Людей нельзя выращивать, как лошадей», — пишет Кнолл. А посему эсэсовские «питомники» для подготовки «элиты», выдвигание в качестве главного критерия «чистоты» крови и тому подобное — все это, по его мнению, чепуха, абсолютно бесполезные мероприятия. Вот и вся критика!..

Слабость обличения фашистской практики «вождизма», доведенного до предела и абсурда, не является случайной. Все дело в том, что представления самого Кнолла не столь уж далеки от тех же идей. В этом убеждают и те главы его книги, где анализируется история рассматриваемой проблемы, и особенно раздел, в котором автор пытается что-то противопоставить гитлеровской концепции «элиты». Для этой цели он не находит ничего более подходящего, нежели проект конституции, разработанный в тридцатых годах бывшим лейпциг-

ским обербургмейстером Карлом Гёрделером и предусматривавший в качестве первого шага... восстановление монархии. И этот архиреакционный плач Кнолл величает не иначе, как «отважным подвигом либерализма»!

Стержневой вопрос рассуждений в книге — реформа государственного устройства ФРГ, выдвигаемая Кюллом. Как заявляет сам автор, смысл этой реформы в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для отбора «элиты» и ее беспрепятственной деятельности по «руководству» обществом. Другими словами, речь идет о дальнейшем урезывании демократии в Боннской республике, и без того не отличающейся демократизмом даже по современным, более чем скромным буржуазным стандартам.

По всему чувствуется, что охотнее всего Кнолл предложил бы, вслед за Гёрделером, восстановить монархию. Сказать это у него не поворачивается язык, но зато весьма подробно разбирается в книге план вполне монархической верхней палаты — не избираемой, а по назначению назначаемой, располагающей широчайшими полномочиями, призванной стать не только питомником «новой элиты», но и своего рода коллегияльным абсолютным монархом.

В середине XX века такие взгляды среди буржуазных социологов — отнюдь не редкость. Они все чаще и упорнее твердят о монархии, предлагая восстановить власть императоров и королей. Но при этом далеко не каждый из них решается клясться в верности демократии. Чаще ее, напротив, открыто поносят.

Иное дело Кнолл. Он начинает и кончает с изъявлениями озабоченности судьбами демократии, твердит о своем стремлении ее сохранить и укрепить. Символично, что последняя фраза книги — это приводимая с горячим сочувствием цитата из трудов одного реакционного теоретика, сделавшего сенсационное «открытие» о том, что «судьба демократии зависит от ее способности создать руководящие слои такого типа, какой отвечает ее сущности». Для Кнолла и его единомышленников демократия — это как раз то, что всегда и всеми понималось как ее антипод, — господство узкой и безот-

ветственной клики, которая могла бы помыкать трудящимися.

Подобного рода фальсификации симптоматичны. И если к ним вынуждены прибегать буржуазные идеологи, то это прежде всего потому, что демократические идеи завоевали такую широкую поддержку масс, что выступать против них с открытым забралом становится очень рискованно. Даже злейшим врагам демократии приходится рядиться в тогу ее защитников.

Это может быть опасно — таким путем еще удастся обманывать миллионы людей. Но это может быть и смешно. Свидетельство тому — Кнолл. Уж очень нелепы его софизмы, очень неубедительны попытки отмежеваться от фашизма, очень безосновательны потуги присвоить себе звание поборника демократии. Западногерманский социолог явно потерял чувство меры.

**Ю. АРБАТОВ.**



## ПОПУЛЯРНЫЙ — ЗНАЧИТ НАРОДНЫЙ

**Б**ыстро развивающаяся техника промышленности и сельского хозяйства нуждается в высококвалифицированных работниках, которые не только в совершенстве изучили доверенные им станки и механизмы, но и знакомы с научными основами производства. Знание естественных наук, законов физики, химии, биологии стало необходимостью для миллионов тружеников.

Широкое распространение естественнонаучных знаний содействует формированию материалистического мировоззрения. В нашей стране уничтожены социальные корни религии, но иногда все же приходится сталкиваться с фактами, когда религиозные суеверия и предрассудки — эти пережитки прошлого — мешают коммунистическому восприятию жизни, приносят вред на производстве и в быту.

В ноябре 1954 года ЦК КПСС принял постановление «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения». Материалистическое объяснение явлений окружающей нас природы, указывалось в постановлении, должно быть положено в основу атеистической пропаганды.

Большая роль в этом важнейшем деле принадлежит массовым библиотекам. Но если обратиться к их практике за последнее время, то бросается в глаза странное обстоятельство: выдача книг по естествознанию из года в год падает. Чем это объяснить? Быть может, уменьшился выпуск научно-популярных книг? Нет, это не так. Научно-популярную литературу издает целый ряд издательств, и притом значительными тиражами. На книгах этого жанра мы видим издательскую марку «Молодой гвардии», Детгиза, «Советской России», Физматгиза, Географгиза, Издательства Академии наук СССР, Сельхозгиза, Воениздата. Огромными тиражами издаются лекции Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. И все же спрос на книги по естествознанию не воз-

растает. Это серьезный упрек и предупреждение издательствам, чья продукция явно не удовлетворяет читателей. Ведь не залеживаются на полках по-настоящему интересные популярные книги.

В Коченевской районной библиотеке Новосибирской области книга М. П. Иванова «Солнце и его семья» в течение 1957 года была выдана пятнадцать раз, то есть буквально переходила из рук в руки. Хотя эта книга написана для детей старшего возраста, ее с удовольствием читали взрослые.

Заслуженной любовью читателей пользуются многие научно-популярные произведения — Н. Верзилина, Б. Воронцова-Вельяминова, Д. Данина, М. Иванова, Б. Кудрявцева, О. Писаржевского, С. Огнева, Е. Слангенберга, А. Фермана, И. Халифмана и других талантливых популяризаторов. Вклад в советскую научно-популярную литературу внесли ученые, писатели, педагоги.

Но хороших книг у нас еще слишком мало. Подчас библиотека ничего или почти ничего не может предложить читателю. Интересно, чем актуальнейшими вопросами естествознания. Так, недостает хороших, интересных книг об электрической энергии, о принципах действия электронных приборов, о применении законов физики в народном хозяйстве, о цветных и редких металлах, о различных химических производствах, о строении и жизни человеческого организма, о происхождении и развитии органического мира.

После майского (1958) Пленума ЦК КПСС коллектив Новосибирской центральной городской библиотеки имени К. Маркса решил более активно пропагандировать среди читателей научно-популярную литературу по химии. Работники с помощью библиографических пособий обследовали свой фонд и поместили выявленную литературу на стойку в особый ящик. Но, увы! Несмотря на призывы библиотекарей, этот

ящик не привлек внимания читателей, они отказывались от собранной в нем литературы. А когда работники библиотеки внимательнее ознакомились с подобранными брошюрами, они убедились, что читатели правы: уж очень сухо и скучно написаны эти книжки.

А что могут предложить библиотекари читателю, который хочет ознакомиться с основными проблемами и новейшими достижениями биологической науки? Вот брошюра Е. Мишустина «Достижения советской биологии», выпущенная издательством «Знание» в 1958 году. Название этой книги обещает много, но она оставляет у читателя чувство разочарования. Действительно, о многих ли достижениях биологии сможет узнать читатель, если автор ограничился только перечислением имен ученых и научных проблем, почти ничего не поясняя? Приведем некоторые выдержки из этой брошюры.

«По вопросам лесоведения в СССР был опубликован ряд крупных монографий (Н. С. Нестеров, М. Е. Ткаченко и др.)». «Была установлена значительная роль в жизни растений синтетической деятельности корней (А. А. Шмук, Д. А. Сабинин, А. Л. Курсанов и др.)». «Большого внимания заслуживают исследования по изучению влияния микроэлементов на процессы, происходящие в растениях, и на урожайность сельскохозяйственных культур (Я. В. Пейве, П. А. Власюк, М. Я. Школьник, Е. В. Бобко и др.)». Можно поверить автору, что проблемы и исследования, которые он называет, действительно важны, интересны, значительны. Но в чем их сущность, он не объяснил.

Другой пример. Открывая брошюру П. В. Макарова «Некоторые проблемы современной цитологии» (издательство «Знание», 1957), массовый читатель вправе был надеяться, что она обогатит его сведениями о современном состоянии учения о клетке. Но не тут-то было! Брошюра настолько сложна и трудна, что без специального биологического образования понять ее невозможно. Автор пишет, например, о «современном положении проблемы непрерывности хромосом», о «дискуссии вокруг проблемы материальной субстрата наследственности», о «белковой концепции гена», явно обращаясь к читателю, вполне владеющему этими понятиями. Можно ли назвать эту брошюру популярной? Конечно, нет. К сожалению, в последние годы именно та-

кого рода научно-популярная литература появляется довольно часто.

Как правило, авторами популярных книг являются специалисты различных областей науки. Многие считают, что научная квалификация автора уже сама по себе гарантирует высокое качество научно-популярного труда. Но это далеко не так. Популяризация — деятельность особого рода. Выдающийся ученый только в том случае сможет стать и выдающимся популяризатором (какими были Тимирязев, Сеченов, Столетов, а в советское время — Вавилов, Обручев, Ферсман), если он отчетливо понимает, в чем заключаются особенности научно-популярной литературы, если, кроме научной эрудиции, он обладает определенным литературным опытом, а также и педагогическим даром. Наука накопила огромный материал, чрезвычайно важный, которым обязательно должны владеть специалисты данной отрасли знания, но который далеко не всегда доступен широкому читателю. Вместе с тем существуют положения, факты, теоретические обобщения, интересные для любого человека, независимо от рода его занятий. Именно такого рода материал ищет в научно-популярной книге читатель. Но, знакомясь с ней, он нередко ощущает, что автор не отрешился от обычной для него точки зрения специалиста, что он обращается, собственно, не к обширной читательской аудитории, а скорее к своим соратникам, к ученым.

«Никогда, никакими силами вы не заставите читателя познавать мир через скуку», — писал А. Н. Толстой. Заинтересовать человека проблемами науки не так уж трудно, ведь скучных и сухих наук нет. Но скучных, серых, трудных книг о науке издается еще немало.

Перелистаем брошюру З. Л. Синкевич «Наука о психической деятельности» («Знание», 1958). «Учение И. П. Павлова, — читаем мы, — раскрывает несоответствие этих идей законам естественных наук, когда показывает, что у здорового человека условные связи подчиняют себе безусловные, то есть врожденные, инстинктивные реакции, что условно-условные, или кортико-пирамидные, связи играют высшую, регулируемую роль в отношении кортико-экстрапирамидных (условно-безусловных), а вторая сигнальная система подчиняет себе в функциональном отношении первую» (стр. 17); «Своеобразие «внезапного замыкания» условной связи, когда мы сразу

получаем двигательную реакцию на слово, слышимое и видимое, хотя раньше никогда не сочетали это слово с данным условным раздражителем, заключается в том, что в отличие от форм замыкания, описанных выше, условная связь возникает здесь путем динамического взаимодействия между запечатлениями в коре устного и письменного обозначения того или другого раздражителя (вторая сигнальная система) и непосредственным его корковым запечатлением (первая сигнальная система) на основе избирательной иррадиации» (стр. 19). Подобные фразы можно встретить почти на каждой странице книги. Да у какого же читателя хватит терпения, сил, мужества, чтобы прорваться сквозь эти словесные джунгли! А между тем на титульном листе брошюры сказано, что она печатается по решению жюри конкурса на лучшую научно-атеистическую и естественнонаучную брошюру, проведенного Всесоюзным обществом по распространению политических и научных знаний.

О великий и могучий русский язык! Почему под пером некоторых авторов популярных книг ты выглядишь таким беспомощным и бедным? Неужели они не находят нужных слов и оборотов для того, чтобы рассказ о науке был ярким, интересным, понятным миллионам?

Мы назвали только несколько неудачных научно-популярных изданий, но число примеров можно было бы значительно увеличить. Любой библиотекарь припомнит немало книг и брошюр, от которых решительно отворачиваются посетители библиотеки. Приведем только одну цифру. В каталоге районной библиотеки, изданном Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина (1958), перечислено 57 научно-популярных книг по физике. Чтобы отобрать эти 57 книг, составители каталога изучили 150. Таким образом, почти сто изданий, претендующих на популяризацию научных знаний, не оказалось возможным рекомендовать читателям массовых библиотек.

Сейчас ввиду недостатка полноценной популярной литературы наибольшим успехом у взрослых читателей пользуются подчас естественнонаучные книги, изданные Детгизом для детей среднего и старшего возраста. Однако, как бы ни была хороша детская книга, с каким бы удовольствием ее ни читал взрослый человек, она не всегда может в полной мере удовлетворить его запросы и интересы.

Популяризация — дело сложное. Это, пожалуй, даже талант, искусство. И этому искусству можно и нужно учиться, его можно и должно развивать, совершенствовать.

Думается, было бы целесообразно проводить ежегодные конкурсы на лучшую научно-популярную книгу, за которую присуждалась бы, например, премия имени К. А. Тимирязева (ведь устраиваются конкурсы на лучшую научно-популярную книгу для детей!). Творческое соревнование авторов положительно скажется на качестве книг.

Успеху научно-популярных произведений способствует прежде всего хорошее знание автором запросов, интересов, уровня подготовки читателей.

В. И. Ленин высоко оценил книгу И. И. Скворцова-Степанова «Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства». Перед автором стояла в высшей степени трудная задача: сложные вопросы электрификации он должен был разъяснить читателям, не знакомым даже с основами физики. И все же он блестяще преодолел все трудности. Книга начинается с изложения метрической системы мер — даже такие элементарные вещи надо было в то время растолковывать. Скворцов-Степанов не вводит в книгу ни одного понятия, не объяснив его. Он очень ясно и наглядно показывает значение фактов и взаимную их связь. Благодаря стройной, логичной, неизменно интересной манере изложения Скворцов-Степанов сумел, начав буквально с азов, познакомить читателя с основами электротехники, с применением электрической энергии в промышленности и земледелии и, наконец, с планом ГОЭЛРО. Недаром В. И. Ленин писал, что эта книга учит «не «полнауке», а всей науке».

В наши дни популяризатор не обязан начинать изложение с азов. Сейчас вполне правомерно появление научно-популярных книг, обращенных к читателям со средним образованием и позволяющих углубить знания, полученные в школе, познакомиться с достижениями науки, не нашедшими отражения в школьной программе. Еще более широкую читательскую аудиторию найдут книги, рассчитанные на людей, имеющих неполное среднее образование. Но когда авторы, редакторы и издатели популярных книг не «видят» читателя, к которому они обращаются, в свет выходят книги, неизвестно для кого написанные.

Надо сказать прямо: многие издательства оторваны от читателей. Если план выпуска книг выполнен, считается, что издательство с честью справляется со своими задачами. За дальнейшую судьбу книги оно не отвечает. Больше того, далеко не всегда издательство интересуется, разошлась ли книга или застряла на книжных складах, в магазинах, «рвут» ли ее читатели друг у друга или она спокойно покрывается пылью на библиотечных полках. Надо, чтобы издательство было кровно заинтересовано в судьбе своих книг и регулярно получало информацию о том, как каждое его детище принято читателями. Быть может, следует подумать и о том, чтобы виновники книжного брака или явного завышения тиражей несли и материальную ответственность.

К сожалению, в нашей печати рецензируется лишь незначительное число научно-популярных книг. К тому же рецензенты обычно оценивают книгу только с позиций ее научной доброкачественности и не обращают внимания на язык, стиль, характер изложения. А жаль! Ведь для научно-популярной книги это не менее важно.

Очень редко на страницах печати с суждением о популярной книге выступает рядовой читатель. К его голосу мало прислушиваются и авторы и работники издательства. Между тем, как неоднократно указывала Н. К. Крупская, полноценная советская популярная литература может быть создана лишь при широком участии читательской массы. Надо, писала она, научиться (автору) «слушать и слышать голос массового читателя. Этот голос может навести его на ряд новых мыслей, помочь увидеть новые стороны жизни, глубже подойти к их изучению и сделать свое произведение мощным орудием воспитания масс».

Библиотекарь постоянно связан с читателями и может быть прекрасным помощником популяризатора. Ведь при правильной организации дела библиотека может превратиться, по словам Н. К. Крупской, в своеобразную лабораторию, в которой развернется большая работа, чрезвычайно полезная и читателям и авторам. Встречаясь с читателями, принимая участие в обсуждении книг, популяризатор почерпнет много поучительного для своей последующей работы. И не в обиду будь сказано нашим писателям, ведь редко, очень редко заглядывают они в массовые библиотеки.

Библиотекари могли бы оказать большую помощь и издательствам. Отзывы о

книгах собирают многие библиотеки, но в большинстве случаев этими данными никто не интересуется. А почему бы не помещать в печати обзоры отзывов читателей о книгах по примеру обзоров читательских писем, как это делается в газетах? Ведь мог бы завязаться живой и обоюдополезный разговор между автором и читателем.

Библиотекари должны были бы принимать участие в обсуждении тематических планов издательств. Кому, как не библиотекарям, знать, какие книги пользуются наибольшим успехом у читателей, а какие годами стоят, никем не тревожимые, на полках. Библиотекари могли бы подсказать и темы популярных книг, которых нет, но которые очень интересуют читателей. Жаль, что с мнением библиотекарей не считаются, когда решается вопрос о переиздании книг. В. И. Ленин писал: «...популярная литература только та и хороша, только та и годится, которая служит десятилетия».

В самом деле, почему по многу лет не переиздавались, например, такие отличные книги, как «Жизнь леса» С. И. Огнева, «Рождение миров» и «Дороги к звездам» М. П. Ивановского, «Жизнь насекомых» Ж. Фабра и ряд других?

Почти ежегодно Министерство культуры РСФСР запрашивает у Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина списки книг, которые было бы желательно переиздать. Списки аккуратно составляются, но лишь очень немногие из предложений библиотеки учтены издательствами.

Ко всему сказанному о научно-популярной литературе по естествознанию надо еще добавить, что комплектование ею библиотек поставлено совершенно неудовлетворительно.

Вот несколько примеров.

В сельских библиотеках Белгородской области в 1957 году уменьшилось количество книг по естествознанию по сравнению с 1956 годом. В этой области нет буквально ни одной сельской библиотеки, которая была бы удовлетворительно снабжена естественнонаучной и технической литературой.

Сельские библиотеки Московской области в 1957 году получили всего по восемнадцати естественнонаучных книг, причем среди них имеются малодоступные для широкого круга читателей.

В бюллетене Всесоюзной книжной палаты «Новые книги» №№ 1—19 за 1958 год заре-

гистрировано семнадцать книг по естествознанию и физической географии, рекомендованных районным, городским и сельским библиотекам. Из них сельские библиотеки Новосибирской области получили из коллектора одну книгу, городские и районные — шесть, а остальные десять книг вообще не поступили в областной коллектор.

Книга В. Д. Осипова «Тайна Сибирской платформы» (повесть об открытии месторождений алмазов в Якутии) была издана в конце апреля 1958 года. В Москве ее сразу же стали продавать во всех книжных магазинах, а в конце июня она еще не поступила в ряд областных коллекторов массовых библиотек.

Нельзя не вспомнить в связи с этим одно высказывание В. И. Ленина, который по случаю назначения нового заведующего Центропечатью писал: «Надо чтобы Вы (и мы) с абсолютной точностью знали, кого посадить (и из Центропечати, и из библиотечной сети; обязательно из обо их учреждений), если через 1 месяц (2 недели? 6 недель?) после выхода каждой советской книги ее нет в каждой библиотеке». Такое требование к снабжению библиотек книгами Владимир Ильич

предъявлял в мае 1921 года. Он считал, что шесть недель — это максимальный срок, чтобы библиотеки получили вновь вышедшую книгу. Кое-кому стоит подумать об этом. Ведь только та библиотека пользуется любовью и уважением читателя, в которой он вовремя может получить нужную ему книгу.

С перестройкой системы народного образования значительно возрастет роль самообразования. Миллионы людей, изучивших в школе основы наук, будут обращаться к научно-популярной книге, чтобы пополнить, углубить, расширить свои знания в отдельных областях науки и техники. Поэтому еще больше повысятся требования к научно-популярной литературе. И только в том случае, когда все три звена в цепи: автор—издательство—читатель—будут тесно связаны между собой, когда ученые, литераторы, педагоги, работники издательства внимательно прислушаются к голосу читателей, наши популярные книги действительно станут учебниками для народа.

**С. ЛЕВИНА, В. НАСЕДКИНА,**  
сотрудники Государственной  
библиотеки СССР  
имени В. И. Ленина.





## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**И. ЕФРЕМОВ.** Туманность Андромеды. «Молодая гвардия». М. 1958. 368 стр. Цена 7 р. 10 к.

И. А. Ефремов, писатель-ученый, известен как один из мастеров научно-фантастического жанра. Его романы «Звездные корабли», «Встреча над Тускаророй», «На краю Ойкумены» и другие пользуются у читателей большим успехом.

Новый роман И. Ефремова «Туманность Андромеды», отличающийся смелостью творческой фантазии, печатался на страницах журнала «Техника молодежи». В настоящем издании текст романа расширен и дополнен по сравнению с журнальным.

Автор рассказывает о далеком будущем человечества. Больше тысячелетия отделяет время действия романа от нашего сегодня. Человек уже давно получил от Земли все, что хотел. Он стал хозяином Галактики. В просторах Вселенной летают созданные его руками маленькие планеты. В далекие миры уносятся космические корабли со скоростями, близкими к скорости света.

На одном из таких кораблей герои романа улетают в созвездие Андромеды.

Интересно наметил автор образы людей коммунистического общества, людей, разум которых покоряет пространство и время, которые ставят дерзкие опыты по сближению миров.

Серьезная техническая аргументация делает убедительными фантастические картины будущего.

**А. БОГДАНОВ.** В старой Пензе. Пензенское книжное издательство, 1958. 104 стр. Цена 1 р. 70 к.

Юность с корыстью не знается,  
Юность расчета бежит,  
Страстностью сила рождается,  
Сила в борьбе укрепляется,  
Счастье в борьбе состоит!

Эти несовершенные еще стихи, записанные в дневник шестнадцатилетним подростком, стали девизом всей жизни славного большевика, литератора Александра Богданова.

Знакомство с произведениями Некрасова и Г. Успенского, наблюдение за страшными картинами дореволюционной действительности способствовали тому, что юноша стал народным учителем. В деревне и начал заниматься литературой будущий писатель.

Встречи с Н. Э. Бауманом, М. Горьким, наконец, беседы с В. И. Лениным дали яс-

ное направление жизни и творчеству молодого писателя.

В книге помещены избранные очерки Богданова: «В старой Пензе» (колоритные картины быта и нравов провинциального дворянского купеческого города семидесятых — восьмидесятых годов XIX века). «Первая встреча» (о знакомстве с Лениным), «Эх, Антон!» и другие.

Предисловие к книге, написанное племянницей Богданова Р. Поповой, характеризует жизненный и творческий путь своеобразного литератора.

**ИВАН МАЛЮТИН.** Воспоминания. «Советский писатель». М. 1958. 128 стр. Цена 2 р. 70 к.

Когда-то писатель В. Шишков назвал автора этой книги «энтузиастом русской литературы». И действительно, скромным, неутомимым тружеником, собирателем и пламенным пропагандистом книги предстает Иван Петрович Малютин со страниц своих «Воспоминаний».

«Книга всю жизнь была и осталась моим лучшим другом. Этой любви к литературе не могли загасить никакие, даже самые трудные обстоятельства». Сын бедняка крестьянина, И. Малютин, с тех пор как выучился читать и писать, «нес книгу в массы», сначала в деревне, где он жил, потом на плотах Шексны и Волги, на фабрике — Ярославской Большой мануфактуре. За распространение среди рабочих нелегальной литературы царское правительство сослало его в ссылку в Сибирь.

За свою жизнь (ныне И. Малютин пенсионер) он встречал немало интересных людей. Сохранилось у него и много писем от русских литераторов, которые с любовью и уважением относились к И. П. Малютину. В аннотируемой книге приведены письма к И. Малютину от В. Короленко, М. Горького, Л. Трефолева, В. Шишкова, С. Подъячева, С. Дрожжина, И. Белоусова, Н. Морозова, Т. Щепкиной-Куперник. Все письма публикуются впервые.

В этих письмах и в самих воспоминаниях автора книги есть интересные подробности из жизни русских писателей.

**АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ.** Избранные произведения. Гослитиздат. М. 1958. 648 стр. Цена 13 р. 95 к.

Выпущенный ныне Гослитиздатом сборник произведений Артема Веселого будет с интересом встречен читателем.

Артем Веселый принадлежал к поколению писателей, рожденных великим Октябрем. Непосредственный участник революции, затем партийный работник, а позже матрос Черноморского флота, Артем Веселый вступил в литературу в двадцатые годы.

Основной темой писателя стала тема революции и гражданской войны. Его герои — революционные солдаты, матросы, партизаны, пролетарская и крестьянская масса.

Особенный интерес представляет роман «Россия, кровью умытая», впервые опубликованный в 1932 году. В нем автор рисует родную страну, охваченную бурей гражданской войны. Роман написан динамичным, стремительным, необыкновенно выразительным языком и ярко запечатлевает одну из сторон революционной эпохи — разбушевавшуюся стихию народной вольницы. К этому роману Артем Веселый возвращался неоднократно впоследствии, дорабатывал отдельные части, вводил новых героев. Книга осталась незавершенной, но, несмотря на свою незавершенность и на известную неполноту изображения, она вошла в историю советской литературы как одно из наиболее талантливых и самобытных произведений.

В сборник включены рассказы и очерки Артема Веселого разных лет, а также его исторический роман о Ермаке — «Гуляй Волга». И хотя, по словам автора, он «никогда не был историком», роман привлекает яркостью, правдивостью, удивительно конкретным и зримым изображением быта далекого прошлого страны.

**СКАЗКИ ЧУКОТКИ.** Записала О. Е. Бабошина. Гослитиздат. М. 1958. 264 стр. Цена 4 р. 65 к.

Неласкова природа Чукотки. Полгода длится полярная ночь. Необозримая тундра простирается на многие сотни километров. Трудолобив, вынослив и бесстрашен народ этого сурового края.

Вековая борьба со стихиями породила своеобразные и выразительные сказки и предания. В них отразились живой ум и смекалка охотников и оленеводов, их мечты о счастье.

В сказках причудливо переплетаются фантазия и конкретные, реальные черты быта чукчей, коряков, эскимосов. Звери и птицы — герои многих сказок — действуют, как люди: охотятся в тундре и выходят на байдарках в холодное северное море за рыбой и тюленями, кочуют далеко от своих стойбищ с оленями стадами и воюют с метелями и морозом.

Многие сказки построены на контрасте — противопоставлении добра и зла («Зайчик и черт»), трудолюбия и лени («Волк, ворон и горный баран»).

Более ста сказок и преданий народов Чукотки включено в предлагаемый читателю сборник. Они собраны и записаны О. Е. Бабошиной, посвятившей изучению быта и фольклора Чукотки свыше двадцати лет напряженного труда.

**А. БУШЕН. Рождение оперы (Молодой Верди). Роман. «Советский писатель». М. 1958. 380 стр. Цена 7 р. 50 к.**

Роман посвящен началу творческого пути великого итальянского композитора XIX века Джузеппе Верди, оперы которого — «Эрнани», «Риголетто», «Трубадур», «Травиата», «Аида», «Отелло» — получили мировую известность.

В книге рассказана история создания одной из ранних опер композитора — «Навуходоносор», в которой проявились характерные особенности таланта молодого Верди, нашли свое выражение его патриотические настроения, его стремление выразить в музыке чаяния и надежды, которыми в те времена жил поработенный итальянский народ.

Действие романа разворачивается в бурную эпоху борьбы за национальное освобождение Италии от австрийского владычества. Автор рисует широкую картину итальянской жизни того времени, уделяя основное внимание артистическим кругам итальянского общества конца тридцатых годов прошлого столетия. Именно в этих кругах борьба за свободное национальное искусство приобрела особую остроту, особый размах.

В работе над романом автором использован обширный документальный материал.

**ЭЛЬВИ СИНЕРВО. Вид с горы. Рассказы. Перевод с финского. Издательство «Правда» (Библиотека «Огонек»). М. 1958. 48 стр. Цена 60 к.**

Герои рассказов Эльви Синерво, прогрессивной финской писательницы, известной советскому читателю по роману «Товарищ, не предавай!», — простые люди ее родины, с их нелегкой трудовой жизнью, гордостью и смелостью, с маленькими и большими бытовыми неурядицами и неистребимым жизнелюбием. Рабочий, пострадавший на производстве и заканчивающий жизнь в сельской богадельне, потому что жене и детям не на что содержать его («Вид с горы»). Подпольщик, вспоминающий перед казнью все то «светлое и победное», что позволяет ему завещать жене: «Если когда-нибудь ты расскажешь сыну, каким был его отец и почему он умер... скажи, что его отец был счастливым человеком» («Ненаписанная поэма»). Мать, идущая красть уголь ради своих детей («Уголь»), и гимназистка, крадущая бутерброды для безработных родителей («Два бутерброда»).

В рассказах Синерво нет исключительных, необычных ситуаций, жизнь взята в ее повседневном, будничном течении, запечатленном строго, сдержанно, немногословно.

**ГАНС КРАУЗЕ. Али-баба и Куриная фея. Повесть. Перевод с немецкого. Детгиз. М. 1958. 288 стр. Цена 5 р. 60 к.**

Странное на первый взгляд название этой повести расшифровывается просто: Али-баба не сказочный разбойник, а пятнадцатилетний мальчик Хорст Эппке — главный герой книги немецкого писателя Ганса Краузе. Куриная фея — девочка Рената,

прозванная так за свою любовь к цыплятам. Действие повести — наше время, место действия — интернат, расползшийся в бывшем имени немецкого барона. Нелегко было воспитателям и педагогам привить разным по характерам ребятам любовь к деревенскому труду и дать им образование. Особенно трудно было с такими, как грубый, неряшливый Али-баба.

Но здоровый в своей основе, дружный коллектив, работа на пользу народа помогли ребятам стать честными, трудолюбивыми гражданами своей страны.

Книга эта интересна для советского читателя и тем, что в ней поднимаются вопросы, связанные с воспитанием и образованием, и тем, что она дает возможность ознакомиться с жизнью ребят демократической Германии, увидеть живые черты ее.

Книга вышла в переводе с немецкого Л. Черной.

**РЕШАД НУРИ ГЮНТЕКИН.** Птичка певчая. Роман. Перевод с турецкого. Гослитиздат. М. 1958. 400 стр. Цена 6 р. 70 к.

Творческое наследие прогрессивного турецкого писателя Решада Нури Гюнтекина (1892—1956) обширно: им создано шестнадцать романов, шесть сборников рассказов, около тридцати пьес. Широкую известность и большой успех принес Решаду Нури роман «Чалыкушу» (в переводе названный «Птичка певчая»).

В этом произведении автор нарисовал картины жизни различных слоев турецкого общества начала XX века — от великосветской знати до скромных тружеников крестьян, вскрыл противоречия между буржуазно-помещичьим Стамбулом и нищей, разоренной Анатолией. Героиня романа — Ферид, учительница начальной школы в глухой деревушке. О жизни, трудной судьбе молодой девушки, которая захотела быть независимой в ту пору, когда стремление женщины к самостоятельности было явлением редким и обрекало ее на тяжелые испытания, рассказывает Решад Нури в своей книге. Писатель сам работал учителем в начальной школе, поэтому он так точно и зло показал в романе чиновников, от провоза которых страдала прямая и честная Ферид.

Роман привлекает своей человечностью, горячей симпатией к людям труда.

**З. ИГУМНОВА.** Женщины Москвы в годы гражданской войны. «Московский рабочий». 1958. 96 стр. Цена 1 р. 10 к.

В первых рядах строителей коммунизма находятся советские женщины — труженицы заводов и фабрик, колхозов и совхозов, врачи, учителя, ученые, деятели культуры и искусства. Среди них семьдесят два Героя Советского Союза и свыше двух с половиной тысяч удостоенных звания Героя Социалистического Труда.

Все это стало возможным потому, что «наш закон первый раз в истории вычеркнул все то, что делало женщин бесправными» (В. И. Ленин), а Советская власть создала для женщины неограниченные воз-

можности проявления всех ее способностей и талантов.

В едином строю, рука об руку с рабочими, солдатами и беднейшим крестьянством, боролись русские женщины за социалистическую революцию, за свое право быть гражданином и человеком. О славных делах и подвигах, совершенных работницами Москвы и Московской губернии на фронте и в тылу в жестокие годы гражданской войны и интервенции, о том, как по зову Коммунистической партии они с честью выполняли любое задание, рассказывает в своей книжке З. Игумнова. На конкретных примерах автор показывает, как справедливы ленинские слова о том, что невозможен в полной мере социалистический переворот, если в нем не примут участие миллионы женщин.

В основу книги положены исторические факты, а также документы и материалы, хранящиеся в архивах Москвы.

**С. Т. ЛЮБИМОВА.** В первые годы. Госполитиздат. М. 1958. 78 стр. Цена 1 р.

Старая большевичка С. Т. Любимова много сил отдала работе среди женщин в республиках Средней Азии. На основе различных материалов и собственных воспоминаний автор брошюры рисует картины былого бесправия и забитости женщин. Во времена шариата они фактически были приравнены к рабыням.

Трудной была борьба молодой Советской власти против веками укоренившихся законов, обычаев и предрассудков, разнообразны были ее формы и методы. Создавались женские школы, курсы, клубы, в начале двадцатых годов начала выходить женская газета «Янги юл» («Новый путь»). Женщины стали принимать участие в производительном труде. Автор повествует о передовых женщинах-активистках, сыгравших большую роль в становлении новых отношений.

**ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ.** Сборник. Саратовское книжное издательство. 1958. 183 стр. Цена 4 р. 70 к.

Книга открывается интересными воспоминаниями о боевых делах В. И. Чапаева. Отдельные очерки посвящены достойным соратникам легендарного комдива — И. С. Кутякову и И. М. Плясункову.

В дни боев за Царицын, Астрахань, Самару, Уралск рождались такие герои, как рядовой М. И. Дроздов, как комиссар А. Ф. Жидков. Интересны очерки об участниках событий на Халхин-Голе.

Светлый образ генерала-коммуниста и его самоотверженных питомцев встает со страниц очерков об И. В. Панфилове и о подвиге 28 гвардейцев.

Наряду со славными именами летчиков В. В. Талалихина, Н. М. Скоморохова, танкиста В. И. Пономаренко, разведчика В. Ф. Суханова в книгу по праву вошли и имена простых русских женщин — Н. Шаминой, В. Тимофеевой, З. Маресевой, отважно боровшихся с фашистскими захватчиками.

В сборнике помещены главы из книги И. Козлова «В городе русской славы», в которых рассказывается о мужественной деятельности одного из организаторов севастопольского коммунистического подполья — саратовца В. Д. Ревякина.

**М. А. ЛИСАВЕНКО.** Учение Мичурина в действии. Алтайское книжное издательство. Барнаул. 1958. 152 стр. Цена 4 р. 10 к.

**М. А. ЛИСАВЕНКО.** Вопросы Сибирского садоводства. Новосибирское книжное издательство. 1958. 176 стр. Цена 3 р. 85 к.

В статье «Настоящее и будущее естественных наук в колхозах и совхозах», опубликованной в 1934 году, И. В. Мичурин писал: «Исследователь Алтайской дикой плодово-ягодной флоры Лисавенко вербует и проводит экспедиции в поисках новых растений для селекции и культуры. Он дал уже европейской части СССР массу разновидностей ягодных и декоративных растений. Лисавенко кладет начало истории алтайского «плодоводства». В том же году вышла в свет книга М. А. Лисавенко «Плоды и ягоды на Севере», в предисловии к которой Мичурин характеризовал автора как «одного из самых серьезных селекционеров-плодоводов Сибири, отлично понимающего дело».

В двух недавно изданных в Новосибирске и Барнауле сборниках М. Лисавенко, ныне доктор сельскохозяйственных наук, академик ВАСХНИЛ, подводит итоги своей двадцатипятилетней работы на организованной им Алтайской плодово-ягодной станции и рассматривает биологические основы и пути развития сибирского и алтайского сортирента плодовых и ягодных растений. Большой интерес представляют теоретические обобщения и практические советы ученого, его рассказ об истории сибирского плодоводства, о роли Мичурина в зарождении и развитии северного садоводства.

Расчитанные на широкого читателя, написанные ясным языком, новые книги М. Лисавенко сослужат серьезную службу пропаганде мичуринского учения, продвижению садов в Сибирь и на Алтай.

**ЧАН ЗАН ТИЕН.** Рассказы о жизни и деятельности президента Хо Ши Мина. Перевод с вьетнамского. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 120 стр. Цена 2 р. 30 к.

Когда автор этой книжки, журналист Чан Зан Тиен, обратился к президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину с просьбой рассказать о своей жизни, чтобы написать его биографию, президент сказал: «Это хорошая идея — написать биографию. Но в настоящее время у нас много более важных дел. Давайте приступим сначала к самой неотложной работе. Что же касается моей биографии... то со временем поговорим и о ней».

Но журналист все же не отказался от своего намерения. В результате его упорного, «изыскательского» труда и родилась эта книжка — запись живых бесед с десятками людей, близко встречавшихся с президентом в разное время его жизни. Автор

беседовал с теми, кто знал президента в его юные и молодые годы. Они говорили о нем, даже не ведая, что Нгуен Ай Куок (настоящее имя Хо Ши Мина), или застенчивый юноша Ба (одна из его подпольных кличек), — это и есть нынешний президент Хо, выдающийся человек современности. Тем ценнее искренние, непосредственные свидетельства о нем и его делах.

**ЯН ДРДА.** Горящая земля. Перевод с чешского. Географгиз. М. 1958. 232 стр. Цена 5 р. 90 к.

В июле 1954 года мировая прогрессивная общественность отмечала пятидесятилетие чилийского поэта Неруды. В своей книге очерков видный чешский писатель и общественный деятель Ян Дрда описывает поездку на празднование этого юбилея и путешествие по Чили и Бразилии.

Автор рассказывает о простом народе латиноамериканских стран, о его быте, нравах и обычаях. В книге говорится об упорной освободительной борьбе чилийцев и бразильцев против иностранной зависимости.

Читатель знакомится и с друзьями Пабло Неруды — передовыми людьми своей страны. Среди них Мария Роса Оливер, Жоржи и Зелля Амаду, замечательные чилийские артисты Мария Малуэнда и Роберто Парада, журналист Рубен Асокар — друг Неруды «с юности и навеки», художница Мирейя Лафуэнте и многие другие.

Приведенные в книге фотоиллюстрации очень оживляют текст.

**К. П. ШИВАШАНКАРА МЕНОН.** Древней тропею. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 223 стр. Цена 6 р. 20 к.

Трудно представить себе более увлекательное путешествие, чем странствие по старым караванным путям из Индии в Китай — через Гималаи, Каракорум и Памир, через пустыни и оазисы Средней Азии. Записывая день за днем свои наблюдения и впечатления, автор, посол Индийской Республики в СССР и бывший посол Индии в Китае Менон, создал интересный и поучительный рассказ. В предисловии к книге Джавахарлал Неру пишет, что она позволит лучше понять прошлое и настоящее Азии.

Советского читателя книга заинтересует не только как заметки путешественника. После поражения колониализма в Азии народы Индии, Советского Союза и Китая за последние годы узнали друг друга лучше, чем за предыдущие столетия. Автор выражает надежду, что «рассказ о поездке из Индии в Китай через области, граничащие с Советским Союзом, будет хоть немного содействовать пониманию и дружбе между тремя великими государствами, дружбе, от которой зависит спокойствие в Азии и мир во всем мире».

**Е. И. ГНЕВУШЕВА.** Забытый путешественник. Географгиз. М. 1958. 112 стр. Цена 1 р. 75 к.

Несколько лет назад, работая над диссертацией по истории Индии, Е. Гневушева об-

наружила в архивах материалы, связанные с именем Петра Ивановича Пашино. И сам он и его труды были прочно забыты. Дальнейшие исследования показали, что Пашино совершил кругосветное путешествие, посетил многие страны Востока. Два раза побывал он в Персии, три раза в Индии, был в Африке, Аравии. «В своих путешествиях по Востоку,— пишет автор книги,— Пашино никогда не искал и не видел пресловутой экзотики»; его прежде всего интересовали жизнь и быт народа. По своим взглядам Пашино примыкал к демократической части русской интеллигенции. Он был знаком с Добролюбовым и ряд статей и рассказов опубликовал в «Современнике», печатался во многих других журналах, газетах.

Знаток жизни, нравов и языков Востока, он мог бы сделать блестящую дипломатическую карьеру, но ему всегда был чужд дух низкопоклонства, господствовавший в среде царских чиновников.

Судьба Пашино типична для царской России. Его труды не нашли признания. Он умер в петербургской богадельне.

Автор книги взял на себя благодарную задачу — познакомить широкие круги читателей с незаслуженно забытым востоковедом-путешественником, человеком незаурядных дарований.

**У. БЭРЧЕТТ. Вверх по Меконгу. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 328 стр. Цена 8 р. 35 к.**

Новое произведение прогрессивного австралийского журналиста Уилфреда Бэрчетта, автора ряда книг о странах Юго-Восточной Азии, рассказывает о Камбодже и Лаосе, о борьбе народов, освободившихся от колониальной зависимости и выходящих на путь самостоятельного развития.

«Каждый, кто приедет в Камбоджу с открытым сердцем и непредубежденными взглядами, полюбит эту страну и ее народ»,— говорит Бэрчетт. Перед читателем страница за страницей раскрывается жизнь народа, его причудливые легенды, верования и обычаи. Острым взглядом журналиста автор охватывает все характерные черты страны. Рассказы об экзотической природе, труде крестьян и охотников, рыбаков и ловцов драгоценных камней, об истории страны и ее современности, переплетаясь, укладываются в своеобразную форму репортажа.

Большое внимание уделяет Бэрчетт борьбе народа против французских и японских колонизаторов. Он разоблачает проiski США в Юго-Восточной Азии и, осуждая политику экономического закабаления, говорит о том отпоре, какой встречает она в этих странах.

В послесловии к русскому изданию автор касается политических событий, происшедших в Камбодже и Лаосе в последнее время.

**ЧАРЛЬЗ СТОНОР. Шерпы и снежный человек. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 238 стр. Цена 6 р. 60 к.**

Казалось бы, флора и фауна нашей древней планеты давно уже изучены вдоль и поперек. Но вот недавно появились слухи о том, что в Северном Непале, у предгорьев Гималаев, в стране, населенной многочисленным народом шерпов, обнаружено какое-то странное, невиданное существо. Живет оно высоко в горах, при ходьбе оставляет следы, сходные с человеческими. Так возникла легенда о «снежном человеке».

Для раскрытия этой тайны предпринималось немало экспедиций. В одной из них участвовал зоолог и этнограф Чарльз Стонор. Написанная им книга представляет рассказ об этой экспедиции. Она не завершилась окончательным решением трудной проблемы, но обогатила наши знания о горной стране шерпов, их нравах и обычаях.

**РОБЕР КАПО-РЕЙ. Французская Сахара. Географиз. М. 1958. 496 стр. Цена 18 р. 65 к.**

«Не нужно быть специалистом, чтобы почувствовать прелесть пустыни. Обыкновенный турист восхищается феерическим зрелищем ее ландшафта и поразительной редкостью населения... Что же касается географа, то ему никогда не удается оставаться в пустыне праздным. Подобно хозяину, вступающему во владение своим имуществом и проверяющему каждую замочную скважину, географ стремится на каждом шагу убедиться в правильности возникающих у него объяснений виденного»,— пишет во вступлении к своей книге о Сахаре профессор Алжирского университета Робер Капо-Рей.

Французский исследователь рассказывает о природных особенностях Сахары, ее растительности, климате, населении, освещает проблемы хозяйственного развития этой величайшей в мире пустыни.

**К. БЕККЕР. Немецкие морские диверсанты во второй мировой войне. Перевод с немецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 232 стр. Цена 9 р.**

Автор, известный в Западной Германии историк—исследователь боевых действий подводного флота, рассказывает в своей книге о технике и диверсионных приемах, которые применяло командование морскими силами гитлеровской Германии во второй мировой войне.

Большое внимание автор уделяет действиям одноместных управляемых человеком торпед, взрывающихся катеров, сверхмалых подводных лодок. В книге говорится о диверсионных действиях «людей-лягушек», вплотную подбирившихся к кораблям, мостам, шлюзам и другим объектам с задачей подорвать их специальными снарядами.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Заседания Верховного Совета СССР пятого созыва. Вторая сессия. Стенографический отчет (22—25 декабря 1958 г.). 720 стр. Цена 12 р.

Стенографический отчет издается на языках союзных республик: русском, украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском и эстонском.

### ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Заседания Верховного Совета РСФСР четвертого созыва. Шестая сессия. Стенографический отчет (26—27 декабря 1958 г.). 224 стр. Цена 5 р.

### ГОСПОЛИТИЗАТ

Ленин о печати. 776 стр. Цена 10 р. 50 к.

Н. С. Хрущев. О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы. Доклад и заключительное слово на внеочередном XXI съезде Коммунистической партии Советского Союза 27 января и 5 февраля 1959 г. 176 стр. Цена 1 р. 85 к.

Резолюция XXI съезда Коммунистической партии Советского Союза по докладу товарища Н. С. Хрущева «О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы». 48 стр. Цена 35 к.

Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы. 112 стр. Цена 1 р. 25 к.

Н. С. Хрущев. Речь на собрании избирателей Калининского избирательного округа г. Москвы 24 февраля 1959 г. 32 стр. Цена 35 к.

Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1958 году. Сообщение Центрального статистического управления при Совете Министров СССР. 32 стр. Цена 35 к.

И. В. Абрамов. Черная металлургия. 160 стр. Цена 2 р. 50 к.

Д. Н. Айдит. Индонезийское общество и индонезийская революция. 64 стр. Цена 1 р.

Э. Андрес. Переходный период от капитализма к социализму. 148 стр. Цена 1 р. 75 к.

Ф. Д. Волков. Англо-советские отношения. 1924—1929 гг. 464 стр. Цена 12 р.

Герои и подвиги. Советские листовки Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 564 стр. Цена 9 р. 50 к.

Л. И. Гинцберг. Карл Либкнехт. 80 стр. Цена 1 р.

В. П. Голионко. В огне борьбы (Из истории гражданской войны 1918—1922 гг. на Дальнем Востоке). 296 стр. Цена 6 р.

С. Гуревич. «Новая рейнская газета» К. Маркса и Ф. Энгельса. 192 стр. Цена 2 р. 70 к.

П. Доронин. На земле Смоленской. 180 стр. Цена 4 р. 20 к.

Документы внешней политики СССР. Том II. 1 января 1919 г.—30 июня 1920 г. 804 стр. Цена 15 р.

Г. Ефимов. Внешняя политика Китая 1894—1899 гг. 424 стр. Цена 11 р.

Из истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. 1917—1921 гг. Сборник документов. 512 стр. Цена 12 р.

М. С. Капица. Советско-китайские отношения. 424 стр. Цена 11 р. 45 к.

А. С. Консон. Экономическая эффективность новой техники. 392 стр. Цена 8 р. 75 к.

Е. Н. Кочетовская. Национализация земли и колхозы в СССР. 80 стр. Цена 1 р.

Я. А. Кронрод. Общественный продукт и его структура при социализме. 568 стр. Цена 11 р.

Д. Кунаев. Казахская ССР. Краткий историко-экономический очерк. 164 стр. Цена 2 р. 20 к.

М. Ф. Макарова. О товарном производстве и законе стоимости при социализме. 152 стр. Цена 1 р. 85 к.

Мяо Чу-хуан. Краткая история Коммунистической партии Китая. 256 стр. Цена 6 р.

Дм. Полянский. Жемчужина России. 184 стр. Цена 2 р.

Пребывание делегации Польской Народной Республики в СССР. 24 октября—12 ноября 1958 г. (Сборник материалов). 348 стр. Цена 5 р. 50 к.

М. В. Рыбаков. Из истории гражданской войны на северо-западе в 1919 г. 160 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. Н. Увачан. Переход к социализму малых народов Севера (По материалам Эвенкийского и Таймырского национальных округов). 184 стр. Цена 3 р.

Этих дней не смолкнет слава. Воспоминания участников гражданской войны. 376 стр. Цена 8 р. 50 к.

## СОЦЭКГИЗ

**И. С. Бак.** Антифеодалные экономические учения в России второй половины XVIII века. 128 стр. Цена 1 р. 95 к.

**В. В. Бсрви-Флеровский.** Избранные экономические произведения в двух томах. Том I. 620 стр. Цена 18 р.

**Б. Д. Греков.** Краткий очерк истории русского крестьянства. 232 стр. Цена 5 р. 15 к.

**А. Дени, Р. Гароди, Ж. Коньо, Г. Бесс.** Марксисты отвечают своим католическим критикам. Заключение Лорана Казанова. (Перевод с французского). 72 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Б. М. Кедров.** День одного великого открытия. 560 стр. Цена 21 р. 90 к.

**Е. Д. Модржинская.** Против буржуазных фальсификаторов марксизма. 96 стр. Цена 1 р. 55 к.

**Народническая экономическая литература.** Избранные произведения. 680 стр. Цена 18 р. 50 к.

**Б. Ф. Пичугин.** Британские тред-юнионы после второй мировой войны (1945—1956 гг.). 152 стр. Цена 3 р. 95 к.

**З. В. Смирнова.** Вопросы художественного творчества в эстетике русских революционных демократов. 260 стр. Цена 6 р. 50 к.

**О. Ф. Соловьев.** Из истории русско-индийских связей. 97 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Е. В. Тарле.** Северная война. 480 стр. Цена 18 р.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**И. Арамилев.** В лесах Урала. Повести и рассказы. 528 стр. Цена 10 р. 50 к.

**Ю. Бондарев.** Батальоны просят огня. Повесть. 228 стр. Цена 4 р. 35 к.

**В. Гусев.** Пьесы. 708 стр. Цена 14 р. 20 к.

**М. Жестев.** Золотое кольцо. 270 стр. Цена 5 р. 90 к.

**Н. Задорнов.** Капитан Невельский. Роман. Книга I. 456 стр. Цена 7 р. 40 к. Книга 2. 336 стр. Цена 5 р. 75 к.

**П. Замойский.** Восход. Роман. 440 стр. Цена 7 р. 50 к.

**А. Кудревагых.** Страницы жизни. Очерки. 448 стр. Цена 7 р.

**Ю. Лаптев.** Повести и рассказы. 497 стр. Цена 8 р. 80 к.

**Ю. Либединский.** Утро Советов. Роман. 783 стр. Цена 15 р. 85 к.

**А. Окулов.** Юность. Рассказы. 272 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Рассказы 1957 года.** 708 стр. Цена 12 р. 10 к.

**Н. Руденко.** Ветер в лицо. Роман. Перевод с украинского. 496 стр. Цена 8 р. 20 к.

**Русская эпиграмма XVIII-XIX вв.** 416 стр. Цена 4 р. 20 к.

**П. Сажин.** Капитан Кирибеев. Повесть. 280 стр. Цена 5 р. 15 к.

**А. Салахян.** Египше Чаренц. Критико-биографический очерк. 180 стр. Цена 3 р.

**Д. Самойлов.** Ближние страны. 92 стр. Цена 1 р. 80 к.

**П. Скосырев.** Стрелок из лука. Повесть. 256 стр. Цена 4 р. 50 к.

**В. Тельпугов.** А. Недогонов. 140 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Украинские рассказы.** Перевод с украинского. 428 стр. Цена 7 р. 55 к.

## ГОСЛИТИЗДАТ

**Н. Н. Гусев.** Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828—1890. 838 стр. Цена 21 р. 55 к.

**Василий Каменский.** Поэмы. 176 стр. Цена 6 р. 70 к.

**Старинные албанские сказания.** Перевод с албанского. 284 стр. Цена 4 р. 55 к.

**Шоротчондро Четгопадхай.** Сожженный дом. Перевод с бенгальского. 367 стр. Цена 4 р. 60 к.

**Поль Элюар.** Стихи. Перевод с французского. 343 стр. Цена 5 р. 75 к.

**В. Ярхо.** Эсхил. 288 стр. Цена 8 р. 65 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. И. Ленин.** О молодежи. 320 стр. Цена 5 р. 30 к.

**Анатолий Алексин.** О дружбе сердец. Очерки. 64 стр. Цена 90 к.

**Иво Андрич.** Зеко. Повесть. Перевод с сербско-хорватского. 112 стр. Цена 7 р. 75 к.

**Вл. Архангельский.** Сердце охотника. Рассказы. 216 стр. Цена 6 р. 15 к.

**М. Белов.** Полос холода. Повесть. 191 стр. Цена 4 р. 30 к.

**Ш. Бейшеналиев.** Путь к счастью. Роман. Авторизованный перевод с киргизского. 287 стр. Цена 5 р. 70 к.

**П. Бляхин.** На рассвете. Повесть. Исправленное и дополненное издание. 343 стр. Цена 6 р. 65 к.

**Остап Вишня.** Ни пуха вам ни пера. Рассказы. Перевод с украинского. 224 стр. Цена 4 р. 50 к.

**И. Ермашев.** Мы все живем на одной планете. 143 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Леонид Жариков.** Огни Донбасса. Очерки. 192 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Михаил Златогоров.** Вышли в жизнь романтики. 176 стр. Цена 3 р. 90 к.

**Дм. Зюзин.** Испытание скоростью. Очерки. 160 стр. Цена 2 р. 35 к.

**С. Коненков.** Слово к молодежи. 116 стр. Цена 3 р. 90 к.

**И. Кунин.** Чайковский. 368 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Вл. Курочкин.** Мои товарищи. Рассказы. 192 стр. Цена 4 р. 20 к.

**К. Лягунов.** Только вперед. Очерки. 160 стр. Цена 2 р. 35 к.

**Михаил Лохвицкий.** Люди горных краев. Повесть и рассказы. 208 стр. Цена 4 р. 30 к.

**В. Маевский.** Утро Малайи. Очерки. 128 стр. Цена 1 р. 85 к.

**Лев Овалов.** Букет алых роз. Повесть. 128 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Александр Озерский.** Горюч-камень. 192 стр. Цена 4 р. 65 к.

**А. Омаров.** Тебе это важно знать. 120 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Л. Пантелеев.** Повести и рассказы. 718 стр. Цена 14 р. 85 к.

**Джанни Радари.** Путешествие голубой стрелы. Перевод с итальянского. 160 стр. Цена 7 р. 70 к.

**В. Прокофьев.** Степан Халтурин. 286 стр. Цена 5 р. 95 к.

**Поль Робсон.** На том я стою. 144 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Г. Рыклин.** Знакомые все лица. Рассказы и фельетоны. 176 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Виктор Сапарин.** Одногорая жирафа. Рассказы. 208 стр. Цена 4 р. 55 к.

**Андрей Семенов.** Бухга желания. Рассказы и повести. 207 стр. Цена 4 р. 45 к.

**40 лет ВЛКСМ.** Сборник. 79 стр. Цена 80 к.

**Дмитрий Ткач.** Племя сильных. Роман. Перевод с украинского. 416 стр. Цена 7 р. 70 к.

**Ф. Таурин.** На Лене-реке. Роман. 544 стр. Цена 9 р. 50 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Автоматика и телемеханика.** Сборник. 147 стр. Цена 7 р. 35 к.

**А. М. Деборин.** Социально-политические учения нового времени. Том I. 628 стр. Цена 23 р. 65 к.

**Закономерности размещения полезных ископаемых.** Том I. 532 стр. Цена 43 р.

**А. Р. Иоаннисян.** Шарль Фурье. 152 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Искусственные спутники Земли.** Выпуск I. 95 стр. Цена 4 р.

**История русской советской литературы.** Том I. 723 стр. Цена 28 р. 15 к.

**Итоги науки.** Химия нефти и газа. 478 стр. Цена 22 р. 70 к.

**Б. В. Канторович.** Основы теории горения и газификации твердого топлива. 598 стр. Цена 34 р. 90 к.

**В. В. Козлов.** Очерки истории химических обществ СССР. 610 стр. Цена 38 р. 50 к.

**В. Л. Кретович.** Биохимия зерна и хлеба. 175 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Петр Петрович Лазарев.** Материалы к библиографии ученых СССР. 128 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Международный геофизический год.** Труды комплексной антарктической экспедиции АН СССР. 238 стр. Цена 12 р. 20 к.

**К. Е. Овчаров.** Роль витаминов в жизни растений. 286 стр. Цена 14 р. 70 к.

**Памяти Глинки. 1857—1957.** Исследования и материалы. 599 стр. Цена 38 р. 30 к.

**Проблемы эстетики.** 171 стр. Цена 6 р. 40 к.

**Работы гельминтологии.** К 80-летию академике К. И. Скрябина. 416 стр. Цена 23 р. 65 к.

**В. М. Родионов.** Избранные труды. 792 стр. Цена 43 р. 90 к.

**Современные проблемы металлургии.** 640 стр. Цена 37 р. 40 к.

**А. В. Соколов.** Очерки из истории агрономической химии в СССР. 199 стр. Цена 8 р. 10 к.

**А. В. Топчиев, Б. А. Кренцель.** Полиолефины — новые синтетические материалы. 103 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Химия больших молекул.** Сборник статей. 300 стр. Цена 4 р. 40 к.

**Экономика и политика Англии после второй мировой войны.** 664 стр. Цена 27 р. 25 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

**Воспитательная работа в школьном коллективе.** 256 стр. Цена 5 р. 20 к.

**А. В. Луначарский о народном образовании.** 560 стр. Цена 11 р. 55 к.

**Т. Д. Полозова.** Художественная литература как средство воспитания коммунистического отношения к труду. 144 стр. Цена 2 р.

**С. М. Ривес.** Воспитание воли учащихся в процессе обучения. 224 стр. Цена 7 р. 70 к.

**Трудовое воспитание в школе-интернате.** 112 стр. Цена 2 р. 60 к.

#### ГЕОГРАФГИЗ

**А. Э. Брем.** Путешествие по Северо-Восточной Африке. 646 стр. Цена 14 р. 15 к.

**И. А. Витвер, А. Е. Слука.** Франция. 414 стр. Цена 14 р. 75 к.

**М. Б. Горнунг.** Алжирия. 286 стр. Цена 9 р. 75 к.

**Земля и люди** (географический календарь 1959 г.). 390 стр. Цена 13 р.

**Г. В. Карпов.** Путь ученого. 341 стр. Цена 7 р. 35 к.

**Северный Китай.** (Перевод с китайского). 350 стр. Цена 11 р. 30 к.

**А. В. Фрич.** Приключения охотника в Гран-Чако. 142 стр. Цена 2 р. 25 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

**Под знаменем социализма.** 632 стр. Цена 18 р.

Книга о жизни и труде братских народов социалистических стран Европы и Азии.

#### МЕДГИЗ

**А. Бредфорд-Хилл.** Основы медицинской статистики. 308 стр. Цена 11 р. 25 к.

**Вопросы патогенеза, клиники и лечения неврозов.** 204 стр. Цена 6 р. 40 к.

**Вопросы психотерапии.** 336 стр. Цена 11 р. 10 к.

**С. Г. Звягинцева.** Бронхиальная астма у детей. 208 стр. Цена 7 р. 75 к.

**Н. В. Миртовский.** Нарушения мозгового кровообращения. 208 стр. Цена 6 р. 70 к.

**Т. П. Симсон.** Неврозы у детей, их предупреждение и лечение. 216 стр. Цена 7 р. 30 к.

**Ультрафиолетовое излучение.** 300 стр. Цена 8 р. 95 к.

**И. Л. Чертков.** Искусственные заменители крови. 116 стр. Цена 3 р. 45 к.



## ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**В. И. Ленин о государстве и праве.** Том I. 660 стр. Цена 9 р. 80 к. Том. II. 848 стр. Цена 11 р. 95 к.

**О. А. Красавчиков.** Юридические факты в советском гражданском праве. 184 стр. Цена 6 р. 55 к.

**Д. В. Левин.** Основные проблемы современного международного права. 276 стр. Цена 8 р. 65 к.

**Областной (краевой) суд.** 136 стр. Цена 3 р. 75 к.

**Правовые вопросы организации научной работы в СССР.** 356 стр. Цена 11 р. 65 к.

**Судебные речи прокуроров.** Выпуск первый. 84 стр. Цена 1 р.

**Ф. Г. Тарасенко.** Вопросы организации и деятельности советских судов. 186 стр. Цена 3 р. 50 к.

**Уголовно-правовая охрана безопасности условий труда в СССР.** 188 стр. Цена 5 р. 5 к.



## ПОПРАВКА

Во второй книге «Нового мира» за 1959 год в статье И. Радволиной «Прямой разговор» на странице 232 в пятой строке первого столбца вместо «Никола Ковачевича» следует читать: «Савы Ковачевича».

---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

---

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

---

Сдано в набор 3/II-59 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 4/III-59 г.  
А 00250. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 250.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.